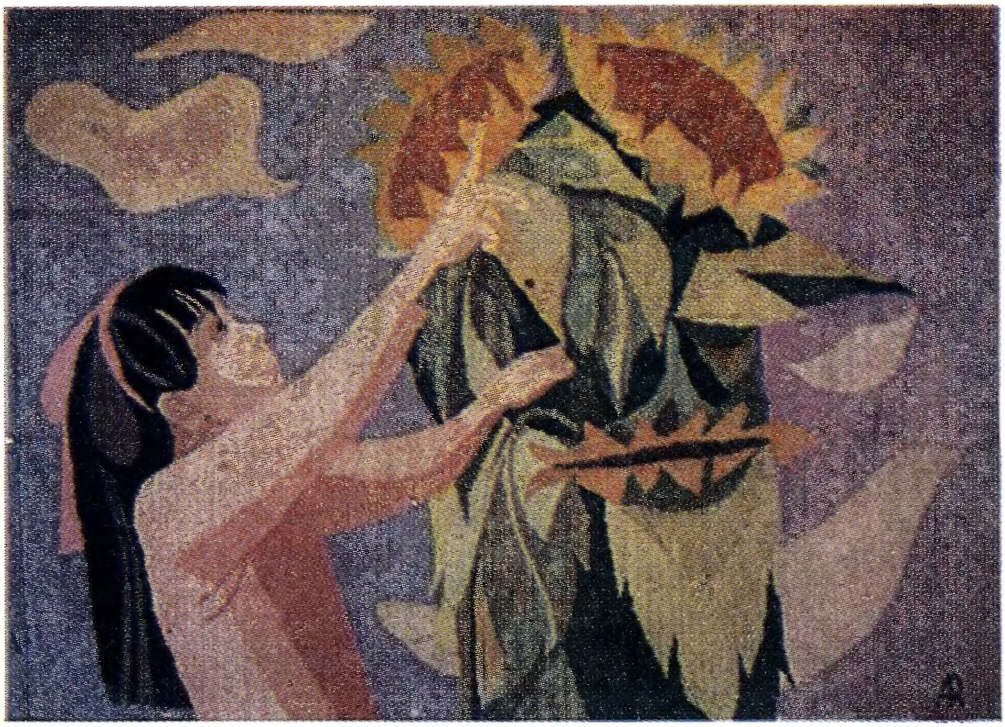
6. 1973

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

Издательство «Известия»
Москва

Год издания 19-й

ИЮНЬ 1973

№ 6

СОДЕРЖАНИЕ

Молодая поэзия ГДР

ФОЛЬКЕР БРАУН. ЙЕНС ГЕРЛАХ. КАРЛ МИКЕЛЬ. САРА КИРШ. КУРТ БАРЧ. РАЙНЕР КИРШ. *(Переводы с немецкого Е. Бовкуна, В. Куприянова, Ирины Грицковой, Г. Раттгауза, Виктора Топорова. Вступление Льва Гинзбурга)* 3

ЭРИХ КОШ — Рассказы *(Перевод с сербско-хорватского Татьяны Вирты и Н. Вагаповой. Вступление Н. Вагаповой)* 14

ЮСУФ АС-СИБАИ — Земля лицемерия *(Роман. Перевод с арабского А. Тимошкина)* 49

ХУАНА ДЕ ИБАРБУРУ — *Стихи (Перевод с испанского и вступление Инны Чежеговой)* 130

РОБЕРТ СТОУН — В зеркалах *(Роман. Окончание. Перевод с английского Н. Треневой, В. Голышева и И. Гуровой. Послесловие Майка Дэвидова)* 135

ЯРОСЛАВ ИВАШКЕВИЧ — Sérénité *(Рассказ. Перевод с польского Г. Языковой. Послесловие М. Игнатова)* 184

Литературное наследие

ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ — О писательстве *(Перевод с английского и предисловие А. Старцева)* 208

Критика

В. КУТЕЙЩИКОВА, Л. ОСПОВАТ — Литература в жизни революционера (К портрету Эрнесто Че Гевары) 215

А. ТИШКОВ — О китайской новелле 223

Заметки писателя

КИРИЛЛ КОВАЛЬДЖИ — Черты родства 231

Культура и современность

Заметки на полях

Вл. Гусев — Развлекательное и «массовое». Л. З. — «Возможна ли наука о литературе?». В. Гривнин — «Бесы» XX века 236

Публицистика

Ю. КАГРАМАНОВ — Поп-культура выходит из «подполья» 245

Изобразительное искусство за рубежом

Н. ДМИТРИЕВА — Юмор парадоксов (Заметки о стилистике современной западной карикатуры) 253

Среди книг

Издано в СССР

Владимир Огнев — Смех и печаль Бранко Чопича. С. Почивалова — Бесконечность в двенадцать часов. Р. Хлодовский — Болезнь Дзено 263

Издано за рубежом

Л. Симонян — Почему соловей голубой? А. Опульский — Зрелость поэта. Е. Гениева — Книга начинается с конца 269

Из месяца в месяц 274

Авторы этого номера 287

На обложке: гобелен американского художника АНТОНА РЕФРЕЖЬЕ «Девочка с подсолнухом».

На цветной вкладке. плакаты польского художника ТАДЕУША ИОДЛОВСКОГО.

© Журнал «Иностранная литература», 1973 г.

Молодая поэзия ГДР

■

С немецкого

В этой подборке представлены стихи нескольких поэтов ГДР, принадлежащих к среднему и молодому поколению. О некоторых из них сейчас много говорят, много спорят, оценки еще не выверены, мнения не устоялись — каждый из них и все они вместе привнесли в поэзию нечто новое, нечто свое и уже поэтому заслуживают внимания.

Понятие «молодые поэты», правда, несколько расплывчато: старшим уже около сорока, младшим — за двадцать. Мы здесь имеем дело в основном с теми, кого называли «детьми войны» и кто еще помнит, как рушились дома, метались беженцы, а потом вдруг показались танки...

Но некоторые из них видели не только войну. В самом раннем детстве они смутно ощущали, что рядом с ними существует нечто такое, что, может быть, даже ужасней войны: всеобъемлющий страх, холод взаимного недоверия и боязни друг друга, наглое торжество подлости и видимая беззащитность правды. Весь этот комплекс, составляющий содержание жизни третьего рейха, заново переосмысленный и увиденный теперь «глазами разума», ожил в их стихах, где память равнозначна совести.

Стихи молодых продолжают лучшие традиции антифашистской поэзии: ее страстность, непримиримость, сознание солидарности с жертвами. Собственно, это преодоление забвения, активная форма напоминания о том, что было и что должно повториться в стихах, чтобы не повториться в жизни. Вот почему в одном из стихотворений Гюнтера Кунерта встают из-под земли мертвые солдаты, «мертвые молча выходят из газовых камер», а пули влетают «обратно в стволы автоматов»... Спустя три десятилетия после войны в стихах поэтов ГДР повторяется тема знаменитого хорала Иоганнеса Бехера — «Детские башмачки из Люблина». По строчкам стихов уходят в бессмертие мученики Освенцима, Бухенвальда, Майданека. В стихах Гельмута Прейслера, который средствами поэзии старается воспроизвести творения живописи и скульптуры, возникают «глаза, большие и больные от страданий» — такими их изображала Кете Кольвиц.

Неусыпность памяти, прикосновение к самым болевым точкам национальной истории — признак нравственного здоровья молодой поэзии, ее душевной и умственной зрелости. Эти поэты не профессиональные плакальщики, не устроители бесконечных панихид, но они чувствуют себя ответственными за сегодняшний и завтрашний день и поэтому не могут забыть день вчерашний...

Поэты ГДР рано возмужали, рано научились быть взрослыми, думать, отвечать на вопросы. Их, по собственному признанию, тянет «вглубь, в самую сущность». Иногда их можно упрекнуть в избытке рационализма: что ж, слишком дорого обходится людям легковерие, а на одних эмоциях далеко не уедешь.

Они живут в молодой социалистической стране, среди современного быта, в век научно-технической революции, но куда больше, чем работа сложнейших машин, их интересует душа человека, повседневная жизнь людей, которые живут с ними в одном доме, с которыми они встречаются в вагоне подземки, с кем вместе ходят на работу или с работы. В их стихах присутствует тема героизма — не казенного, не придуманного ради пышной и пустой фразы в газетном очерке, а того, которым насыщена жизнь. О повседневном героизме, или о героизме повседневности, есть выразительные стихи у Гейнца Чеховского, Гейнера Мюллера, Манфреда Штройбеля, с которыми уже знакомы советские читатели.

Многие из этих поэтов изучали жизнь не в творческой командировке и не на экскурсиях. Поэт Гейнц Калау (его печатала «Иностранная литература») был рабочим, Райнер Кирш работал в типографии и на химическом предприятии, Фолькер Браун спускался проходчиком в шахту, одаренный лирик Иоохен Лаабс водил в Дрездене трамвай... В поэзию они внесли «запахи» своих ремесел, присущее людям труда жизнелю-

бие и в то же время повышенную требовательность к себе и к своей стране потому, что считают ее своим родным домом, который нужно воспевать, но и необходимо изо дня в день совершенствовать. Именно этим чувством гражданственного вмешательства в жизнь отмечены лучшие стихи Фолькера Брауна с их свойственным молодости максимализмом и эмоциональным напором.

Выходцы из самой гущи народных масс, эти поэты слышат голос масс, их дыхание, но все отчетливей из коллективного портрета общества проступает лирическое «я», и это не признак эгоцентризма или индивидуализма, а симптом возросшей требовательности к каждому человеку в отдельности, требовательности и доверия одновременно.

Они менее всего поучают, разглагольствуют о высоких материях, отказавшись от живых, непосредственных чувств. Тем ценнее рациональное начало стихов Сары Кирш или Йенса Герлаха, что они не отворачиваются от «запаха жизни», которая «достойна цвета и аромата роз» (Герлах), от радости, от любви, от величия природы и величия искусства. Нет, это не книжность, не литературщина, не эстетство, то, что многие поэты, продолжая традицию, начатую бехеровской «Книгой образов», настойчиво обращаются в своих стихах к замечательным поэтам, художникам, музыкантам давнего и недавнего прошлого, в том числе и к образу самого Бехера. Дети рабочих и крестьян, молодые хозяева жизни, они знают, что им принадлежит все: и скульптуры Рименшнейдера и Барлаха, и музыка Баха и Бартока, и Микеланджело, и Бехер, и Брехт.

Большинство из них прошли поэтическую школу Бехера, Брехта, Вайнерта — эти три имени неотделимы друг от друга, от каждого пошла своя ветвь.

В заключение этого предисловия хотелось бы отметить следующее. В русской литературе сложилась давняя традиция — великие русские классики переводами своих немецких современников внедряли немецкую классическую поэзию в русский литературный обиход. Советские мастера стихотворного перевода с появлением первых же стихов Бехера, Брехта, Вайнерта, а затем Кубы и Хермлина делали эти стихи достоянием многомиллионного читателя. Теперь свои, «личные» переводчики появились и у молодых поэтов ГДР, которые связаны со своими поэтическими сверстниками в Советском Союзе литературным и духовным родством.

Так, у нас в свое время с успехом прошла Неделя молодой немецкой поэзии, организованная Центральным Комитетом ВЛКСМ, а Центральное правление Союза свободной немецкой молодежи провело интересные встречи молодых советских поэтов с немецкими читателями. В 1972 году в традиционном совещании молодых поэтов ГДР — совещания эти проходят в Шверине — впервые участвовали молодые советские поэты-переводчики, выступающие и в настоящей подборке, которая полностью переведена представителями нового, молодого поколения наших стихотворных переводчиков с немецкого.

Вскоре в издательстве «Молодая гвардия» выйдет объемистая антология «Поэты ГДР», где молодым отведен весьма обширный раздел. Из этой книги взяты стихи и для нашей подборки. Читатель «Иностранной литературы» встретит в этой публикации новые имена — переводы стихов Йенса Герлаха, Сары Кирш, Карла Микеля впервые печатаются на страницах журнала.

Остается добавить, что нам особенно приятно представить читателю молодых поэтов ГДР в канун X Всемирного фестиваля молодежи и студентов, когда в Берлин съедутся представители юности всей земли.

ЛЕВ ГИНЗБУРГ

ФОЛЬКЕР БРАУН

Не приходите с готовеньким!

Не приходите с готовеньким! Нам не нужны полуфабрикаты!
Прочь жареную свичину — давайте нам лес и вепря!
Здесь властвует опыт, долой рутину!
Здесь каждый может высказать пожеланье,
попав на прием к природе.

Меж континентов, у всех побережий,
Море наших надежд напрягает мышцы.
Во все берега барабанят пальцы прибоя.
Через лезвие побережья перехлестывают волны.
Вновь и вновь набегает прибой и отступает.
Здесь новая жизнь нарождается ежедневно.

Нам не писали рецептов, господа.
Жизнь — не книжка с картинками, мистер,
не занудная партитура, фрейлейн!
Довольно тянуть волынку! Пора шевелить мозгами!
Не для вас эти кресла, парни! Вас ждут палатки!
Меньше праздничности, товарищ! Трезвость нужна
для работы мысли!
Кто тоскует по кайзеровским эполетам?
На наших плечах — звездное небо!

Проверьте старое! Юность — контрольный пост!
Здесь поднимается целина и перекраивается небо.
Здесь ваше государство — строителям хватит дела
на целую жизнь.
Загадывайте желанья! Во все берега барабанит
Прибой ожиданий наших!
У тебя под ногами, дружище,— бурлящий поток!
Это — пальцы прибоя, они забегают в будущее слегка,
Самую малость...

Перевод Е. БОВКУНА

ЙЕНС ГЕРЛАХ

Из писем к Андрею Вознесенскому. Письмо III

1

Год минул, но в итоге
остался твой вопрос:
и в счастье и в тревоге
мы любим яркость роз?

2

В этот год на душе было нелегко.
В этот год ностальгия в сердце вошла.
В этот год роза пустила шипы.

Но:
дети стали разумней и выше.
Но:
вино принесла лоза.
Но:
тревога становится тише.
Но:
чисты и ясны небеса.
В этот год одиночество в сердце зашло.
В этот год эхо сердца стало глухим.
В этот год на розу дохнула зима.
Но:
надежда неистребима.
Но:
зреет хлеб на полях.
Но:
все меньше грома и дыма.
Но:
не вечны беды и страх.

3

Но держится планета,
и крепок мир всерьез,
и жизнь достойна цвета
и аромата роз.

Перевод В. КУПРИЯНОВА

Скоро март

Застиранною грязной простынею
Повис туман. Уже недолго ждать,
Когда, врасплох застигнутый весною,
Сугроб последний станет оседать.

Недолго ждать. Угрюмой вереницей
Идут снега. Но знаю я один,
Что на осколки небо разлетится,
Когда в него вонзится птичий клин.

Еще мороз таится в тени сада,
И тяжек сон заснеженных полей.
...Блестит на солнце мокрая ограда,
И воробьи чирикают смелей.

■

Средь небесной сини
Облачко плывет.
А потом застынет
Вечер у ворот.

Простыни помяты.
Черный глаз окна.
Оба виноваты,
Только в чем вина?

И лишь ты отныне
Мне одна близка.
...Средь небесной сини
Тают облака.

Перевод ИРИНЫ ГРИЦКОВОЙ

КАРЛ МИКЕЛЬ

Одиссей на Итаке

Где я? Нет, это не Итака. Горы
Там синие, равнины там без края,
И зелена листва, и резвый луч
Играет в резвых волнах — вот Итака!
А здесь — везде валежник, а не лес.
Скрипит сухая галька. Встать нельзя мне:
Я сразу целый мир перешагну.
И молча я плюю на низкий холм.

Как я унизил остров мой родной,
Уплыв под Трою! Десять лет сражений,
И мне нельзя узнать моей земли.
Все, брошенное мной, дряхлеет. Утром
Любимая, едва я дверь захлопну,
Старухой древней смотрит мне вослед,
И сразу дверь становится трухой,
Развалиною — дом. Оливы сохнут,
Едва я тень их покидаю. Реки,
Чью воду пил, мелеют без меня,
Швыряя мертвых рыб в пустое русло.
Так стал мой остров мумией в гробу.

Я бог, должно быть. Я за счет других
Могу зернуть униженным величье.
Молва трезвонит: бледный Одиссей
Восстал из мертвых. Триста женихов
Он умертвит, отняв у них румянец,
И всколосятся тучные поля,
Коровы двойню принесут, волчица
Начнет играть с ягнятами, и боги
Благословят забытую Итаку
Навеки.

Трехсот мужей! Так, значит, Пенелопа
Меняла их по прихоти своей?
Но даже я не заменю трехсот!
Или была верна? Тогда мне скучно,
И дерзкая Цирцея мне милей
Моей толстухи. Зарубить трехсот
За тень Цирцеи? Нет. Довольно Трои.
Я не хочу быть богом, и за мной
Вновь рушится непрочный мир земной.

Я десять лет соперником богов
В жестоких битвах был, игру валов
Узнал на зыбком судне. Посейдона
Дразнил, враждуя с ним неугомонно,
Я знал, что бой — мой твердый пьедестал,
И я в таких сраженьях богом стал.
Но я не бог отныне. С горсткой верных
Друзей исчезну вновь в морях безмерных,
Где не бывал никто, но мы найдем
На зыбкой палубе надежный дом.

Весь мир — корабль! Плыви, моя ладья,
Навстречу солнцу, в край небытия!

Эпитафия партизану

Я строил мост — и я его взорвал.
Я был расстрелян за мое деянье.
(Создатель корабля замыслил сам
Его крушенье.) Эта жизнь прекрасна.
И тот, кто завершить свое успел,
Достойно встретит вражеский расстрел.

Перевод Г. РАТГАУЗА

САРА КИРШ

Снежная песня

Из-за дальних гор седых,
Не во сне, а в были
Девять братьев моих
Воронами взмыли.

Мало им воды да хлеба.
С криком полетели в небо.
Поклевать хотят в бока
Златобокого быка.

...Но не жалея пыла,
Солнце их спалило.

Погашен свет. Пустынный дом
Я ночью стерегу.
Лишь девять перьев под окном
Чернеют на снегу.

Перевод ИРИНЫ ГРИЦКОВОЙ

Легенда о Лиле

1 была ли она хороша неизвестно так как
воспоминания уцелевших узников
разноречивы уже цвет волос
называют по-разному в картотеке
не сохранилось фотографии она
по-видимому была родом из Польши

2 летом ходила она босиком как и зимой написала
семь писем

3 шесть скатанных в трубочку писем таились
под арестантской одеждой на плацу прилипали
к измученным телам вспоминались во сне доходили
до адресата оставшегося неизвестным (он не может
быть свидетелем на процессе)

4 седьмое выдали за пайку хлеба

5 Лиля на допросе Лиля в лагере Лиля в бункере
свист бича адресат кто он был почему не раскрыла
молчит почему знойным летом ведь птицы
поют поперхнувшись дымом

6 некто в черном СС театрал кличка пса Гамлет из классического
репертуара нашел что
глаза будут откровенней чем губы

7 узники выстроенные в две шеренги дорога
длинная аллея подпиленных деревьев здесь она
должна была пройти и одного выдать

8 в глазах теперь дело вели прикажи закажи беззаботность
мускулам крови ты часто ходила здесь помнишь
каждый камень ты помнишь Лиля
Лиля каждый

9 ее лицо проходило мимо
рассказывали уцелевшие они
дрожали от страха Лиля шла как мертвая
и вот некто в черном чей пес по кличке Гамлет
рычал приказал довольно

10 с той минуты ее не видели

11 а другие рассказывали она улыбалась
пока шла причесывалась пальцами
была сразу же уведена в газовую камеру
и это было больше двадцати лет назад

12 о ней потом говорили долго

13 в шестьдесят пятом году судьи во Франкфурте
занесли в протокол Лиля
фигура мифическая этот
пункт следует из обвинения исключить

14 в письме говорили было написано мы
не выйдем отсюда мы
видели слишком многое

Перевод ВИКТОРА ТОПОРОВА

Возвращение

Моя подруга живет в деревне,
в маленьком чистом доме.
Утром и вечером плетется за окнами
стадо гучных коров. В уютной комнате
светлые, радостные обои. Муж у подруги
гихий, спокойный и добрый. В ванночке
плещется розовый крепенький мальчик.
В саду наливаются яблоки. Солнечные
лучи запутались в ветках ивы.
Изредка проедет по заспанным улицам
грузовик, поднимая пыль.
Вечером подруга с завистью слушает
мои рассказы о море, о кораблях
в непогоду.
Я же ночью спокойно засну.

Перевод ИРИНЫ ГРИЦКОВОЙ

КУРТ БАРЧ

Шоссештрассе, 125

сидит в качалке Брехт
как бы весь век и снег
среди могил метет
качалка взад-вперед
и непереводим
сигары Брехта дым
а дым повыше крыш
поет зиме — шалишь
вот шапка на гвозде
кипит капель везде
вот листья как салат
взойдут и облетят
а Брехт все взад-вперед
ему опять везет
уже девятый час
включить бы свет как раз
и я включаю свет
гляжу а Брехта нет

сад

мое перо рисует тихий сад,
лист за листом его читает осень,
лист за листом зачитан календарь.

теперь часы идут зиме навстречу
и видят там перчатку на снегу,
ее на лапку меряет синица.

кочегар

мое перо рисует черта в пекле,
играет он с огнем для света в окнах
и бабушке своей дает огня.

в аду своем усердно поддает
для полуночников лопату за лопатой,
из них одна — для грез его невесты.

Перевод В. КУПРИЯНОВА

РАЙНЕР КИРШ

Вечер. И физик следит, как на зеленом экране
Атом летучий, светясь и распадаясь, скользит
В круговороте частиц, бомбардирующих ядра,
Жадно приникнув к стеклу, ждет он разгадки — чего?

Я прохожу стороной, но я знаю, как пляшут частицы,
Знаю кружение их, всех превращений закон,—
Знаю и вижу: идут люди, домой возвращаясь,
Городом шумным идут, снявши спецовку свою.

Рядом со мною идут, и смеются, и плачут, и спорят,
В новых кварталах, где хлеб с виду похож на кирпич
Там, где среди кирпичей поднимаются первые травы,
Там, где в небесную высь крыши уходят домов.

Не триумфаторы — нет, но в надежде на лучшие годы
Отдан труду и не зря прожит людьми этот день.

О плаче

Когда людям плохо,
они плачут
в голос,
или, выражаясь поэтически,
навзрыд.

Они плачут: любимый
ушел к другой женщине;
или неприятности по работе;
если умрет дальняя родственница,
купят венок за три с половиной марки,
родственница поближе —
венок подороже,
в любом случае поплачут на могиле;

разбитая тарелка —
тоже повод для плача.
«Надо же выплакаться по-настоящему».

Романтические натуры, как написано в книгах, плачут
в мгновения
наивысшего счастья.
Так было раньше.
Были, знаете ли,
такие романтические натуры.
Но есть еще на свете люди,
которые
больше не в силах плакать.

Мы им должны помочь.

Перевод ВИКТОРА ТОПОРОВА

■

ЭРИХ КОШ

Рассказы

■

С сербско-хорватского

Эрих Кош — один из самых своеобразных современных прозаиков Югославии. Творчество его отражает различные этапы жизни страны: незабываемые годы партизанской борьбы (первая книга Коша — сборник рассказов «В огне» — вышла в 1947 году); первые послевоенные годы, когда приходилось ценой немалых жертв и усилий восстанавливать и строить заново разрушенную войной экономику; наконец, последовавший затем период, когда в обстановке относительного материального благополучия перед строителями нового общества встали не менее сложные проблемы — воспитание человека, в полной мере сознающего свою ответственность за великое дело социалистического строительства, утверждение новой морали, борьба с пережитками прошлого.

Кош принадлежит к писателям, пристально вглядывающимся в современность, зорко подмечающим ее характерные черты и очень быстро переносящим их на страницы своих книг. Это сказалось и на творческой манере писателя — глубина реалистического отражения действительности соединяется в лучших произведениях Коша с живой, журналистской подачей жизненного материала, проникновение в психологию героя — со взглядом на него извне, с элементами публицистики. Позиция Эриха Коша — это позиция живо заинтересованного участника событий, открыто выражающего свое отношение к ним.

Кош выпустил уже более двадцати книг. Среди них — сборники рассказов, повести, романы, два сборника критико-публицистических статей. Одна из них, впервые опубликованная в литературном журнале «Савременик», носит весьма выразительное название — «К дьяволу Кафку!». В ней недвусмысленно отражена общественная позиция писателя. Кош призывает молодых собратьев по перу, многие из которых увлекаются перепевами давно изживших себя тем и мотивов, черпать вдохновение не из модных когда-то литературных источников, а из жизни, из действительности своей страны.

Советские читатели уже знакомы с творчеством Коша. Журнал «Иностранная литература» включил его рассказ «Лодки» в одну из подборок произведений югославских писателей (№ 7 за 1966 год). В издательстве «Иностранная литература» в 1963 году вышли несколько рассказов и сатирическая повесть, носящая в оригинале название «Странная повесть об огромномките, по прозвищу Большой Мак». Эти публикации Коша в русских переводах отражают два основных мотива его творчества — мысль о силе человеческой солидарности и непримиримое отношение к мещанским пережиткам, которые являются мишенью сатиры, занимающей в творчестве Коша большое место.

Продолжая знакомить своих читателей с творчеством Эриха Коша, журнал «Иностранная литература» публикует его рассказы из сборников разных лет, дающие представление о различных направлениях творческих поисков писателя. Рассказы «Старый Грбич» и «Страх», вошедшие в сборник «Время — военное» (1952), раскрывают определяющие черты дарования писателя. В них чувствуется восхищение человеком, который находит в себе силы преодолеть горе и страх и остаться гордым и прекрасным в самые трудные минуты.

Ироническая, презрительная усмешка над себялюбцами и мещанами — так, пожалуй, вернее всего можно охарактеризовать основной мотив сравнительно недавно

вышедшего сборника «Пестрая компания» (1969). И в то же время в произведениях, созданных за последние годы, еще сильнее, чем прежде, зазвучали гуманистические ноты, роднящие творчество Коша с традициями русской реалистической прозы. Звучат они и в рассказе из этого сборника «Дом у моря», повествующем о простой и, казалось бы, наивной человеческой мечте, так и не находящей своего воплощения.

Рассказ «Авария», опубликованный в журнале «Летопис Матице Српске» в 1971 году,— одно из последних произведений Коша. Незамысловатая любовная история продолжает излюбленную тему писателя — мысль о необходимости взаимопонимания между людьми, о том, как обедняют человеческие отношения эгоизм, отсутствие внутренней чуткости, нравственная глухота. Эрих Кош умеет заставить читателя задуматься над этим, идет ли речь о старой фронтовой дружбе, как в романе «Снег и лед», или, как в рассказе «Авария»,— об отношениях двух близких друг другу людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Эрих Кош принадлежит к писателям, которые смело идут навстречу жизни и не сторонятся острых тем. В строю писателей социалистических стран, ведущих борьбу за нового человека, за подлинный гуманизм, ему принадлежит достойное место.

Н. ВАГАПОВА

Дом у моря

Дом у моря всегда был моей заветной мечтой. Где-нибудь на юге, в уютной тихой бухте, окруженной маслиновой рощей, вдали от людей и жилья. Узкая полоса песка на берегу словно белый кант на отложном воротнике матроски. Одинокая лодка, вытащенная на отмель, одинокая птица реет над морским простором, взмывая плавно ввысь и вертикально опускаясь; и неподвижный бор, устремивший к небу темные вершины. Сушатся на песке растянутые сети, женщина, хлопоча по хозяйству, выходит из каменного рыбацкого дома и снова скрывается в нем. Лица ее не видно, шагов не слышно. Тишина уединения, умиротворение и благостный покой.

Не знаю, откуда я взял эту картину. Может быть, видением человеческого счастья она всегда была в моем сознании. будто я в том краю когда-то уже жил в какой-то прежней жизни.

Я стоял в пыли среди дороги. Слева от меня каменная подпорная кладка с растущей из нее корявой, опаленной зноем смоковницей. Справа высокий куст дикого шиповника, усыпанный красными цветами. Поодаль застывшим пограничным столбом вознесся гордо к небу черный одинокий кипарис. В ушах отдается звоном стрекотание цикад, а прямо передо мной глазам открывается маленькая синяя бухта с пустынным пляжем, в окаймлении тонкой бахромы морской пены с маслиновой рощей вокруг и сине-красной лодкой, вытащенной на берег.

Я ждал — ждал того, что должно было последовать дальше. И вот откуда-то из маслиновой рощи, подтверждением лучших надежд, появилась женщина. В руках у нее был глиняный кувшин, она вышла на берег и спустилась пляжем к морю. Присела, нагнула кувшин и, зачерпнув воды, тем же путем пошла обратно, пока не скрылась из виду.

Замереть бы мне, не двигаться с этого места и вернуться, наконец, туда, откуда я когда-то вышел. Я подался вперед; но там, где ожидал увидеть дом, обнаружил безлесую луговину, на которой мужчина и женщина собирали в вязанки сушняк, готовясь сносить их в лодку. Дома нигде не было видно...

Прошло два года, и как-то, отдыхая летом в других краях, я взбирался по скалам над морем. Козьей тропой, вьющейся среди ежевики, столетников и пучков жесткой травы. Вот и вершина; дул сильный

бриз, и море с шумом билось о скалы. Я прошел перелесок кипарисов и очутился вдруг перед каменным домом, одиноко прятавшимся за стеной глухих и буйных зарослей.

Нет, это было не то, о чем я мечтал, что так хотел увидеть. Ни полукружья тихого залива, ни мирной глади моря, ни песчаной косы. Ни рощи сребролистых маслин, ни лодки на берегу, ни женщины, бредущей отмелью. Все будто вымерло. И только тонкая и длинная ядовитая змея с ленивой медлительностью сползла по каменным ступеням и исчезла в какой-то щели.

Пристроенный к скале, это был господский старый дом, уже наполовину развалившийся, перед ним — причал для лодок, а на берегу вместо песчаного пляжа — обломки скал и щебень. Я заглянул и вовнутрь: большое и темное сводчатое помещение для зимовья лодок, просторная вымощенная плитками столовая и лестница, ведущая в верхний этаж.

Я переждал в тени, пока спустилось солнце, и вечером в отеле спросил за ужином официанта:

— Чей это там дом за мысом?

— Где, где?

Он был нездешний, в ту сторону никогда не ходил, и, ничего от него не добившись, я на следующий день попытался на пристани разузнать про старый дом у носильщика, пока он перетаскивал мои пожитки на пароход.

— Ишь ведь куда вас занесло! А мы сами-то, местные, и не знаем, чей он, тот дом. Сказать бы вам раньше, могли бы его за бесценок купить. А так его осенью разберут на починку причала.

Потом я жил без потрясений года два, но в мыслях все так же был верен мечте найти когда-нибудь заветный дом у моря, пока однажды, отдыхая летом в лесной полосе Среднего приморья, неожиданно на него не напал. В прибрежном сосновом бору.

На этот раз удивительно сочетались строение и место. Правда, дом был не на самом берегу, а чуть поодаль, поднятый над морем шагов на тридцать. Ни крестьянский с нижним помещением и тремя окошками вверху, более всего привычный моему воображению, ни бывший барский особняк с роскошной балюстрадой и широкой каменной лестницей, вроде той, что я видел два года назад. Не было вокруг ни маслин, ни синей бухты, но у мелководья заводи между скалами залегал белый клин мягкого песка. В море под парусом покачивалась лодка, две чайки резвились вдали над водой, и какая-то стройная, высокая и, должно быть, необыкновенно красивая женщина спускалась к берегу от правильного четырехгранника дома, выложенного из гладкого брачского камня.

Все же я его в конце концов нашел! Не напрасны были поиски; я знал, что где-то этот дом у моря должен быть. Не беда, что здание не совсем такое, каким я его себе представлял. Мечты редко совпадают с явью, и упрямцу, ищущему непременно совершенство, не хватит времени им насладиться. Лучше довообразить недостающее действительности, чем пытаться поднять жизнь до уровня мечты,— так, разгоряченный и взволнованный, я оставался на холодном камне тут же, под оградой, до той поры, пока деревья, дом и отмель не погрузились в темноту.

— Довоенный он,— сказал мне хозяин постоялого двора, где я заночевал.— Построен одним богатым загребским купцом, вскоре разорившимся. После его смерти дом перешел трем сыновьям, но и они им пользуются только летом, попеременно, так как сразу всех он не вмещает. Сейчас, насколько мне известно, там живут два брата с семьями. Видно, жены у них не ладят; из-за этого и еще из-за каких-то

неурядиц они еще прошлым летом собирались его продать. Если хотите, могу с ними завтра поговорить.

Я согласился и через два дня пошел их повидать.

Дождавшись, когда спадет полдневная жара и тени снова выползут из-под деревьев и домов, я полегоньку двинулся в путь. У начала подъема, где дорога от берега сворачивает в гору и, петляя, ведет через лес, я остановился передохнуть. Снизу доносились голоса и смех поздних купальщиков, а под пологом густых деревьев стояла тишина. Август, уже заалела ежевика, и по дороге я отщипывал ягоды с кустов, перекатывая их во рту. А сердце мое бьется в тревоге и каком-то необъяснимом волнении.

Меня не ждали, хотя и были предупреждены о том, что я должен прийти. И не было ни звонка, ни какого-нибудь другого средства оповестить о моем приходе. Два-три цветастых полотенца сушились на траве, а на веревке сигнальными флажками адмиральского корабля полоскалась веренница носков. Судя по всему, хозяева должны были быть где-то здесь, возле дома, но я их не видел. Первое, что я заметил, была босая женская ступня, видневшаяся из-за угла.

Они были не то что голые, но и одетыми их тоже нельзя было назвать. Двое мужчин, крупных, нескладного сложения — один в плавках, шлепанцах на ногах и с платком на голове, другой — босой, в залатанных штанах неопределенного цвета, обнаженный до пояса: они словно поделили между собой всю имевшуюся одежду. На скамье ничком лежала женщина, не поднимая головы с локтя, служившего ей изголовьем.

Они отдыхали. Поздняя послеполуденная сиеста. На столе перед ними стояли тарелки с остатками еды. Человек в плавках читал газету. У лежавшей женщины оголилась грудь, но она не пыталась ее прикрыть хотя бы рукой. Второй мужчина глядел на море. Нехотя поднявшись, он вразвалку двинулся мне навстречу.

— Прошу вас! — Широким жестом пригласил он меня войти, принося в то же время извинения, что некуда меня посадить.— Может быть, лучше всего сразу начать с осмотра.

Мы вошли с ним в узкий коридор, потом в комнаты. Такой привлекательный снаружи, дом был сильно запущен внутри. Немытый пол, покрытый драными половиками, облезлые стены в следах от убитых комаров, незастеленные кровати, хранившие отпечатки недавно еще лежавших в них тел. В полупустой парадной комнате старый, провалившийся диван, перед ним на полу разбросано несколько книг, на стуле — пишущая машинка со вставленным чистым листом бумаги.

— Мы здесь живем только летом, наездами. Давно уже ничего не обновляли. А если в этот дом вложить немного, он будет как новый.

— Прекрасный дом! Не жалко вам с ним расставаться?

Он пожал плечами. Мы сидели на камне под высоким лавром, который окуривал нас своим успокоительно-умиротворяющим благоуханием и ласково поглаживал меня веткой по плечу при каждом моем неосторожном движении. Те двое перед домом не тронулись с места, только женщина, поддерживая грудь, осторожно перевернулась на спину и снова подложила под голову согнутые руки. Внизу, в лодке, играли дети.

Все они трое, объяснял мне мой провожатый, службой и семейными обстоятельствами связаны с городом. А квартиры у них плохие, и они не могут позволить себе роскошь за пятнадцать — двадцать дней здешнего приволья страдать от тесноты остальную часть года. Для расширения городского жилья необходимы средства, и потому, несмотря на то что этот дом для них так много значит, они решили его продать.

Цена не показалась мне завышенной. Прежде мне никогда не при-

ходилось думать о доме у моря как о чем-то, что действительно можно приобрести: это был первый случай, когда он приблизился на столь реально измеряемое расстояние. Но мешало то, что я их всех застал тут в сборе; я чувствовал себя захватчиком, намеревающимся вытеснить их из родного дома, ростовщиком, наживающимся на чужом несчастье.

— Мне жаль лишать вас родного гнезда,— сказал я.— Тем более что мы, оказывается, коллеги.

— Какая разница,— утешал он меня, не отрывая взгляда от тех двоих перед домом.— Не вы, так кто-нибудь другой.

— Несомненно. Но все-таки выходит, что я забираю у вас то, что принадлежит вам, и присваиваю себе то, что не принадлежит мне.

— Ну, может быть, в каком-то смысле! — делая над собой усилие, откликнулся он. Ему казалось, что я пытаюсь снизить цену.— Но, поверьте, мы просим немного. Минимум того, что нам необходимо.

— Братья ваши тоже согласны? Им тоже не жаль расставаться с домом?

— Мы с ними обо всем договорились.

— А остальные члены семьи? — допытывался я, провожая взглядом женщину, входившую в дом.

— Вы имеете в виду мою жену? Ради нее я и решился окончательно. Доктора рекомендуют ей горы и покой.

Мы поднялись, не сговариваясь, и снова двинулись к дому. Из него навстречу нам выходила женщина, обертывая бедра синей юбкой. На голове у нее была шляпа с широкими полями, закрывавшими лицо. Она перебросила через плечо полотенце и прошла так близко от нас, что меня обдало волной воздуха от ее движений. Она спускалась к морю. Прилежный читатель газет, наконец, отложил их в сторону. Потянулся, раскинув руки, громко зевнул. И шлепая тапочками, волочившимися за его пятками, поплелся в дом. Мы дошли до калитки и здесь остановились. Оба брата производили впечатление опустившихся не по годам людей; того, что был сейчас передо мной, терзала какая-то скрытая боль. Он в смущении курил и часто моргал глазами, как бы досадуя на дым собственной сигареты. Я должен был все обдумать и сообщить окончательное решение, но как можно быстрее, поскольку долго ждать они не могут.

— Если мы договоримся, надеюсь, вы будете моим гостем. И впредь будете считать этот дом своим. Иначе я чувствовал бы себя действительно неловко,— упрямо тянул я свое.

Он только махнул рукой. Мы распрощались и разошлись.

Потом я ему два или три раза писал. И он мне, но вскоре переписка оборвалась. В письмах мы друг перед другом все время извинялись: он — за высокую цену, я — за то, что лишаю его дома, пока нам обоим не надоел этот обмен любезностями. Всей суммы моих сбережений и взятого в долг, когда я подсчитал, оказывается, едва хватало на приобретение фундамента от дома. Признаться в этом было невозможно, но, кажется, он первый прекратил переписку, не ответив на мое письмо.

На некоторое время я угомонился. Но потом вдруг ужаснулся, что так, пожалуй, никогда и не видать мне дома у моря. Я дал объявление в газету, и через несколько дней стали приходить отклики. Чего только в них не предлагалось: от брачного союза до виллы в Калифорнии. И только одно предложение показалось мне серьезным и стоящим внимания. Подошло время летнего отпуска, я положил письмо в карман и двинулся в путь.

Автобус остановился на небольшой приморской площади. По расписанию он стоял здесь несколько минут, но шофер обнаружил непо-

ладки в моторе, и, пока они с помощником занимались починкой, а остальные пассажиры попрятались в тень, я успел все разузнать.

— Где дом капитана Збутеги?

— Там, на самом мысу.

Мальчик вывел меня к морю и показал рукой на мыс в устье залива. Я замер, пораженный. Наконец-то! Я его нашел. Это было именно то, что я искал годами.

Ни тихой бухты, правда, ни песчаного пляжа. Ни маслиновой рощи.

Отгороженный от прочего мира стеной соснового бора, высившегося над ним, стоял он, одинокий, на краю утеса, как воин на своем последнем рубеже. Насколько без бинокля можно было разглядеть, он был как раз такой, как надо: два окна и дверь внизу и три окна на втором этаже. Из них я смогу беззаботно следить за проходящими вдали кораблями, не испытывая желания на них уплыть и не опасаясь, что они пристанут к дому.

Автобус гудел. Я заторопился и вернулся к остановке.

В тот год я проводил лето поблизости от облюбованного дома и в первые же дни в обществе приятелей — трех ближайших своих друзей — отправился его осматривать. Собирались мы словно на помолвку и, как водится в подобных случаях, по дороге то и дело прикладывались к объемистой бутыли со дна лодки.

— Вот он! — крикнул я с носа, всматриваясь вдаль из-под козырька ладони и капитанским жестом, указующим на вожделенную сушу, вытянул вперед вторую руку.— На мысу, где чернеет бор!

— Этот? — поразились они.— Ну и мрак! Как «Остров мертвых»!

— Уж очень нелюдимо он стоит!

— Ото всех особняком!

— Это как раз то, что мне надо! — отбивался я, стараясь перекричать жужжание мотора.— Если мне захочется увидеть людей, я могу сам к ним пойти, а когда они мне надоедят, снова залезу в свою скорлупу.

— Но в жизни всякое может случиться: болезнь, несчастье, да мало ли что еще...

Этому я заткнул рот бутылкой, но тут вступил другой, только что от нее отвалившийся.

— Я его по-другому себе представлял. У тихой синей лагуны. Полоса песка обрамляет залив, словно белый кант матроски, птица взмывает в высоту и плавно спускается вниз, легкая лодка на берегу...

Третий тоже хотел что-то добавить, не иначе как о сетях и о женщине — как она выходит из дома и снова скрывается в нем. Но лодку накрыла волна, обрызгав всех нас и заставив меня спуститься с носа. Мы приближались, теперь я мог во всех подробностях рассмотреть этот дом. Он только издали казался каменным и белым. В действительности его покрывала штукатурка цвета молодой картошки: нечто конопатое, пегое и облупленное, и в довершение ко всему, словно курносый нос румяное лицо, фасад уродовал торчащий вперед нелепый балкон в заржавленной железной ограде. Пристать было негде. Ни залива, ни отмели под домом, и волны не давали подойти к отвесным скалам мыса, выдвинутого навстречу всем ветрам. Пришлось уйти обратно в залив, но и там, выскакивая из лодки, мы намочили ноги.

— Даже пристать негде! Как стеной от моря отгорожен! — ворчал один из моих друзей.

— Не преувеличивай,— осадил его другой.— Бывают дни, когда и тут море спокойное. Жаль только, что вокруг дома нет маслин; приморский пейзаж всегда у меня связан с маслинами. Сосны придают ему оттенок суровой неприветливости.

— И к тому же дом не каменный,— заметил третий, указывая на то, чего не мог отрицать даже я.

Дом, о котором я мечтал, всегда был с тремя окнами в верхнем и двумя окнами в нижнем этаже, с причалом на берегу и белой одинокой лодкой на приколе.

О чайках приятели мои позабыли! Вспугнутые бризом, чайки сейчас как шальные метались по небу, а какая-то босоногая женщина с нечесаными волосами притащила к берегу помойное ведро и все его содержимое опрокинула в море.

Здесь обитало несколько семейств. Работяги, беднота, временно поселенная в этом доме два года назад. Четыре комнаты переоборудованы под кухни. Сгнивший пол, закопченные стены, выщербленная лестница. Дымный чад, сырость, зловоние нужника. Мы вышли подавленные и растерянные. А мои друзья еще и рассердились на меня за то, что я испортил им день.

На обратном пути, не столько для того, чтобы переубедить своих спутников, сколько из самолюбия, я попробовал было снова завести речь о доме на мысу:

— Работяг этих выселят, это мне досконально известно. А ремонт и приведение его в порядок потребуют не так уж много денег.

Они меня и слушать не хотели. А когда на следующий год тем же автобусом я проезжал знакомые места и во время вынужденной стоянки, дающей возможность шоферу заскочить в трактир, улучил минуту, чтобы спуститься к берегу, я едва мог узнать преобразившийся дом! Пегая штукатурка была с него сбита до правильных прямоугольников белого камня. Балкон, уродовавший некогда фасад, снят вовсе, и сейчас, насколько я мог разглядеть, дом принял вид, совершенно соответствующий моему идеалу: три окна во втором этаже, два в первом... В море среди скал, в искусно сделанном заливчике, качалась на волнах новая, белая, как чайка, лодка.

— Многим его предлагали купить,— рассказывали мне, пока я садился в автобус.— Но приобрел его за гроши какой-то иностранец и, видите, во что превратил.

Случай этот послужил мне уроком, и следующим летом я твердо решил купить любую развалюху возле моря, какая подвернется, и перестроить ее по-своему, не слушая ничьих советов, а следуя лишь собственным своим желаниям. Я присмотрел кое-что для себя подходящее и должен был съездить в те места, тут неподалеку, чтобы покончить с формальностями. Председатель тамошней общины прислал мне вызов явиться к нему.

Я застал его в правлении с двумя неизвестными мне лицами. Председатель поздоровался со мной и предложил занять место между ними. Я повиновался с тоскливым ощущением подследственного, которому предстоит оправдываться.

— Насколько мне стало известно, вы собираетесь приобрести и восстановить строение на пляже,— начал он, глядя в какую-то бумажку.— Вы говорили с кем-нибудь перед тем, как принять такое решение?

— А как же! С женой, архитектором и с нынешним владельцем постройки, разумеется. А что, разве я обязан был с кем-то еще говорить?

— С точки зрения законного порядка не обязаны. Но, конечно, поступили бы правильно, посоветовавшись с кем-нибудь, к примеру, из здешних знакомых.

— Знакомые не всегда хорошие советчики, особенно в таких делах. Я уже недавно обжегся на этом. А что бы, например, посоветовали мне вы, если бы я у вас просил совета?

— Отступиться от своего намерения.

— Отступиться! С какой стати?

— А для чего вам, собственно, понадобился этот дом? — обратился ко мне один из тех двоих, что сидели по сторонам от меня.

— Зачем мне понадобился дом у моря? Да разве это надо как-то объяснять? — ответил я вопросом на вопрос, но подавляя возмущение, затем добавил тихо и доверительно: — Все этого хотят. Хотел мой отец, хотел дед и, надо думать, прадед. Но никому из них не довелось осуществить свою мечту. Как до сих пор и мне, несмотря на многие мои попытки. Разве в желании иметь свой дом у моря есть что-нибудь предосудительное и незаконное?

— В желании, возможно, нет: в конце концов это ваше личное дело. Но осуществление его касается всей здешней общины. И у нее вы поддержки не найдете!

Я взорвался. Что за насилие! Какое право они имеют мне препятствовать? Кому может мешать чье-то желание купить себе дом у моря? Желание ценою жестких самоограничений, другим совершенно неведомых, во что бы то ни стало осуществить давнишнюю свою мечту. Да разве я помощи у них прошу? Или денег взаймы? Или кого-нибудь из дома выгоняю? Нет, я берусь за свой счет и своими силами восстановить старую развалину. Так что же местная община может против этого иметь? Кому от этого может быть плохо?

— Нам! — воскликнули те двое, сидящие по сторонам от меня.

— А кто вы такие, разрешите узнать?

Они вскочили. Торжественно приосанившись, представились и, пожав мне руку, снова сели. Председатель общины в подтверждение безмолвно кивнул головой.

Новые мои знакомые не были представителями власти и законности, во всяком случае в прямом смысле этого слова, хотя по одежде и манерам походили на них. Сидящий слева был агентом некоего столичного предприятия, сидящий справа — большого строительного треста. Выяснилось, что предприятие намеревалось возвести на берегу отель, а трест — производить работы. Общине это сулило большие выгоды. Мои же планы путали все карты.

— Жаль,— сказал я.— Но я первый заявил о своем намерении.

— Такое первенство закон в расчет не принимает.

— Если не закон, то практика. Я уже договорился с владельцем.

— Послушайте, товарищ,— примирительно обратился ко мне председатель, расстилая сметы на столе.— Уверен, что мы с вами найдем общий язык. Ведь не захотите же вы для одного себя забрать участок, где могут разместиться тысячи людей, жаждущих заслуженного отдыха, и отнять у их детей возможность окрепнуть, поправиться и закалиться. И не решитесь бедную общину, не имеющую других источников дохода, лишить перспективы получить средства, с помощью которых она сможет построить больницу для населения и школу для детей. И, надо полагать, не доведете до того, чтобы вас по общественной линии осудили за узко личные интересы, тем более что и владелец дома, хоть человек простой и неученый, все же внял нашим доводам и выказал готовность отказаться от прежде заключенного с вами соглашения. Вот посмотрите-ка сметы!

И он стал мне на что-то указывать, а один из тех двоих, что сидели по сторонам от меня, услужливо перечеркнул жирным красным карандашом мою развалину. Второй на этом месте мгновенно набросал проект отеля.

Все встали.

— Впрочем,— сказал председатель,— если уж вам так дался дом у моря, есть и другие места, можно там поискать.

Я безмолвно вышел. Еще не достроенный, дом был уже разрушен

двумя взмахами карандаша. «Есть и другие места!» Я в этом убежден. Белый песчаный пляж, окруженный маслиновой рощей, лодка на отмели, одинокая, взмывающая ввысь и реющая над простором моря птица. Одно только плохо — у меня совсем почти не остается времени на поиски, как не осталось почти и надежды когда-нибудь найти заветный этот дом.

Но тем же летом мне представилась еще одна и, вероятно, последняя возможность.

Я отдыхал в маленьком рыбацком селе. Вечером от нечего делать часто засиживался на террасе перед трактиром в обществе здешнего бездельника, изрытого оспой человека по прозвищу Американец. Длинноногий, тощий, он несколько лет прожил в Америке, держал небольшие питейные и игорные заведения, посещавшиеся нашими переселенцами. И пока, отбиваясь от комаров, мы потягивали с ним густое красное вино, я не мог удержаться, чтобы не посетовать:

— Вот и я давно мечтаю обосноваться где-нибудь у моря; купить свой дом и жить в нем тихо, обрабатывать сад, ловить рыбу. Маленький, скромный дом где-нибудь на отшибе, в тихой лагуне — песчаный пляж, сушатся кое-где сети, лодка вытащена на отмель, а вокруг — маслины и кипарисы.

И все в таком духе.

Он кинул на меня косой взгляд из-под своего нависшего, костистого, изрытого оспой носа и подлил в стакан вина. По темному морю двумя одинокими звездами тихо перемещались огоньки двух катеров.

— В моем родном краю небо низкое, земля сырая, обзора никакого нет. Дед мой мечтал иметь дом у моря, и отец мой мечтал, и я тоже давно уже его ищу, да боюсь, что так и не найду.

— Если никак готовый не найти, отчего бы, брат, самому не построить? Места и камней хватает. Я своими руками в Америке поднял несколько домов. Чего сам себе не сделаешь, то тебе никто не сделает! Так уж заведено!

Оба мы подвыпили прилично; кроме нас, в трактире никого не оставалось, и мы решили разойтись по домам.

— Покажу я вам одно местечко, оно будто нарочно создано, чтобы вы на нем построили дом. Сейчас уже поздно, а завтра пораньше прямо и пойдем его смотреть,— проговорил он заплетающимся языком, придерживаясь за стул.

На лестнице мы расстались, и я поднялся к себе.

Только рассвело, когда я высунул голову из узкого окошка своей комнаты. Солнце еще не осветило берег. Рыбаки, вернувшиеся с ловли, выбирали сети. Несколько женщин и детей наблюдали за ними с косогора. У ног их навострили уши кошки, ожидавшие подачки в виде свежей рыбы. Моего вчерашнего знакомого между тем нигде не было видно.

Я обнаружил его только к вечеру на террасе перед трактиром. Он сидел развалившись на стуле, в соломенной шляпе, сдвинутой на затылок, вытянув перед собой длинные ножищи. Мы по обычаю выпили по одной, заедая тонкими кусками твердого сыра. Говорили обо всем понемногу, он — больше всего об игорных заведениях, которые ему приходилось держать. Про усадьбу и дом в тот день он не обмолвился ни словом. Ни через день, ни через два, пока я сам не напомнил о его обещании.

— Усадьба?—переспросил он с удивлением.—Я думал, вы это просто так, не всерьез. Но если уж вам загорелось, тогда ладно, well, я ее вам покажу. Превосходное место, лучшего не найдешь.

Покровительственно и снисходительно похлопав меня по плечу, он предложил для развлечения скинуться по маленькой в карты.

Долго еще потом тянул он со своим обещанием. Отговаривался разными делами или назначал свидания, а сам не являлся на них. А когда я его упрекал, делал знаки молчать.

— Порядок, порядок! У меня это дельце на примете! — перебивал он меня.— Торопиться некуда, в таких вещах нельзя пороть горячку.

Может быть, он передумал или просто сболтнул под мухой и теперь стесняется признаться? Я так его об этом и спросил, но он невероятно оскорбился:

— Здесь она, брат. Земля не птица, небось не улетит. Не знаю только, понравится ли тебе. По вкусу ли придется?

Я сказал, что совершенства, как показывает опыт, не найти. Вопрос лишь в том, с какими недостатками приходится мириться. Я уже и так упустил несколько случаев и теперь, как засидевшаяся невеста, готов, не привередничая, соглашаться на все, что подвернется. В крайнем случае и на клочок земли у моря, где можно было бы построить дом. Маслины и задумчивая бухта не так уж обязательны, лишь бы только море было близко и место тихое.

— Это будь спокоен. Как же иначе. Прямо у самого пляжа,— заверил он меня и на следующее утро, появившись передо мной в тени густого виноградного навеса, позвал смотреть участок. Я был в сандалиях и хотел переобуться.

— Не стоит. Здесь близко! — ткнул он рукой куда-то в пустое пространство между сельскими домами прямо над нами.

— Здесь?! — поразился я. Место смахивало на общественную помойку, где копошились и кудахтали куры.

Отправились осматривать участок. Это был небольшой клочок земли, всего в каких-нибудь сто квадратных метров, заросший ежевикой и бурьяном. Его окружали огороды с редкими смоковницами. Нижнюю его границу обозначало большое тутовое дерево, облепленное осами. Чуть отступя, по сторонам, лепились сельские дома и сараи.

Мы стояли на каменной подпорной стене под порывами полдневного бриза. Мой провожатый, высокий, жилистый и сухой, придерживал шляпу за широкие поля. Штаны и рубахи на нас полоскались под ветром, как паруса. Широкий вид открывался нам с возвышения. Ребятишки возились возле лодки и брызгались на мелководье. Два рыбака чинили сети. Где-то ревел осел. Пахло жареной рыбой, и женщины перекликались из летних кухонь. Из всего того, о чем я так давно мечтал, передо мной было только море и песчаный берег. Да и те захламленные, хмурые.

Целый день прошел, пока я, наконец, собрался с мыслями и мог спросить его, сколько он хочет за свой участок земли. Он искоса на меня посмотрел, как бы прикидывая на глазок размер той суммы, которую могла бы выдержать овладевшая мною страсть. Он не ошибся в расчетах: цена оказалась изрядной. Но я на этот раз исполнен был решимости добиться своего, несмотря ни на какие издержки. И рукопожатием поторопился скрепить нашу сделку. Он энергично потряс мою руку, а потом мы воздали должное скудному ассортименту местного трактира.

— Хотелось бы составить и какой-нибудь письменный документ,— намекнул я ему при расставании и в подтверждение нерушимости договора одновременно потихоньку, словно взятку, сунул ему в руку несколько кредиток, а он их скомкал, не считая, в кулаке и небрежно запихнул в карман.

— Это еще зачем? — изумился он.— Мы, кажется, как люди договорились, а слово крепче всякой бумаги.

Предложение сходить к адвокату и оформить настоящий договор просто его оскорбило.

— Не хватает еще на это деньги тратить! — возмутился он. В таких вещах он лучше всякого юриста разбирается: не зря столько лет улаживал нашим в Америке разные дела. Назавтра он притащил мне рукописный текст «Соглашения о купле и продаже недвижимости», «заключаемого между продавцом, с одной стороны, и покупателем — с другой, коим покупатель обязуется выкупить недвижимость, а продавец как владелец данной собственности обязуется передать его во владение покупателю,— все это на основании предварительной договоренности между покупателем и продавцом в отношении вышепоименованной недвижимости». И тому подобное, написанное затейливым писарским почерком на засаленной, помятой, вчетверо сложенной бумаге.— Не беспокойся,— уверял и успокаивал он меня.— Я все устрою all right!

Но в город идти он отказывался наотрез. Для чего без надобности тратиться и ноги ломать по дорогам? А уж если за печатью дело стало, ее нам и тут, в общине, прихлопнут. Так он тянул до моего отъезда, когда накануне вечером, потребовав с меня остаток денег, торжественно вдруг заявил:

— Сегодня пораньше ложись! Завтра чуть свет отправляемся в город.

Утром я его, однако, едва растолкал и насилу притащил к отходу автобуса. Мы сели рядом и все время молчали, будто на похоронах. Молчали и пробираясь узкими проулками к суду: он — в сумрачной задумчивости, переживая, видимо, разлуку со своим имением, я — возбужденный хотя и неполным, но близким осуществлением давнишней мечты. Но стоило нам переступить порог суда, как мой спутник вдруг совершенно изменился и взыграл духом, словно бы пришел к себе домой. Послал служителя купить нам гербовые марки, лизал их языком, широким, как лопата, и, подражая почтальонше, со стуком припечатывал кулаком к бумаге. Балагурил с делопроизводителем из судебной канцелярии и называл по имени чиновника, регистрирующего оформление сделки. Потом обнял меня, но, не дотянувшись до щеки из-за нависшей дули своего носа, символически облобызал, чмокая воздух.

— Ну, в добрый час! — воскликнул он, как будто и у него с души спал тяжелый камень, и мы пошли с ним в ближайший трактир вспрыснуть благополучное завершение дела.— Залетная птица! — рекомендовал он меня там, похлопывая по плечу и подмигивая, но я на него не обижался и все время представлял себе, как, словно гриб, на берегу растет и поднимается мой белый дом у моря. К вечеру мы едва доплелись до автобуса.

Из трактира он прихватил с собой бутыль ракии и в пути, насколько позволяли колдобины тряской дороги, прикладывался к ней, потчуя наших попутчиков, и сам пил за их здоровье. Но потом изнемог и заснул у меня на плече. Я его разбудил и кое-как довел до дому. Он пробормотал что-то среднее между прощанием и ругательством и, пошатываясь, исчез за калиткой.

Больше мы с ним не виделись. Уезжал я рано утром и пожалел его будить. А перед отъездом еще раз обошел свою усадьбу, ступая по земле осторожно, как по драгоценному ковру. Мне казалось, что я совершал обряд освящения первого камня фундамента. Проселочной узкой дорогой поднявшись к шоссе, я еще раз оглядел глазами пустынный берег, спокойное море — и уехал.

Итак, все решено.

Дома, в Белграде, я обновил знакомство с архитекторами и несколько дней, как модные журналы, проглядывал и перелистывал периодические издания по архитектуре. А потом поспешно и убыточно

продал все, без чего мог обойтись, только чтобы набрать необходимую сумму.

Однажды в полдень, когда я был занят дополнением и усовершенствованием планов дома, почтальон принес мне письмо. На нем была судебная печать, и, повертев его опасливо в руках, я вскрыл конверт. Там значилось:

«Настоящим уведомляем вас о невозможности удовлетворить вашу просьбу об утверждении в правах собственности на купленный земельный участок, ввиду неимения таковых прав у его прежнего владельца, коему принадлежала лишь 1/64 его часть, соответственно переведенная на ваше имя, о чем в книге актов сделана запись. Начальник судебной канцелярии...» И прочее.

Я немедленно написал письмо «прежнему владельцу» — Американцу, но оно осталось без ответа; месяц спустя письмо возвратилось нераспечатанным с пометкой о выбытии из села указанного в нем адресата. Тогда я обратился к одному из ближайших его соседей и после долгого молчания получил ответ. Корявыми и нетвердыми письменами он извещал меня о том, что знакомый мой вскоре же после моего отъезда подался снова в Америку, и удивлялся, что я об этом ничего не знал. Он еще оттуда никому не писал, и адрес его неизвестен.

Из ящика письменного стола я достал синюю папку с надписью «Дом у моря». Я стал ее внимательно проглядывать и перечитал еще раз «Соглашение о купле и продаже недвижимости». В комнате со мной была жена. Она сидела напротив и наблюдала за мной.

— Послушай,— обратился я к ней,— сколько будет — шестьдесят четвертая часть от ста двадцати восьми метров?

— Сколько? Два метра!

— Два метра! — подтвердил и я, закрывая синюю папку и запихивая ее глубоко во мрак ящика.— Два квадратных метра,— прибавил я уточняя.— А впрочем, если вдуматься как следует, оказывается, и этого достаточно!

И мне представилось: море! Где-то на юге. В тихой маленькой бухте, окруженной маслиновой рощей, вдали от людей и жилья. Узкая полоса песка на берегу — словно белый кант на отложном воротнике матроски. Одинокая лодка вытащена на отмель, одинокая птица, мерно взмывая и опускаясь, реет над морским простором. Сосновый темный бор, устремивший к небу неподвижные вершины, и в его тени на двух квадратных метрах приобретенного земельного участка — каменная белая плита с моим именем. Сушатся на песке растянутые сети, и какая-то женщина, хлопоча по хозяйству, выходит из дома на берег и снова скрывается. Лица ее не видно, не слышно шагов. Тишина уединения, умиротворение отрешенности.

Перевод ТАТЬЯНЫ ВИРТЫ

Старый Грбич

В первый раз я шел к старому Грбичу летом.

На море покачивались пенистые гребни волн, яркий августовский день сиял над узкой полоской темной зелени вдоль берега и над высокой стеной горного хребта, загораживавшего, как шторой, вид на север. Здесь, среди чередующихся то темных, то светлых полосок зелени — маслиновых рощ, виноградников и лесов,— расположились кучками красных крыш и белых стен кре-

стьянские домики, а между ними, вдоль живых изгородей ежевики и шиповника, как горные ручьи, струились каменистые тропки.

Мы отдыхали. Горячий, почти раскаленный воздух разлился по всей округе. Он точно трепетал в такт песне сверчков и отдавал резким запахом хвои и масла, вытопившегося на листве лавровых деревьев. Я и мой товарищ, чернявый молодой человек, рабочий-кораблестроитель, сидели на низкой каменной ограде небольшого сельского кладбища, наблюдая проходивших мимо крестьян, которые все гнали перед собой маленьких, тяжело нагруженных осликов. Загорелые, в полотняных рубахах и соломенных шляпах с большими полями, обычно, возвращаясь в село, они движутся не спеша и охотно останавливаются поболтать. Сейчас они проходили торопливо, нахмуренные и молчаливые, замахиваясь на ленивую скотину. А далеко внизу, вдоль берега моря, по шоссе ползли похожие на больших черных пиявок воинские подразделения. То и дело проезжали, сверкая стеклами, автомобили, и звуки их сирен поднимались ввысь вместе с облаками пыли, которые они за собой оставляли.

Да, и здесь, вдали от шоссе, в толпе проходивших крестьян, ощущалась тревога. Хмурясь и не поднимая глаз, они в ответ на наш вопрос, далеко ли до дома Грбича, бросали на ходу: «Да то ли час, то ли полчаса пути», а то и вовсе проходили молча.

На самом же деле нам пришлось больше часа шагать под палящим солнцем по голой каменистой равнине.

Хутор Грбича, издалека казавшийся черной точечкой среди белых камней, расположился в просторной котловине, окаймленной круто поднимавшимися горами. Лишь узкий проход с южной стороны открывал ее навстречу морю, и видны были очертания далеких островов и бледно-зеленая черта на том месте, где сливались море и небо. Высохшая каменистая пустошь и склоны гор, нависшие над хутором Грбича, резко отделяли его от всего окружающего, закрывая от взглядов прохожих, да и ограда из полуотесанных камней, заботливо выведенная в рост человека не сухой кладкой, а рукой опытного строителя, весь век свой над ней трудившегося, словно подчеркивала границу, поставленную между пустошью и котловиной самой природой.

Грбича в доме не оказалось. Каменное здание, построенное, как большинство домов приморских крестьян, в два этажа, с никогда не открывающимися ставнями, стояло у самого склона горы, прохлада от которой даже в этот жаркий день держалась под кронами шелковиц, росших по обе стороны дома. Справа тек ручей, когда-то давным-давно вымывший эту котловину и пробивший выход к морю. В тишине, царившей всюду вокруг дома Грбича, слышен был говор ручья, похожий на шелест ветвей на ветру, а глубоко внизу вода его мелькала среди зелени узкой полоской.

— Грбич — Американец,— объяснял мне мой товарищ, пока мы спускались от дома по узкой крутой тропинке.— В наших краях так называют тех, кто в молодости уехал в Америку на заработки. Лет пятнадцать он проработал там на рудниках и вернулся, как и все они, привезя с собой немного денег, но зато множество странностей и непривычных мыслей.

Тропинка наша кружила среди кипарисов, смоковниц и маслин и вела все ниже. И дом, и земля, и фруктовые деревья — все дышало покоем и уверенностью, какой веет от того, что сделано с упорством и прилежанием. Мелкие камешки на тропе поскрипывали под нашими ногами и отскакивали в стороны, а сбоку, на фоне голубизны моря и неба, покачивались от легкого ветерка маслиновые ветви, и листочки их поворачивались то зеленой стороной, то серебристой. Солнце

по-прежнему ярко светило над нашими головами, но после зноя на открытой пустоши, который палил, сверкал в глазах и гудел в ушах, здесь, среди прохлады спокойной, темной зелени, жара ощущалась гораздо меньше.

— Да ты сам его увидишь,— продолжал мой товарищ.— В последнее время он сильно постарел. Хотя, когда он вернулся из Америки, и тогда он уже был весь седой, и мы его звали стариком. Вместо кованых сундуков, с которыми обычно приезжают люди, побывавшие в Новом Свете, Грбич одной рукой сжимал ручонку своего сынишки, а в другой нес матросский плащ-дождевик и потертый кожаный саквояж. Здесь, на безлюдном, запущенном отцовском хуторе, он и поселился, а что он на все руки мастер, ты и сам теперь видишь.

И мой приятель указал на аккуратные дорожки, на правильные ряды виноградной лозы, на подрезанные ветви маслин. Я промолчал, и он продолжал дальше:

— Старому Грбичу нелегко будет расстаться со своим сыном. Хотя сейчас это уже взрослый парень, ты увидишь. Жалко старика, но его парнишка — лучший проводник в этих краях. Мимо любого неприятельского поста проведет, без него нам не обойтись... Да вот и они.

Он остановился. Тропинка вывела нас на ровную площадку. Сквозь листву маслин, с той стороны, где пробил себе дорогу ручей, видно было море, а прямо перед нами был противоположный склон котловины. Шагах в десяти от нас, внизу, на желтой ниве, работали двое мужчин.

Они молотили пшеницу. Старик, в белой рубашке с засученными рукавами, с седой головой и прокаленными солнцем лицом и руками, ссыпал обмолоченное зерно с подстилки в мешок, а сын, голый до пояса, складывал солому в стог. Они делали свое дело тихо, без единого слова; и сверху, откуда мы на них смотрели, не было слышно ни шороха соломы, ни ударов цепа. Освещенные солнцем, они двигались на желтом округлом дне котловины, как два атлета на античной арене, а мы смотрели на них сверху, точно с галереи римского амфитеатра, и во всех их движениях, в самом их облике было столько красоты, душевного равновесия и благородства, что мы некоторое время так и остались стоять, глядя вниз.

Мой друг первым их окликнул и спустился к ним вдоль каменной ограды. Молодой Грбич заулыбался всем лицом, увидев нас, а старый лишь мягко усмехнулся одними глазами и каждому протянул мозолистую старческую ладонь.

Несколько мгновений мы стояли молча, лицом к лицу. Младший, сразу поняв, что означает наш приход, в замешательстве остановился между нами и отцом в своих голубых холщовых штанах и деревянных сандалиях на босу ногу, а тот, тоже словно почувствовав, что все это неспроста, переводил свои влажные темные глаза с сына на меня и на моего спутника и опять на сына. Теперь только стало заметно, как они похожи. Смелые, правильные черты молодого на лице старика словно застыли в глубокие морщины у рта и подбородка, придававшие ему выражение твердой воли и решительности, в то время как в глазах светилось мягкое выражение доброты, все видящей, все знающей и прощающей. Легкий ветерок с моря играл прядью волос, упавшей на лоб сына, и приподнимал белую рубашку на груди старика, так что казалось, что прямо под ней бьется его сердце — медленно, неуверенно, по-стариковски.

Затем старый Грбич отступил в сторону, а молодой, взяв большой сноп необмолоченной пшеницы, бросил его на подстилку. Оба они приготовились продолжать работу, а старик, заметив, что мы по-

прежнему стоим в стороне, подошел к ближайшей маслине, отрезал от нее две кривые корявые ветви и, обстругав их ножом, смущенно протянул нам.

Теперь мы все вчетвером били по золотисто-желтой массе, а она словно таяла под нашими ударами. Зерна легко выпадали из спелых колосьев, молодой Грбич подбрасывал новые снопы, а солому швырял в стог, как падаль с перебитым хребтом. На подстилке перед нами, смешанный с мякиной и соломинками, медленно рос коричневый слой пшеницы.

Я наклонился и взял ее в пригоршню. Она была вся насквозь прогрета солнцем. Темные округлые зерна лежали на моей ладони, похожие на крошечные свежевыпеченные хлебцы, они скользили между моими пальцами и падали назад на подстилку.

— Хороша! — похвалил мой товарищ. Он разгрыз зернышко и попробовал его на язык.

Старый Грбич бросил на землю пучок соломы, сел на нее и только тогда, скорее самому себе, сказал:

— Хорошо поднялась, да что толку, когда ее стальник заглушил. Зло никогда само собой не приходит,— Грбич указал рукой на море, а затем на лесистый склон,— и природа его не приносит. Зло всегда прорастает из нас самих.

Как только на стерню легли первые тени, пение цикад умолкло. Стало тихо, но порывы ветра приносили с моря глухое ворчание моторов и гудки машин, которые все шли и шли.

Старик пошарил рукой под стогом и достал узелок с едой. Он развязал платок, расстелил его на земле перед нами и, не угощая нас, отломил себе сыру и хлеба.

Пшеница лежала на подстилке под лучами солнца, по ней сновали муравьи и торопливо утаскивали зерна.

— Вот и эти откуда-то выползли,— говорил он. Я не понял, кого он имеет в виду — муравьев, растаскивавших урожай, или итальянцев, сплошь покрывавших берег, а старик уже продолжал словно для себя, забыв о нашем присутствии: — И выйдет зверь из пучины морской,— говорил он,— а вот и вправду вышел, и пойдет по свету всякое зло, и начнется кровавый хоровод. Аминь! Господи помилуй.

Грбич перекрестился и умолк. Мы сидели задумавшись. Молодой человек по-прежнему старался смотреть куда-то в сторону, и мы, зная о том, какая любовь связывает старика с сыном, теперь понимали его. Старик старался, как умел, защитить сына, а мы были не в силах спорить с ним и потому молчали.

Тени деревьев вытягивались все дальше и приближались к нам. Муравьи точно в атаку бросились на пшеницу, стремясь растащить ее всю до наступления темноты. Мне показалось, что я никогда не видел их столько, небогатый урожай на подстилке прямо на глазах таял под их натиском. Мне было жаль каждого зернышка, и я замахнулся на них своей палкой.

Старый Грбич молча взял палку у меня из рук и бросил ее в сторону.

— Пусть их,— сказал он мягко и серьезно.

Сын его ковырял веткой пересохшую землю перед собой, мой спутник молчал.

Муравьи продолжали тащить зерно с подстилки, но теперь казалось, что они делают это не спеша, как будто зная, что добыча от них не уйдет.

Старый Грбич поднялся, осторожно стряхнул на землю муравьев, смешанных с пшеницей, а остальное высыпал в мешок. Мешок с урожаем со всего поля, до половины пустой, грустно стоял перед

нами. Грбич взялся за него, поднял и, прежде чем сын успел ему помочь, взвалил на спину.

Мы направились к дому. Старик шел впереди, сгибаясь под тяжестью зерна. Мы шли следом на расстоянии нескольких шагов. Снова под нашими ногами скрипели и осыпались мелкие камешки, быстро спускался вечер, и под ветвями деревьев было уже совсем темно.

■

С тех пор прошло несколько месяцев. Мы наступали, потом отступали, так что была уже весна, когда мы вновь собрались спуститься в низину и зайти к старому Грбичу.

Собственно, шли мы по другому делу, важному и срочному, но надо было непременно по дороге завернуть к старику. Пять дней тому назад сын его, молодой Грбич, лучший партизанский связной в этих краях, налетел на вражеский патруль и погиб, и мой товарищ, человек добросовестный и ответственный, считал, что сообщить об этом должны именно мы, потому что мы уговорили парня идти с нами.

Мы двинулись в путь рано, до рассвета, как всегда, когда надо было пробраться мимо неприятельских постов, и на заре уже подошли к дому Грбича. Здесь, под деревьями, было еще темно, и мы едва различали тропинку под ногами.

С трудом можно было различить очертания дома Грбича, в полутьме желтоватого, тихого и таинственного. Все же чувствовалось, что со времени нашего первого посещения здесь ничего не изменилось. Спрятавшийся в котловине, скрытый от глаз прохожих, хутор Грбича, едва ли не единственный во всей округе, остался нетронутым войной.

Мы долго стучали в крепко запертые двери, а потом, как и в прошлый раз, спустились вниз. В лощине, среди ветвей, скопилась влага от весенних дождей, и густые клочья сероватого тумана ползли по земле и медленно поднимались вверх.

— Где же старик? — вымолвил мой товарищ, а я опять вспомнил сына Грбича.

Он и там, в горах, остался таким же худеньким, по-детски застенчивым. Связные один за другим уходили и почти никогда не возвращались. Но молодой Грбич уходил и приходил, все такой же веселый и уверенный в себе. Заглядывал ли он когда-нибудь по дороге к отцу? Кто это может знать? Мы не решались спрашивать.

Неожиданно мой товарищ схватил меня за руку и застыл на месте. Мы стояли на той самой площадке, откуда летом наблюдали молотьбу. С тех пор прошло восемь месяцев, и оба мы пережили за это время войну, самую страшную из всех войн, но то, что мы увидели, нас потрясло.

Снизу, со дна котловины, от земли, пропитанной утренним дождем, поднимался, как от озера, с первым лучом утреннего солнца пар, и, окутанный им, по свежей пахоте шагал старый Грбич. Он был в рубахе, выпущенной поверх рваных черных штанов. Седые мокрые пряди волос с непокрытой головы свисали на шею и падали на уши.

Вешние утра всегда прохладны, и я начал дрожать под своим пиджаком. Грбич шагал по пашне, вытянув вперед одну руку, и мерно махал ею, точно говоря с самим собой. Он шел прямо на нас, и мой товарищ отступил назад. Перед нами были ярко-зеленые листья молодого лавра, на них серебристо блестели капли утренней росы.

Грбич дошел до самых камней, ограждавших поле, и только тут мы поняли, что он делает.

— Да он сеет! — вырвалось у меня, а мой товарищ, побледнев, сделал мне знак молчать и кивнул головой.

Действительно, старый Грбич сеял. Поле было только что вспахано, и Грбич шагал по нему с закрытыми глазами, как лунатик. Одной рукой он поддерживал подол рубахи, в котором была пшеница, а другой брал в горсть зерна и бросал в землю.

Рука его делала резкие, быстрые рывки, точно он косил, а босые ноги ступали по зернам так решительно и гневно, словно он хотел загнать их как можно глубже в землю.

— Он, наверное, работал всю ночь, а то и весь вчерашний день,— шепнул мне на ухо товарищ и повернулся, чтобы уйти.

— Разве мы ему не скажем? — спросил я.

— Не нужно. Ты же видишь, он знает,— ответил мой товарищ, погруженный в свои мысли.

Не оглядываясь, мы пошли наверх.

Мне было холодно. Я дрожал всем телом и не мог остановить эту дрожь. Далеко вверху выглянуло солнце, нам надо было спешить.

— Что поделаешь — старик. Он привык прислушиваться к дыханию смерти. От старых людей ничего не скроешь,— сказал мой товарищ.

Он шагал рядом, справа от меня. Я заметил, что и его лицо за эти восемь месяцев изменилось, черты его стали резкими, горькими и серьезными.

Страх

За прилавком, подперев подбородок правой рукой, сидела женщина. На лице у нее застыло выражение усталости и тоски, какую обычно вызывает послеполуденный зной на Адриатике. Было четыре часа дня — время, когда солнце еще печет, а камни уже начинают отдавать накопленное за день тепло. В мертвой, ничем не нарушаемой тишине шуршали открытки, которые одну за другой нерешительно перебирал небольшого роста чернявый итальянский лейтенант в зеленой форме, в новых желтых сапожках, с револьвером на ремне. Маленькая лавочка, вся заставленная стеллажами с заколками для волос, иголками, флакончиками дешевых духов, карандашами, авторучками, зубной пастой и гуталином, насквозь пропахла бриллиантином и табаком.

Женщина, худая, со впалой грудью, была в черном платье неопределенного фасона, свисавшем с ее узких плеч, как с вешалки, на жилистой увядшей шее болталась тонкая цепочка с большим желтым крестом. Темные волосы, спутанные, растрепанные, были небрежно заколоты костяными шпильками, на кончике острого носа сидела черная родинка, а верхняя губа и подбородок заросли редкими волосками. Сквозь стекло витрины, между игрушками, гребешками, шкатулками из ракушек и стеклянными бусами, в лавку проникали лучи солнца, ложившиеся пятнами, как через крону дерева; перед витриной на улице, разглядывая, вероятно, большой пестрый волчок, служивший рекламой лавчонки, стоял молодой человек в кепке и рубашке с корот-

кими рукавами. Лицо его она разглядеть не могла — солнце светило у него из-за спины прямо ей в глаза.

Лейтенант, наконец, увидел то, что ему хотелось, и подошел к прилавку.

— Сколько? — спросил он, положив перед ней открытки.

Женщина начала их считать и дважды ошиблась — пальцы словно склеились оттого, что она чувствовала взгляд молодого человека через витрину.

— Пятьдесят лир,— сказала она наконец.

Лейтенант засунул открытки в нагрудный карман, расплатился и направился к дверям. Молодой человек в витрине исчез — наверное, отошел.

— Дайте-ка мне еще флакончик чернил! — итальянец остановился.— Нет, нет, не этих. Вон тех.— И он указал на какие-то склянки, стоявшие за спиной у хозяйки.

Женщина лениво, не вставая, протянула к ним руку. Молодой человек снова появился на том же месте. Он по-прежнему наблюдал, что происходит в магазинчике.

Лейтенант потребовал еще карандаш, кусок мыла и бритву; он, вероятно, только что получил жалованье и не знал, на что его потратить здесь, в этом сонном городишке. Молодой человек, точно вдруг решив, что́ ему купить, отделился, наконец, от витрины, подошел к дверям лавки и открыл их. Женщина заметила сквозь стекло, как по улице быстро, стараясь держаться как можно ближе друг к другу, насколько позволяли их широкополые шляпы, проследовали два карабинера в черных рубашках.

Теперь в тесной лавчонке их было трое. Молодой человек направился к самой дальней полке и, стоя спиной к прилавку, тоже начал перебирать открытки. Лейтенант снова достал бумажник. В лавку вошел солдат, он вздрогнул и подтянулся, увидев офицера.

— У вас есть книжки с любовными письмами? — спросил он.

— Нет,— ответила женщина, сгребла, не считая, деньги, оставленные лейтенантом, и бросила их в ящик.

Солдат отдал честь и вышел. Лейтенант еще раз оглядел все, что было в лавке, со скучающим видом осмотрел полки, затем и он не спеша открыл дверь и закрыл ее за собой. Молодой человек по-прежнему стоял, повернувшись лицом к стене.

Наступила тишина. Женщина отогнала мух, жужжавших вокруг ее головы, и перевела взгляд на витрину: на улице никого не было. Молодой человек, не торопясь, держа в руке открытки, стал напротив нее и постучал по прилавку. Женщина взглянула на покупателя; он смотрел из-под козырька своей кепки прямо ей в глаза.

— Сколько с меня? — спросил он.

— Тончи! — воскликнула женщина.— Ты что, рассудка лишился?

Перед витриной остановился солдат. Он лениво взялся за ручку двери и заглянул в лавку; молодой человек отступил в сторону и опять повернулся к полкам.

— «Popolo d'Italia»[1]? — спросил с порога солдат.

— Niente giornale [2],— быстро ответила женщина.

Молодой человек, повернувшись к стене, снова стал перебирать открытки. Они продолжали разговаривать, не глядя друг на друга.

— Тончи... тебя же ищут! — сказала женщина.

Опустив руки под прилавок и сжав их коленями, она вся подалась вперед. На скулах у нее выступили красные пятна.

---

[1] «Пополо д'Италиа» — название итальянской газеты.

[2] Газетами не торгуем *(итал.)*.

— Знаю! Я тоже кое-кого ищу! — отвечал молодой человек.— Где Марко?

— Твоя фотография была в газетах... На каждом углу висят объявления о розыске.— Женщина уже почти шептала.

— Я ищу его третий день,— сухо ответил молодой человек.

— Откуда же я знаю, где он!

— Знаешь! Он твой брат. Домой он не приходил?

— Не знаю. Отойди к полкам. Кто-то идет.

В магазинчик вошли два солдата; они предлагали купить у них сигареты.

— Нет, сегодня, к сожалению, нет! — женщина отрицательно покачала головой и попыталась любезно улыбнуться.— Сегодня у нас нет денег. Заходите завтра! — добавила она, и солдаты вышли.

— Ну? — снова возвысил голос молодой человек.— Эти меня не узнали. Следующие могут узнать. Я вижу, торговля идет неплохо. Где Марко?

— Не знаю!

— Хорошо, тогда скажешь им, кто я, когда они меня здесь найдут. В следующий раз я не отойду!

— Слушай, Тончи! — Женщина с умоляющим видом закатила глаза.— Оставьте его в покое. У него жена и ребенок. Я вдова, у меня двое своих на шее; тех я кормить уже не смогу.

— У Бореты было трое, и позавчера его расстреляли у карабинерского участка. А Стевич, а Душан?

— Но при чем тут Марко? — Женщина встала.— Довольно он насиделся в тюрьмах.

— Он не виноват... Но он был их учителем... И моим тоже... Послушай, каждую минуту кто-нибудь может войти!

У магазинчика остановились и разговаривали два унтер-офицера и один карабинер, но не в шляпе, а в обычной фуражке, видимо шествующий по своим личным делам.

— Он заболел,— сказала женщина. Прядь волос упала ей на лицо, она пыталась подхватить ее заколкой и не смогла.— Он очень болен.

— Давно?

— Вот уже три дня.

— Где он лежит? Почему не сообщил нам?

— Где он мог вас найти? Кому сообщать? Тончи, я же тебе говорю... Он вам ничем помочь не может.

— Люция! — Молодой человек снова вернулся к прилавку, в упор глядя на женщину.— Послушай, Люция, я проходил через рынок, и меня видела жена Мауро. Я долго стоял здесь, перед магазином; за мной могут прийти каждую минуту. Где он? Не будем терять времени.

— О господи! — застонала женщина и расплакалась. Она вцепилась руками в волосы.— Господи, до чего я дожила! Дьяволы... проклятые!

Карабинер приблизился к дверям. Молодой человек стоял посреди лавки, уперев руки в бока, и смотрел то на дверь, то на женщину.

У вдовы затряслись щеки, задергались края губ.

— Вон там он, там,— проговорила она быстро.— Проходи сюда, там слева кладовка... скорее!

— Здесь? — молодой человек открыл небольшую дверь в левой стене лавки, заставленную стеллажами, и исчез за ней.

Женщина снова села и облокотилась на руку. Она ждала. Карабинер и унтер-офицер ушли. На стене через всю улицу виднелась вывеска «Янчич — траттория».

За дверцей оказался темный проход, несколько ступенек вверх вели к коридорчику. Держа руку над головой, чтобы не стукнуться, мо-

лодой человек прошел под низким сводом и оказался в комнате, похожей на тюремную камеру. Зарешеченное окно выходило во двор. За маленьким столом сидел человек и что-то мастерил.

Он поднял голову; был он худой, весь какой-то потемневший, заросший бородой, в синих бумажных брюках, в майке с глубоким вырезом на волосатой груди и в фартуке. Руки казались сухими и жилистыми. Руки эти дрожали, он опустил на колени предмет, который держал. По шее и груди стекали струйки пота.

— Садись! — сказал он, точно давно ждал гостя.— Я знал, что ты придешь. Тебя ищут.

Молодой человек взял низенькую табуретку и присел с другой стороны стола. В углу валялись какие-то ящики, банки из-под консервов. Решетка на окне была затянута паутиной.

— Борету схватили! — Человек вздохнул. Он тяжело дышал и вытирал пот со лба.

— И расстреляли! — добавил юноша.

— А Мандича?

Юноша отрицательно покачал головой.

— И его поймают. Нас всех переловят.

В комнате было тихо, точно вокруг все вымерло. Молодой человек нагнулся, взял со стола какой-то предмет и посмотрел его на свет: в руках у него был маленький сапожный молоток.

— Что ты делаешь? — спросил он.

— Да вот хочу сшить сыну ботинки Пригодятся потом,— добавил он, опустив голову и весь дрожа.— Городок небольшой, они нас найдут... Обыскивают дом за домом.

— Послушай, Марко! Надо бежать... скрыться в горах, пока пройдет облава.— Молодой человек хотел еще что-то сказать, но остановился.

В лавку вошла какая-то женщина, она хотела купить заколки для волос. Слышно было, как она открыла и закрыла дверь; можно было разобрать каждое сказанное ею слово и даже звон стекла в двери. Затем опять наступила тишина.

Молодой человек проглотил слова, которые собирался сказать. Говорить было не о чем, Марко и так должен был слышать каждый звук, произнесенный им в лавке. И не отозвался! Значит, не хотел слушать.

— Я пошел! — сказал он подымаясь.

Сидевший перед ним человек тоже встал, в одной руке он все еще держал маленький детский ботинок.

— Тончи! — сказал он.— Пожалуйста, не говори, что ты меня здесь видел... если тебя поймают.

Молодой человек остановился, посмотрел на него, торопливо сошел вниз по ступенькам, открыл дверь и резко захлопнул ее за собой. Женщина в лавке опустила руку и медленно повернула к нему голову.

— Ну, что я тебе говорила! — злобно сказала она. Молодой человек, не глядя на нее, вышел из магазина.

Узкая улица была уже вся в тени. Он сделал несколько быстрых шагов, отделявших его от угла, остановился, прочел висевшее на стене объявление, прислушался к звуку приближавшихся шагов: это был старый рыбак с корзиной на плече. Дойдя до следующего угла, молодой человек свернул вправо, поспешно вошел в маленькую калитку у старого каменного дома, миновал двор, запущенный, заросший сорняками — только одна старая смоковница росла у стены,— и по узкой лесенке поднялся на городскую крепостную стену, за таверной. Отсюда был виден залив, и верхушки пальм на берегу, и центральная площадь города, по которой проходили обыватели и солдаты. Здесь, на широкой каменной стене, поставили стулья, вынесенные из таверны;

справа, в углу, защищенном от посторонних взглядов, сидел юноша в голубой рубашке. Перед ним на столике стоял стакан вина. Тут же были бутылка, кувшин с водой, два пустых стакана и тарелка с кусками хлеба и сыра.

— Ты запоздал! — сказал парень в голубой рубашке. Тончи сел и откинулся на спинку стула.— Выпей и закуси! Вино, правда, уже нагрелось, но в таверне полно итальянцев, и Джанни не может принести другой кувшин. Ну что, ты его нашел?

Тончи кивнул головой, налил стакан вина и отпил глоток.

— Теплое! — сказал он, ставя стакан обратно на стол.— Они все углы облепили объявлениями.

— Бумагу переводят,— ответил его товарищ.— Ты где так задержался?

— У Люции. Торговля у нее идет хорошо. Она торгует табаком — скупает у солдат. Все время в лавке народ... Я никак не мог войти.

— Он там?

— Там, сидит в каморке за магазином.

— Видно, все время там и просидел.

— Да, дней пять, наверное.

— И она нам ничего не сообщила?

Тончи пожал плечами и взял кусок хлеба с сыром. Товарищ налил ему еще вина.

— Ничего!

— Как ничего? Он придет?

— Да я его и не звал.

— Почему?

— Нет смысла. Он все равно не придет.

Юноша в голубой рубашке взял в руки стакан, но пить не стал. С моря тянул ветерок. Тончи выглянул на площадь.

— Смотри-ка, вон Мауро! — воскликнул он.

Его друг поднялся, перегнулся через стол и увидел на площади маленького часовщика Мауро, который, смеясь и размахивая руками, разговаривал с тремя солдатами в черных рубашках.

— Пускай! — сказал он, снова усаживаясь на стул.

— Рано или поздно он нам за все заплатит.

— Тончи! Что же все-таки случилось с Марко?

Тончи постукивал по столу пустым стаканом. Несколько чаек пролетело над ними, тени птиц порхнули через стену.

— Да ничего,— сказал он, разглядывая дно стакана.— Ничего с ним не случилось. Сапожничает. Опять вспомнил свое ремесло, жену и ребенка.

Юноша в голубой рубашке отпил несколько глотков.

— Я все-таки не понимаю,— сказал он.

— И я! — сказал Тончи.

Оба некоторое время молчали. Каждый был погружен в свои мысли.

— Ешь! — Тончи пододвинул товарищу тарелку с хлебом и сыром и сам взял кусок.

Юноша в голубой рубашке точно не слышал.

— Он же старый товарищ,— сказал он задумчиво.

Тончи кивнул головой:

— Старый. Один из первых в здешних местах.

— Он в тюрьме сидел?

— Пять или шесть лет... два раза.

— Он же всех нас всему и научил,— продолжал паренек в голубой рубашке.— Я не могу понять, что с ним происходит.

— Он отрастил бороду,— говорил Тончи, по-прежнему глядя на

дно стакана.— Отрастил бороду, сидит запершись в кладовке, весь в поту, и ждет, когда за ним придут. Он слышал, как я о нем расспрашивал, и даже не позвал меня. Говорит, что хочет еще успеть сшить башмаки сыну... А когда я уходил, он сказал: «Не говори, что ты меня здесь видел... если тебя поймают». Так он мне сказал.

Пробило шесть часов, солнце опускалось за горы.

— Надо уходить отсюда. Сейчас солдаты соберутся на площади к спуску флага.— Тончи отставил свой стакан.

— Ладно! — согласился паренек в голубой рубашке.— Иди ты первым. А я загляну к Джанни, скажу, чтобы убрал тут со стола.

— Значит, в девять,— напомнил Тончи вставая,— здесь, внизу, у ворот.

— Договорились. Осмотри оружие.— Парень в голубой рубашке поднялся.— Жаль Марко,— сказал он.— Так они его наверняка найдут. Он погибнет!

Тончи пожал плечами.

— Страх его скрутил,— сказал он.— Это конец. Его уже не спасти.

Он глянул краем глаза на площадь и, пригнувшись, пошел вдоль бруствера. Его товарищ еще некоторое время сидел, откинувшись на стуле, оттопырив нижнюю губу и растирая в пальцах крошки хлеба. Затем и он поднялся и, свернув в противоположную сторону, тоже исчез за стеной.

Авария

Пассажирский самолет компании «Олимпик рэйлуэйз», двухмоторный реактивный «ОА-365», курсирующий на линии Бейрут—Лондон, через Афины—Белград—Франкфурт, при посадке на афинский аэродром потерпел аварию. Лопнула шина шасси, машину на большой скорости занесло, она свернула с бетонной дорожки и, прокатившись несколько метров по мягкому и неровному грунту, остановилась, уткнувшись носом в землю. В коммюнике авиакомпании, опубликованном в тот же день, в качестве причины катастрофы приводились силы небесные и признавалось, что при аварии погибло пять пассажиров и три члена экипажа, а еще семнадцать человек — и серьезно пострадавшие, и получившие легкие ранения — срочно, каретами «скорой помощи», были доставлены в ближайшую афинскую больницу. Среди них, как явствовало из сообщения агентства ТАНЮГ, были и двое югославских граждан: инженер Предраг Лукич, генеральный директор предприятия, строившего электростанцию в Ливане, и некая Милена Брун, архитектор, относительно которой, на основании первичных, еще не проверенных данных, высказывалось предположение, что она, по всей вероятности, является сотрудницей того же предприятия и оказалась в самолете по служебным делам. Сотрудники, друзья и близкие родственники, услышавшие об аварии по радио или прочитавшие о ней в вечерних газетах, знали, что это предположение неверно, однако никому, даже самым осведомленным из них, не было известно, что между этими двумя пострадавшими существовала тем не менее более близкая связь — многолетняя интимная связь, как принято называть на языке журналистов внебрачные любовные отношения мужчин и женщин.

На самом деле Предраг Лукич познакомился с Миленой Брун добрых пятнадцать лет тому назад в маленьком, заброшенном местечке к югу от Дубровника, где его предприятие строило электростанцию,

а Милена вместе с двумя подругами проходила студенческую практику. Инженер Лукич был тогда уже женатым человеком, у него была восьмилетняя дочка, которая всегда добавляла два-три слова к письмам жены и подписывалась «Дуся». У него была трудная и ответственная должность, без конца приходилось работать сверхурочно, и он виделся с практикантками главным образом в конструкторском бюро — длинной светлой комнате, где рядами стояли чертежные столы. Все три студентки, в своих синих комбинезонах и мальчишеских джемперах или белых мужских рубашках, были очень симпатичны — держались просто, непосредственно и, как это вообще свойственно молодости, были всегда в хорошем настроении. Их приветливость передавалась и чертежникам, и инженерам, и всем остальным служащим, в их присутствии дело спорилось, да и сам Лукич скоро привык к ним и ловил себя на том, что по утрам ждет, когда они придут, а по окончании рабочего дня провожает их улыбкой.

Он называл их «коллегами», с самого начала отнесся к ним как старший и более опытный друг, помог устроиться и приступить к работе, а в столовой, если представлялся случай там встретиться, принимал их как гостеприимный хозяин. Если же ему удавалось улучить минутку и выбраться к морю, то девушки угощали его кофе и фруктами на веранде деревенского домика, где они жили. Раза два или три он возил их на своей машине в Дубровник, полагая, что в местечке, где не было ни туристов, ни развлечений, девушки скучают.

И если на работе, обезличенные своей прозодеждой, они казались ему почти одинаковыми, то на открытой веранде отеля «Империал» — тщательно причесанные, в выходных платьях — представали вдруг перед ним совсем иными, каждая по-своему привлекательной. Темноволосая Милена Брун — ее он только и запомнил по имени — особенно отличалась от своих приятельниц, полных блондинок. Потом он вспоминал, что уже в то время смотрел на нее с интересом, но без каких-либо определенных мыслей, примерно так, как можно любоваться порой через стекло витрины красивой вещью, не собираясь ее приобрести. Собственно, все три девушки казались ему тогда еще детьми, и ему стало неловко, когда младший его товарищ по работе, встретив их всех вместе в ресторане, посмотрел на него укоризненно. В те вечера ему случалось и танцевать с ними, вернее с маленькой Миленой Брун, потому что ее подруг обычно приглашали молодые люди, сидевшие за соседними столиками. Однажды во время танца он внезапно почувствовал, какая она еще по-детски тоненькая и хрупкая, а позднее долго вспоминал, как касались его ее маленькие твердые груди под легким летним платьем — точно два язычка веселых и беспокойных пасхальных колоколов. В последний или предпоследний день практики, когда девушки уже закончили все дела и собирались уезжать, он встретился с ней на террасе перед столовой.

Милена пришла поблагодарить его от имени всех трех практиканток. Ему показалось, что она немножко грустна, как все люди, которым приходится прощаться с морем и не закончившимся еще летом, предчувствуя дождливую осень, а вслед за ней — холодную зиму. Он пригласил ее сесть и предложил выпить лимонаду или чего-нибудь в этом роде, как обычно предлагают детям в жаркую погоду. Она приняла приглашение, но подошедшему официанту заказала, надув губы, коньяк, и Лукичу ничего не оставалось, как подтвердить ее заказ, попросив коньяк и для себя.

Рабочие и служащие разошлись — кто купаться, кто просто отдохнуть в бараке, и никто им не мешал, но разговор как-то не клеился. Ему никак не удавалось освободиться от принятого им покровительственного и насмешливого тона, в каком он привык к ней обращать-

ся, а она, вероятно, чувствовала себя рядом с ним неловко, как на экзамене. У нее было прелестное лицо — овальное, со смуглой, как у креолки, кожей, и когда он смотрел на нее, ему хотелось точно так же надуть губы, как будто он откусил сочный, но терпкий, недозрелый еще плод. Она была в простой белой блузке и в темно-синей юбке, туго стянутой у тонкой талии, но его взгляд особенно привлекали ее руки, лежавшие перед ним на столе, просвечивавшиеся насквозь в лучах заходящего солнца. Они казались нежно-золотистыми и совсем прозрачными. Можно было рассмотреть мельчайшие жилочки и кожу, покрытую пушком, как недозревший персик. Он дал ей несколько советов относительно экзамена, предстоявшего ей осенью, она в третий раз поблагодарила его за помощь и за любезность, без которых их пребывание здесь было бы куда труднее и, уж во всяком случае, не таким приятным, а у него неожиданно, словно само собой, где-то глубоко зародилось сожаление о том, что он не может стать моложе, не может быть неженатым; почему же, думал он, не случилось так, чтобы хоть она родилась чуть раньше, и почему жизнь их не столкнула вовремя и при более благоприятных обстоятельствах. В этом состоянии чистого, возвышенного, почти поэтического восторга ему показалось, что она и есть та, о ком он мечтал еще в юности, а его жена — нечто случайно, но навсегда навязанное ему жизнью; что именно с ней, с Миленой, у него могло бы развиться то теплое и постоянное ощущение близости и гармонии, которое мы все в обыденной жизни называем любовью, в то время как все то, что еще существует между ним и его женой, едва заслуживает называться привычкой и самой обыкновенной солидарностью двух людей.

За долгую историю их позднейшей связи он часто говорил ей об этом мгновении, когда он ее впервые по-настоящему заметил, она же, еще в тот день, когда они стали любовниками, откровенно, с оттенком превосходства и почти насмешливо сказала, что уже в то время была настолько взрослой, что и ей могли прийти в голову подобные «грешные» мысли и что в тот вечер он, в сущности, оказался более наивным. Едва ли, правда, она стала бы для него тем, чем стала сейчас, если бы тогда он сделал первый шаг. Скорее всего, она бы его оттолкнула и скрыла свои чувства. Но одно несомненно — в тот день она жалела, что ему не пришло в голову нечто подобное, что он так неловок и — пусть уж он извинит ее за выражение — туповат в этих делах, что не сумел угадать ее затаенные мысли...

Позднее он несколько раз встречал ее в Белграде, случайно, на улице, и не всегда одну. Однажды он видел ее в кино — она вошла перед самым началом сеанса с каким-то красивым молодым брюнетом атлетического сложения, а Лукич уже давно сидел в полутьме последних рядов рядом с женой, зажатый со всех сторон, держа на коленях пальто и шляпу. Как-то раз он заметил ее из машины, проезжая Теразие,— она переходила улицу, покачиваясь на высоких каблучках, потом он увидел ее в одном из модных ресторанов, все с тем же брюнетом, элегантно одетую и очень красивую. Затем, года два с половиной спустя после их первой встречи, они столкнулись лицом к лицу на улице, поздоровались, остановились, долго не разнимали рук. День был солнечный, на ней было голубое весеннее платье, которое ей очень шло.

— Можете меня поздравить! — сказала она, лишь только они поздоровались, и он почувствовал, как внутри у него все замерло. Она смотрела на него снизу вверх своими большими, круглыми, всегда широко открытыми и будто удивленными глазами, в которых отражался яркий свет ясного весеннего утра.

— С удовольствием,— сказал он.— Не знаю, правда, с чем. Вы, наверное, вышли замуж?

— Да нет! — Она даже отмахнулась.— Бог с вами! Я сегодня, вот только что, защитила диплом. Как раз иду с факультета, и вы — первый знакомый, которому я это сообщила.

— Ну, тогда поздравляю... *коллега!* Не мешало бы это и отпраздновать!

Они остановились рядом с центральным белградским кафе. Столики уже были вынесены на площадь, разноцветные зонтики защищали от солнца пока еще немногочисленных посетителей, неподалеку оказался свободный столик.

— Найдется у вас время выпить со мной рюмочку? Помните, как тогда, на веранде, перед вашим отъездом.

Она согласилась охотно, без малейшего оттенка натянутой вежливости. Он стал расспрашивать, как прошли экзамены, как поживают подруги, бывшие с ней на практике. Она рассказала, что обе уже замужем, а одна так и не окончила факультет. Видятся они редко, говорить не о чем: жизнь разбросала в разные стороны. По площади проходили двое приятелей Лукича; он с ними поздоровался, на минуту прервав разговор с ней. Она улыбнулась не без лукавства.

— Надеюсь, я уже не похожа на девочку, и вам теперь не так неудобно, когда ваши знакомые встречают вас со мной.

Было совершенно очевидно, что она видит его насквозь,— она его «вычислила», как говорят белградские пижоны. Когда они допили вино и поднялись, она попросила немного ее проводить. Жила она недалеко, на тихой улице Даничича. И когда он, прощаясь, сказал, что надеется теперь увидеть ее несколько раньше, чем через два года, Милена сама предложила, если он не занят, встретиться в тот же вечер. Он, смутившись и, вероятно, покраснев, с готовностью согласился. Запинаясь от волнения, он сказал, что свободен, зашел на работу, по телефону отменил все заранее намеченные деловые встречи, под каким-то предлогом ускользнул от домашних дел и заехал за ней на машине. Они поехали за город, в Кошутняк, долго гуляли по парку и вернулись довольно поздно. Выяснилось, что она одна в квартире — мать и сестра вчера уехали на курорт,— и когда они подъехали к ее дому, он вместе с ней вышел из машины и запер дверцы. Милена открыла своим ключом парадную дверь, и они поднялись на второй этаж. В тот же вечер они стали любовниками.

Действительно, Милена оказалась намного взрослее, чем он думал, и все его колебания были совершенно излишними. Лежа рядом с ним в своей комнате, она просто и без малейшего стеснения сказала ему, что он понравился ей еще тогда, два с половиной года назад, на море, и еще тогда ей хотелось, чтобы он вот так был рядом с ней. И вообще, сколько она себя помнит, ей всегда нравились именно такие мужчины, серьезные, решительные и мужественные, с сединой на висках,— ибо от них исходит спокойствие и уверенность в себе, не то что от всех этих растерзанных, безбородых, прыщавых и к тому же неумытых студентов, с которыми ей приходилось встречаться на факультете. Почему так — она сама не знает, но один приятель-врач объяснил ей, что в этом выражается неудовлетворенная потребность в защите, которой ей недоставало в детстве, ведь она рано потеряла отца. И ее первой любовью и первым любовником был не какой-нибудь однокурсник, как это обычно бывает у студенток, а именно такой человек, почти ровесник Лукича, преподаватель, с которым она познакомилась, едва придя на факультет. Кстати, тоже женатый человек, у которого тоже был ребенок.

Милена об этом знала, и ему не пришлось от нее ничего скрывать.

Это всегда бывает заметно сразу, сказала она, и она все поняла еще раньше, на море. Женатые мужчины обычно держатся как-то иначе, да и подруги, когда она им доверительно сообщила, что он ей нравится и она с удовольствием закрутила бы с ним роман, не считай он ее за малолетку, предупредили ее тогда. Да что жалеть о потерянном времени, продолжала она, угадав его мысли, они здесь, рядом друг с другом, а если бы встретились раньше, может быть, сейчас все уже и кончилось бы. Теперь Милена вполне самостоятельна, у нее есть профессия, она стала гораздо серьезнее и умнее. Перед отъездом на практику она познакомилась с одним спортсменом, да, как раз с тем брюнетом, с которым он ее встречал здесь, в Белграде, и чуть не вышла за него замуж. Это было бы ужасной глупостью, все равно ничего хорошего бы не получилось. К счастью, два месяца назад она с ним порвала.

Лукич ушел от нее поздно, с мутной головой, хотя не пил ни капли, совершенно растерянный, во власти самых противоречивых впечатлений; доехал до дома, но, поставив машину, еще некоторое время бродил по пустынным ночным улицам, под начавшим моросить дождем. Он зашел даже в какой-то ночной кабачок и там, среди пьяных, опрокинул две рюмки ракии, чтобы заглушить собственное дыхание, все еще пахнувшее ею.

Он никак не мог понять, что должен думать о случившемся. Нельзя было сказать, что происшедшее ему неприятно. Наоборот. Она была красива. Даже очень красива, свежая, очаровательная женщина — во всяком случае, в его годы и в его положении ему трудно было рассчитывать на нечто подобное. Он прекрасно помнил, как она ему нравилась два года назад, как он жалел, что не встретил ее прежде, помнил и свое ощущение почти физической боли, когда видел ее в обществе того брюнета. И она сама, добровольно согласилась на эту связь с ним, который ничего ей не обещал и ни в чем ее не обманывал, он может рассчитывать на ее скромность, и все складывается так, что ему нечего бояться каких-либо осложнений. Ему было приятно и то, что она по-настоящему интеллигентная женщина, а не просто квалифицированный технический специалист, каким он считал себя,— она человек творческий, самой своей профессией связана с интересными, широкообразованными людьми, явно более культурна и начитанна, чем он, обладает вкусом, хорошо воспитана, не то что он — городской житель в первом поколении, что, как он сам признавал, ощущалось и сейчас. Все это было для него безусловным приобретением, просто даром, свалившимся с небес, и весьма льстило его мужскому самолюбию. Повернув наконец к дому, он не удержался от искушения и взглянул на себя в стекло освещенной витрины. В нем отражалась фигура в хорошо сшитом пальто с поднятым воротником, не слишком модном, не слишком стандартном, фигура человека высокого, мужественного, энергичное волевое лицо которого ему самому понравилось — лицо человека, которому не чуждо чувство реальности, который знает, чего хочет, и умеет добиваться этого, в том числе умеет руководить вверенными ему людьми и делами, человека преуспевающего, уравновешенного, чья уверенность в себе распространяется на окружающих и придает им силы.

Итак, у него есть все причины быть довольным, если не вполне счастливым. Шагая к своему дому, он все же ощущал легкую печаль. Но это было вовсе не раскаяние. Это было отрезвление от собственных романтических заблуждений. Он сам виноват в том, что видел в совершенно взрослой двадцатидвухлетней девушке всего лишь девчонку. В нем еще жило глубоко скрытое, но тем больнее задетое желание быть первым и единственным мужчиной в ее жизни. И хотя нечто подобное для человека его возраста, с его жизненным опытом дол-

жно было представляться нереальным и эгоистичным, все то, что она ему недавно так естественно и спокойно рассказала, вызвало у него чувство разочарования и болезненную ревность к тем, кто его опередил. Он был наказан, в сущности, обманут и даже почти высмеян за свои наивные романтические представления, за благородство, проявленное два с половиной года назад по отношению к этой девушке, в то время как другие, более разумные и практичные, не упускали случая поразвлечься. Ему даже стало казаться, что она изменяла ему с ними, и, поднявшись по лестнице к себе в квартиру и ложась в постель подле уснувшей уже жены, он решил все закончить на сегодняшнем приключении и больше с Миленой не видеться.

Но выдержал он не далее второй половины следующего дня. Он набрал ее номер, вздрогнул, услышав ее голос, и прежде чем успел что-либо сказать, уже знал, что в тот же вечер постарается с ней увидеться. В конце концов, чего он хочет, спрашивал он себя, с трепещущим сердцем отправляясь на свидание с ней, по-гимназически назначенное в самом центре города — на Теразие, на углу, напротив гостиницы «Албания». Женатый, немолодой уже мужчина рассчитывал на роман с молоденькой неопытной девочкой? По какому, собственно, праву, с каких моральных позиций может он упрекнуть ее в том, что она обманула его ожидания? Да и если бы все оказалось иначе, разве это не значило бы для него необходимость взвалить на себя гораздо большую ответственность, определенные обязательства, к которым он, по крайней мере в данный момент, совершенно не подготовлен? И чем больше он размышлял, тем все больше убеждался, что Милена и на этот раз оказалась опытнее и мудрее его. Она хотела, насколько это возможно, с самого начала определить их отношения. Он — семейный человек, ей это известно, и она сознает, что ничего не может от него требовать, да к тому же, доверившись ему сразу, она ни на что и не вправе рассчитывать. Следовательно, то, что между ними завязалось,— не любовь, чьи истоки скорее эмоциональны, чем рациональны, а то, что в обыденной жизни принято называть связью,— отношения, поддерживаемые в шатком равновесии, которое в любой момент может быть нарушено с той или с другой стороны, и тогда все завершается разрывом или же, в счастливых и куда более редких случаях, перерастает в более глубокую связь и прочную взаимную привязанность.

Почему же в таком случае он должен от нее отказываться, спрашивал он себя, прекрасно зная, что по крайней мере сейчас не в состоянии этого сделать, какие бы ни принимал решения. Так и завязалась — поскольку они увиделись в тот же вечер — эта связь, продолжавшаяся, не без кризисов и перерывов, целых двенадцать лет: долгий период, за который между двумя людьми могут возникнуть разлады и недоразумения, даже если они строят свои отношения на столь разумной основе.

И в самом деле, при всей рациональности Милены и готовности Лукича к компромиссам, вскоре возникло немало обстоятельств, затруднявших продолжение их отношений. Жена Лукича, правда, никогда не была особенно ревнивой, она целиком и полностью была занята своей работой и дочерью, которая родилась у нее сравнительно поздно, но все же, если он не хотел осложнений, ему приходилось все время быть начеку и изыскивать убедительные причины для своих довольно частых отлучек. К этому добавлялась и безысходная белградская жилищная ситуация — в течение долгих лет найти сколько-нибудь спокойное, надежное и приличное убежище для любовной пары было просто невозможно. Они могли встречаться на улице, в кафе, в кино, могли выехать за город на его машине, постоянно опасаясь, как бы не встретить знакомых или не подвергнуться нападению хулиганов

на окраине. Только в редких случаях им удавалось пользоваться его или ее квартирой — если его жены и дочери не было в Белграде или если ее родные надолго уходили из дома,— и то скрываясь от соседей и боясь, что кто-нибудь не вовремя вернется домой. Иногда удавалось заполучить квартиру каких-нибудь знакомых или друзей, однако неприятные моменты, сопровождавшие поиски такого рода услуг, отравляли им всю радость коротких свиданий в чужих, по большей части отвратительно обставленных комнатах, с постелями, застеленными мятым бельем, к которому противно было прикоснуться, и с грязными, неприбранными ванными комнатами.

Бывали и хорошие периоды, иногда довольно длительные и по-настоящему счастливые. Один или два раза — когда его жена и дочь на месяц уезжали из Белграда или когда ему удавалось, сочетая свои и Миленины дела, взять ее с собой в длительную служебную поездку в Италию, во Францию, в Швейцарию или в Германию, где они могли чувствовать себя совершенно спокойно, не опасаясь встретить знакомых. Несколько раз им удавалось в одно и то же время уехать из Белграда и вместе провести отпуск — то летом, то зимой, где-нибудь на пустынных островах Адриатики или в каком-нибудь заброшенном словенском селе. Как и всегда в подобных связях, бывали моменты, когда они вдруг становились ближе и дороже друг другу или когда кто-нибудь один из них, находясь в затруднительном положении из-за личных, служебных или общественных дел, искал и находил в другом и помощь, и просто поддержку. Бывали приятные мгновения после длительных разлук, когда они оба начинали скучать, случалось так, что он или она неожиданно выказывали какую-нибудь свою хорошую черту, до тех пор не известную другой стороне. Или вдруг совпадали их мнения по каким-то общим вопросам, касающимся моды, вкуса, общественных нравов, политики, или они вместе, хоть это и случалось не часто, радовались своим победам — премиям за ее проекты или его деловым успехам. Но, поскольку связь их была весьма длительной, бывали и дни, когда они надоедали друг другу, когда одного начинали раздражать привычки, оценки или реакции другого, в том числе и совершенно незначительные мелочи, иногда касавшиеся физических особенностей или поведения каждого из них: его склонность к полноте, некоторая неряшливость или, например, ее разборчивость в еде, брезгливость и болезненная страсть к личной гигиене; крестьянская грубость, проявлявшаяся у него время от времени в выражениях и особенно в ругательствах, да и в бесстыдстве в интимных отношениях, которое, по ее мнению, граничило с извращенностью; его же, напротив, раздражало подчеркнутое целомудрие, которое она проявляла в любви. И точно так же, как временами у обоих возникало ощущение, что они бесконечно дороги, необходимы друг другу, и это трогало и воодушевляло их, в течение этой длительной связи, наряду с мелкими ссорами, случались и довольно резкие столкновения, приводившие к долгим и с трудом преодолеваемым разрывам, причиной и поводом к которым чаще всего бывала ревность Лукича.

Милене, казалось, это чувство было чуждо. Во всяком случае, та открытая ревность, которую проявлял он. Всегда и во всем деликатная, она строго следила за тем, чтобы ничем ни единым своим движением, не нарушить неприкосновенность его брака и семейной жизни. Она никогда не писала ему писем, не звонила по телефону домой и ни разу не дала почувствовать, что хотела бы, чтобы он покончил со своей, в сущности, довольно бессмысленной семейной жизнью. Она никогда не позволяла себе выразиться недостаточно уважительно о его домашних, даже если речь шла о возрасте или внешности его жены или об уме и способностях его неудавшейся дочери. Ни разу,

из пустого женского любопытства, она не выразила желания познакомиться с супругой Лукича, держась все время так, будто ее и не существует; когда же однажды они случайно оказались вместе в обществе, Милена вела себя гораздо естественнее, чем Лукич, любезно и внимательно беседуя с ней. Это, однако, вовсе не означало, что Милена была лишена самолюбия и что ее не задевали некоторые его поступки, бывшие следствием его двойной жизни. То, что, например, пробыв какое-то время с ней, он начинает нервничать и явно торопиться домой; что он входит вместе с ней в зал кинотеатра, только когда уже начинают гасить свет; что в кафе или ресторане он всегда садится спиной к двери, скрываясь от посторонних взглядов; что он иногда на людях отталкивает ее от себя, если она забудется и подойдет слишком близко или даже возьмет его под руку. Она не стремилась выделяться и не была слишком требовательной, но все эти страхи и предосторожности оскорбляли ее, глубоко задевали ее самолюбие, свидетельствуя о том, что она представляет для него ценность только в постели или за закрытыми дверями комнаты, где они остаются вдвоем. И хотя она никогда с ним об этом не говорила, Лукич в ее молчании мог уловить оттенок гнева, недовольства, ревности, и не только потому, что у него, кроме нее, есть жена, а потому, что он не уделяет ей того внимания, какого она заслуживает. В такой напряженной обстановке достаточно было малейшей небрежности с его стороны, чтобы она тут же прекратила разговор. Наступало молчание, что портило настроение и ему, и такие ситуации приводили обычно к взаимному охлаждению.

Гораздо тяжелее было то, что и он не мог время от времени сдерживаться от приступов ревности, что у него, вообще менее способного к самоконтролю, выражалось намного откровеннее, куда более бурно и примитивно.

За время связи с Миленой он постепенно узнал, главным образом от нее самой, поскольку она не считала нужным держать в тайне свои любовные дела, что с того времени, как они познакомились, и до того, как она стала его любовницей, у нее было один за другим несколько подобных романов. Некоторых из этих людей он знал, и, хотя в принципе ему могло даже льстить то, что после них она выбрала именно его, он не мог без зависти и бешенства думать о мгновениях, которые она с ними провела, иногда даже домысливая непристойные подробности и со своего рода наслаждением разжигая это самоистязание. Случалось ему и потом встречать ее с весьма достойного вида мужчинами, всегда, как правило, хорошо одетыми и холеными, и, когда он спрашивал, кто это был, она, будто не понимая скрытых мотивов его вопроса, отвечала, что это один коллега по работе или знакомый, с которым она случайно встретилась. Отвечала она настолько спокойно и сдержанно, что тем самым отнимала у него возможность продолжать расспросы или прямо спросить, не изменяет ли она ему. Он был уверен, что в этом случае она бы без малейшего колебания ответила кратким и сухим «да» и спокойно продолжала бы ранее начатый разговор. А если бы он продолжал и дальше расспрашивать, она бы только удивленно посмотрела на него своими круглыми серыми глазами, давая понять, что его поведение некультурно и примитивно, как поступки подростка, подглядывающего в замочную скважину. И он, пристыженный и будто в чем-то виноватый, должен был бы замолчать и прекратить всякие разговоры на эту тему.

При всем том она не была нимфоманкой, и, как бы он ни ревновал, он никогда бы не смог даже про себя обозвать ее теми обидными словами, которые у нас употребляют мужчины, уличившие в измене своих жен или любовниц. Даже в самые страстные и самые интим-

ные мгновения в ней всегда было что-то от девического целомудрия и сдержанности, какой-то почти холодности в любовных играх, в которые он пытался ее втянуть. В этом смысле он всегда был более активной, агрессивной стороной, она же — до такой степени сдержанной, что порой казалась ему вовсе равнодушной к любовной игре, соглашающейся на нее лишь потому, что он этого хочет. Весь ненавязчивый стиль поведения Милены вполне соответствовал сложностям его личной жизни, да он и не мог рассчитывать на то, чтобы полностью и без остатка заполнить все ее существование. Его внимание к ней сводилось, собственно, к определенному и весьма ограниченному времени суток, которые для нее тем не менее продолжались двадцать четыре часа, не говоря уже о том, что иногда проходило несколько дней, прежде чем он собирался позвонить, а иногда, если он бывал очень занят или уезжал в командировки, они не виделись по две-три недели. Из-за него она, вероятно, и не вышла замуж; годы проходили, она упускала одну за другой возможности, в которых не было недостатка, и продолжала жить с матерью и сестрой, ничего от него не требуя и ничем его не отягощая. Итак, взвесив все обстоятельства, он пришел к разумному заключению, что надо примириться с существующим положением, что совсем недурно иметь столь молодую и красивую приятельницу и, хотя ее поведение дает основание для ревности, следует быть довольным тем, как сложились их отношения, и не стоит усложнять в общем-то простые вещи и ставить ей в вину то, что он один не заполняет всю ее жизнь, если он не может, да и попросту не желает отвечать ей тем же.

Жена его с некоторых пор чувствовала себя неважно. Недомогание, боли, на которые она постоянно жаловалась, он объяснял климаксом, но вот однажды, когда все это начало уже не на шутку действовать ему на нервы, у нее внезапно, ночью, открылось сильное кровотечение, и ее отвезли в больницу в карете «скорой помощи». Оттуда она не вернулась: ей сделали операцию, и после мучительной короткой агонии она умерла. Дочь, некрасивая и неумная девушка, с трудом закончив среднюю экономическую школу, поступила на работу в торговую фирму и вышла замуж за какого-то техника. Он разменял свою большую пятикомнатную квартиру на две поменьше и одну из них уступил дочери. Вот уже три года он был совершенно свободен и одинок — если не считать Милены Брун, которую он к тому времени уже перестал называть «крошкой».

Во всех этих передрягах она сумела быть ему полезной, как это вообще ей было свойственно — тактично и деликатно, но весьма успешно. Будучи специалистом по интерьеру, она даже участвовала в устройстве его новой квартиры, придумав для нее особое, не только из окон и с потолка идущее освещение, что было ее слабостью и отличительной чертой ее декоративного стиля. Теперь они виделись чаще, по крайней мере в первое время, и свободнее на людях. После стольких лет тайной связи ничто, наконец, не мешало им упорядочить свои отношения, но она, разумеется, не требовала этого, а он не предлагал, имея на то свои причины. Сначала — из-за дочери, потом из-за родных жены, из-за знакомых и вообще общества, в котором ему приходилось вращаться, потом последовали длительные командировки, в том числе и на Ближний Восток, в Ливан, где его предприятие получило по конкурсу большой заказ на строительство плотины для гидроцентрали. Затем у дочки, которая, выйдя замуж, сразу же забеременела, был выкидыш, и она долгое время была серьезно больна. А когда уже не было никаких серьезных причин тянуть, у него не хватило решимости, он привык к холостяцкой жизни, к свободе, которой раньше не знал, так как женился очень рано, едва за-

кончив образование. Теперь он мог приходить домой, когда хотел, ни перед кем не отчитываясь в своих поступках, мог ложиться на диван прямо в ботинках, обедать в ресторане и выбирать обед по своему вкусу, ни с кем не разговаривать, если не хотелось, быть в одиночестве сколько угодно, а соскучившись — встретиться с Миленой Брун и потом проводить ее до дому. В свое время, прежде, бывали мгновения, когда ему приходили в голову почти преступные мысли о том, как освободиться от жены, а теперь, когда ее не стало, он настолько свыкся с существующим положением, что ему казалось настоящей бессмыслицей связывать себя новым браком. У каждого из них своя жизнь, сложившиеся привычки, уже нет того восторга первых дней, когда люди ни о чем не думают, а только ищут возможности как можно больше и как можно дольше быть вместе. Если до сих пор и так было хорошо, зачем усложнять формальностями уже установившиеся отношения, особенно принимая во внимание, что неизвестно, остались ли бы в согласии, живя под одним кровом и проводя каждый день по нескольку часов вместе, два таких ярко выраженных индивидуалиста. Вполне возможно, что между ними, в силу разницы привычек и взглядов, начались бы всякого рода ссоры и размолвки, грозящие не только разрушить новый союз, но и уничтожить все то, что до сих пор их связывало. Самая проблема верности, например, в супружестве получает иную окраску, и то, что он до сих пор терпел и с чем молча мирился, притворяясь, что ничего не замечает, теперь стало бы его терзать не только в будущем, но и задним числом, за все время, прошедшее за годы их знакомства. Одно дело быть другом и любовником молодой и красивой свободной особы и, будучи ей неверным, закрывать глаза на ее флирт с другими, другое дело — быть мужем женщины, чьих любовников, бывших или будущих, он поневоле будет встречать в той среде, где сам вращается. Все эти господа урывали чужие куски, кто большие, кто меньшие, чаще всего не ведая один о другом, а теперь, если его связь с Миленой Брун будет узаконена, они сразу станут его должниками, об их долгах он не сможет забыть, но и не посмеет о них упоминать. Значит, ему придется терпеть насмешливые взгляды тех, с кем она его обманывала, не говоря о других, будущих,— почему бы ей, привыкшей к свободе, не изменять ему во время его командировок, если в ее распоряжении будет квартира, о которой оба они в свое время так тосковали.

Зачем им перемены, если все может идти как раньше, спрашивал он себя и не помышляя о том, что все это может много значить для нее, для Милены Брун. Он был женат, а она не была замужем, он — свободный человек, познавший уже родительские чувства, а она — незамужняя девица, которая скоро уже будет считаться старой девой, вынужденная жить со своей больной матерью и ворчливой разведенной сестрой, и разве ей не хочется, наконец, тоже иметь свой собственный дом, свою семью?

Правда, она была еще красива, хотя уже утратила свежесть молодости, и, сидя с ней где-нибудь за столиком, он часто думал, что они — подходящая пара. И даже, что он, будучи еще в хорошей форме, сгодился бы и для другой, новой женщины, помоложе Милены. Одетая всегда хорошо, с продуманной элегантностью привыкшей следить за собой женщины, она теперь предпочитала обтягивающим платьям, юбкам и кофточкам солидные костюмы классического английского покроя, которые не так подчеркивают фигуру и не столь выдают естественные формы. В отличие от своих прежних привычек, она стала обильно употреблять косметику, усердствуя чрезвычайно и наводя чахоточный румянец на щеках, носить и часто менять всевозможные ожерелья, видимо стремясь прикрыть морщинки на шее.

Она стала пользоваться духами, желая возместить естественную свежесть кожи; целуя ее, он чувствовал на увядших губах дыхание прошедших лет; всегда стыдливая, она теперь старалась ни на минуту не показываться ему обнаженной, а во время объятий, которые у них никогда не были особенно бурными, он ощущал под своими ладонями складки жира и обвисшей кожи у нее на животе и на боках. Она быстро отцветала, как многие нерожавшие женщины, которым в нужный момент материнство не дало новых жизненных импульсов и которые, сохраняя еще былую красоту, теряют соки на глазах, как дерево с подрубленными корнями. Да и в ее взглядах на мораль начали проявляться строгость и сухость, присущие старым девам; при обсуждении столичных сплетен она вдруг становилась мелочной и нетерпимой, как это свойственно многим ранее свободомыслящим интеллигентным особам и бывшим красавицам. В ванной она теперь пребывала так долго, что всюду опаздывала, а его доводила до бешенства, заставляя без конца ждать перед театрами и кино, и он не знал, что делать — то ли идти одному, то ли вообще продать билеты. Раздражали его и ее бесконечные визиты к парикмахеру, к портнихам и косметичкам, боязнь, что он может случайным движением испортить ее покрытую лаком прическу или задеть свеженаложенную на лицо косметику. Постоянная искусственная улыбка «keep smiling», точно позаимствованная с рекламы зубной пасты или с лица профессионального политического деятеля, бесконечные телефонные разговоры с подругами, о которых раньше и слуху не было, да еще усиленная любовь к концертам классической музыки, на которых он дремал, сидя рядом с ней. Критически разглядывая ее, он задавал себе вопрос, скоро ли она начнет красить волосы, увешивать себя серьгами, браслетами и перстнями, сидеть в кондитерских, решая кроссворды и уплетая пирожные со взбитыми сливками, а едва выпадет первый снег, выходить, как самые светские и уже немолодые дамы в Белграде, на дневную прогулку в бережно хранимом черном каракулевом манто. Эти дамы в каракуле, не спеша прогуливающиеся среди молодых девушек, порхающих по улицам в красных, зеленых, голубых и желтых пальтишках, всегда почему-то напоминали ему тараканов.

Последнее лето они провели вместе, почти символически, снова в окрестностях Дубровника. Она, видимо чувствуя, что в их отношениях произошел какой-то перелом, и потеряв привычное равновесие, вдруг начала проявлять сентиментальность и держаться так, словно это был их медовый месяц, что было смешно, учитывая длительный стаж их связи, да и зрелый возраст. В противоположность своему всегдашнему хорошему вкусу и чувству меры в туалетах, она стала одеваться в стиле, который мог бы ей подойти разве что пятнадцать лет назад, когда они только что познакомились, а теперь, как ему казалось, был совершенно неуместен. Подобно старым американским туристкам, она выходила даже к ужину в шортах и узких пестрых кофточках с короткими рукавами, оголяясь гораздо больше, чем допускал и ее возраст и наружность. Она, как девочка, кокетливо грозила ему пальчиком, видя, что он смотрит вслед юным особам в мини-юбках или, лежа на пляже, приподнимается на локтях, когда они, прикрытые минимальным количеством материи, проскальзывают мимо, легко перепрыгивая через лежащих. Обленившегося и отяжелевшего на адриатическом солнце, она насильно тащила его в море, когда ей самой хотелось купаться, брызгалась водой, хотя знала, что он этого не выносит, звала его на романтические вечерние прогулки при луне то по берегу, то в лодке, каждую минуту спрашивала, любит ли он ее, растроганно пускалась в воспоминания, заставляя его обращаться к давно прошедшим временам, о которых он успел уже забыть. В до-

вершение всего, она начала влюбленно прижиматься к нему уже на людях, заглядывая прямо в глаза, а за столом в ресторане гостиницы позволила себе, как будто она ему и в самом деле жена или даже мать, следить за тем, что он ест и сколько курит и пьет, так что в конце концов он потерял терпение, заорал на нее и оборвал настолько грубо, что она выскочила из-за стола, перепуганная и разобиженная до слез. Произошла между ними и крупная ссора, когда они оба, в припадке бешенства, выплеснули друг другу в лицо все взаимное ожесточение и недовольство, накопившееся за долгую историю их связи. Совместный отдых превратился в бессмыслицу, и они вернулись в Белград намного раньше, чем предполагалось. Боясь новых ссор и подобных сцен в будущем, Лукич всерьез спрашивал себя, не лучше и не честнее ли будет как можно скорее закончить этот роман, потерявший всякий смысл, разъеденный эрозией времени,— если не по иной причине, то для того, чтобы дать Милене возможность хоть как-нибудь устроить свою жизнь, быть может связав себя с каким-нибудь другим человеком, пока она еще может его найти.

В таких ситуациях окончательные решения гораздо больше зависят от обстоятельств, чем от намерений. Он ждал, что все определится как-то само собой, но встречался с ней все реже и все с меньшей охотой. А осенью, когда неожиданно появилась возможность взять ее с собой в деловую поездку в Ливан, он предложил ей поехать вместе, дав понять, что эта недолгая поездка должна, собственно, быть их последним совместным путешествием перед окончательным разрывом, чем-то вроде подарка, какие обычно делают тем, кто уходит на пенсию или проваливается на конкурсах. Сначала она отказалась, но потом передумала, не желая производить впечатление глубоко оскорбленного, обиженного человека и стремясь придать как можно более достойную форму самому расставанию, и приняла предложение, правда, холодно, без всякого восторга.

В течение всей поездки она сдерживала слезы, так и просившиеся на глаза, стиснув свои тонкие губы, чтобы их дрожь не выдала ее скрытых душевных ран.

Они провели десять душных дней в непроветренных, раскаленных солнцем комнатах далеко не образцовых по чистоте отелей, изнывая от запаха пота, отбиваясь от уличных торговцев, чуть ли не силой затаскивавших их в свои лавки и предлагавших им сомнительного происхождения старинные вещи, поддельное золото и стандартные, дешевые восточные сувениры. Они посещали, с многословными туристическими справочниками в руках, античные развалины в окрестностях и мусульманские святыни в городе, щелкая без конца фотоаппаратами, препираясь и торгуясь с таксистами, возившими их по городу. Терзаемый угрызениями совести за эту поездку, за то, что ей все время приходилось ждать в гостиничных номерах и холлах, пока он был занят на строительных площадках или на совещаниях, в последний день путешествия, на обратном пути в гостиницу, он зашел с ней в какой-то торговый центр и купил, не выбирая, две нитки бус из пестрых полудрагоценных камней и еще кучу ненужных и ни на что не годных мелочей, которые он второпях сгреб с прилавка. И поскольку не было времени рассовывать все эти яркие ленты, вышитые скатерти, тарелки, глиняные кувшины и медные сосуды в туго набитые и уже упакованные чемоданы, он попросил гостиничную прислугу сложить все в картонную коробку, которую он взял с собой в самолет и поставил на полку у себя над головой. При посадке на аэродроме в Афинах коробка сдвинулась с места, и Лукич, сидевший у самого прохода, расстегнул ремень и привстал, чтобы ее закрепить. Как раз в эту минуту самолет коснулся колесами земли, резко свернул с дорожки

и зарылся носом в траву взлетной полосы. Выброшенный со своего места силой инерции, инженер Лукич, подобно ядру, пролетел над остальными пассажирами и ударился головой о дверь кабины пилота. Здесь его и нашла спасательная команда, и, поскольку он еще подавал признаки жизни, его отправили в карете «скорой помощи» в ближайший госпиталь. Туда же в числе других пострадавших была доставлена и Милена Брун, также бывшая без сознания.

■

Госпиталь, куда их отвезли, стоял на вершине горы, окруженный парком. Раненых разместили по палатам; инженер Лукич, долго не приходивший в сознание, получивший ряд серьезных внешних и внутренних травм, был помещен в шоковое отделение, и его состояние было вначале оценено как критическое; что касается Милены Брун, то, несмотря на перелом ребер, ее случай оказался сравнительно легким и не представлял опасности для жизни. В медицинском бюллетене, опубликованном два дня спустя, говорилось, что положение Лукича улучшается и, хотя пока он все еще находится в коматозном состоянии, можно считать, что кризис уже преодолен и прогноз исхода его болезни, принимая во внимание завидную для его возраста конституцию, может считаться благоприятным. О пострадавшей мадемуазель Брун было сказано, что она на пути к выздоровлению.

Она первой пришла в сознание и на третью неделю, когда сняли гипс, смогла встать с постели. Первое, что она сделала,— пошла взглянуть на Лукича. Ей разрешили посмотреть на него только от двери; он лежал с закрытыми глазами, на лице, со всех сторон замотанном бинтами, торчал вверх его горбатый нос, желтый и почти прозрачный. Лукич не шевелился и, казалось, не дышал; над головой у него, на металлических кронштейнах висели баллоны с растворами и сифон с кислородом, который время от времени ему все еще давали. Она не успела ни что-либо ему сказать, ни позвать его, ей стало плохо от запаха лекарств, и сестра вернула ее в палату.

Затем она навещала Лукича каждый день, тем более что сотрудники консульства договорились о том, что она останется в больнице, пока Лукич не оправится настолько, чтобы его можно было транспортировать самолетом в Белград, и будет его сопровождать.

— Если все пойдет нормально, я думаю, мы сможем его отпустить через десять — пятнадцать дней,— сказал ей молодой, весьма любезный доктор, когда она его об этом спросила.— К счастью, у него оказалось крепкое сердце,— заметил он, поглядывая на нее с нескрываемой симпатией, не догадываясь о том, что она могла быть для Лукича не только случайной спутницей, но все же, заметив тень, пробежавшую по ее лицу, нашел нужным добавить: — Но, увы, после всего случившегося он уже не будет таким, каким был прежде.

Она это знала. Ей сказали об этом сестры, да она и сама видела. У него была частично раздроблена лобная кость, и можно было заметить, как под молодой кожей пульсирует мозг. Был поврежден один глаз, который, по всей вероятности, придется удалить. Пострадали и шейные позвонки — шея была окружена своего рода арматурой, позволявшей ему держать голову прямо. Но хуже всего было то, что обе его ноги остались парализованными. Он стал полным инвалидом, который будет вынужден проводить остаток жизни в постели или в кресле с колесиками, не способный поднести к губам стакан воды.

Похожая на няню в своем больничном халате, она сама иногда за ним ухаживала. Он лежал навзничь, следя своим единственным глазом за тем, как она движется по палате, подавая знаки рукой или

обращаясь к ней с короткими, едва слышными словами, тем более что ему особенно трудно было говорить в таком распростертом положении. Дня за два или за три до отправки в Белград его подняли с постели и поместили на передвижное кресло с большими колесами и высокой спинкой. Лоб и глаз его были закрыты повязкой, подбородок подпирал, как крахмальный воротник, белый гипс, неподвижные ноги прикрывало легкое одеяло. Одни только руки остались на свободе и лежали на высоких колесах, точно он сидел на престоле.

День был ясный, небо голубое, воздух прозрачный и чистый, свежий от выпавшего за ночь дождя. Лукича вывезли на просторную веранду, защищенную от солнца широким тентом, откуда он впервые мог увидеть окрестности, после больничной палаты показавшиеся ему огромными, как весь мир. Некоторое время он молчал, ошеломленный открывшимся простором и опьяненный воздухом. Внизу краснели крыши домов, рассыпанных в зелени садов, под средиземноморским солнцем, белели стены официальных учреждений, поблескивали стекла автомобилей, мчавшихся по улицам, а дальше тянулась безграничная поверхность моря, за горизонтом терявшегося в тумане.

Они не разговаривали. Только ощущали присутствие друг друга. Он знал, что Милена рядом с ним, и слышал, как сестра вышла, оставив их вдвоем. Некоторое время он сидел неподвижно, повернутый к ней здоровой половиной лица. Левой рукой нащупав на подлокотнике кресла ее руку, он прикрыл ее своей ладонью, большой и широкой. Из единственного здорового глаза медленно выкатилась и поползла по щеке крупная светлая слеза. Он сжимал ее руку, и она могла слышать, как прерывающимся голосом, тихо, но достаточно ясно, он произносит слова утешения по поводу того, что с ними произошло, и всего, что случалось неприятного за все время их связи, и просит прощения за все то, что было во время этой неудачной поездки в Ливан.

— Ничего, ничего,— говорил он.— Не бойся, Мила. Все будет хорошо, Мила. Несчастье связало нас навсегда, и теперь мы никогда не расстанемся.

Она не ответила, не убрала руки. Тихая, неподвижная, она смотрела куда-то вниз, на стену, окружавшую парк, и на широко распахнутые ворота госпиталя. Госпиталь был военно-морской, и в воротах, рядом с часовыми, стояли, разговаривая, два молодых моряка в светлой летней форме и синих офицерских фуражках. Откуда-то по дорожке к ограде выбежал мальчик в коротких брючках и белой матроске, катя перед собой большой деревянный обруч. За ним торопилась, толкая детскую коляску, молодая грудастая бонна в узком темно-синем платье, под которым рельефно выделялись ее формы. Офицеры на минуту прервали разговор; не отрывая от нее глаз, оба легонько повернулись в ее сторону всем корпусом и следили за ней до тех пор, пока она не скрылась за поворотом. Тогда они продолжили разговор, потом вдруг быстро и одновременно одернули мундиры, застыли на месте и резко, по-солдатски отдали честь. В ворота въехал легковой автомобиль с каким-то высшим военным начальством. Он проехал в круглый госпитальный двор и исчез из виду где-то внизу, у самого здания. Милене Брун, наблюдавшей эту сцену в промежутке между двумя столбами ворот, отделявших госпиталь от остального мира, показалось, что перед ней на экране прошел эпизод какого-то фильма, а с ним — краткая история чьей-то жизни.

Она закрыла глаза. Откинулась на спинку стула и так, неподвижно сидя рядом с Лукичем, ожидала, пока пройдет время и сестра позовет их обратно в палаты.

Переводы Н. ВАГАПОВОЙ

ЮСУФ ас-СИБАИ

Земля лицемерия

РОМАН

Перевод с арабского А. ТИМОШКИНА

ОТ АВТОРА

В этой книге отображены различные стороны жизни египетского общества в период, предшествовавший революции 23 июля 1952 года, когда Египтом фактически правили английские империалисты.

Однажды ко мне пришел посетитель из Пакистана и сообщил, что он перевел мою книгу на язык урду и издал ее в своей стране. Этот переводчик сказал мне, что, по его мнению, в романе рассказывается не о каком-то определенном обществе, а о целом этапе жизни многих народов, страдавших от колониального гнета. Когда перевод был издан, власти Пакистана сочли, что переводчик сам сочинил эту книгу, в которой изобразил пакистанское общество. От тюрьмы переводчика спасло лишь то, что ему удалось показать арабский экземпляр книги властям и тем самым доказать, что эта книга переведена с арабского, что она издана в Египте.

Нельзя полагать, что освободившиеся от колониального ига народы развивающихся стран уже покончили в своей повседневной жизни с остатками старых, несправедливых порядков. Многолетнее господство империализма и продажных правителей оставило им в наследство страшную нищету, отсталость, невежество и болезни. Этим народам предстоит еще длительная и трудная борьба за достижение экономического прогресса, обеспечение социальной справедливости.

Роман «Земля лицемерия» написан мной в ту эпоху, когда Египет стонал под пятой колонизаторов, страдал от самых изощренных форм национального и социального угнетения, беспощадной эксплуатации, когда египтяне сражались за свое национальное освобождение, за торжество идеалов равенства, за хлеб, процветание и мир.

Глава 1

Торговец душевными качествами

«Продаю душевные качества оптом и в розницу! Наша фирма имеет отделения во всех частях света». Меня поразила эта вывеска. И неудивительно. Как это так — торговать душевными качествами? Наверное, я неправильно прочитал. Перечитываю снова. Все правильно! Тут и в самом деле продают душевные качества, во всяком случае, обещают их покупателю.

Был полдень. Я только что плотно пообедал: жареный кролик, зеленый суп, всякие соусы, маринованные огурцы, а на десерт — солидная порция охлажденного арбуза.

Я совсем отяжелел, мысли туманятся, так и клонит ко сну. Но сну решаю не сдаваться, после такого обеда это вовсе не легко.

Выхожу на балкон, располагаюсь на удобном диване и, чтобы прогнать сон, беру газету. Но толку мало. Стараюсь сосредоточиться, а глаза слипаются, и дремота подчиняет себе сознание, как любовь — юное сердце. Буквы расплываются, я не улавливаю смысла слов, и все мое существо переносится в иной, сладостный мир. Голова клонится все ниже, и я засыпаю... Не знаю уж, сколько времени я спал, но, внезапно пробудившись, решаю пойти погулять. Не лежать же в такую отличную погоду на диване, пусть и очень удобном!

Протерев глаза, надеваю рубашку, брюки и туфли. Беру в руки легкую палку, на голову водружаю пробковый шлем, на нос — темные очки и выхожу из дому.

Живу я в бедном квартале, где улицы узкие, дома низкие. Правда, улицы обсажены эвкалиптами, и летом они дают благодатную тень. Выйдя из дому, попадаю в другое царство — листья эвкалиптов нежно шелестят, их аромат навевает негу. Послеобеденная вялость пропадает, мысли проясняются, и я уже полон сил и энергии. Ускоряю шаг. Дохожу до лавчонки, приютившейся в конце пустынной улицы, и замираю от удивления. Никогда прежде я не видел этой лавки, хотя часто здесь прогуливался. Это глухой тупик, прохожие сюда заглядывают редко, и надо быть последним глупцом, чтобы открыть в таком месте торговлю любым товаром. Ведь, кроме самого себя, продавать товар будет некому — разве что дьяволу.

Подхожу поближе. Нет, эта лавка по внешнему виду что-то не похожа на кофейни, которые обычно открывают на городских окраинах. Туда люди заходят отдохнуть от городского шума и подышать чистым воздухом. Но перед этой лавкой на тротуаре нет ни столиков, ни стульев. Я поднял глаза и вот тут-то и прочел удивительную вывеску: «Продаю душевные качества оптом и в розницу».

Ну и ловкач! Видно, придумал новую приманку для простаков. Но неужели он и вправду думает, что найдутся такие темные люди, которых соблазнит его товар?

Впрочем, дурак-то он сам! Какая же торговля в таком пустынном месте? Какое неразумие. Такую лавку следовало открыть в оживленном квартале или, на худой конец, поблизости от сумасшедшего дома.

Любопытство заставило меня зайти в лавку. Да почему бы и нет? Уж в подобной лавке найдется немало занятного. Ведь, наверное, хозяин или помешанный, или чудак, каких мало.

Рассматриваю хозяина лавки. Он сидит на куче набитых мешков, грустно опустив голову, и молчит. Щуплый мужчина средних лет, но совсем седой. На грудь ниспадает длинная борода. Одет в абу, на ногах красные туфли. Тут он заметил мое присутствие и встрепенулся. Видимо, я застал его врасплох. Наверное, привык, что в его лавку никто не заходит. Оттого-то он и грустит.

Вежливо здороваюсь. А вдруг буйный?! Чего доброго, накинется с кулаками. Но нет. Отвечает так же вежливо и спокойно, что-то он не похож на сумасшедшего. Может быть, я все-таки неправильно прочел вывеску? Может, у меня зрение испортилось? Или это колдун, который умеет отводить глаза?

Я смутился. Что он обо мне подумает? По виду это человек вполне разумный и похож на обыкновенного торговца, продающего самые обычные товары — зерно, духи или что-нибудь в этом же роде. Как же я вдруг попрошу отпустить мне душевных качеств? После такого вопроса любой торговец скажет: «С ума ты спятил!»

Эти опасения заставили меня быть осторожным. Я решил выяснить, чем же он торгует на самом деле, и начал разговор издалека:

— Привет тебе, хаджи! Как идут дела?

— Грех бога гневить!

— А как торговля?

— Так себе. Никто мои товары не покупает, хотя сам видишь — торговать ими святое дело.

— А почему же твои товары не идут?

— Кто знает!

— А ты их рекламируешь? Ведь реклама — залог успешной торговли. Мы живем в век рекламы. Сейчас все рекламируется — товары, работа, люди.

— Рекламировать мои товары? — переспросил он с иронической усмешкой.— Так без них же ни одно божье создание и так обойтись не может. Это было бы глупо.

Наговорил он много, а я тем не менее не разобрался, чем же он все-таки торгует. Как всякий лавочник, он избегал говорить напрямик. И я попробовал пойти напролом.

— А нет ли у тебя каких-нибудь...— и, не докончив фразы, я указал на мешки. Пусть сам скажет, что у него там.

Лавочник кивнул, показывая, что «какие-нибудь» у него найдутся. Тогда я спросил:

— Ну, а что у тебя сейчас есть?

— Всего понемножку.

— Можно посмотреть?

— Товар перед тобой, смотри на здоровье.

Вот и отлично. Мне оставалось лишь запустить руку в каждый мешок и исследовать его содержимое. В первом мешке оказались мелкие зерна, похожие на семена кориандра. Я зачерпнул горсть зерен и принялся их рассматривать с видом знатока — дескать, достаточно ли они высушены или нет.

В другом мешке оказался желтый порошок, похожий на серу. Я взял щепотку и понюхал, но запаха серы не почувствовал. Перешел к следующему мешку. В нем был белый порошок, похожий на соль. Так я заглянул во все мешки. Лавочник спокойно следил за мной.

Ага! Значит, он торгует благовониями, а для оригинальности называет их «душевными качествами». Мало ли лавочников продают бобы, а именуют их орехами?

Хозяин лавки заметил мое недоумение и спросил:

— Что прикажешь отпустить, почтенный?

Я совсем растерялся, но тут же указал на один из мешков:

— А что в нем?

— Смелость,— невозмутимо ответил лавочник.

Я не удержался от смешка и переспросил:

— Смелость?!

Ну что это за товар? Да он и вправду свихнулся.

Лавочник посмотрел на меня как на расшалившегося ребенка и вежливо сказал:

— Сын мой! У меня нет времени шутить. Смеяться пойди куда-нибудь еще. Если ты не хочешь ничего покупать, так лучше уйди, добром прошу.

Мне вовсе не хотелось уходить. Второго такого чудака вряд ли удалось бы сыскать. И, изобразив на лице гнев и возмущение, я заявил:

— Я вовсе не шучу и не смеюсь. Или у меня, по-твоему, нет другого дела, как развлечения ради шататься по лавкам? Если я смотрю твой товар, значит, я хочу его купить.

Мои слова произвели должное впечатление. Лавочник смутился и забормотал извинения. И я, сдерживая смех, решил продолжать в том

же духе. Вынув руку из кармана, я совершенно серьезно указал на мешок с порошком смелости:

— Свешай-ка мне фунт.

— На фунты не продаю.

— Ну, так окка [1]!

— И так не продаю.

— Так на килограммы, что ли?!

Хозяин укоризненно покачал головой, и я сбавил тон:

— Тогда насыпь стакан.

— И такой мерой не продаю.

Я не на шутку рассердился и думаю: если этот проходимец хочет всучить мне целый мешок, то я ему покажу! Но тут лавочник объяснил:

— Свой товар я не вешаю и не меряю, а продаю на срок. Можешь, к примеру, купить смелости на один день, на десять дней, а то и на всю жизнь.

Я не стал спорить. Кто его знает! Вдруг разозлится и выгонит вон. Я только спросил, сколько будет стоить смелость сроком на десять дней.

— Рассчитываться будем потом.

— Ты что, продаешь под расписку?

— Бог с тобой! Бери так, а расчет произведем в свой срок.

Ох каких усилий мне стоило не рассмеяться ему в лицо! Но я удержался и сохранил полную серьезность. Нет, пожалуй, это не жулик, раз он не гребует, чтобы за товар платили сразу. Почему бы мне не попробовать? Возьму из каждого мешка по щепотке, а по дороге выброшу. Что случится? Если этот чудак думает, что получит с меня деньги потом, то он сильно ошибается. Так он меня и увидит еще раз!

Я попросил порошок смелости сроком на десять дней. Лавочник встал, взял из ящика мерку и насыпал порошка в бумажный кулек, который, наполнив, протянул мне со следующими словами:

— Вот тебе порошок смелости на десять дней. Способ его употребления очень прост: размешай порошок в стакане чистой воды, только хорошенько, и сразу выпей. Ничего не бойся: вкус у него приятный, и никакого вреда он тебе не причинит. Действие скажется через четверть часа.

— А какое? — спросил я с опаской.

— На десять дней станешь по-настоящему смелым человеком. Если понравится, то приходи опять до окончания срока. Дам тебе новую дозу.

Говорил он уверенным и искренним тоном. А может, и не врет? Попробую. Вдруг на самом деле стану смелым человеком? Э-э, была не была! Попробую.

Но тут мне в голову пришла страшная мысль, и я вздрогнул. А что, если это яд? Что, если этот лавочник — сумасшедший убийца, который придумал такой удивительный способ расправы со своими жертвами? Отсыпает им порошка, они идут домой, выпивают порошок, никому ни слова не говоря из страха перед насмешками. А потом умирают, и никто не знает, чьих рук это дело. Какой ужас!

Я посмотрел на кулек, потом на лавочника. Его вид внушал доверие, но подумав, что осторожность не помешает, я спросил его многозначительно:

— А в этом порошке нет наркотических или ядовитых веществ?

Лавочник посмотрел на меня с негодованием.

— Наркотиков или отравы? И ты это спрашиваешь у продавца ду-

---

[1] Мера веса, равная примерно 1,3 кг.

шевных качеств? Да простит тебя аллах! Давай сюда кулек и, пожалуйста, уходи!

— Не сердись, хаджи! Я пошутил. А ты будь поприветливее с покупателями, потерпеливее. Нет ли у тебя мешка с порошком терпения?

— Конечно есть.

— Так выпей его.

— Как будто я не пью! Или, по-твоему, я мог бы без этого долгие годы сидеть среди товара, отвергаемого людьми? Давно сижу я здесь, среди мешков с душевными качествами — с порошками смелости, искренности и откровенности, бескорыстия и гостеприимства, терпения и благородства. И никто не требует этих чистейших товаров. Я начал понемножку брать порошок из мешка терпения, и его уже мало осталось. А мой товар, как видишь, все лежит и лежит!

В голосе хозяина лавки звучала горечь. Я представил себе, как он изо дня в день сидит один в этом заброшенном, забытом людьми месте, куда не заглядывает даже случайный прохожий. Чтобы хоть немного развлечь его, я начал осведомляться о содержимом каждого мешка.

— Здесь что?

— Самопожертвование.

— А это?

— Великодушие.

— А в мешке на полке?

— Искренность.

— В том, что в углу?

— Храбрость.

Я спрашивал, а лавочник отвечал до тех пор, пока мы не перебрали все мешки. Мне было жаль беднягу. Что его заставляет вот так сидеть среди мешков, туго набитых высокими душевными качествами, пробавляясь порошком терпения?

Нет, он глуп! Что ему мешает заменить порошок терпения другими?! Зачем ему эта торговля товаром, который никто не берет? Если бы он взял по щепотке из всех остальных мешков, то занял бы достойное место в жизни. Чего только не сумел бы достичь человек, обладающий всеми добродетелями, собранными в этих мешках! О, ленивый глупец! Зачем ты понапрасну теряешь годы в этой мерзкой лавчонке? Ты мог бы уже стать великим человеком!

И, посмотрев на него с глубоким сожалением, я сказал:

— Хаджи, ты прожил свою жизнь зря. Если ты сказал правду, то почему ты не испробовал сам всех этих чудесных душевных качеств, которые возвысили бы тебя над всеми людьми? Неужели тебе не надоело сидеть здесь в одиночестве и тоске?

Он бросил на меня презрительный взгляд, яснее всяких слов говоривший: «До чего же ты глуп, приятель!»

Но я сделал вид, что ничего не заметил.

— Не думаешь ли ты, что до сих пор я только и ждал твоих советов, а сам попробовать мой товар не догадался? Послушай, приятель,— продолжал лавочник, помолчав немного,— ты, видно, добрый человек. Садись вот на этот мешок, и я расскажу тебе про свою жизнь. Так вот моя история — история торговца душевными качествами.

Не раз я пробовал содержимое мешков, которые тебя окружают. Не пропустил ни смелости, ни любви к людям, ни самопожертвования. И намерения у меня были самые лучшие. И что же? Ничего, кроме горя и разочарования, это мне не принесло. Я, как и ты, думал, что с помощью таких товаров вознесу человека на недосягаемые высоты. Но мои стрелы пролетели мимо цели и все надежды рухнули.

Или ты думаешь, что смелость, благородство, бескорыстие могут сделать человека великим в наше время? Или что великим наших дней свойственны все эти высокие качества?!

Тогда ты, прости меня, глупец. Если бы дело обстояло таким образом, то разве мои товары не шли бы нарасхват? Нет, в наши дни они никому не нужны. Современному человеку они ни к чему, и особенно это относится к людям с положением. Разве только сумасшедший рискнет приобрести благородные качества, чтобы украсить свой характер.

Я попробовал порошков из всех мешков, и что же? Меня объявили умалишенным. И, потерпев полное поражение, я должен был вернуться в свою лавку.

Я думаю, ты без труда представишь себе, каково живется человеку, который не лжет, не лицемерит, не льстит и кому угодно откровенно высказывает свое мнение, человеку смелому, никого и ничего не боящемуся. А если он к тому же добр и делится своим достоянием с несчастными бедняками, если он, например, способен отдать свою одежду замерзшему ребенку в лохмотьях? Можешь быть уверен, такого человека, конечно, назовут сумасшедшим. Так было и со мной. И я ушел от людей, которые издевались надо мной и насмехались над моими делами. Я ушел из их гнусного мира после того, как сострадание к голодным привело меня самого на грань голодной смерти, после того, как, одевая раздетых, я сам остался почти голым. И ведь ни один из тех, кому я помог, даже не поблагодарил меня. Вот почему я снова сижу в этой лавке, полной устаревшим, никому не нужным товаром.

Торговец надолго замолчал. Мне стало жаль его. Но тут же меня осенила новая мысль, которую я не рискнул высказать вслух. «И все-таки ты глупец или, по крайней мере, недалекий человек. Вот ты сказал, что твой товар вышел из моды и не отвечает вкусам нынешних людей и тех, кто ими правит. Так почему бы тебе не сменить это старье на что-нибудь поновее? Подбери такие душевные качества, которые пользуются спросом. Попробуй торговать лицемерием, трусостью, коварством, подлостью и всем прочим. Спрос на них велик, и ты был бы спасен». Не выдержав, я все-таки сказал:

— Если все так плохо, то почему бы тебе не торговать другими товарами? Почему бы тебе не попытаться продавать, например, ложь или зависть?

Он посмотрел на меня и с сожалением произнес:

— А где их взять? Такой товар на полках не залеживается. Я уже спрашивал у другого лавочника, и он ответил, что ни крошки не осталось. Ведь когда впервые открылась моя лавка, товары в ней были самые разнообразные. Но покупатели брали только такие душевные качества, как трусость, коварство, хитрость, обман. А уж о лицемерии и говорить нечего — его друг у друга из рук рвали. В давке даже несколько человек затоптали. Тогда вмешались власти и закрыли лавку, а весь оставшийся порошок лицемерия конфисковали. Казна потом стала сама его отпускать — все больше по знакомству. Ну и львиная доля лицемерия досталась всяким проходимцам.

Народ возмутился и потребовал свою часть. А лицемерия оставалось так мало, что на всех хватить никак не могло. Власти задумались и нашли выход из положения. Оставшийся порошок высыпали в реку, из которой все пьют. Так каждый смог получить небольшую порцию лицемерия. Уж лучше мало, чем вовсе ничего. Все существа, пьющие воду, пропитались им, и мир стал землей лицемерия.

Лавочник замолчал, а я задумался над его словами. И мне захотелось отдать ему назад кулек. Но, с другой стороны, почему бы и

не попробовать? Ведь смелым я буду всего десять дней. Ничего страшного за такой короткий срок произойти не может.

— Пойду выпью порошок, а через десять дней приду рассказать, что со мной произошло.

— Дело твое. Я тебя предупредил о возможных последствиях. А дальше сам смотри.

Попрощавшись с лавочником, я пошел домой, крепко сжимая кулек с порошком смелости.

Глава 2

Смелый человек

И вот я иду домой. В одной руке сжимаю кулек с порошком смелости, в другой — трость, которой бодро помахиваю. Одна мысль о том, что скоро я выпью чудесный порошок, уже делает меня смелым. Но что это, собственно, значит? Что же, не встреться мне на пути торговец душевными качествами, так я бы всю жизнь оставался трусом? А разве я трус? Разве обязательно пить специальный порошок, чтобы стать смелым? А может, я и так смелый и никакой порошок ничего не изменит? Что такое смелость? Это отсутствие страха смерти? Если так, то я всегда был смелым. Тогда зачем мне этот порошок?

Я не боюсь смерти. Не сочтите это самомнением или гордостью. Дело просто в том, что я очень люблю спать. Уже часов в девять-десять вечера я опускаю свое бренное тело на кровать, расслабляюсь и забываю дневные труды и заботы. Исчезают волнения и усталость. От всех неприятностей и бед меня избавляет спасительный сон.

А смерть ведь тоже сон, только вечный. Смерть несет избавление от всех жизненных тягот, трудов и тяжелых раздумий. Так чего же ее бояться? Она — лишь сон, который я люблю больше всего на свете! Значит, я смелый человек! И не нужны мне никакие порошки, чтобы стать смелым!

Постой. Если я и вправду смелый и не боюсь смерти, то почему же я до сих пор не умер? Что меня привязывает к жизни? Клянусь аллахом, ничего. А разве умереть трудно? Вовсе нет. Так почему же все-таки я до сих пор живу? Да потому, что мне отвратительно все, что предшествует смерти, то, что к ней приводит. Если бы человек мог просто сказать своим близким: «Спокойной ночи, я пошел умирать!» — так же, как он говорит: «Спокойной ночи, я пошел спать!» Но, к сожалению, умирают не так.

Я вот готов в любую минуту уйти из жизни. Однако при этом мне вовсе не хочется попадать под трамвай, колеса которого быстро превратят мое тело в бифштекс.

Нет уж! Только представив себе это, можно заплакать горькими слезами. Значит, человек — трус? Не все ли мне равно, что станет с моим телом, если в любом случае ему предстоит смешаться с древней землей? И зачем мне смелость, если конец неизбежен?

С другой стороны, я всегда считал себя смелым, но ничем этого не доказал. Страх перед последствиями, опасения за свой хлеб насущный, стремление заслужить расположение начальства, правило не вмешиваться в дела, которые меня не касаются,— вот то, что мешало мне доказать свою смелость делом.

В конце концов я пришел к выводу, что я трус, а поэтому порошок, который я несу, должен произвести во мне большие перемены. Я избавлюсь от безволия и смирения, стану самостоятельным во всех решениях и поступках.

Дома я тихонько пробрался к себе в комнату, положил кулек на полку и пошел на кухню за водой. Потом сел перед зеркалом, высыпал порошок в стакан и тщательно его размешал. Поднял стакан, посмотрел на свое отражение в зеркале и заколебался. А не случится ли со мной то же самое, что случилось с беднягой лавочником? А вдруг порошок смелости будет действовать не десять дней, а всю жизнь?

Разумеется, я считаю смелость хорошим качеством. И в то же время боюсь, ибо никогда не был смелым. И как быть смелым во времена трусов? А лавочник к тому же утверждает, что мода на благородные душевные качества давно прошла.

Я еще раз посмотрел на себя в зеркало: лицо бледное, испуганное... Ну, пей же! Что за низость бояться смелости!

Я взял стакан, выпил залпом и поставил стакан на стол. У меня сразу перехватило дух, как у бегуна, закончившего дистанцию. Я уставился на свое лицо в зеркале, но никаких видимых изменений не обнаружил. Только глаза как-то странно заблестели. А может, мне это почудилось? Но вот тело стало совсем другим. Я почувствовал прилив новых сил, мышцы вздулись буграми. Мне даже показалось, что я могу играть мускулами, как тот человек, которого я видел на одном дне рождения. Он кричал, поигрывая мускулами: «А вот я, Шавваль, чемпион Имбабы в весе пера!» Наверное, я стал очень сильным и похожим на Шавваля.

Когда я открыл дверь и вышел в прихожую, до меня донесся плач служанки. Это был привычный звук: я слышу его чуть ли не каждые полчаса.

Дело в том, что моя теща считает своим святым долгом бить нашу маленькую служанку по всякому поводу и без оного. И эту возложенную на себя обязанность она исполняет с большим усердием. Я не раз подумывал о том, чтобы вмешаться и избавить девочку от побоев. Но тут же всегда начинал себя успокаивать, прикидывал, чем может кончиться мое заступничество. Теща у меня нервная и вспыльчивая, а вернее говоря, просто злая и сварливая баба, для которой нет выше удовольствия, чем шумная ссора. Я заранее знал, что в итоге она обвинит меня во всех смертных грехах и сляжет в постель, а я выйду во всем виноватым. Вот почему я всегда предпочитал молчать, подавлять гнев и терпеливо выносить рыдания служанки. Обычно я запирался у себя в комнате и ждал, когда рыдания и вопли прекратятся.

Я сознавал, что такое поведение — трусость, но тем не менее называл это благоразумием. Я убеждал себя, что придет время и служанка просто привыкнет к побоям, а я — к ее плачу.

На этот раз все вышло по-другому. Выпив порошок смелости, я уже не смог остаться просто наблюдателем. Жалость к бедной девочке переборола обычную нерешительность. Вырвав служанку из рук тещи, я суровым и решительным тоном предупредил ее, чтобы впредь она не смела бить девочку, иначе пусть пеняет на себя. Теща оторопела, но тут же, забыв про служанку, повернулась ко мне. Такая добыча устраивала ее даже больше. Предвкушая редкостную ссору, теща для начала обругала меня. Я ответил тем же. Она начала поносить моего отца, я перечислил всех ее предков по отцовской линии до десятого колена. Она попыталась ударить меня палкой, я выхватил палку и выбросил в окно. Она расплакалась, я и глазом не моргнул. Заливаясь слезами, она выбежала из комнаты. Ну и порошок! Я и вправду стал смельчаком!

Чувствуя в себе силу, решительность и жажду деятельности, я

вышел из дома, готовый совершить что угодно, не задумываясь о последствиях.

Для начала я сбросил с головы феску, без которой прежде боялся нос высунуть из дому. Как же! Люди перестанут меня уважать. А какая связь между феской и уважением? Какая же глупость говорить — вон идет уважаемый человек, ведь он в феске. А вон тот ходит с непокрытой головой. Пустые слова! Только голову себе перегреваешь. Недаром люди изобретательные проделывают в феске дырочку, чтобы воздух освежал затылок. Так не лучше ли вообще сбросить фески и дать голове свободу?

Феска не защищает ни от холода, ни от жары, ни от дождя, ни от солнца. И красивой ее тоже не назовешь. Так что же заставляет нас носить феску? Трусость. Боязнь, что люди обвинят тебя в неуважении к традициям, в испорченности. И не говорите, что феска — наш национальный символ. Глупости! Если хотите знать, так это даже символ нашего порабощения. Люди! Освободите свои головы от фесок! Возможно, что феска — причина всех ваших несчастий. Именно она заставляет вас склонять голову, притупляет сознание, застилает глаза мраком невежества. А я вот бросил феску и вышел на улицу с непокрытой головой!

Я пошел к остановке автобуса. Мне предстояло важное деловое свидание, а времени оставалось в обрез. Приближался автобус, я сделал знак водителю и побежал. Но тот не остановился, хотя в машине были свободные места.

Не в первый раз водители пустых автобусов не обращали внимания на мои знаки и проезжали мимо. И мне оставалось только ждать, убеждая себя, что водитель не обязан останавливать автобус на остановке по знаку пассажира. А уж если он остановится, то это милость аллаха. А что поделаешь? Не могу же я остановить автобус руками или прыгнуть в него на ходу. Я боюсь. Во-первых, потому что могу испачкаться, а во-вторых, что самое главное,— вдруг я поскользнусь и попаду под колеса. Я уже говорил, что смерть меня не страшит. Но уж если мне написано на роду умереть насильственной смертью, то пусть моя смерть будет благородной, возвышенной, хотя бы на поле брани. А то умереть под колесами автобуса! Клянусь аллахом, это не по мне!

Автобусы проносились один за другим, и никому из водителей не приходило в голову остановиться. Одни машины были набиты битком, зато другие — полупустые, но, наверное, их водителям казалось, что они не на работе, а на прогулке. Во мне закипала злость. Правительство предоставляет заботиться о пассажирах транспортной компании, а она выпускает на линию ничтожно малое число машин, и на остановках собираются толпы жаждущих воспользоваться автобусом. Но компания перепоручает их водителям, а те останавливаются тогда, когда у них есть на то настроение.

Я начал себя утешать: будь я министром общественных работ, то наверняка сумел бы покончить с таким безобразием! Но тут мне пришло в голову, что, став министром общественных работ, я тут же забыл бы об этих неудобствах и беспорядках. Ведь тогда бы у меня был роскошный автомобиль. Так откуда бы я узнал, что люди часами простаивают на остановках, а когда автобус приходит, не всегда успевают втиснуться в него, а водители не считают нужным останавливаться где положено? Конечно, я и не вспомнил бы про эти безобразия, удобно развалившись в машине, несущей меня словно ветер. В этом-то и беда нашей страны. У тех, кто страдает, нет возможности уничтожить причины страданий. Те же, кто имеет власть, никаких страданий не испытывают. Те, кто живет в хлевах, голодает и пьет воду

из канала вместе со скотиной, те, кто изможден бедностью, голодом, болезнями и угнетением,— те не в состоянии изменить свою жизнь и покорно склоняются перед своей судьбой. А те, у кого в руках власть, живут в собственное удовольствие и не считают нужным заботиться о простых людях, да и вовсе не знают, как это делается.

Как власть имущие могут ощущать голод, если их животы набиты всякими яствами? Откуда они могут знать, что люди пьют воду из грязных каналов, если сами пьют «Виши» [1]? Как они могут понять, что людям нужен водопровод, если сами берут воду из холодильника? Способны ли они заметить людскую наготу, если сами закутаны в шелка и нейлон? Где им заметить людскую худобу, если они холят и лелеют свои раскормленные тела? Беда в том, что тот, кто не страдает, мог бы что-то сделать, но не делает, потому как сыт, одет, обут и здоров. А тот, кто сам испытывает все жизненные невзгоды, тот тоже ничего не делает, потому что не в состоянии что-либо изменить.

Лучшим средством для преобразования жизни в этой стране был бы пост. Но не тот, для которого назначен месяц рамадан. Аллах свидетель, что этот пост мы превратили в месяц обжорства. В рамадан мы не только ни в чем себе не отказываем, но, наоборот, ублажаемся всякими яствами и только меняем часы еды — обильно завтракаем до рассвета и еще обильнее ужинаем после захода солнца.

Нет, я предлагаю не такой пост. Пусть постятся богатые. Пусть каждый богач один месяц в году тратит не больше четырех фунтов. Пусть на эти деньги он кормит, поит и одевает свою семью. И пусть-ка вот так попостятся глава государства, министры и все другие высокие начальники. Пусть они попробуют есть мясо один раз в месяц. И какое мясо! Легкие, требуху, горло — все, что продается прямо на бойне. Пусть на своей шкуре испробуют, как жить с семьей на четыре фунта в месяц!

Обо всем этом я раздумывал, стоя на остановке, как вдруг увидел подъезжающий автобус. Мне он показался почти пустым, но водитель, не снижая скорости, пронесся мимо. И тут я решился сделать то, на что раньше никогда не рискнул бы. Теперь ведь я был смелым. И я кинулся вслед за автобусом, твердо решив прицепиться. Догоняю автобус, хватаюсь за поручни, ставлю ногу на ступеньку... Что произошло потом, я хорошенько не помню. Но, во всяком случае, я убедился в одном: прыгать на ходу в автобус и другие виды транспорта — это большое искусство. Я же им не обладал и, не удержавшись, сорвался с подножки и распластался на земле.

Пассажиры закричали, автобус остановился, и некоторые бросились ко мне узнать, жив ли я. А я очнулся и быстро убедился, что цел и невредим. Только людей насмешил! Вскочив на ноги, я отряхнул пыль с пиджака и не почувствовал никакой боли. Задумался, что делать дальше. Прежде у меня не было бы никаких сомнений — терпи, сказал бы я себе, и не связывайся с шофером. Добром не кончится. К дракам же я питал отвращение и предпочитал кулачной расправе любые унижения.

Но на этот раз все пошло не так. Все мое существо требовало совершить смелый поступок, и я забыл про осторожность. Нет, я проучу этого наглеца шофера, и пусть это послужит уроком всем, кто получает деньги и пренебрегает своими обязанностями, ставя свои собственные интересы выше интересов общества.

Шофер продолжал сидеть за рулем, даже не повернув головы. Я подошел к нему, а он спросил с издевкой:

— Ты зачем прыгаешь на ходу?

---

[1] Французская минеральная вода.

Мое терпенье лопнуло. Я ухватил шофера за рукав и вытащил его наружу. Такой силы и злости я за собой прежде не замечал. Повалив его на землю, я хорошенько отдубасил негодяя. Он попытался было встать, но я ударил его в живот, а потом поднял за воротник и снова задал ему хорошую трепку. А он только охал и стонал.

Пассажиры следили за нами с затаенным злорадством. Словно я мстил за них всех.

Наконец они все-таки вмешались и разняли нас. Шофер вопил во все горло, осыпал меня грязными ругательствами и клялся, что сведет меня в участок.

Я посмотрел на часы и понял, что окончательно опоздал на свидание. Меня взяло зло: и дела не сделал, и надо еще тащиться с этим разбойником в полицейский участок. И ведь знаю, что там меня ничего хорошего не ждет. Но ты же теперь смельчак! Вот и расплачивайся за свою смелость.

Глава 3

Всеобщее предательство

Итак, мы с шофером шли к ближайшему полицейскому участку. Он всю дорогу не закрывал рта, изрыгая ругательства и страшные угрозы. В участке за деревянным барьером сидел надутый от важности старший сержант. Он допрашивал женщину, закутанную в черный платок, из-под которого виднелись спутанные волосы. Женщина говорила:

— Вот уже семь ночей так продолжается. Приходит домой пьяный. А я с детьми целый день сижу без гроша. Едва увидит меня, сразу набрасывается с кулаками.

Я увидел здорового детину с красными глазами в длинной галабии и желтых ботинках. На жену он смотрел зверем, а потом принялся убеждать сержанта:

— Милостивый бек! (Этот титул так польстил сержанту, что сразу стало ясно: чего бы ни наговорил ему этот пропойца, он со всем согласится.) Милостивый бек! Врет баба! Да ее повесить мало, не то что избить!

Сержант кивнул и приказал полицейскому вывести женщину, и тот потащил несчастную к двери. Я этого не стерпел и потребовал, чтобы женщину оставили в покое и чтобы сержант разобрал обстоятельства дела как следует. Но падение с автобуса и драка с шофером не служили мне украшением, и сержант, бросив на меня презрительный взгляд, приказал замолчать.

Женщина с мужем ушли, и сержант начал допрашивать нас. Но не прошло и минуты, как с улицы послышались крики. Очевидно, муж принялся избивать жену прямо у дверей участка.

Я бросился туда и увидел, что пьяница повалил жену на землю и топчет ее ногами. Против обыкновения, я не отвернулся, делая вид, будто ничего не замечаю, а бросился на негодяя и оттащил его от жены. Но дело кончилось, как всегда в подобных случаях, тем, что муж перестал бить женщину, та прекратила кричать, и оба они набросились с кулаками на меня. Спас меня полицейский, которого сержант послал за мной, чтобы продолжить допрос.

Шофер тем временем уже успел объяснить сержанту, что он остановился по моему знаку, а я накинулся на него, избил и изругал. Я начал уличать шофера во лжи, но сержант, смерив меня злобным взглядом, рявкнул:

— Я вижу, ты болтун. Поменьше распускай язык!

Мне не понравились ни его тон, ни взгляд. Но я сказал вежливо:

— Нельзя ли без грубостей?

Сержант покраснел и заорал:

— Я тебе покажу грубости!

Он подозвал полицейского и приказал отвести меня в камеру. Сопротивляться было бесполезно. Кто бы поверил? Я — спокойный, уважаемый человек — вдруг оказался запертым в камере полицейского участка, где мне предстояло провести ночь. А за что? За здорово живешь!

Да, я и правда стал смелым! Но что я совершил такого смелого, ради чего стоило бы оказаться под замком? Какую пользу принес себе и другим своими поступками?

Что со мной? Или это действует порошок смелости? Но виноват я сам. Захотел стать смелым, а правильно распорядиться смелостью не сумел. Впредь я буду сдержаннее, а смелость употреблю на что-нибудь нужное и полезное людям.

Приняв такое решение, я позвал полицейского и попросил передать «его превосходительству» старшему сержанту о моем желании поговорить с ним. И вот я снова стою перед чванным болваном и изо всех сил стараюсь задушить в себе смелость, чтобы не проучить это чучело как следует. Вспомнив прежние привычки, я начал извиняться перед сержантом, повторяя через каждые два слова «ваше превосходительство». Объясняю ему, что по глупости позволил себе лишнее, о чем очень сожалею и в чем искренне раскаиваюсь. Затем я намекнул, что я человек уважаемый, занимаю солидный пост и опасаюсь, как бы у сержанта не было неприятностей, если он заставит меня провести ночь в камере. Я и позволил-то себе обратиться к нему только потому, что боюсь за него, семейного человека. Мне удалось убедить сержанта, и он меня отпустил. Ради этого я употребил все возможные средства — кроме смелости.

Выйдя из участка, я пошел домой. Смелость я старался держать в узде, боясь взорваться из-за какого-нибудь пустяка и затеять ссору с прохожими, и заставлял себя думать о том, на какое благородное дело я могу употребить свою смелость. От этих мыслей у меня даже голова разболелась — столько пришлось перебрать проблем, кризисов и недостатков, для решения и устранения которых пригодилась бы смелость. Но у меня не было сомнений, что главная проблема, определяющая все происходящее вокруг нас,— палестинская! Поверженная Палестина, судьбу которой могут решить не слова, а смелые и решительные дела. Палестина ранена, а ее слезы осушают словами.

И я начал думать, как лучше помочь делу Палестины. Решено: пойду добровольцем и с оружием в руках смело ринусь в гущу сражений. Вступать добровольцем в армию — долг каждого, у кого есть смелость. А вот что касается оружия и участия в сражениях, то тут следует не спеша все обдумать и взвесить. Какое оружие взять в руки, в какое сражение кинуться?

Один мой приятель, побывавший в Палестине, рассказывал, что большинство палестинцев безоружны и первые сражения там совсем не были похожи на военные действия, а скорее походили на схватку ягненка с мясником. А вокруг никого, никто не приходит на помощь. Спасителей нет. Ничего, кроме слов, слов, слов!

Приятель рассказывал такие вещи, которые и представить невозможно. Он говорил: «У палестинских арабов нет регулярной армии. Их войска — это маскарад, насмешка над военным искусством». Вот, например, как они ходили в атаку. Перед началом их командиры приказывают дать салют в честь друг друга, как это делается в деревнях,

и чуть ли не половина патронов расходуется зря. Палестинские арабы воюют голыми руками, без всякой тактики, без заранее разработанных планов, без единого командования.

Итак, палестинцы безоружны, неорганизованны, у них нет регулярной армии, которая могла бы защитить их родину и дать достойный отпор захватчикам. Так какая же будет польза, если я пополню ряды безоружных? Что даст Палестине моя смелость, если я увеличу число погибших еще на одного? Нет, следует распорядиться своей смелостью более практично. Я смогу помочь Палестине лишь в том случае, если создам сильные, хорошо вооруженные арабские армии, добьюсь выработки стратегических планов, организую концентрированное наступление на врага.

Решено, смелость я использую как силу, которая расшевелит сонных руководителей, заставит их действовать. Надо только обдумать, как лучше всего взяться за дело.

Я знал, что наши лидеры собираются в генеральном секретариате Лиги арабских стран. Значит, прежде всего нужно побывать там. Аллах поможет мне выполнить мою миссию. Сказано — сделано, и вот я уже перед зданием Лиги.

Стою, рассматриваю здание. Вижу вывеску «Генеральный секретариат». Начинаю ее срывать. Подходит охранник и спрашивает:

— Что ты делаешь?

Отвечаю:

— Меняю вывеску.

Решив, что я выполняю чье-то распоряжение, охранник отошел. Я же намеревался заменить вывеску другой, с крупной надписью «Всеобщее предательство».

Только я оторвал вывеску, как сзади раздался оглушительный шум. Оглянулся и вижу — к подъезду с грохотом и треском подлетает мотоцикл, за ним машина, набитая вооруженной охраной. Затем — роскошный лимузин. И еще одна машина с охраной. Прохожий рядом со мной шепчет мне на ухо:

— Генеральный секретарь!

Я совсем оробел, несмотря на всю мою смелость.

А он продолжает:

— В руках этого человека ключ к ситуации. Он знает все секреты, руководит всей Лигой. Очень важный человек.

Эти слова поначалу совсем меня доконали. Да и ничего удивительного, если вспомнить, какой таинственностью мы сами окружили деятельность генерального секретаря Лиги арабских стран. Но затем я начал вдумываться в смысл сказанного. Этот человек держит в своих руках ключ к ситуации? Какой ситуации? Ситуация всем известная — хуже и быть не может! Он вершит делами Лиги? Э, знаем мы дела Лиги, знаем, чего она добилась. Сколько уж раз гора рожала мышь! Он знает все секреты? А какие, собственно? Много раз собиралась Лига. Нам сообщали, тсс-с, Лига выработала важнейшие секретные решения! В свое время о них объявят. Идет время, гремит музыка, мы судачим: Лига приняла решения, плохо будет сионистам.

А генеральный секретарь меж тем разъезжает между Каиром, Вашингтоном и Лондоном, как кузнечик прыгает с востока на запад, произносит туманные речи, чтобы хорошенько скрыть секреты! Мы пытались понять смысл его заявлений, но тщетно. Оставалось лишь покачивать головой и винить себя в невежестве. Убеждали себя — лучше подождать, скоро почувствуем силу таких заявлений.

Ждали мы, ждали, но слышали только высокопарные речи вместо грома пушек, видели лишь дым благовоний вместо дыма орудий на поле брани, узнавали планы созыва все новых и новых совещаний,

а не планы наступления. Вот и получилось, что безоружные обитатели дома бежали, став отверженными!

Я отвернулся от соседа и больше с ним не заговаривал. Я ведь пришел сюда не для того, чтобы вести бесплодные дискуссии, а чтобы действовать!

Начинаю действовать. Прислоняю сорванную вывеску к стене и неторопливо направляюсь к двери. Охранник останавливает меня и осведомляется, по какому я делу. Я доверительно улыбаюсь и шепчу ему на ухо:

— Скажу, когда завершу свою миссию.

— Какая еще миссия? Ты сказал, что должен исправить вывеску.

— Неужто ты думаешь, что я пришел сюда ради вывески? Моя миссия куда важнее. Ее успешное завершение всколыхнет весь Восток,— продолжал я шептать, а потом дружески хлопнул его по плечу и взялся за ручку двери.

Но охранник вцепился мне в плечо и переспросил:

— Твоя миссия всколыхнет весь Восток? — И вдруг завопил во весь голос: — Ах ты злодей!

К нам бросились другие охранники и навалились на меня. Тут же выяснилось, что я — сионист, притворился, будто хочу исправить вывеску, а сам попытался проникнуть внутрь здания, причем признался в намерении сделать что-то такое, что всколыхнет весь Восток.

Ну и шум поднялся! Все, кто был внутри здания, кинулись наружу, уверенные, что сионистский агент пытался взорвать генеральный секретариат. А я лежал на земле, придавленный охранниками, и пытался втолковать им, что пришел сюда с самыми добрыми намерениями. Но они мне живо заткнули рот.

Через некоторое время меня подняли, заковали в наручники и втолкнули в закрытую машину. А снаружи стоит крик: один объясняет, что еще неделю назад видел, как я рисовал план входа в здание, а другой утверждает, что я — известный главарь сионистской шайки.

Меня увезли в тюрьму. Затем отправили на допрос. По дороге я слышал, как продавцы газет вопят: «Специальный выпуск! Самое большое предательство, которое когда-либо знала история! Попытка взорвать здание Лиги арабских стран!»

Я предстал перед грозными очами следователя и вдруг вижу — да это же мой старинный приятель! Он даже глаза вытаращил.

— Это ты?

— Я.

— Так ты, что ли, сионист?

— Вовсе нет.

— Почему же ты здесь?

— Только из-за излишней смелости.

И рассказал я ему, что намеревался сделать, конечно не упомянув при этом о порошке, опасаясь, как бы он не счел меня сумасшедшим. Меня выпустили, и я побрел домой, еле волоча ноги после всех этих передряг.

Глава 4

В пути

Вернулся домой. Домочадцы встретили меня мрачным молчанием, и я тихонько прокрался в свою комнату, разделся и без сил рухнул на кровать.

Когда я проснулся утром, то по свету в окне понял, что проспал. А ведь я еще никогда намного на работу не опаздывал, так как отли-

чался большой аккуратностью, что, впрочем, свидетельствует о робком характере. Я боюсь совершить малейший промах или ошибку, но не из любви к своей работе, а потому, что опасаюсь прослыть небрежным и лентяем.

Случись мне проспать раньше, я бы вскочил с кровати как ужаленный, в считанные секунды оделся бы и в мгновение ока добежал бы до работы, высунув язык от усталости.

Но сегодня... Сегодня я смелый. Не спеша поднимаюсь, спокойно иду в ванну. Целых полчаса бреюсь и одеваюсь, словно перед любовным свиданием. Сажусь за стол и неторопливо завтракаю, не ощущая ни беспокойства, ни страха. Подумаешь, опоздаю на полчаса! Работа от этого не пострадает — для нее и часа достаточно, а я просиживаю там шесть часов.

Выхожу из дому спокойно, не торопясь. На трамвайной остановке толпится народ. Публика самая разношерстная. Вижу Хусейна — продавца газет. Он говорит заговорщицким тоном:

— Положение серьезное. Сионисты хотели взорвать здание Лиги. Если бы не покровительство аллаха...

Беру у Хусейна несколько газет и журналов, небрежно их перелистываю, заранее зная, что там написано. Затем оглядываю окружающих и замечаю важного мужчину, одетого с претензией на щегольство. Феска надвинута на бровь, одной рукой закручивает фатовские усы, в другой — трость. Он небрежно смотрит на окна домов напротив и на проходящих мимо женщин.

Подошел трамвай. Кое-как втискиваюсь. По проходу пробирается кондуктор, стуча по ящичку с билетами и время от времени выкрикивая: «Билеты! У кого нет билета!» Вытаскиваю деньги, плачу. Кондуктор идет дальше. Оглядываюсь и вижу того щеголя с нафабренными усами, но только при виде кондуктора он стал похож на затравленного зайца. Однако тут же напустил на себя важный вид, отвернулся, покрутил правой рукой ус и уставился в окно, будто разглядывал улицу. Подумать, так он ее никогда прежде не видел!

Я даже чуть было не поверил, что мой щеголь занят своими мыслями и просто не заметил кондуктора, но только гляжу: он все время искоса следит за каждым движением кондуктора. А тот сделал ловкий обходной маневр и оказался прямо перед своим противником. Началось решительное наступление. Первый выстрел: «Билет, бек!» Тот быстро уклонился, и снаряд попал в соседа, который мгновенно протянул деньги.

Защитный маневр щеголя был великолепен и доказывал, как тонко он усвоил искусство проезда зайцем. При приближении кондуктора он вытащил из кармана носовой платок, прикрылся и начал усиленно чихать, а в заключение опять повернулся спиной к кондуктору, делая вид, будто поглощен чтением газеты.

Кондуктор пустил в ход прием «клещи», из которых пока еще никому не удавалось вырваться,— он позвал на помощь контролера и вежливо повторил: «Билет, бек!» Тут заяц засуетился, полез в карман, вытащил пять пиастров и протянул кондуктору, потребовав сдачу. Билет был оторван, контролер его надорвал, а кондуктор начал протискиваться дальше. Тут роли переменились — ведь кондуктор сдачу-то не дал! И теперь он прибегнул к приемам щеголя: уклоняясь от его взгляда, поворачивался к нему спиной. А тот старался протиснуться к нему поближе, окликая его.

Трамвай проезжал остановку за остановкой. Беспокойство обманутого пассажира росло, но тут мое внимание отвлекла иностранка, которая настойчиво звала кондуктора. Мой сосед сказал, покачивая головой:

— О боже! Вот это честность! От нас такого не дождешься... Была бы на ее месте египтянка, она бы не упустила возможности проехать без билета!

И другие пассажиры начали воздавать должное честности этой женщины и иностранцев вообще. Кто-то сказал:

— А за границей газеты раскладываются прямо на улице, без присмотра. Каждый выбирает нужную газету и кладет деньги в ящичек, стоящий рядом.

Тут все зашумели: «Да если бы в Египте сделать так, то продавец не нашел бы ни газет, ни денег!» И все сошлись на одном: отсутствие у египтян честности — вот главная причина отсталости страны.

Я не только не возражал, но и сам приводил многочисленные примеры честности иностранцев. Тут подошел кондуктор, и иностранка закричала:

— Где сдача с пиастра, который я тебе дала?

Все мы почувствовали глубокое разочарование. Так вот почему иностранка так настойчиво звала кондуктора! Не из честности, а ради сдачи в полпиастра.

Я рассердился: легче всего критиковать себя и восхвалять иностранцев — их честность, благородство и прочее. А если вникнуть поглубже, то увидим, что в каждом человеке заложено и хорошее, и плохое независимо от того, в какой стране он живет, к какому поколению принадлежит. Был со мной такой случай, когда я учился в школе, принадлежавшей англичанам. Школа была интернациональной. Там учились все вместе: англичане, египтяне, австралийцы и даже некоторые из Южной Африки. Подходит время экзаменов. Я готовился с приятелем-египтянином, и усвоили мы пройденное очень хорошо, но экзаменов все равно боялись. Мы были убеждены, что на экзаменах, которые принимали англичане, никакой обман невозможен. Ведь англичане так воспитанны! И решили показать им, что мы не хуже.

Начались экзамены. Я пишу контрольную работу, стараясь сосредоточиться — ведь надеяться-то я могу только на себя! Вдруг приятель подсовывает бумажку. Беру, читаю и с ужасом обнаруживаю, что это шпаргалка! Я разозлился на приятеля — того и гляди, осрамит нас перед иностранцами! И я быстро спрятал шпаргалку под платок, но все-таки время от времени украдкой в нее заглядывал. И тут замечаю, что сидящий рядом англичанин внимательно за мной наблюдает и как-то странно ерзает. Дальше — больше. Он уже в упор на меня смотрит. И тут я вижу, что не только он, но и все остальные ученики уставились на меня со злостью и тревогой.

Боюсь, что у них лопнуло терпение. Как! Прямо у них на глазах я пользуюсь шпаргалкой! Тут сосед вскакивает, бросается ко мне и выхватывает из-под платка злополучную бумажку. Потом спокойно садится на свое место и начинает переписывать ее в тетрадь.

О боже, а я-то думал, что он со шпаргалкой подойдет к экзаменатору и скажет, что забрал ее вон у того египтянина.

После я узнал, что шпаргалка была написана с ведома экзаменатора и гуляла по всему классу. Вот почему все возмутились, когда я задержал ее у себя. И соседу ничего не оставалось, как отнять ее у меня силой. Экзаменатор же не столько смотрел за нами, сколько наблюдал за дверью — как бы не вошел кто-нибудь посторонний.

Трамвай подошел к остановке, на которой мне нужно было выходить. Пробившись сквозь плотно стиснутые тела, я выскочил из трамвая. До меня донесся гневный голос щеголя, кричавшего кондуктору:

— Эй ты, разбойник, где сдача?

До моей работы было уже недалеко, и обычно мне, чтобы дойти

туда, требовалось не больше минуты. Но на этот раз я не ускорил шага, хотя опаздывал уже на целый час.

Прихожу в кабинет, сажусь на стул и здороваюсь с сослуживцами, которые смотрят на меня с нескрываемым удивлением. Я знал, что удивляет их не мое опоздание, а то невозмутимое спокойствие, с каким я держался. Если раньше мне случалось запоздать, я маскировал это с помощью одного из трех способов. Иногда я делал вид, что пришел уже давно и должен был отлучиться для выяснения некоторых вопросов. Для этого, прежде чем пойти к себе, я заглядывал еще куда-нибудь — например, в архив, брал несколько папок и шел, перелистывая их на ходу, с крайне озабоченным видом. Не отрываясь от папки, ногой открывал дверь и садился за свой стол, не говоря никому ни слова. Или поворачивался к кому-нибудь из коллег, бросал досье на стол и начинал бормотать: «Надоело! Один я только и работаю!» Если же мне говорили, что мной интересовался начальник, я опять хватал папку, входил в кабинет начальника и сразу же начинал жаловаться, что мне никто не помогает, все отлынивают, не могу же я один за все отвечать! Все, что от меня зависело, я сделал. И снимаю с себя всякую ответственность.

Ошарашенный начальник забывал, зачем он меня вызывал. Опоздание было забыто. Начальник начинал вникать в суть дела, которое я ему изложил. А найти запутанный вопрос мне было нетрудно: они все у меня такие. Таков первый способ избежать выговора за опоздание.

Второй способ: прихожу на работу расстроенный. Говорю, ни к кому не обращаясь, что всю ночь не спал. Жена (или теща) заболела, и я ни на минуту не сомкнул глаз. Бегал за врачами, то да се...

Третий способ очень похож на предыдущий, но только больным оказываюсь я сам — еле держусь на ногах, наверное, что-то серьезное.

Вот так моя трусость толкала меня изобретать всякие оправдания. И каждый раз они действовали безотказно. Но в это утро я ничего не боялся и не собирался придумывать оправданий. Просто вошел, сел за стол и непринужденно рассмеялся. Сослуживцы шумно со мной поздоровались. Бахджат-эфенди шепнул:

— Начальник пять раз тебя вызывал. Он знает, что ты еще не приходил.

Как после таких слов можно не упасть в обморок, не броситься к начальнику, чтобы униженно испросить прощения? Но я только посмотрел на Бахджата и спросил:

— А зачем, он не сказал?

Пораженный моим хладнокровием, Бахджат предупредил:

— Вместо тебя я ходил. Шеф сегодня не в духе.

Прежде чем рассказывать дальше, я подробно опишу вам бека, своего начальника.

Зовут его Ибрагим Абдель Мутааль. Глава департамента в министерстве. Лет ему не то за сорок, не то под шестьдесят. Не думайте, я не настолько глуп и умею определять возраст. Просто сегодня ему не дашь больше сорока, завтра он выглядит на все шестьдесят, а послезавтра похож на дряхлого старца, который одной ногой стоит в могиле. Возраст человека мы определяем по его внешности, а на нее влияет множество факторов: как он побрился, как причесался, поссорился с женой или нет, выиграл или проиграл прошлой ночью в нарды, сколько выпил вина или арака.

Вхожу однажды к нему в кабинет и вижу: лицо сияет, гладко выбрит, волосы тщательно причесаны и блестят, глаза смеются. Никак не дашь больше сорока лет. В другой раз он сидит с закрытыми гла-

зами, волосы седые, лицо серое, на подбородке седая щетина. Да некоторые шестидесятилетние моложе выглядят!

Итак, мой начальник был толст, багров и мог похвастать тремя жирными складками — на животе, на подбородке и на шее. Самой заметной частью его тела был огромный живот, украшенный золотой цепью, исчезавшей в жилетном кармане, где лежали часы. Многослойный подбородок скрывал воротничок и половину галстука. Загривок был настолько жирный, что напоминал верблюжий горб. А в остальном мой начальник был обыкновенным человеком, как все мы.

Отношения мои с начальником были самые добрые. Не преувеличу, если скажу, что он любил меня больше всех других своих чиновников. И не потому, что я лучше работал, а потому, что лучше его понимал. Самое счастливое качество, каким аллах может наградить смертного, это способность понимать начальство, умение его ублажить. Счастливейшие люди на свете те, кто понимает других.

Ибрагим-эфенди, или бек, как привыкли мы его величать, был на редкость ленив и бездарен. Главным и единственным его занятием было подписывание бумаг. Ничего труднее он не делал.

Вхожу с папкой. Прикидываю, в каком настроении бек, ибо только от этого зависит, подпишет он бумаги или нет. Само же дело его и не интересует вовсе. Он и не думает вовсе разбираться по существу.

Если я вижу, что бек сердит, то откладываю папку, почтительно здороваюсь с ним и быстро завожу беседу на одну из трех его любимых тем.

Первая тема — случай из его прошлого, о котором он мне рассказывал не меньше сотни раз. Но я не переставал удивляться и восхищаться, будто слышу об этом впервые. Когда-то наш начальник, по его словам, был замечательным атлетом, чемпионом по боксу в тяжелом весе. И еще был у него друг — «заморыш вроде тебя» (так он каждый раз говорил, а я улыбался и согласно кивал). Друг этот любил девушку, а она его едва замечала. «И однажды,— продолжал начальник,— приходит он ко мне и, чуть не в слезах, просит помочь. Твоей услуги, говорит, век не забуду. Давай подеремся на глазах у девушки, которую люблю безответно».

Тут шеф всегда снимал очки и клал их на стол. «Он говорит: «Нападай на меня и ударь — ну, конечно, для виду. Я дам сдачи, а ты закричишь, будто от боли, и бросишься наутек. Уж тогда я покажусь ей героем, и она ответит мне взаимностью». Я было хотел отказаться, но дружба перевесила. Договорились, когда и где встретимся. Друг выбрал кофейню напротив дома своей девушки. Дождались, когда она подошла к окну, и затеяли ссору. Я вскочил, и он тоже. Машет кулаками, как договорились, да только увлекся и начинает бить сильнее. Я от боли забыл про уговор и так стукнул этого мозгляка, что пришлось везти его в больницу».

Тут Ибрагим-бек замолкает, а я задаю ему вопрос, которого он ждет:

«А девушка, ваше превосходительство? Она что сделала?»

Начальник самодовольно смеется и бросает на меня взгляд, яснее всяких слов говорящий, что девушка в него влюбилась, но отвечает только:

«Э, приятель, давно это было».

Тут я рассыпаюсь в похвалах, захлебываюсь от восторга и вижу, что эфенди доволен.

Вторая любимая тема — история его служебной карьеры. Несмотря на выдающиеся способности и трудолюбие, ему не везет. Другие, менее талантливые, обошли его. А все почему? Потому что он прямодушен, независим в суждениях, не льстец. Я поддакиваю, хотя и знаю,

что такого подхалима и лицемера поискать. Он рассказывает мне о том, что такой-то его приятель по школе уже паша, другой — бек и вот-вот станет заместителем министра. А он до сих пор лишь возглавляет департамент.

Третья тема — чисто личная, касающаяся его семейной жизни, а точнее — взаимоотношений с его дражайшей половиной. Этот разговор начинался с жалоб на жену: до того она ему опостылела, что хоть беги. Выждав немного, спрашиваю: «В чем дело? Что случилось?» А в ответ следует:

«Тебе не понять. Ну представь, осудили бы тебя на двадцать лет каторги. Если хорошо себя ведешь, могут пару лет сбросить. А я вот уже двадцать пять лет маюсь, и надежды на свободу — никакой».

«А что она сделала, ваше превосходительство?

«Всю жизнь отравила. Всю прошлую ночь меня пилила. То шум ее раздражает, то кричит, чтобы не смел окно открывать и заглядываться на соседок. Скажи — что мне делать?»

«Разведись»,— говорю я просто.

Тут он начинает убеждать меня, что еще молод, полон сил. Я поддакиваю, и мало-помалу он отходит. Своей точки зрения я ему ни разу не высказал. Зато время от времени подносил ему подарки — недорогие, разумеется. Вот, например, преподнес ему коробку шоколада ценой в три фунта. Он спросил меня, сколько я платил. Пять пиастров, отвечаю.

Он только пальцем погрозил.

«Ну,— говорит,— если ж дороже...»

Я всегда боялся своего начальника, а потому лицемерил и льстил. Хватит, не хочу больше. Я ж теперь смелый! Вот я выскажу этому дураку набитому все, что о нем думаю!

— Вдохнови, аллах!

Глава 5

Большая игра

Толкаю дверь, вхожу, чувствую необычную решительность. Вижу: он так и пышет злобой. Того и гляди набросится на меня с кулаками. Ясно, что он в самом худшем расположении духа,— значит, было у него жаркое сражение с дражайшей половиной. Прежде я развеял бы его дурное настроение всякой лицемерной болтовней. Но я твердо решил сегодня этим путем не идти.

Здороваюсь и спрашиваю:

— Звали?

— Где ты пропадал? — гневно рявкнул он.

Конечно, он бы поверил любому оправданию, потому что нужно же ему было кому-нибудь излить душу. Но услышал только наглый ответ:

— Опоздал немного.

— Почему?

— Проспал.

Начальник вышел из себя и заорал:

— Почему проспал?

— Поздно лег.

— Почему?

— Не твое дело,— холодно ответил я.

Он даже растерялся от такого нахальства. Вижу, он вот-вот взорвется, и уже приготовил ответ. Выскажу ему все, что о нем думаю! Но неожиданно начальник сник и знаком пригласил меня сесть. Я с отвра-

щением сел перед ним. Ну, конечно, заведет сейчас старую пластинку: пожалуется на судьбу, поведает, что еще выкинула его благоверная, попросит совета. Мне надлежало завести ответную пластинку: посоветовать развестись, а затем начать успокаивать. Охая и тяжело вздыхая, начальник начал рассказ:

— Жизнь с этой бабой стала совершенно невыносимой... Пошел вчера в «Нью-бар». Посидел, сыграл в нарды с Абдель Хамид-беком. В восемь часов потребовал арака, выпил и пошел...

Я нетерпеливо заерзал, зная наперед всю его историю. Мое терпение лопнуло, и я продолжил за него сам:

— ...Пошел в казино «Восток», отлично провел время с танцовщицей Кики и побрел домой веселыми ногами. Жена тебя встретила ругательствами, да такими, что небесам тошно стало. Я что-нибудь пропустил? И какое мне до всего этого дело? Сколько можно слушать, что сделала твоя жена и что ты сам сделал, чтобы вас обоих черт побрал! Кажется, человек в возрасте и с положением, шляется по барам и казино, развлекается с танцовщицами, а возвращается домой мертвецки пьяным, да еще жалуется на жену!

Смотрю на шефа и вижу: на лице написано крайнее недоумение. Говорю ему:

— Это я все давно знаю. А вот ты послушай, что я скажу, и сними камень со своего сердца. Во-первых, зачем ты мажешь голову сажей и портишь волосы? Ты думаешь, что люди слепы и их можно обмануть краской, убедить их в своей молодости? Каждый возраст имеет свои особенности. Молодости свойственны красота и сила, старости — солидность и авторитет. А ты красишь волосы и думаешь обмануть природу? Себя обманываешь! Только смешон стал, а ни красоты, ни силы взамен не получил. Такое ничтожество, как ты, поискать! Три четверти рабочего времени проводишь в пустых разговорах, а о своих обязанностях и думать не желаешь. Только и занятия у тебя — жаловаться на жену и судьбу: тот из твоих приятелей стал пашой, другой — заместителем министра, а ты все еще глава департамента. Благодари аллаха и за это! А кем ты хотел бы стать?

Начальник даже рот открыл от изумления, а я встал и вышел как ни в чем не бывало.

Сел за свой стол. Сосед глазами спрашивает — как сам? Улыбаясь, отвечаю: все в порядке. Начинаю перебирать папки, наваленные на столе. Все они распухли от бесчисленных бумаг, и во всех — нерешенные судьбы людей, потонувшие в казенной рутине. В углу комнаты лежат еще горы запыленных папок. И в них тоже беды и горести живых людей, до которых нет дела бюрократам. Вот он рак, разъедающий нацию, которая не знает, как от него избавиться! Чиновники получают жалованье за убийственную медлительность в решении казенных дел, за ущемление интересов народа.

Административный аппарат работает черепашьими темпами. Это царство гнилости и застоя, замешанных на дрожжах нерадивости и крючкотворства. Руководят им люди, почитающие себя вельможами, у которых нет никакого желания работать. Люди, у которых отсутствует всякое понятие о служебном долге.

Передо мной лежит пухлая папка. Посмотрим, что там. Дело госпожи Захры Абдель Хамид, вдовы чиновника Ибрагима Абдель Вахеда. Она просит правительство не делать вычетов из ее пенсии за покойного мужа, ибо тогда ей придется жить на четыре фунта в месяц. А наследства покойник никакого не оставил.

Папка распухла от обилия бумаг, испещренных резолюциями и подписями. И как не распухнуть, если прошение было подано более двух лет назад. Папка блуждает по министерским коридорам, пылится

в шкафах, валяется на столах. Открываю ее и читаю последнюю резолюцию. Она гласит: «В просьбе отказать, потому что государственный бюджет не выдержит подобных нагрузок». Браво! Какая забота о государственном бюджете! Что бы стало с бюджетом, если бы не такой вот его хранитель, который боится, что потеря двух фунтов окажется для бюджета катастрофой? Этот страж отказал вдове Ибрагима-эфенди в двух фунтах, которые ей так необходимы для жизни. Но, возможно, она не дотянула до отказа.

Вот еще одно свидетельство заботы о государственном бюджете: несколько дней назад вдове некоего паши было выдано две тысячи фунтов! Очевидно, для бюджета опасны расходы, исчисляемые фунтами. А как дело доходит до тысяч, то казна этого и не замечает.

Что мне делать с прошением бедной вдовы? Раньше я оставил бы его и дальше пылиться в шкафу. Но сегодня смелость требует, чтобы я что-нибудь предпринял. Недолго думая начинаю писать отношение на имя заместителя министра с просьбой пересмотреть резолюцию. Вот оно:

«Его превосходительству заместителю министра на пересмотр прошения об отмене вычетов из пенсии вдовы покойного Ибрагима Абдель Вахеда.

Ваше превосходительство отказали в просьбе указанной вдове из-за нежелания обременять государственный бюджет. Мы не сомневаемся, что такая резолюция была наложена ошибочно. А может быть, у вас карандаш соскользнул или сломался. Всем известно, ваше превосходительство, что вы являетесь большим любителем запустить руку в государственную казну и не упускаете ни одной благоприятной возможности. Вот факты:

1. Первым бременем для бюджета являетесь вы сами, ваше превосходительство. Вы прекрасно знаете свое полное невежество в финансовых делах. Вы знаете, сколько для вас делалось исключений, и вы не занимали бы нынешнего поста, если бы не ваши родственные связи с известным лицом. Если бы не оно, то вы до сих пор оставались чиновником шестого класса.

2. Ваше превосходительство — редкостный специалист по набиванию своих карманов, а также карманов родственников и прихлебателей за счет государства.

3. Ваше превосходительство любит выглядеть благодетелем и слыть щедрым, но при одном непременном условии — за счет государственного бюджета.

В связи со всем вышеизложенным мы были крайне удивлены вашей резолюцией, в которой вы подчеркиваете свое нежелание обременять государственный бюджет. Поэтому мы возвращаем вашему превосходительству указанное прошение. Соблаговолите его пересмотреть, если в вас осталось хоть что-нибудь человеческое».

Перечитав отношение, я вложил его в папку и решил сам отнести ее заместителю министра. А пока взял другую, не менее пухлую папку, начал перелистывать документы и не удержался от смеха. Какой пустяковый вопрос! Но и эта папка застряла на моем столе. Ведь традиции и правила государственного аппарата не позволяют решить его просто и сразу. Он проходит тот же путь, что и самая серьезная проблема.

В этой папке прошение еще одной вдовы и бумаги, которыми оно успело обрасти. А ведь она просит лишь то, что ей причитается по праву: пенсии от казны после смерти мужа. Ей нужно на что-то жить. В том, что она бедна, сомневаться не приходится. И все же дело тянется уже более полутора лет. А почему? А потому, что не хватает одной-единственной бумажки, удостоверяющей имя шейха, тридцать

лет назад сочетавшего браком нынешнюю вдову и ее покойного мужа.

Открываю папку, беру перо и вписываю в одну из бумаг имя шейха: Ахмед Ибрагим Али. Какая разница?! Прошло столько времени! Вот и все. Вдова сможет, наконец, получить свою законную пенсию. А кто докажет, что шейха звали не так?

Решив быть смелым до конца, я засучил рукава и принялся работать с утроенной энергией. Надо защитить интересы простых людей, не дать их делам залеживаться годами. Но тут мне в голову пришла мрачная мысль: что толку, если я один буду защищать интересы простых людей? Ведь после меня бумаги пойдут дальше по начальству. Утвердит начальство низшее, а бумаги пойдут выше, до самого министра!

Так в Египте ведется крупная игра. Игроки — это политиканы, а публика — несчастный народ. В игре участвуют те, кто обладает властью. Выборы, парламент, политические партии — вот от чего больше всего страдает Египет. Это — непосильное бремя, тяжкие оковы, мешающие нации развиваться, давящие на ее плечи. Какую пользу Египту принесли политиканы и разные партии? Что такое политика в Египте? Это средство достижения власти, вот партии и дерутся между собой за власть. А на самом деле власть должна служить развитию страны и процветанию народа. Однако в Египте о народе и его процветании, о реформах и развитии страны правительство и думать не желает.

Больше всего наша страна нуждается в стабилизации и спокойствии. Только в такой обстановке можно разрабатывать планы и обеспечить благосостояние народа.

А как можно добиться стабильности положения в нашей стране, если различные политические группы схватываются в большой игре, которая, как и всякая игра, не обходится без аплодисментов, свиста, шума и гама. Может ли быть стабильным положение в стране, если одна правящая группировка отменяет то, что было одобрено предшествующей, тормозит выполнение тех проектов, которые находились в стадии осуществления, и дает преимущество тем, которые признавались второстепенными.

Большая игра начинается со спектакля, называемого выборами. Выборы у нас — весьма любопытное зрелище. Различные группировки посылают своих людей в народ, обвешивают их плакатами, как артистов цирка, рекламирующих свои представления. Задача этих посланцев — убедить бедняков, что с приходом к власти именно этой группы на них посыплется золотой и серебряный дождь.

Ну, и народ развлекается, как на празднике. А когда наступают выборы, то они проводятся по указке и под руководством власть имущих. А воля избирателей в расчет не принимается.

Объявляются результаты выборов. Тут оказывается, что одна команда получила все голоса, а остальные — ничего. Начинается второй тайм — открывается заседание палаты депутатов, в которой большинство составляют члены победившей на выборах команды, а несколько депутатов от ее соперников либо обличают представителей большинства, либо подают в отставку.

Главное занятие палаты депутатов — громко и горячо аплодировать руководителям команды: министрам и их главе, капитану команды. Палата депутатов аплодирует и восхищенно соглашается со всем, что предлагает руководство. И никто не испытывает ни стыда, ни угрызений совести. Ведь этого же хочет капитан команды! Так почему бы депутатам и не выразить своего восхищения? Тем более что так они вернее сохранят теплое место для себя и своей команды.

Итак, одна команда проиграла, другая одержала верх. Но победителями сразу же овладевает страх, так как другие команды начинают чинить им препятствия, ставить подножки, требовать их свержения. А члены команды-победительницы торопятся потрудиться на ниве обеспечения собственных корыстных интересов, а также интересов своих родичей и прихлебателей. Время от времени они делают вид, будто трудятся на благо народа, поднимается шумная пропагандистская кампания, разрабатываются призрачные планы — и все для того, чтобы отвести народу глаза и успокоить его возмущение.

Народ же не знает, какой команде отдать свои симпатии. Ему надоела эта игра, в которой он лишь зритель. Народ требует перемен, свержения одной команды и прихода к власти другой. Свергают одну команду, приходит к власти другая. И опять разыгрывается прежний спектакль. Снова народу отводится роль зрителя. Новое народное возмущение, новые требования свергнуть победившую команду, убрать ее с поля. В игру вступает еще одна команда. Спектакль повторяется.

Ломаю голову над тем, как избавить страну от политиканов и их команд, от большой игры и борьбы за власть.

Политиканы, партии, публика добровольно не откажутся от игры во власть. Партии, создание правительства и его падение, всякая политическая трескотня — это ж веселое развлечение для людей. А что, если отделить эту потеху от дела защиты интересов народа? Пусть она будет сама по себе, а интересы народа — сами по себе! Отчего бы не попытаться? Клянусь аллахом, великолепная мысль!

Оставим партии, парламент и все остальное как есть, но только главным занятием их мы сделаем игру ради развлечения публики. Пусть проводятся выборы, создаются кабинеты, созываются сессии парламента. Пусть продолжается игра во власть, но только чтобы не было никакой связи между этим цирком и реальным управлением страной. Необходимо, чтобы страной руководили люди, не связанные с политическими командами. Нужно их заставить выполнять конкретные планы в четко определенные сроки и вести страну вперед в самых различных областях: экономической, аграрной, промышленной, военной — и чтобы работали они спокойно и без шума, оставив пропагандистскую трескотню политическим группировкам.

Вот так будут соблюдены интересы народа и одновременно не нанесен ущерб профессиональным политикам и правителям. Тут же я вытащил из шкафа чистую бумагу и начал излагать на ней сущность моей идеи, решив сразу дать ей ход.

Перечитываю, переписываю набело. Решено! Подам свой проект непосредственно министру! Почему бы и нет? Он, несомненно, оценит этот проект. «Проект отделения реальной власти от тех, кто играет во власть». Министр поймет, что страна нуждается в практическом внедрении моего проекта. Тем более что ему это отнюдь не повредит — он ведь останется министром, сохранит почетное положение, автомашину и прочие привилегии, а также возможность присутствовать на заседаниях палаты депутатов и говорить то, к чему он привык. Словом, он останется и «вашим превосходительством». Чего ему еще нужно?

Сказано — сделано. Беру проект реформы и немедленно иду в кабинет министра. Надо сказать, прежде я даже избегал коридора, где находилось это святилище. К министру я питал величайшее почтение и страх. А на сей раз ничего — смело иду к нему и несу бумагу с важным государственным проектом.

Совершенно спокойно открываю дверь, вхожу в кабинет, подхожу к министру и молча кладу ему на стол свой проект. Поворачи-

ваюсь к его превосходительству спиной и хладнокровно возвращаюсь к себе.

Сажусь за стол и продолжаю разбирать залежавшиеся папки. Но не проходит и нескольких мгновений, как к нам ураганом врывается бек, то есть начальник, хватает меня за плечо и кричит:

— Сумасшедший! Это ты написал подобную чепуху?

Я с возмущением отвожу его руку и вижу, что он держит мой проект с резолюцией министра: «Проверить — в своем ли уме!»

— Ты это написал, ненормальный?! — снова закричал бек.

— Ну, я. В чем дело? Разве это запрещено? — спокойно отпарировал я.

— Нет, ты и вправду ненормальный!

Приказав мне ждать дальнейших распоряжений, шеф ушел. Но я решил, что мне будет лучше убраться подобру-поздорову и не сидеть среди этих бессовестных лицемеров. Выхожу на улицу и тут же наталкиваюсь на многолюдную демонстрацию студентов, выкрикивающих разные лозунги. Чего хотят эти молодые глупцы? — спрашиваю я себя. Какая польза им самим и стране от такой затеи? Надо бы дать этой молодежи дельный совет. Вдруг один из демонстрантов хватает камень и запускает его в ближайшее окно. Раздается звон разбитого стекла. Оглядываюсь и вижу: группа демонстрантов направляется к лавке, разбивает витрину и начинает растаскивать товары. Хозяин лавки попробовал помешать им, но его избили, и он позвал на помощь. Бегу к нему, хватаю одного из грабителей и бросаю его на землю. На меня обрушивается град ударов.

Наконец мне удается сбежать. На теле — ни одного живого места, сплошные синяки и ссадины. Стеная от боли, возвращаюсь домой. Один глаз совсем заплыл. В дверях наталкиваюсь на ошеломленного брата.

— Что с тобой? — спрашивает он.

— Помоги мне! — отвечаю.

Падаю на кровать, показываю пальцем на рот. Удивленный брат с тревогой спрашивает:

— Чего тебе? Воды?

Отрицательно мотаю головой.

— Аспирина?

Теперь уже всей рукой показываю на рот. Брат опять не понимает, чего же я хочу, и в раздражении кричит:

— Какого черта! Говори, что случилось! Чего ты хочешь?

— Дай мне немного...

— Чего?

— Трусости!

Глава 6

Их благородие трусость

Открыв от удивления рот, брат переспросил:

— Трусости?

— Моя смелость меня погубит,— сказал я придушенным голосом.— Трижды прав был лавочник, говоря, что его товары не пользуются никаким спросом. Во что он меня превратил всего за день! А что случится за остальные девять? Нет, нет, с меня и этого достаточно! Еще целых девять дней провести среди таких людей, будучи смелым?! Прошу тебя, принеси хоть щепотку порошка трусости. Пойди к лавочнику и расскажи, что со мной стало. Уговори его, ради создателя. Скажи, что я лежу на кровати, весь избитый и истерзан-

ный. Меня выгоняют с работы, министр потребовал проверить, вменяем ли я. Пусть смилостивится над несчастным глупцом, которого крохотная доза смелости довела до такого печального состояния. Никогда не был я смелым и не хочу им быть. Пусть хорошенько покопается в своих запасах: уж где-нибудь да найдется завалящая толика трусости, способной изгнать из моей души непрошеную смелость, избавить от ее тягот. Избей его, пусти в ход лесть, но добудь мне трусости! Хочу быть прежним...

Я умолк, а брат все стоял с открытым ртом и глядел на меня как на умалишенного. Очевидно, он понял лишь одно — министр приказал проверить, вменяем ли я. И, наслушавшись про порошки смелости и трусости, брат, конечно, не сомневался, что я спятил.

Он криво улыбнулся и сказал ласково:

— Усни-ка! Отдохни от переживаний. Я принесу тебе трусости. Ты прав: смелость — вещь опасная. Успокойся, отдохни. Я достану тебе трусости.

— А ты знаешь ли, где взять порошок трусости? — спросил я с раздражением.

— Конечно знаю! Этим товаром завалены все рынки и дороги. Будь спокоен, я принесу тебе лекарство от смелости.

— Набитый дурак! — закричал я, выйдя из себя.— Где это ты видел рынки, заваленные трусостью? Не думаешь ли ты, что я и вправду сумасшедший? Знай — я в здравом уме и полной памяти, но, приняв порошок, я стал смелым, а в наши дни смелость равносильна безумию.

Брат молча кивал, наверное опасаясь, что я опять вспылю. Объясняю ему:

— Лавка этого торговца стоит в конце улицы, справа, рядом с раскидистой смоковницей. Лавочник — хороший человек и обязательно пошлет мне избавление. Если же требуемого, к несчастью, не найдется, то я вынужден буду запереться в комнате и ждать, пока смелость не улетучится из моего тела.

— Не беспокойся, бог даст, разыщу,— успокоил меня брат.— Не может быть, чтобы такого ходкого товара не оказалось в лавке. Можешь на меня положиться.

Брат тихо вышел из комнаты, закрыл дверь, и я услышал, как в замке повернулся ключ. Ах, предатель! Он запер дверь, считая меня сумасшедшим. Ах, негодяй! Соглашался со мной во всем, а потом запер дверь!

Да-а, дело плохо. Наверняка меня объявят сумасшедшим. Чего проще — объявить здравомыслящего человека душевнобольным и все его слова и действия объяснять безумием. А большая ли разница между сумасшедшим и нормальным человеком? Есть ли граница между безумием и здравомыслием? Ведь все относительно: нормальный человек среди сумасшедших все равно что сумасшедший среди нормальных людей.

Итак, меня считают помешанным. Уж эта мне смелость! Будь я, как прежде, трусом, то легко доказал бы, что никакой я не сумасшедший. Пустил бы в ход весь свой запас лицемерия, лести, мелкого политиканства и прочего. А теперь только богу известно, чем кончится вся эта печальная для меня история!

Где выход? Этот болван, конечно, не пойдет к лавочнику за порошком трусости. Он не сомневается, что я свихнулся. Значит, я могу полагаться только на себя.

Надо как можно быстрее скрыться из дома, пока весть о моем помешательстве не облетела весь свет, и самому просить хозяина знакомой лавки вернуть меня в прежнее состояние. Но как выбраться? Взломать запертую дверь? Будет слишком много шума. Сюда сразу

сбегутся все домашние. Остается бежать через окно. Но оно же выходит во двор другого дома. Ну и что? Раньше я, конечно, не решился бы, а сегодня...

Перелезаю через перила балкона и начинаю осторожно спускаться вниз, хватаясь за лепные украшения. Я не сомневался, что благополучно доберусь до земли. Но тут лепной завиток начинает крошиться под моими пальцами, руки срываются, и остальное расстояние до земли я пролетаю за один миг.

Ну, слава аллаху, удачно! Только ногу ушиб. Прихрамывая, бегу со двора и вижу... Да кого же? Ее! Черные глаза, алые губы, пышные бедра! Это она, моя соседка, покорившая мое сердце, очаровавшая меня!

Беспощадная моя соседка! Когда я однажды пропел ей: «О, соседка моя, знала бы ты, как я страдаю!» — она объявила мне беспощадную войну. Глаза ее стали скорострельными орудиями. Не успевал я открыть окно, как из них летели разящие снаряды, направленные в мое сердце. Губы ее были как пламя, обжигающее душу и тело даже на расстоянии. Грудь — мина, которая взрывается не только от прикосновения, но даже от взгляда. Ее бедра — могучая ядерная энергия, о которой ученые еще ничего не знают.

Но что же мне до сих пор мешало добиваться ее любви? Совесть? Но она имеет обыкновение просыпаться, только когда дело уже сделано и ничего исправить нельзя. Благородство? Не надо лицемерить. Это ведь жизнь, а не возвышенный роман. Так что же мешало мне добиваться взаимности соседки? Трусость! Не удивляйтесь и не смейтесь надо мной! В таких делах все мужчины трусы.

Уважение к женщине, ненависть к разврату, благородный аскетизм — это почти всегда только хитрые личины, маскирующие истинные желания. А если отбросить их, что мы найдем? Трусость, страх перед последствиями. А если предоставляется случай покорить красавицу, да так, чтобы никто об этом не знал, кто упустит возможность вкусить от запретного плода?

Моя прекрасная соседка, в жилах которой течет дьявольская кровь, вела безжалостное наступление. Но я, как истинный трус, отражал все ее атаки.

Средства нападения у нее не были особенно разнообразными: заметив, что я смотрю из окна, она пускала в ход неизменный маневр — переодевалась (правда, за ширмой, так что я видел только ее голову и обнаженные плечи). Затем она либо начинала делать гимнастику, либо ложилась с книгой на диван, приняв соблазнительную позу.

Разумеется, все это было приглашением, но я не мог так просто выбросить белый флаг. Ведь я же женатый человек! Узнает моя благоверная, начнется грандиозный скандал, и все будет кончено. Встречаться тайно, несмотря ни на что? Это значит — жить в вечном страхе. Нет, нет... Лучше держаться от соседки подальше. Короче говоря, трусость, боязнь последствий — вот главная опора благородства и честности в отношениях мужчин с женщинами.

И вот теперь соседка стояла передо мной, одетая в белое шелковое платье с короткими рукавами. Шея оголена, волосы распущены, легкая ткань обрисовывает грудь. Красавица посмотрела на меня и улыбнулась, потом засмеялась и послала мне воздушный поцелуй. Будь я в нормальном состоянии, то немедленно бежал бы от такого соблазна, в страхе перед глазами соседей и особенно перед их злыми языками. Но теперь я был смелым и послал ей в ответ звонкий воздушный поцелуй.

Красавица поразилась такой смелости и взмахнула ресницами, как бы спрашивая: «Что это с тобой?» Я покрутил пальцем около виска, отвечая знаком: «Ты с ума меня свела!»

Соседка засмеялась и поманила рукой: «Пожалуйте в гости!» О господи! Разве можно отказать такой красоте?

Как пьяный, иду к ней. Ничто меня не останавливает — ни трусость, ни мысль о последствиях. Капитуляция была мгновенной и безоговорочной. Я выкинул белый флаг, став жертвой собственной смелости. Нога ноет, хромаю, вид у меня самый жалкий — в другое время одно это меня бы остановило. Но безудержная смелость заставила забыть обо всем, кроме страсти. Я думал лишь о наслаждении и не успел оглянуться, как уже оказался лицом к лицу с красавицей.

Кто поверит? Я, благородный мужчина, трус, врываюсь в дом к чужой женщине, сижу с ней в одной комнате.

Начинаю рассматривать ее, оценивать силу оружия, которым она меня атаковывала столь длительное время. И убеждаюсь, что преувеличивал их силу — расстояние прибавляло ей неотразимости.

Конечно, она была красива, но далеко не так, как я ожидал. Ее губы, пылавшие огнем, оказались совсем не такими жаркими и обжигающими, как мне представлялось. Их чары во многом объясняла с большим искусством наложенная помада. А от искусственного жара всегда веет холодом. Та же разница, что между нарисованным пламенем и настоящим.

Рассмотрев вблизи стреляющие глаза, я понял, что они стреляют в воздух, ничего не поражая. На веках ясно была видна краска.

Да, ее оружие было скорее дальнобойным и не для всякого опасным. Но что греха таить — я-то все равно сгорал от желания; оголенные руки, распущенные волосы, сильное молодое тело. И главное — не моя жена!

Ведем любезную беседу — искусительница оказалась разбитной и веселой бабенкой. Я только удивлялся: как я мог так долго отвергать призывы красавицы? Почему раньше не поборол трусость?

Скоро наши губы сомкнулись в поцелуе. В моих ушах зашелестели нежные слова. Но тут же я услышал другие голоса, доносившиеся издалека — из моей комнаты напротив. Ага, домашние пришли убедиться, действительно ли я спятил; а птичка-то упорхнула через окно.

Мы продолжали целоваться. Но шум все усиливался. Жена плакала, а теща кричала, что первой заметила мое помешательство. Иначе, как я осмелился бы напасть на нее, когда она учила служанку уму-разуму?

И тут внезапная мысль охладила мой любовный пыл: а что, если откроется ставня в окне комнаты, где я обнимаю соседку, и домашние увидят меня? Чтобы жена и теща увидели меня в такой пикантной ситуации? Этого никакая смелость не выдержит.

По моему телу пробежал холод, губы стали ледяными.

— Что с тобой? — шепнула соседка.

— Ничего,— ответил я и потихоньку, потихоньку начал от нее отодвигаться.— С твоего разрешения... На минутку.

— Далеко?

— Пойду попью.

— Сейчас я принесу воды.

Я отрицательно покачал головой. Она засмеялась.

— Может быть, хочешь виски с содой?

— Нет.

— Тогда просто виски?

— С удовольствием выпил бы концентрированной трусости.

Поворачиваюсь к ней спиной, прихрамывая, иду к двери и стремглав бросаюсь вниз по лестнице.

Теперь у меня одно желание — как можно скорее добраться до лавки подлого торговца, пока смелость не толкнула меня еще на какой-нибудь безумный поступок.

Запыхавшись, вбегаю в лавку. Хозяин сидит в прежней позе, будто я и не уходил отсюда. Падаю на ближайший мешок с душевными качествами и кричу:

— Спаси.. Избавь!

— Что с тобой?

— Я пал жертвой смелости.

— Но прошел всего один день. Впереди еще девять.

— В этом-то и беда. Знаешь, что случилось со мной всего за день?! Охромел, сошел с ума, лишился места. А может, меня и домой не пустят? Вдруг кто-нибудь видел, как я зашел к соседке, и расскажет об этом жене и теще! И все это лишь за один день! А впереди еще девять. Нет уж, освободи меня. Спаси!

— Я другого и не ждал. Но ведь ты сам захотел стать смелым, не слушал моих советов. Я ведь предупредил тебя о последствиях. Ты сам и виноват.

— Какая разница... кто виноват. Мне лишь бы поскорее избавиться от этой проклятой смелости... Сжалься!

— А что я могу сделать?

— Дай мне порошка трусости! Такую дозу, чтобы она пересилила смелость. Я хочу стать нормальным человеком. Я в твоей власти.

— Я же говорил тебе, что такого товара не осталось ни крошки, все раскупили. Нет у меня ни трусости, ни лицемерия, ни лживости.

— Ты поищи, друг мой! Поищи за мешками, в ларях пометри, глядишь, и найдешь соринку трусости. Для меня это вопрос жизни и смерти.

— Нет у меня ни крошки, тебе говорят. Свою лавку я хорошо знаю. Придется тебе терпеть.

Эта новость повергла меня в полное уныние. В лавке воцарилось долгое молчание. Потом спрашиваю хозяина:

— Если уж нельзя вылечиться от смелости, тогда не разрешишь ли переждать у тебя эти девять дней?

— Милости прошу. Моя лавка — твой дом.

Помолчав немного, хозяин заговорил:

— Я кое-что придумал. Может быть, это тебя устроит.

— А что?

— Ты можешь излечиться от смелости, заменив ее каким-то другим качеством. Что скажешь?

Задумываюсь, перебираю в уме все его товары: искренность, дружелюбие, отзывчивость, доброта, благородство. Пожалуй, старик дело говорит. Хуже смелости все равно ничего нет. Да, тут можно выбрать что-нибудь безобидное и как-нибудь перетерпеть оставшиеся дни.

— Отлично придумано! Все можно стерпеть, кроме смелости.

Снова разглядываю мешки. Выбираю тот, содержимое которого кажется наименее опасным.

— Отсыпь мне отсюда.

— Ты выбрал щедрость?

— Пожалуй.

Лавочник отсыпает щедрости на девять дней и протягивает мне кулек.

— Есть еще одна просьба.

— Какая?

— Можно, я выпью здесь? Боюсь возвращаться домой смелым.

Мало ли что может произойти? Потеряю кулек по дороге и останусь смелым.

Лавочник кивнул, взял стакан с водой, высыпал туда порошок, размешал и отдал мне. Я немедленно выпил и сразу избавился от смелости, заменив ее щедростью. Чем только это кончится?

Глава 7

Щедрый человек

Не успел порошок раствориться в желудке, как я почувствовал, что мышцы, налитые смелостью, начали расслабляться. Все мое существо размягчилось, облагородилось. Мне тут же захотелось облегчить людские печали, залечить все жизненные раны.

Особенную жалость вызывает у меня злополучный торговец душевными качествами. Какой несчастный человек! Столько лет провести в мрачном одиночестве и полной пустоте! Всю жизнь сидит на мешках с пропащим товаром! Такой благородный товар никак не годится для продажи на рынке. Бездушные испорченные люди никогда его не купят! Я нежно обнял старика и сказал ему:

— Не могу больше видеть тебя одиноким и печальным. Буду тебе другом, разделю с тобой твои невзгоды. И так до конца дней моих, дорогой друг!

— Спасибо на добром слове, но мне помощники не нужны. Я привык к одиночеству. А к тому же щедрым ты будешь всего девять дней. Ну и не связывай себя пожизненным обещанием. Такой жертвы не надо.

Я было заспорил и принялся убеждать его, что хочу остаться щедрым на всю жизнь, что, как кончится действие порошка, я вернусь к нему за новой дозой. Быть щедрым, делать людям добро. Но хозяин лавки прервал меня.

— Я заранее знаю все, что ты можешь сказать. Сам прошел через это. Так что иди с миром, сын мой!

Его отказ очень меня огорчил. Но что поделаешь — пора уходить. Однако я тут же решил, что помогу ему без его ведома.

Конечно, ему нужны деньги, раз у него ничего не покупают. Да и все равно он денег не берет и откладывает расчеты до Судного дня. Значит, даже незначительная сумма придется ему кстати.

Воспользовавшись тем, что хозяин отвернулся, я быстро вытащил кошелек и высыпал его содержимое между мешками, но так, чтобы деньги нетрудно было заметить. Поблагодарил моего друга и пошел домой.

Итак, став щедрым, я сразу же лишился своей наличности. Иду налегке — ни денег у меня, ни забот, ни подлости, ни лицемерия. А щедрость так меня и переполняет — ну, прямо свечусь ею, как намазанный фосфором.

Подойдя к дому, я увидел растянувшуюся на земле собачонку. От жары и жажды она высунула язык. Как жесток и равнодушен мир! Бедная собака подыхает от жажды, а люди спокойно проходят мимо. Никому и в голову не приходит напоить животное! Ну, ничего, собачка! Тебя увидел добрый человек. Я утолю твою жажду, приласкаю тебя. Идем со мной!

Вхожу во двор, собака за мной. Тут меня увидел из окна братец и завопил на весь дом:

— Вернулся!

Высунулся из окна и ласково спрашивает:

— Где ты был? Мы тут от беспокойства чуть с ума не сошли.

Не удостоив его ответом, я знаком показал, чтобы он принес воды для собаки. Но этот остолоп ничего не понял и снова заговорил медовым голосом:

— Успокойся! Я достал самое лучшее и сильнодействующее средство. Ты был прав. Сначала лавочник утверждал, что такой товар весь распродан. Но я сумел выпросить у него порошок... Совершенно новый сорт, очень эффективный. Щепотки хватит, чтобы Геркулеса сделать самым трусливым существом на свете. Лучший сорт трусости, который только можно найти на рынке.

— Какая еще трусость, осел? — крикнул я брату со смехом.— Ты что, помешался? Я прошу воды, чтобы напоить бедную собаку, подыхающую от жажды.

— Сейчас,— ответил он обиженно и добавил, отвернувшись от окна к моим домашним: — Кажется, отошел. Наверное, это была временная потеря рассудка.

Скоро брат сбежал вниз с миской воды и поставил ее перед собакой. А та вылакала всю воду и в благодарность укусила брата.

Какая-то злая оказалась собака. Она перекусала всех, кто был во дворе, кроме меня, непутевого сына щедрости. В конце концов мы ее усмирили, но семерым пришлось идти в лечебницу делать прививки.

Меня охватила тоска. Первое же мое деяние на новом поприще было встречено черной неблагодарностью. Правда, подумал я, такова, наверное, была воля судьбы. Если бы я не привел собаку, то она сама пожаловала бы. И раз уж моим близким на роду написано делать прививки, то тут ничего не поделаешь: не покусай их собака, они сами бы друг друга искусали.

Так я успокаивал себя, а сам терпеливо слушал ругань тещи: всю жизнь я приношу людям одни несчастья, никто от меня никогда не видел добра, да и сам я собака. Наслушавшись вдоволь, я ушел к себе в спальню, чтобы отдохнуть и дать остыть гневу моих близких.

Умылся, переоделся, наполнил кошелек и тихонько выскользнул из дому. Не спеша иду по улице, и снова меня без всякой причины переполняет любовь к людям. Было бы у меня несколько туловищ, я бы их все отдал беднякам ради избавления их от непосильных трудов и невзгод. Меня убивала мысль, что возможности человека ограничены. Но хочешь не хочешь надо действовать соразмерно со своими силами.

Так как же я могу облегчить людские страдания? Дай-ка пойду в какой-нибудь бедный квартал. Уж там-то я найду тех, кто нуждается в моей доброте и щедрости. Сколько их там, обездоленных и униженных! Перебираю в уме самые бедные кварталы — Булак, аль-Келла, Сейида Зейнаб, аль-Хусейния, Ашиш Таргуман... Сравнивать их нет нужды, все они одинаковы, повсюду грязь, болезни, нищета.

Выбираю квартал аль-Келла, благо, до него недалеко, почти в самом центре Каира. Нужно сесть на трамвай или автобус, идущий по улице аль-Малика, сойти на остановке «Скорая помощь» возле мечети, перейти новую улицу, названную почему-то улицей Эвакуации, свернуть в узкий переулок — и вот тебе аль-Келла.

Конечно, я шел пешком, ибо ширина улицы, если так можно назвать узкий проход, стиснутый домами, позволяет пользоваться лишь одним видом транспорта — собственными ногами. Более ста лет этот проход соединяет квартал аль-Келла с центром Каира, но правительство, по-видимому, даже не подозревает о существовании и самого квартала. Какое дело правительству до подобных смрадных трущоб, до этой грязи и кривых улочек, где не проехать роскошным автомоби-

лям власть имущих? Какое дело этим лежебокам до того, как живет чернь? Что им до квартала аль-Келла, если они ездят по фешенебельной улице аль-Малика, высокие здания которой заслоняют от них лачуги и кучи мусора, если благородные носы, привыкшие к благоуханию парижских духов, не улавливают отвратительной вони? Какое до всего этого дело министру общественных работ, директору департамента благоустройства, главе санитарной службы города и всем им подобным? Какое им дело до этих темных нор и развалившихся голубятен, когда у них есть быстрые автомобили и бесчисленные рабочие, которые неустанно благоустраивают богатые районы вроде Зафран, Халифа, Маамун, Докки, Замалик?! Какое дело власть имущим до этой нищеты? Да они же никакого представления о ней не имеют! А всего нужно сделать несколько шагов в сторону от великолепной центральной улицы! Интересно, как чувствовал бы себя важный начальник, если б его поселили в подобном районе — будь то Булак или Сейида Зейнаб? Давайте представим себе, будто мы принудили министра общественных работ переехать в квартал аль-Келла.

Он бы тут же вызвал своего заместителя и начальника управления санитарной службы и устроил бы им разнос: как это в самом центре Каира до сих пор существуют такие гнусные трущобы? Подумать только, он не первый день живет в Каире и не слыхал, что аль-Келла и другие такие же кварталы расположены в центре города!

Тут министр вызывает строителей и приказывает реконструировать квартал так, чтобы там было удобно жить и отдыхать. Не проходит и нескольких дней, как начинаются работы: сносятся лачуги, возводятся новые дома, благоустраиваются улицы и переулки, подводятся водопровод и канализация. Все делается быстро, добротно. И вот квартал преображен.

Такие мысли проносились у меня в голове, пока я пробирался по узкой улочке, заставленной колченогими стульями и столиками. Хозяева кофеен и харчевен используют мостовую, чтобы расширить свои заведения.

Первое, что бросается тут в глаза,— это поистине удивительное искусство обитателей квартала разводить грязь. Да, конечно, правительство совершенно не заботится об этих несчастных, и грязь прежде всего порождается ужасающей их нищетой. Но тем не менее и они могли бы все-таки не так замусоривать все вокруг.

И не думайте, что выражение «искусство разводить грязь» — это гипербола. Видит бог, тут нет ни малейшего преувеличения, именно искусство — другого слова нет. И лишь люди, посвятившие себя этому искусству, могли довести улицу до подобного состояния. Взгляните хотя бы вон на ту женщину, которая сидит на тротуаре, прислонившись к стене. Ее кожа и одежда одного цвета, потому что их покрывает корка одной грязи. В тени рядом с собой женщина положила младенца. Глаза у него гноятся, лицо облепили мухи. Перед ней стоит корзина с кучкой дешевых сладостей. Впрочем, об этом можно только догадываться, до того грязен ее товар. К тому же он черен от мушиных роев. Возле ползает еще один малыш. Вот он забрался на кучу мусора и отбросов, сгоняя оттуда тучу недовольно зажужжавших мух. Впрочем, они, по-видимому, тут же решили, что он свой брат, и снова опустились на прежнее место.

Наверно, эта женщина очень бедна, но все-таки она могла бы умыться сама, умыть детей и сесть не у мусорной кучи. Что ей стоило покрыть свои сладости (если она и вправду хочет их продать) чистой тряпкой и взять в руки самодельный веер, чтобы отгонять мух?

А вот в закоулке устроился мужчина. Перед ним — лоток с ломтями арбуза. Лоток больше всего смахивает на мухоловку, а ломти

арбуза — на липкую бумагу. Сам же продавец — просто монумент грязи. Он то и дело сморкается и плюется. Руки у него липкие от арбузного сока и совсем черные от приставшей к ним пыли. Вокруг — арбузные корки и семечки, а рядом — зловонная стена, заменяющая общественную уборную. Из окна над головой торговца арбузами женщина выплескивает помои. Ну разве ж это не искусство, не особый культ грязи?

А ведь чистота — это счастье, притом стоящее недорого. Надо только немножко к ней привыкнуть. А уж если вам так дорога грязь, то лелейте ее, но в меру. Назначьте день в неделю и пачкайтесь вволю: валяйтесь в пыли, оставляйте детей на мусорных кучах, лейте из окон помои, устраивайте праздник мухам, клопам и другим паразитам, благоденствующим в грязи. Но в остальные дни мойтесь сами, купайте детей, убирайте дома, зарывайте мусор, уничтожайте мух. Сделайте это! Попробуйте пожить в чистоте. Уверяю вас — это не очень трудно, и уж тогда вы навсегда расстанетесь с грязью.

Иду дальше, и при виде этой неизбывной нищеты проникаюсь все большим состраданием к жителям квартала. Я обязан хоть чем-то облегчить их долю.

Вижу, у стены сидит одноногий нищий, молча протягивая руку. Другой руки у него тоже нет. И такой он жалкий, оборванный, что нельзя сомневаться: он умирает с голоду. При виде меня он оживился, в глазах вспыхнула алчность.

Я полез было в карман, чтобы дать несчастному монетку, но тут же вспомнил, что, возможно, передо мною один из ловких симулянтов, для которых нищенство — выгодная профессия. Я читал в газетах про огромные богатства, которые оставляют после смерти такие нищие. Вот почему прежде я из принципа никогда не подавал милостыни

Но теперь избыток щедрости заставляет меня изменить этому правилу, и я остановился перед беднягой... А вдруг он и впрямь обездоленный калека? Если какие-то хитрые попрошайки и оставляют после себя богатство, это еще не значит, что каждый нищий — плут и ему надо отказывать в медяке на пропитание. Нельзя, чтобы безвинные страдали из-за деяний преступника!

Он слабым голосом произнес:

— Господин хороший! Два дня во рту маковой росинки не было!

Ага! Вот и выход! Я его сам накормлю, чтобы он не смог меня надуть. Если он голоден по-настоящему, то уж я накормлю его до отвала.

— Ты и вправду ничего не ел два дня? — спрашиваю.

— Со вчерашнего утра. Ни крошки... Во имя бога, подай пиастр! Куплю себе черствую лепешку.

— Э, брат, лепешкой не наешься, а лишь раздразнишь аппетит! Тебе нужен целый обед.

— Господин мой, хватит и лепешки. Да благословит тебя аллах и сохранит твой дом!

— Нет уж! Пообедаем вместе. Я и сам проголодался.

Нищий покосился на меня, не понимая — сумасшедший я или потешаюсь над ним.

— Грех смеяться над убогим!

— А я и не смеюсь.

Короче говоря, убедил я нищего в своей искренности. Он поднялся, взял костыль и заковылял рядом со мной.

Думаю, где бы удобнее пообедать с достойным попрошайкой. А не повести ли его домой? Ведь в ресторане или кофейне пара вроде нас может показаться подозрительной. Где ж это видано, чтобы поч-

тенный эфенди вроде меня сидел за одним столом с нищим? Впрочем, дома я также не мог рассчитывать на хороший прием. Притащил какого-то увечного оборванца и еще хочет кормить его обедом! Уж этого они не стерпят. Да и успели ли они оправиться после прививок? Ну так, может быть, обойтись бутербродами и съесть их на ходу?

Тут мой взгляд упал на вывеску: «Национальная харчевня Хаджи Абдель Кадер Ида». Как раз то, что нужно! Вход сюда никому не заказан, и никто на нас даже внимания не обратит. А главное, уж очень мне хотелось поесть хаши с чесноком.

Беру нищего за единственную руку и вхожу с ним в харчевню. Садимся за столик в углу. Хлопаю в ладоши, но к нам никто не подходит. Народу уйма, мальчишки-официанты совсем с ног сбились.

От скуки начинаю рассматривать котел напротив входной двери. Над ним колдовал хозяин — сам Хаджи Абдель Кадер Ид, с закрученными усами, в красивой чалме. Деревянной палкой он помешивал в котле, держа ее с важностью, будто маршальский жезл.

Вокруг хозяина клубился пар, точно пороховой дым от орудий. На столе перед ним стояли десятки мисок с крошеным хлебом. В каждую он наливал добрую порцию горячей жижи и отставлял ее в сторону — хлеб должен хорошо пропитаться. А уж потом насыпал туда рис из другого котла. И, наконец, придвигал чашку с соусом и маленькой ложкой поливал рис и хлеб. Но самым торжественным моментом было разделывание варившейся в котле требухи. Хозяин вытаскивал ее, бросал на мраморную доску, мелко рубил и раскладывал по мискам. Тут же мальчишки-официанты хватали миски и разносили по столам.

Время от времени Хаджи разделывал коровьи головы: отрезал языки, вынимал мозги, а кости бросал многочисленным кошкам, вившимся у его ног.

Снова хлопаю в ладоши. Подбегает мальчишка, который, как я узнал потом, был тут метрдотелем. Во всяком случае, передавал заказы хозяину, занятому стряпней. Не успел я сделать ему заказ, как он приложил ко рту руку, как будто собрался запеть, сморщил лицо, закрыл глаза и крикнул: «Две порции с соусом и требухой, две телятины, две порции языка с приправой!»

Чтобы скрасить томительное ожидание, я начал расспрашивать моего гостя о его житье-бытье. Звали его Шеххата, что в переводе означает «попрошайка». Какое имя, такая и жизнь: ничего, кроме нужды, холода и голода, он не знает. Выслушав его рассказ, я поклялся, что позабочусь о нем, подыщу ему подходящую работу. Но тут нам подали обед.

Вот кончили мы есть, и сам Хаджи Абдель Кадер Ид подошел к нам получить по счету.

Загибая пальцы, хозяин харчевни перечислил съеденные нами блюда. Оказалось, что наели мы всего на риал.

Глава 8

Корпорация попрошаек

Лезу в карман за кошельком. Пусто. Начинаю шарить по другим карманам — опять ничего. Кошелька и след простыл. От стыда даже лоб вспотел. Что делать? А я-то хотел дать волю своей щедрости!

Вижу, нищий искоса наблюдает за мной, а Хаджи Ид все больше хмурит брови и пристально следит за моими руками. Ну и положение! Словно в сухой колодец свалился, а вытащить некому.

И тут небо ниспосылает мне спасителя! Как вы думаете — кого? Да нищего же! Того самого, которого я пожалел. Обернувшись к хозяину, он сразу его успокоил:

— Кажется, эфенди забыл кошелек дома. Так запиши на мой счет, приятель.

Хозяин смерил меня презрительным взглядом, повернулся и ушел. Подумать только! Пообедал за счет нищего! Меня даже в пот бросило. Кто поверит — солидный уважаемый человек из сострадания к обездоленным проделывает немалый путь пешком, приходит в квартал аль-Келла, чтобы хоть как-то облегчить их участь, и вдруг оказывается прощелыгой, норовящим пообедать на даровщинку! Это ли не насмешка судьбы? Не я нищего, а он меня облагодетельствовал.

Но куда все-таки девался кошелек? Я же отлично помню, что положил его в карман. Не мог же он испариться! От стыда и отчаяния я даже как-то не сообразил сразу, что нищий-то, у которого открыт кредит в харчевне, вряд ли два дня маковой росинки во рту не имел. Он же сказал хозяину, чтобы тот записал наш обед на его счет, и хозяин ни слова не сказал. Видно, завсегдатай!

Смотрю на моего сотрапезника с подозрением, а он берет себе спокойно костыль и идет к выходу. Я плетусь за ним, опустив голову, сгорая со стыда. Со всех сторон слышу насмешки: «Вот эфенди, которого нищий накормил».

Некоторое время мы с хромым попрошайкой молча шли по грязной улице, только поглядывая друг на друга. Не знаю, что и делать! То ли поблагодарить его за обед, то ли выругать как бессовестного обманщика. Наконец говорю:

— Почему же ты два дня не ел, если у тебя кредит в харчевне?

Он только брови поднял.

— Ну да ладно, если ты меня надул, я тебя прощаю. Все равно ведь ты обойден судьбой. Что тебе пользы от накопленных денег? Ведь ценность денег не в них самих, а в том, что они тебе приносят. Ну, допустим, ты скопил огромное богатство, закопал его под домом и продолжаешь нищенствовать. Так какая разница между тобой и несчастным бедняком, у которого нет за душой ни гроша?! Ты похож на осла, несущего на спине бурдюки с водой и изнывающего от жажды. Впрочем, не один ты такой! Сколько богачей набивают мошну и отказывают себе во всех земных радостях, бесцельно губя свою жизнь. Удовольствие, которое они находят в мыслях о своих сокровищах,— чистейший самообман. Что толку от денег, если ими никак не пользоваться?

— А ты философ,— заметил мой спутник, посмотрев на меня.

— Философ или нет, а жизнь-то ты ведешь нищенскую. Во всяком случае — еще раз спасибо за обед. Обещаю, что верну тебе этот долг сполна. Видишь ли, я вправду забыл кошелек дома.

— Сюда тебе возвращаться незачем,— сказал нищий с улыбкой.— Кошелька ты не забывал.

При этих словах он полез за пазуху и достал мой кошелек. Значит, этот проходимец вытащил его у меня, когда мы шли в харчевню! А он продолжал как ни в чем не бывало:

— Ну как, ты все-таки хочешь вернуть мне долг?

Совершенно подавленный, беру кошелек, вынимаю деньги и говорю:

— Вот тебе риал. За обед. И еще пять пиастров, в знак благодарности.

Он взял эти двадцать пять пиастров и даже бровью не повел.

Тут я заметил, что рядом в закоулке притулился еще один нищий и жадно смотрит на деньги. Я невольно шагнул к нему, собираясь по-

дать милостыню. Но мой попрошайка схватил меня за руку, посмотрел на меня как на сумасшедшего и удивленно спросил:

— Что с тобой, приятель? Ты что, обет дал или совсем блаженный?

— Вовсе нет. Просто я щедрый. Болен щедростью и ничего не могу с собой поделать. А все проклятый порошок!

— Какой еще порошок?

— Порошок щедрости.

— Где же ты его достал?

— У торговца душевными качествами.

— А кто тебя заставлял пить такое снадобье?

— Я сам, твой презренный брат.

— А зачем?

— Чтобы избавиться от смелости.

Тут я ему вкратце рассказал все, что со мной произошло за последние сутки. Когда я кончил, мой новый знакомец саркастически произнес:

— Да ты ископаемое какое-то.

Тут я снова взглянул на нищего в закоулке и вижу: перед ним стоит добрый человек и протягивает ему подаяние. Я бросаюсь туда, чтобы последовать благому примеру, но мой спутник снова хватает меня за руку.

— Ты что делаешь?

— Хочу подать милостыню.

— Кому?

— Нищему, разумеется.

— А, да ты безбожник, как я посмотрю.

— Аллах с тобой! С чего ты взял!

— Вера ведь запрещает быть ослом дважды, а ты готов стать им хоть десять раз. Уж если ты так хочешь быть щедрым, то подай другому.

— Кому же?

— А тому, кто протягивает милостыню нищему. Сразу видно, что человек достойный.

— Что ты болтаешь? Отказать страждущему и отдать деньги тому, кто их имеет?!

— Зато благое дело сделаешь, а не выбросишь деньги на ветер. Я замечаю, ты и впрямь добрый человек. Так жалко, если из твоей щедрости никакого толку не выйдет. Ну я тебе кое-что покажу. Пошли.

— Куда еще?

— В корпорацию.

— Это еще что такое?

— Объединение нищих. Покажу их тебе, так сказать, за кулисами. Покажу, кто тебе морочит голову и над тобой же смеется. Может, ты тогда научишься лучше распоряжаться своей добротой.

И вот я иду в корпорацию нищих вместе с плутом и хитрецом, каких мало. Петляем по задворкам, пробираемся через кучи мусора, наконец, попадаем в мрачный тупик, останавливаемся у двери, и мой проводник стучит в нее костылем. Дверь открывается, и я вижу сухонькую, растрепанную старушонку. Увидев меня, она хотела было захлопнуть дверь, но мой спутник подмигнул ей, давая понять, что меня нечего опасаться.

Входим в темный коридор. Нищий знакомит меня со старухой.

— Матушка Нодак,— говорит он.— Она у нас тут всем заправляет.

— Добро пожаловать,— шамкает она.

По коридору проходим в просторную комнату с зарешеченными окошками под самым потолком. Вижу, в окошках мелькают ноги. Значит, мы в подвале. По земляному полу разбросаны рваные циновки и мешковина, словно в ночлежке. По стенке стоят старые деревянные скамьи, а над ними на гвоздях развешаны всякие лохмотья и ремни. В углу стоит умывальник с тазом. Рядом висит разбитое мутное зеркало. Середина комнаты заставлена шкафами и сундуками.

Осмотревшись, я не понял, зачем он меня сюда привел. Большего убожества и представить себе трудно.

— И это все, что ты хотел мне показать? — спросил я с досадой своего спутника.— Больше я тебя слушать не буду, а деньги свои отдам Нодак. Пусть она и другие здешние обитатели хоть раз наедятся досыта.

— Да погоди ты!

Старушонка тем временем рылась в шкафу. Мой гид схватил ее за плечо и приказал:

— Нодак, разбери меня!

Ничего не понимаю — как можно разобрать человека? Нодак разогнулась, взяла у него костыль, помогла снять лохмотья, и тут я понял, как можно «разобрать человека». Минуту спустя мой спутник уже стоял на двух здоровых ногах. Появилась у него и вторая рука. Оказывается, плут прибинтовал ее к туловищу, а ногу согнул в колене, притянул ремнем к спине, да так, что не всякому акробату удалось бы.

— Ну как? — спрашивает.— Видишь, что делается за кулисами?

Оглянувшись на дверь, он добавил:

— Вот посмотри еще!

В комнату вошла слепая, опираясь на плечо почти голого мальчишки. Вид у них был самый жалкий.

— Здравствуйте! — сказала нам женщина.

— Спаси тебя аллах,— ответили мы.

Еще ни разу, наверное, молитва так быстро не доходила до Всевышнего. Не прошло и минуты, как женщина прозрела и глаза ее заблестели. Для этого потребовалось только хорошенько промыть их над тазом.

Входили все новые и новые нищие: хромые, слепые, немые, горбатые, припадочные — и сразу исцелялись.

Мой приятель взял меня за руку и повел в другую каморку, где, по его словам, новички постигали свое искусство, ибо каждое увечье и уродство требует своих навыков.

В каморке несколько человек обучались, как следует просить милостыню в месяц рамадан. Они хором повторяли вслед за учителем: «Кто постится в рамадан, тому аллах всегда воздаст».

— Слова и мелодии для убогих сочиняют особые люди,— объяснил мой проводник.— Не думай, что все так просто.

Заходим в следующую каморку, где был склад для подаяний. Там были сложены куски хлеба, старая одежда, обувь. Специальная группа занималась тем, что реализовывала все это добро на рынке.

Осмотр удивительного учреждения продолжался. Я познакомился с классом, где обучались нищенству маленькие дети, пополняя ряды профессионалов. Мой проводник подробно объяснял мне организацию и стиль работы корпорации нищих.

Наконец мы вернулись в первую комнату и сели на скамейку.

— Как тебе понравилось у нас? — спрашивает мой гид.

— Невероятно! Даже не верится.

— Ты все еще считаешь, что раздавать деньги нищим — это истинная щедрость?

— Теперь нет! Это же какое-то акционерное общество!

Подумав, я спросил:

— Но как же все-таки быть щедрым?

— Надо делать добро тем, кто его заслуживает.

— А кто заслуживает?

— Очень многие.

— Например?

— Помнишь того человека, который подал милостыню нищему?

— Так с какой стати делать ему добро, если он сам может другим помогать? Будь ему худо, разве он стал бы это делать?

— А он иначе не может. Такой уж это добрый человек. Никому не откажет, как бы ему самому ни было тяжело. Он хороший столяр, человек мудрый и честный. Жизни его можно было позавидовать: и достаток ему бог дал, и детей. Но и в счастье он оставался скромным и жалостливым. А у него все было, почтенное занятие, дом — полная чаша. хорошие дети, здоровые, веселые внуки. И вдруг все переменилось. Началось с того, что умер один из его зятьев, оставив жену и детей без всяких средств к существованию. Конечно, отец не бросил в беде дочь и ее детей. Но судьба продолжала его преследовать. Скоро случилось большое несчастье с его младшим сыном.

— Какое же?

— С ума сошел! Ему изменила жена. Он ее убил, а сам рехнулся. Пришлось столяру взять к себе и детей больного сына. Тяжело ему было. Но он не изменился и по-прежнему заботился о ближних. Но на этом его испытания не кончились. Заболел его старший сын. Туберкулез. Лежит он, бедняга, уже давно, и надежды на выздоровление никакой. Жена стала вдовой при живом муже, а дети — почти сиротами. Пришлось и о них позаботиться. Но, взяв на свои плечи такую обузу — шестерых детей и девять внуков, столяр в конце концов разорился.

— А как же он сейчас живет со всей этой оравой?

— Чем бог пошлет. Продал все, что у него еще оставалось,— мебель, инструмент, одежду. Но и теперь этот человек не обделит милостыней ни одного нищего. Ну как, хороший урок я тебе преподал?

— И не говори. А ты не можешь мне показать, где живет этот несчастный? Пойду к нему и отдам все, что у меня есть.

— А почему ты выбрал именно этого столяра? Я назвал его лишь для примера. На свете живут миллионы людей, которые нуждаются в помощи, но стыдятся протянуть руку за милостыней. Они потеряли в жизни все, но сохранили благородство и чувство собственного достоинства. Вот им-то и нужна твоя щедрость. А искать их не нужно. Они всюду, вокруг тебя. Скажем, слуги у тебя есть? — спросил мой учитель жизни.

— Девочка и парнишка-сирота.

— Вот им-то и нужна человеческая доброта. Девочка пошла работать, чтобы помогать семье. А как вы с ней обращаетесь! Как с собственной дочерью? И кормите ее так же? Ни за что не поверю! А вспоминаете ли вы, что и девочка хочет отдохнуть, хочет, чтобы ее иногда приласкали? Или вы считаете, что она не ребенок, не живое существо, а автомат, выполняющий ваши приказы? Или, скажем, бедные родственники у тебя есть? А чем ты с ними поделился, чем помог? Короче говоря, друг мой, погляди вокруг себя и увидишь очень многих, которые не клянчат милостыни, но очень нуждаются в помощи, в доброте людской. Они не жалуются на жизнь, а молча и терпеливо переносят невзгоды.

Подумав, я признался, что в его словах заключена простая и печальная истина. Встаю с лавки, горячо благодарю своего учителя жиз-

ни и прошу разрешения уйти, чтобы отдать свою щедрость на службу тем, кто в ней воистину нуждается. Мой учитель провожает меня до двери и говорит:

— Иди с миром. А много ли у тебя в кармане денег, чтобы благодетельствовать людям?

— Полный кошелек.

— Полный или неполный, а вот при тебе ли он?

— Это не так важно.

Я пошарил в кармане, и что же? Нет кошелька! И опять нищий лезет к себе за пазуху, вытаскивает кошелек и протягивает мне.

— Ты уж извини меня. Недаром говорят: «Даже у мертвого карманника пальцы шевелятся». Старая привычка. Ведь раньше я был карманным вором. Ну, а потом решил заняться нищенством — безопаснее и прибыльнее.

Беру кошелек и кладу в карман, а мой учитель протягивает мне двадцать пять пиастров, которые я ему отдал за обед.

— Возьми и эти деньги, они тебе пригодятся, раз ты хочешь благодетельствовать людям. А мне дай пиастр.

— Зачем? — спросил я смеясь.

— А сколько я времени зря потерял, разгуливая с тобою? Я же все-таки нищий!

Глава 9

Сыны обмана

Иду и думаю, кто же по праву заслуживает моих щедрот? Конечно те, кто не просит милостыни, а уповает лишь на бога. И тут я вспомнил одного дальнего родственника, не то двоюродного племянника жены, не то сына дяди моего отца — несчастный бедный человек, обремененный огромной семьей. Погодите удивленно спрашивать: разве дети — это несчастье? Да, разумеется, «дети — украшение жизни», но что, если детей куча, а денег — кот наплакал? А ведь капитал и количество детей находятся в обратно пропорциональной зависимости. Старик миллионер вовсе бездетен. У другого богача лишь одна дочка. Третий — холостяк. А вот вам труженик Ханкура, мастеровой Ханафи, шейх Абу Сариа — так у каждого не меньше дюжины детей. Это одна из самых больших бед нашей страны: дети родятся там, где царствует нищета и обездоленность. И наша страна подобна растению, которое приносит колючки, а не плоды. Плоды в нашей стране вянут и сохнут, не успев созреть, а колючки плодятся бессчетно, покрывая всю землю.

Мой дальний родственник, о котором я вспомнил, был отцом десятерых детей. Все они здоровы, хорошо учатся, сам он служит и на здоровье пока не жалуется. Так почему же я назвал его несчастным? Да очень просто. Даже в семье крестьянина дети не всегда счастье для своих родителей, а тут маленький чиновник, шестого или седьмого класса, не помню точно, один из многих тысяч винтиков в огромной государственной машине. Особых способностей, которые помогают сделать карьеру, у него нет, и на повышение рассчитывать не приходится. Но женившись, он начал плодить детей, положившись на волю природы и не задумываясь над тем, к чему это может привести. Он считал, что выполняет супружеский долг, а на все прочее — воля аллаха.

С ростом семьи возрастали и расходы, а жалованье оставалось прежним. Детей же надо кормить, одевать и учить. Поначалу все шло

хорошо. Семья кое-как сводила концы с концами, но, к великому сожалению, дети оказались очень способными и жаль было брать их из школы, где они делали такие успехи. А расходы все росли. Мой родственник попытался было устроить детей в бесплатную школу, но наше министерство просвещения по доброте своей все свое внимание отдает лишь отпрыскам людей богатых и влиятельных. У моего же несчастного родственника никаких полезных связей. Вот и вышло, что бесплатное обучение — не для его детей. Какое дело министерству просвещения, что он беден, а дети у него все на редкость способные! Пришлось взять старшего сына из школы и послать работать — при такой нужде и несколько лишних пиастров в день уже подмога. Но парень оказался упорный и, занимаясь дома сам, сумел сдать экзамены за среднюю школу с отличными оценками. Новое несчастье для отца — сын поступил в университет. Пришлось другим детям идти работать — ведь за учение в университете нужно платить. Но вот наступил день, когда необходимых денег собрать не удалось — сыну грозило исключение из университета. Бедняга отец застонал от бессилия. Человека, который пришел бы ему на помощь, не нашлось, а протянуть руку за милостыней он не осмеливался. Еще бы — ведь он эфенди, чиновник, носит пиджак, феску и галстук!

Да, конечно, этот человек больше всех других имеет право на мою щедрость. Я ведь могу дать ему денег, чтобы его способный сын продолжал учиться, а потом облегчу тяжелую участь всей семьи. Решаю немедленно отправиться к нему. И так приятно было чувствовать себя благородным!

Мой родственник жил неподалеку от площади Сейида аль-Хусейн. Мне нужно было сесть в трамвай, идущий к Атабе, пересесть там на другой до аль-Азхара, а потом немного пройти пешком.

Трамваи все шли битком набитые, и я даже не пытался в них втискиваться. А не последовать ли примеру мальчишек и не прицепиться ли сзади? Наконец, устав ждать, я кое-как уцепился за поручень и поставил одну ногу на подножку. Другая болтается в воздухе. Упасть не боюсь, ибо и на подножке меня стиснули, как сардину в банке. Так и доехал до Атабы. Лавируя между продавцами газет, лоточниками, чистильщиками ботинок, добираюсь до остановки трамвая, идущего к аль-Азхару. Сажусь на свободную скамейку. Но тут ко мне подходит попрошайка в грязном рубище, едва прикрывающем тело, и мычит, показывая на рот: дескать, он немой и умирает с голоду. Говорю ему:

— Привет, приятель! Ну, как дела?

Он перестал мычать и внимательно посмотрел на меня. А я продолжаю:

— Старайся, старайся, не то достанется тебе от матушки Нодак!

Он только глаза вытаращил. Потом нагнулся к моему уху и прошептал:

— А ты ее знаешь?

— Я вас всех знаю!

— Ты в корпорации ведь недавно?

Тут раздался свисток кондуктора, и нищий, считая меня за собрата по ремеслу, пошел искать доверчивых простаков.

Выхожу у аль-Азхара и кое-как пробираюсь в густой толпе, между многочисленными тележками торговцев фруктами и всякой всячиной. Со всех сторон несутся истошные крики торговцев, восхваляющих свой товар. Но всех перещеголял продавец абрикосов, рекламировавший эти сочные плоды в стихотворной форме. Рядом гремел медными тарелочками продавец сока. На спине у него был привязан большой стеклянный сосуд, а на поясе — металлическая стоечка с

отверстиями для стаканов. В левой руке — небольшой кувшин с водой, чтобы ополаскивать стаканы. При виде его мне сразу захотелось выпить холодного соку. Беру стакан, подношу ко рту и с удовольствием, словно шампанское, пью освежающий напиток.

Отхожу и наталкиваюсь на ручную тележку, заваленную бананами. А ведь неудобно приходить в чужой дом с пустыми руками! Гроздь бананов придется очень кстати: Ведь дети моего родственника, наверное, забыли даже вкус фруктов.

Подхожу к торговцу, орущему без устали:

— Даром отдаю! Окка бананов за пять пиастров! Даром отдаю, люди! За полцены отдаю! Подходи, не стесняйся, а то передумаю!

Пожалуй, стоит поторопиться и купить бананы за пять пиастров, а не за десять. Правда, я и представления не имел, много это или мало. Сам их никогда не покупал, потому что мои домашние строго пресекали мои попытки отправиться за покупками на рынок, утверждая, что меня там любой торговец обведет вокруг пальца. И правда, что бы я ни покупал самостоятельно, все оказывалось никуда не годным, гнилым и тухлым, да к тому же и переплачивал я за эту гниль вдвое, а потом все летело в помойку.

На этот раз мне приходилось сделать покупку самому. Ну, думаю, осмотрю товар самым тщательным образом и не дам себя надуть. Подхожу к продавцу бананов, здороваюсь.

Он не отвечает, продолжая оглушать всех вокруг громкими призывами покупать у него бананы за полцены. Тут и я завопил:

— Почем окка?

Продавец покосился на меня с самым грустным видом.

— Говорю же, по пять пиастров. В убыток торгую, клянусь аллахом! А куда денешься?!

Мне сразу совестно стало. Неужто я воспользуюсь его несчастьем и заставлю торговать в убыток? Да где ж это видано, чтобы за окка бананов брать всего пять пиастров! А лицо у него такое печальное, сразу видно, что каждое его слово — истина.

Перекрикивая его, спрашиваю:

— А за шесть пиастров? Отдашь за шесть?

— Что за шесть? — удивленно переспросил продавец.

— Окка, окка бананов!

— Говорю же, за пять отдаю, куда ж еще скидывать?

— Отдай за шесть.

Он посмотрел на меня как на сумасшедшего.

Но я твердо решил купить бананы за шесть пиастров, чтобы бедняга хоть немного поправил расстроенные дела. Внимательно рассматриваю гроздья, вовсе не собираясь купить гнилье и потом краснеть перед детьми. Вижу, бананы как на подбор — свежие, непобитые. Они так мне понравились, что я решил купить на обратном пути еще несколько окка. Докажу домашним, что и я способен выгодно купить хороший товар. Кричу продавцу:

— Свешай пять окка!

Он лезет под тележку, где у него лежат разнообразные миски, и выбирает самую большую. Накладывая в нее бананы, он не перестает кричать:

— Даром! Даром отдаю, люди! Бананы за полцены. В убыток торгую!

И опять во мне заговорила совесть:

— Ну, хорошо, по семь пиастров!

Продавец ставит миску на весы и смотрит на меня, словно боится, что ослышался.

— По семь?! Семь пиастров окка! — ахнул он и тихо добавил мне на ухо: — Чего же ты переплачиваешь?

Он выразительно покачал головой, будто говоря: «Ну и дурак же ты, братец!», протянул мне миску с бананами и заговорщицки спросил:

— А по восемь не возьмешь?

— Можно и по восемь,— отвечаю.

Лезу в карман, достаю кошелек и вынимаю сорок пиастров. Продавец смотрит на меня и, конечно, думает: «Создает же аллах таких простофиль!»

С улицы аль-Азхар направляюсь в квартал Сейида аль-Хусейн. Повсюду вижу нищих — увечных, в жалких лохмотьях, но не испытываю никакого сочувствия. Уж я-то, побывав в корпорации нищих, знаю, откуда все это берется.

Вдруг слышу молящий голос:

— О бек, господин мой!

Оборачиваюсь и вижу: на тротуаре, поджав ноги, сидит крестьянин, рядом с ним — жена, закутанная в черный платок. Перед ними стоит корзинка, полная куриных яиц, и еще в ней два голубя. Сразу понимаю, что пришли эти люди из деревни пешком и ничего в жизни не знали, кроме тяжкого труда и горькой нужды. Подхожу к ним. Крестьянин, робко улыбаясь, говорит:

— Ты уж прости нас, бек. Приехали мы навестить родственника Хусейна. Выходим из вагона, лезу я в карман, ищу кошелек и не нахожу. Какой-то богом проклятый вор вытащил кошелек... Уж и не знаем, что нам делать, господин наш! Даже на обратную дорогу денег не осталось.

Я сразу понял, к чему клонит этот сын земли. Старая уловка! Я уж попадался на такую удочку. Хватит с меня. Но крестьянин все не отстает:

— Господин мой, бек! Ведь мы не попрошайки! Аллах тому свидетель! Не милостыню у тебя прошу! Вот у меня корзина яиц и пара голубей... с собой из деревни привез... Купи! Благодетелем будешь! Вот и хватит нам на билет домой, да удлинит аллах твою жизнь!

Бедняга замолчал, а я уже уверился, что передо мной не мошенник. Он же хочет продать мне свою корзинку, чтобы выручить деньги на билет. А почему бы мне одним ударом не убить двух зайцев? Куплю у оборванного крестьянина яйца и голубей и вместе с бананами отнесу их моему многодетному родственнику. Отличный выйдет подарок! Браво! Именно так поступают щедрые люди!

Спрашиваю беднягу, сколько он хочет за яички и голубей. Семьдесят пиастров, отвечает он. Столько, сколько им нужно, чтобы добраться домой. На мой взгляд, корзина с яичками стоила не меньше ста пиастров. Вынимаю бумажник и протягиваю крестьянину целый фунт.

— Вот тебе сто пиастров за яички и голубей.

Далее отсчитываю еще семьдесят пиастров и говорю:

— А на эти деньги купи билеты.

Крестьянин не хотел брать фунта, говорил, что сроду милостыни не брал, но я его уговорил. Беру корзину с яйцами. Но тут бес сомнения нашептывает мне: «Дурак! Откуда ты знаешь, правду ли он говорит? Вдруг они тухлые?»

Отгоняю эти подозрения, но на всякий случай говорю:

— Горе тебе, если яйца окажутся тухлые!

— Тухлые?! Да хранит меня аллах!

Тут он хватает из корзины два яйца, разбивает их и проглатывает у меня на глазах, приговаривая:

— Господин мой, это же свеженькие яички, прямо из-под курицы! Взял бы я их в рот, будь они тухлые!

Тут уж я совсем успокоился. Беру корзину и иду дальше. Но не успеваю сделать и нескольких шагов, как один голубь выбирается из корзины и улетает. Пытаюсь поймать его, вылетает второй, а у меня в руках корзина с яйцами и еще бананы. Положить их пока тут? Как же! Найдешь ты их потом! И я бегу за голубями, нагруженный бананами и корзиной. Кричу прохожим, чтобы они мне помогли, и вот уже целая толпа бросилась ловить голубей. Шум поднялся страшный. Кто-то спрашивает: чего народ волнуется? А ему отвечают: должно быть, вора ловят! И тут все подхватили: «Держи вора! Хватай его, проклятого!»

Толпа ринулась в погоню и чуть не сбила меня с ног. Махнув рукой на голубей, иду своей дорогой.

Наконец, потный, пыльный и взлохмаченный, добираюсь до жилища моего родственника. Ставлю корзину на землю, стучусь. Слышу женский голос:

— Кто там?

— Это я,— отвечаю.

— Кто «я»? — спрашивает голос.

Стоит ли называться? Все равно мое имя им ничего не скажет. Я ведь впервые прихожу сюда. Поэтому сам спрашиваю:

— Мухаммед-эфенди дома?

— Дома,— отвечает женщина и кричит: — Мухаммед! А Мухаммед! Кто-то тебя спрашивает.

Вскоре калитка приотворилась, и я увидел гурьбу мальчишек и девчонок, которые уставились на меня во все глаза. Тут подошел и сам господин Мухаммед. Узнав меня, он остолбенел от удивления. Но тут же радостно воскликнул:

— Добро пожаловать! Милости просим!

Однако на его лице было написано глубокое смущение, и я скоро понял причину: на нем было платье его жены.

Одна из девочек проводила меня в «гостиную», всю обстановку которой составляли скамейки, сколоченные из старых ящиков. На полу лежал рваный матрас, но его тотчас уволок мальчишка, вынырнувший как из-под земли.

Появляется хозяин дома, облаченный в полный парад, но я замечаю, что и галабия у него перешита из жениного платья.

Он рассыпался в приветствиях, расспрашивая о здоровье и о делах, а сам все искоса поглядывал на бананы и корзину с яйцами. Улучаю удобный момент и говорю хозяйке:

— Госпожа Закия, возьми-ка все это и раздай детям!

— Да что вы! Право же, это ни к чему!

А за дверью видны бесчисленные детские головы. Глазенки так и блестят.

Я рассказал хозяевам, как я все это купил по дешевке, описал внешность крестьянина и его жены, но тут Закия всплеснула руками, схватилась за голову и возопила:

— О, горе! Тебя же обманули!

— Кто обманул?

— Мошенники, вот кто! Говорили они тебе, что у них нет денег на обратный путь?

— Ну, говорили...

— Вот они то же самое говорили Мухаммеду. Купил он у них корзину яиц и двух голубей и радовался выгодной сделке. А яйца-то все оказались тухлыми.

Я самодовольно усмехнулся и поспешил успокоить хозяйку:

— Меня так просто не обманешь. Я все проверил. Продавец сам разбил два яичка и выпил их. Совсем свеженькие были.

— Так во всей корзине они одни и были свежими! Жаль, что ты позволил этому проходимцу их выпить. Нам бы они очень пригодились. А голуби улетели?

— Улетели,— смущенно отвечаю я.

— Я так и знала! Вот и с Мухаммедом было то же! Теперь твои голубки сидят на другой корзине у этого мошенника.

Оказалось, что меня и вправду надули. Крестьянин с женой принадлежали к шайке, которая занималась сбытом тухлых яиц. А голуби были дрессированные — их приучили сидеть на краю корзины, пока ее не уносили. А тогда они вспархивали и возвращались к хозяину до появления следующего простофили.

Я сгорал от стыда. Набитый дурак! Как же ты не разглядел, что их жалкий вид — один обман? Но тут я взглянул на бананы и подумал: вот мое спасение! Говорю хозяйке:

— К чему огорчаться? Потерянного не вернешь! Пусть дети полакомятся бананами!

Хозяйка принесла поднос и начала выкладывать на него бананы и выяснила, что их не больше окка. А на дно для веса наложена кожура, всякая гниль и песок. Вот грабитель! Положил сверху несколько свежих бананов, а остальное — отбросы! Сорок пиастров за одно окка?! Это ли не разбой среди бела дня!

Глава 10

Безумие щедрости

Сижу перед хозяевами дома и сгораю от жгучего стыда.

Жалко было напрасно выброшенных денег, я злился на себя за легковерие и глупость, но все это были пустяки. Худшее заключалось в другом: я же огорчил моего родственника, которому хотел помочь. Он ведь поверил, что его семья целых два дня будет сыта, питаясь яйцами, бананами и жареными голубями. Да так бы оно и было, если бы не проклятая моя доверчивость! Я не сомневался в том, что его жена про себя всячески меня ругает, считает мой приход к ним несчастьем. Но потом я подумал, что не стоит так расстраиваться, ведь могло быть гораздо хуже! Так чего печалиться?! Человек склонен рвать на себе волосы, если на его белую одежду попадет капля чернил. А лучше бы он подумал, во что превратилась бы его белая одежда, попади он под колеса трамвая! Так радуйся тому, что этого не произошло!

Мне не стоило большого труда убедить себя, что случившееся не так уж страшно. Слава богу, что я цел и невредим. На меня не обрушился дом. Я не попал под колеса трамвая или автобуса. Да, обманщики не причинили мне большого ущерба. А, может быть, продавец бананов действительно нуждался в тех сорока пиастрах, которые он у меня выманил? Да и крестьянин, наверное, по-настоящему беден, и, хотя деньги он получил обманом, они помогут ему заткнуть какую-то дыру в его убогом хозяйстве. Следовательно, щедрый человек не может и не должен расстраиваться из-за подобных пустяков.

А вместо яиц, бананов и голубей дам моему родственнику деньги, и он тогда не только ничего не потеряет, но еще окажется в выигрыше, так как купит на них то, что сам сочтет нужным. Недолго думая

вытаскиваю бумажник, подзываю детей, даю каждому по полриала и говорю, чтобы они истратили эти деньги по своему усмотрению. Конечно, я прекрасно понимал, что мать сразу отберет у них все деньги, едва за мной закроется дверь.

Ребята сразу попрятали монеты, но один малыш сначала попробовал ее на зуб.

— Зачем это ты? — спрашиваю.

— А вдруг она тухлая? — отвечает он.

Смотрю — лица родителей прояснились. Наверное, больше их не огорчает, что яйца оказались тухлыми, а бананы — гнилыми.

Ребятишки убежали, и в комнате воцарилась тишина. Я понимал, что хозяева стараются понять, зачем я, собственно, к ним пришел и почему так расщедрился. Решив, что пора приступить к выполнению главной задачи, спрашиваю, что поделывает их старший сын. Мать отвечает:

— Учится.

— Как его успехи?

— Учится он хорошо. И большего от него требовать нельзя. Теперь дело за нами. А нам негде взять денег, чтобы платить за него.

— Что поделаешь! — вступает в разговор отец.— Как говорится: «Видит око, да зуб неймет».

В его словах звучали горечь и отчаяние. Вот-вот сына выгонят из университета — и не потому, что он туп или ленив, но потому, что у его родителей нет средств платить за него. Спрашиваю:

— А сколько вам нужно?

— Двадцать фунтов.

Двадцать фунтов! Удивительно устроен мир. Нужно всего двадцать фунтов, чтобы купить знания в стране, где наука продается. Но человеку негде их взять, и его сын не будет приносить обществу и стране ту пользу, какую мог бы, получи он высшее образование.

Для очень многих в нашей стране двадцать фунтов — огромная сумма, а для других это гроши, о которых и разговаривать не стоит.

Молоденькая красавица спокойно платит в магазине двадцать фунтов за сумочку, которую она поносит день-другой, а потом уберет в шкаф, где уже полно дорогих сумочек.

Тот выбрасывает двадцать фунтов на несколько бутылок виски, чтобы устроить пирушку с друзьями, которые, как и он, изнывают от безделья и скуки.

Другой платит танцовщице пять раз по двадцать за то, что она специально для него сделает несколько движений бедрами и животом! А вон тот не моргнув глазом выбрасывает на карточный стол сто раз по двадцать фунтов.

Как удивителен и противоречив наш мир! Неужели ценность дамской сумочки равна ценности образования? Неужели будущее молодого человека может приравниваться к пяти бутылкам виски или нескольким телодвижениям танцовщицы?

А что было бы, если бы кто-то попросил красавицу отказаться от одной сумочки и пожертвовать эти деньги на то, чтобы способный студент продолжал учиться? Она негодующе пожмет плечами и бросит презрительно: «А какое мне до этого дело?»

Если попросить того, кто покупает по пять бутылок спиртного, или того, кто выбрасывает огромные деньги на танцовщицу, отказаться от одной ночи удовольствия ради благого дела, то в ответ мы услышим ругательства. Какое им дело до бедного студента?

Я с удовольствием нащупал свой бумажник. В нем лежало ровно двадцать фунтов, предназначавшихся на летний отпуск. Но разве отпуск можно сопоставить с судьбой человека! Разумеется, моя жена,

узнав, что я сделал с деньгами, сначала рассердится. Но я сумею убедить ее. И в конце концов она похвалит меня за разумную щедрость.

Открываю бумажник и начинаю пересчитывать деньги. Хозяин и его жена с изумлением смотрят на меня. В бумажнике, кроме двадцати фунтов, нашлось еще несколько пиастров. Слава богу, хватит на дорогу домой!

Протягиваю родственнику деньги и говорю просто:

— Этих денег хватит, чтобы заплатить за учебу Махмуда. Пусть спокойно кончает курс.

Мой родственник не поверил своим глазам. Он сказал сдавленным голосом:

— Боюсь, я не скоро смогу возвратить тебе такую сумму!

— Будет тебе! Ничего не надо возвращать!

На глаза хозяина навернулись слезы. Он мог только кивнуть. Жена утирала глаза уголком платка и шептала благодарственную молитву. Трудно описать чувство, овладевшее мной в ту минуту! В своем поступке я не усматривал благодеяния. Нет, это была очень выгодная сделка: за эти двадцать фунтов я получил радости на несколько сотен.

Когда хозяйка выходила из комнаты, ее лицо светилось счастьем. Хозяин крепко жал мне руку, приговаривая:

— Чем я смогу отблагодарить тебя за такую щедрость? Ты не двадцать фунтов нам подарил, а будущее нашего сына!

Вскоре хозяйка вернулась с Махмудом, которого я видел впервые. Худой, заморенный юноша хватает мою руку и горячо ее целует в знак искренней признательности.

— Вечный твой должник, господин мой. Никогда не забуду твоей доброты!

Его бурная благодарность меня смутила, и, чтобы скрыть это, я сказал:

— Если кончишь университет, я прощу тебе долг. Договорились?

— Старания мне не занимать. Бог даст, выдержу экзамены. И все равно буду считать себя неоплатным должником.

— Завтра пойдешь на занятия?

Вопрос этот я задал просто так, чтобы поддержать разговор. Но лицо Махмуда вдруг помрачнело, словно он вспомнил что-то неприятное. Повернувшись к матери, он сказал вполголоса:

— А как же костюм?

Она выразительно ему подмигнула.

— Костюм? Что костюм?

— Ладно вам,— виноватым тоном сказал отец.— Что-нибудь придумаем.

Но мать мне все объяснила:

— Сегодня утром мы продали старьевщику единственный приличный костюм сына. Денег совсем не было, а мы уже простились с надеждой, что он сможет учиться дальше. Вот и продали костюм. Зачем он был ему? Вот горе-то! И за полцены отдали!

Прикинув, что сын примерно одного роста и сложения с отцом, утешаю их:

— Не беда! Пусть поносит отцовский, пока мы не подыщем ему чего-нибудь подходящего.

— А сам-то я в чем пойду в присутствие? — возразил отец.

Как же я сам не сообразил? Только поставил себя и его в неловкое положение. Костюм-то у него один! И тут моя щедрость прямотаки взыграла. Молча встаю со скамьи, снимаю пиджак, брюки и рубашку и остаюсь в трусах, майке, феске и ботинках. Костюм и рубашку протягиваю юноше. От изумления все трое даже рты открыли.

Принести подарки, предложить деньги мог бы на моем месте любой истинно добрый человек, но снять с себя костюм, отдать другому, а самому остаться в нижнем белье — это уже выходило за границы здравого смысла.

Все трое смотрели на меня как на безумного. Но я считал свое поведение вполне логичным: юноша непременно должен учиться дальше, но ему не в чем ходить на занятия, так как его костюм продан старьевщику, а у отца всего один костюм, нужный ему самому,— у меня же дома полный шкаф одежды, так почему я не могу поделиться с ним?

Ах, вот в чем дело! Их шокирует мой вид! А почему, собственно? Какая разница — костюм на мне или нижнее белье? Да и будь я вовсе голым — что в том особенного? Почему люди придают столь большое значение одежде? Если бог создал нас голыми, значит, одежда не нужна! Была бы необходимость одеваться, так бог создал бы нас одетыми! Сотворил же он мех для зверей и перья для птиц. Значит, человеку должно быть достаточно его кожи и волос. Но довольствуется ли человек своим уделом, как прочие твари?

О нет! Человек отягощает свое бренное тело самой невероятной одеждой как по покрою, так и по цвету: душит шею воротничками и галстуками, носит хвостатые фраки, увешанные цепями и звездами, воображая, будто они придают ему величие.

Ну, а о женщинах и говорить нечего — это настоящие мученицы. Каких только орудий пыток они для себя не напридумывали — и корсеты, и высоченные каблуки, и тесные туфли. Всего и не перечислить. А ради чего они терпят подобное? Только чтобы понравиться и выйти замуж.

Размышляя так о смысле и назначении одежды, я продолжал стоять перед моим родственником, его женой и сыном, ничуть не смущаясь своего вида: ни майки, ни трусов. Опять, как будто так и надо, протягиваю юноше свой костюм.

Первым обрел дар речи отец.

— Ну нет, господин мой. Я не могу допустить, чтобы из моего дома ты вышел голым. Для сына уж сами что-нибудь придумаем!

— Какой срам! Человека раздели! — причитала хозяйка.

— Ну и что? У меня много других.

Но тут заговорил Махмуд, и по всему было видно, какую благодарность и уважение он ко мне испытывает:

— Не нахожу слов, чтобы поблагодарить тебя за доброту! Уж если ты решил отдать мне свой костюм, то пришли его потом со слугой. Или я сам пойду с тобой и возьму его.

Слова юноши показались мне разумными. Именно это мне следовало предложить самому. Но избыток щедрости затуманил мои мысли, и я продолжал стоять на своем. Они все убеждали меня, что эдак я их опозорю, и в конце концов заставили меня пойти на уступки:

— Ну ладно, если вы уж так настаиваете, то дайте мне галабию. Я вернусь домой и пришлю ее обратно.

Хозяин дал было согласие, но тут же смутился. Ах да! У него же всего одна галабия. Встретил-то он меня в жениной рубахе. Чтобы вывести его из затруднительного положения, говорю:

— Если выходная галабия в прачечной, так дай любую другую, а то и рубаху, которая была на тебе. Мне все равно, в чем идти.

В конце концов он сдался и принес женскую рубаху. Я натянул ее на себя — а юноша прямо давится от смеха. Взглянул на себя в зеркало. Пожалуй, ничего. Правда, рубаха оказалась коротковатой и едва доходила мне до колен, так что носки и резинки были открыты

для всеобщего обозрения. Великоват был и вырез на груди, а рукава вовсе отсутствовали. Тем не менее выглядел бы я вполне прилично, если бы не феска, которая никак не сочеталась с таким нарядом и производила нелепое впечатление.

Рубашка оказалась просторной и настолько удобной, что я решил больше не носить пиджаков, а стать зачинателем новой моды и соблазнить своим примером других мужчин.

В таком виде стою я перед отцом, матерью и сыном — в дамской ночной рубашке, с феской на голове, в носках и ботинках, с бумажником в руке. А в бумажнике — всего несколько пиастров на трамвай.

Мои хозяева печально качают головами и провожают до калитки. Во дворе раздается громкий хохот — это меня увидели остальные дети. Но родители строго на них прикрикнули, и они с визгом и смехом прыснули во все стороны.

Иду по улице, не ощущая никаких неудобств от нового наряда. Будто парадный мундир надел. На улице было мало прохожих, да и те торопились по своим делам и не обратили на меня никакого внимания.

Не спеша дохожу до улицы аль-Хусейн, и вот тут прохожие начали таращить на меня глаза. Но я спокойно иду своей дорогой. Вскоре, однако, за мной уже следовала целая толпа, со всех сторон неслись насмешливые возгласы, причем особенно усердствовали мальчишки. Чувствую, дело может кончиться плохо. Но вдруг рядом резко тормозит такси — так поразил шофера вид человека в женской рубашке. Воспользовавшись этим, быстро вскакиваю в машину и благополучно добираюсь до дома.

Выйдя из такси, сталкиваюсь нос к носу с братом. От неожиданности и изумления он вытаращил глаза.

— А теперь что с тобой случилось? Порошок смелости действует?

— Нет, я смелость сменил на щедрость!

Глава 11

Довольно лицемерия

Стою у ворот в своем необычном одеянии, а брат то так на меня посмотрит, то эдак и все не может прийти в себя от удивления. Наконец протер глаза, проверяя — не сон ли это, перевел взгляд на шофера такси и сказал шепотом:

— И он вез тебя по городу в таком виде?

— А хоть бы я и пешком шел? Это что — позор?

— Аллах с тобой! Какой позор? Кто тебе сказал, что позорно ходить по улице в женской ночной рубашке?

Насмешка, прозвучавшая в его голосе, окончательно вывела меня из терпения.

— Дурак ты набитый! Какой мне вред — хожу ли я в ночной рубашке или вовсе без ничего? Я же все равно остаюсь самим собой, надену ли я ночную рубашку или парадный мундир или просто закутаюсь в простыню. Это лишь внешняя оболочка, которая не имеет никакого отношения к внутреннему содержанию человека! Ты понял?

— А чего тут не понять?

— Заплати-ка лучше за такси,— сказал я.

Он заплатил, и мы пошли во двор. Тут брат потребовал у меня объяснения.

— Куда ты девал костюм? Ты что же, собираешься в таком виде идти прямо в дом?

— Костюм я подарил. А второй твой вопрос не имеет никакого смысла. Чего мне бояться? Все дело в том, что я щедрый человек. Если щедрость — порок, которого должно стыдиться, то тогда я с тобой согласен, тогда я негодяй и мне следует краснеть оттого, что я позволил щедрости довести меня до подобного состояния. Но ведь это не так. Я горжусь своим теперешним видом. Я не боюсь...

Тут передо мною предстала моя жена. Ее глаза метали молнии. Я не мог понять, чем вызван ее гнев. Я, как мне кажется, ничем не заслужил такой встречи. Спокойно улыбаюсь и спрашиваю:

— Что с тобой? Храни тебя бог от зла и несчастья.

Но эта тигрица в образе женщины не удостоила меня ответом и прорычала:

— Где ты был?

— В гостях у Мухаммеда-эфенди.

Она еще больше нахмурилась и бросила на меня взгляд дикой кошки.

— Это кто же такой?

— Мухаммед аль-Багури. Сын сына родного дяди жены дяди моей матери.

Такой ответ только сильнее разъярил жену. Можно подумать, что я в чем-то виноват перед ней. Подхожу к своей супруге, пытаюсь ее успокоить и узнать, чем вызваны эти странные вопросы. Она резко отталкивает мою руку и, рыдая, опускается на скамейку. Смотрю на брата и спрашиваю в сердцах:

— Что с ней? Не с ума ли она сошла?

— Это она с ума сошла?! Аллах с тобой!

На мой вопрос ответила теща, которая поспешила к нам, услышав рыдания дочери. Глаза тещи горели гневом.

— Это еще что такое?

— Он был в гостях у Мухаммеда-эфенди,— ответила за меня жена.— У Мухаммеда-эфенди, сына родного дяди жены дяди его отца. И ты поверишь этому, мама?

— И от этого Мухаммеда-эфенди люди уходят в женских ночных рубашках? Ничего умнее ты выдумать не мог?

И моя дорогая теща начала объяснять, что со мной случилось. К своему величайшему изумлению, начинаю понимать, что жена подозревает, будто я вернулся от любовницы! Вот те на! Она кричит:

— Кто поверит, что из дома Мухаммеда-эфенди уходят в женских ночных рубашках? Ни секунды больше не останусь с тобой, обманщик! Возвращайся к той, от которой пришел! К той, которая подарила тебе свою ночную рубашку.

— Успокойся, милая. Выслушай меня. Стыдно тебе так говорить. Сейчас я тебе все расскажу по порядку...

Тут опять вмешивается дражайшая теща:

— Он еще ее успокаивает! Ты же ее опозорил! Что же это будет, если все начнут возвращаться к жене в ночной рубашке любовницы?

Терпение мое лопнуло. Чувствую, что схожу с ума.

— Да что вы такое придумали?! Какая там любовница? Сразу видно, что щедрость и доброта в этой стране не ходовой товар. Значит, по-вашему, делать добро — преступление? И нельзя отдать свой костюм тому, кто в нем нуждается?

— Ах, так ты отдал костюм нуждающемуся! — крикнула жена.— А ночная рубашка чья?

— Да это же того нуждающегося. То-то в последние два дня

нуждающиеся все как один разгуливают в ночных рубахах,— вставляет теща.

— Нет, с вами и вправду можно с ума сойти! — простонал я.— Или, по-вашему, добрые люди на свете совсем перевелись? По-вашему, преступление, если человек дает Мухаммеду-эфенди несколько фунтов, чтобы тот мог заплатить за учебу сына? Что плохого, если я отдал парню свой костюм, чтобы он мог посещать занятия? Что позорного в том, что человек не хочет обидеть бедных хозяев и берет у них ночную рубаху, чтобы прикрыть наготу? Постыдились бы вы!

Смотрю на жену и вижу — она совсем почернела от злости. Из моих слов она поняла только, что я дал кому-то денег.

— Ты взял деньги из шкафа?

— Двадцать фунтов,— ответил я с улыбкой.

— И потерял их?

— Нет. Отдал несчастному бедняку, чтобы выручить его в тяжелый час. Это куда лучше, чем выбросить их на пустяки во время отпуска.

Не знаю, что сказала бы на это жена, но тут брат начал тихо что-то шептать ей на ухо, а что — я не расслышал. Жена сразу перестала плакать и посмотрела на меня с ужасом. Теща попятилась и быстро исчезла из комнаты.

Вот оно что! Брат опять убеждает их, что я помешался. То я просил порошок трусости, а теперь я напялил на себя женскую ночную рубашку. Какой же уважающий себя мужчина в здравом уме уйдет от любовницы в ее ночной рубашке?

Изобразив на лице улыбку, брат подошел ко мне и ласково положил мне руку на плечо.

— Не сердись ты на них,— сказал он.— Они не знают разницы между злом и добром. Чрезмерный эгоизм туманит их сознание. То, что ты сделал для Мухаммеда и его сына, доказывает, что ты — совершенство, а не простой сын Адама.

И начинает легонько подталкивать меня к двери в спальню. А! Так он опять хочет меня запереть. И уж, конечно, позаботится, чтобы я не сбежал через окно. Впрочем, я не уверен, смог бы я еще раз из него выпрыгнуть. Ведь теперь я никакой не смельчак, всего лишь добрый человек. Но в лечебнице для душевнобольных мне делать нечего, а потому надо постараться как можно быстрее сбежать из дому.

— Извини,— говорю я брату.— Я сейчас вернусь.

Сбрасываю его руку с плеча и направляюсь к уборной. Однако в последнюю минуту выскакиваю через черный ход, на цыпочках спускаюсь по лестнице, и вот я уже в саду. Так-то, братец! А ты жди моего возвращения и обдумывай, как запереть меня понадежней.

В вышитой ночной рубашке и с феской на голове я лечу как ангел, отталкиваясь от грешной земли. Феска сбилась на ухо. Резинка расстегнулась, и один носок сполз и мешает бежать. Но я не останавливаюсь. Скорее, скорее добраться до лавки торговца душевными качествами! Больше не могу! Щедрость причинила мне гораздо больше несчастий, чем смелость.

Тысячу раз был прав лавочник, когда предупреждал меня, какие опасности таит употребление его вредоносного товара.

Довольно! Не хочу больше быть ни смелым, ни щедрым. Эти благородные качества принесли мне одни несчастья, гнев и презрение домашних, насмешки окружающих! Да, тысячу раз был прав лавочник, когда говорил, что время для его товара прошло безвозвратно. Сейчас он никому не нужен. Больше того — он вреден людям.

Наконец, добегаю до знакомой лавки, весь в грязи и поту. В изнеможении валюсь на мешки. Лавочник уставился на меня в страхе и недоумении, не понимая, кто перед ним. Еще бы! Не часто увидишь мужчину, одетого в женскую ночную рубашку, или женщину с феской на голове, со спущенными носками на худых волосатых ногах. Но тут он узнал меня и воскликнул:

— Ты ли это?

— А кто же? — ответил я, испустив тяжкий вздох.

— Кто же довел тебя до такого состояния?

— Твоя щедрость, господин мой!

— Она-то здесь при чем?

— Видишь ли, нужно было подарить костюм одному несчастному, а у него взамен не нашлось ничего, кроме этой рубахи.

— Понятно! Это самая опасная разновидность щедрости. Ее еще называют слепой добротой. Но расскажи мне все по порядку.

Когда мое печальное повествование подошло к концу, лавочник воскликнул:

— Хвала всевышнему!

— Это за что же?

— Благодари бога, что с тобой не случилось ничего похуже. Как правило, доброму человеку достается от людей куда больше. Хвала всевышнему, что ты хоть сам цел остался.

— Но что могло быть?

— Ну, например, ты подарил бы не один костюм, а все до одного. Разве, кроме этого юноши, на свете нет людей, которые нуждаются в приличной одежде? А то роздал бы ты нуждающимся все свои деньги, а как только остался ни с чем, они тебя и узнавать перестали бы. Недаром есть в народе поговорка: «За добро платят злом!» Люди легче всего забывают добро, но в то же время считают, что ты им добро делать обязан. Когда же тебе нечем им помочь, они шлют тебе проклятья, обвиняют тебя в жадности и бессердечии.

Лавочник умолк. Размышляя над его словами, я пришел к выводу, что он не так уж далек от истины. Мне припомнился такой случай: один добряк сжалился над женщиной, обманутой подлецом. Она умоляла спасти ее и ее будущего ребенка от голодной смерти, и он дал ей денег. А потом начал постоянно помогать ей. Постепенно эта женщина так привыкла получать от него деньги, что уже считала, будто он обязан ее содержать. Так дело и шло, пока добряк не разорился. И что же произошло? Что сделала эта женщина, которую добряк спас от голодной смерти? Она подала на него жалобу в суд, доказывая, что отец ее ребенка — он. Дескать, он давал ей деньги на содержание мальчика потому, что это его сын, а теперь вот хочет избавиться от них обоих. Так отплатила она за добро!

А мне сколько бед и огорчений принес порошок щедрости всего за один день? А что будет, если я навсегда останусь добрым? Совсем расстроенный, спрашиваю:

— Что же делать?

— С чем?

— А с моей чрезмерной добротой? Как мне от нее отделаться?

— А так же, как ты отделался от своей смелости. Возьми щепотку любого другого порошка, хоть правдивости, верности долгу, порядочности или откровенности. Выпьешь и избавишься от щедрости. Ее заменит новая черта характера.

— Нет уж! Из огня да в полымя? Все эти качества принесут мне только новые страдания и беды. Зачем делать из себя посмешище?!

— Другого пути нет.

— Что же делать?

— А это меня не касается! Я тебя много раз предупреждал. Не послушался моих советов, так пеняй на себя. Потерпишь еще несколько дней...

— Что? Еще несколько дней быть добрым среди злых и неблагодарных людей? Нет уж, уволь! Лучше я прямо сейчас, перед тобой лишу себя жизни!

Тут я сжал руками шею и начал душить себя. Лицо покраснело, потом медленно стало синеть. Хозяин лавки вскочил, бросился ко мне и начал разжимать мне руки.

— Остолоп! Что ты с собой делаешь?! О, черный день! Зачем ты только пришел ко мне тогда?! При чем тут я? Говорил же тебе — не делай глупости, не принимай моих порошков! Горе мне!

— А что мне делать? — спросил я, разжав руки.

— Оставайся у меня до тех пор, пока действие порошка не прекратится. Вместе дождемся дня, когда скверные качества вновь восторжествуют в твоей душе.

Пожалуй, другого выхода нет. Но восемь дней торчать в лавке среди мешков с бесполезным товаром — очуметь можно! Чем себя занять эти дни? Ведь у лавочника ничего нет: ни нардов или домино, ни карт, ни даже женщины. Но куда деваться? Не идти же вновь сеять добро направо и налево, получая в ответ черную неблагодарность и поношения!

— Боюсь, что тебе будет со мной нелегко,— говорю я лавочнику виноватым голосом.

— Да уж не сладко. Но постараюсь как-нибудь стерпеть, только болтай поменьше.

— А как насчет еды? У тебя хватит?

— Не беспокойся. Еще что-нибудь?

Прежде чем я успел ответить на вопрос, из мешка выпрыгнула мышь. Я вскочил как ужаленный. Ничего на свете я так не боюсь, как мышей! Снимаю ботинок, чтобы ее прихлопнуть. Но лавочник хватает меня за руку, вырывает ботинок и бросает его в угол. Потом подходит к мыши, сажает к себе на ладонь и ласково гладит, чтобы ее успокоить.

Я подивился такой странной дружбе.

— Что это?

— Мышка.

— Я вижу, что мышка. Да только зачем?

— Не умней тебя оказалась.

— Я что-то не понимаю.

— А что тут понимать? Мышь эта как-то прокралась в мою лавку и забралась в мешок. Наелась порошка и через несколько минут стала несчастной, прямо как человек. Доброй стала, жалостливой, честной. Смело и почтительно подбежала ко мне, словно извиняясь за причиненные убытки, и выскочила за дверь. А через несколько дней вернулась ко мне, вот как ты — тощая, облезлая. Воровать-то она разучилась. Жизнь вынуждает нас быть злыми. Одно из двух: или жить плохим человеком, или умереть хорошим!

Пообедали мы сухим хлебом и холодной водой — все трое, кого высокие душевные качества лишили возможности жить нормально. Не очень-то многообещающее начало. Можно ли протянуть на сухом хлебе и воде целых восемь дней? Вряд ли.

Сидим, мирно беседуем. Хозяин подробно рассказывает о содержимом каждого мешка и только про один — небольшой, туго завязанный — ничего не говорит. Спрашиваю:

— А в этом что?

— Это порошок всех лучших душевных качеств с самой большой

силой воздействия,— помолчав, ответил старик.— Самой малой его дозы достаточно, чтобы сделать человека до конца его дней самым благородным существом на свете. А если содержимое мешка высыпать в реку, то все пьющие из нее станут добрыми, честными, справедливыми и смелыми. Тогда бы на земле наступил рай, а все люди были один другого благородней.

Как бы не так! А со мной что было, когда я принял порошки смелости и щедрости? А впрочем, думаю, что, если все-таки высыпать содержимое этого мешка в реку? Что станет с людьми? Только лавочник, конечно, никогда на это не решится. Уж очень велика ответственность. И я решил подождать случая, стащить мешок, высыпать весь порошок в реку, чтобы люди забыли про зло, а земля лицемерия стала землей честности и справедливости.

Глава 12

На похоронах

Итак, я задумал утащить мешок с экстрактом всех наилучших душевных качеств. Ускользну из лавки, высыплю порошок в реку и изменю лицо планеты, переделаю все человечество: трусы станут смелыми, корыстолюбцы — щедрыми, лицемеры — искренними. И я уже не буду единственным порядочным человеком среди мошенников, разумным среди сумасшедших.

Стемнело. Хозяин зажигает лампу, находит пустой мешок и расстилает его в углу, приговаривая:

— Себе я найду другой, устроюсь на нем спать в любом месте.

Мне совсем не хотелось спать, но я не стал спорить: пусть поскорей заснет, чтобы я мог унести мешок.

Укладываюсь рядом со стариком и притворяюсь спящим. Но тот, зевая, спрашивает:

— Как ты думаешь, что случится с людьми, если высыпать содержимое этого мешка в реку? Что случится с планетой, если сорвать с нее личину лицемерия?

Прямо-таки читает мои мысли! А может, проверяет?

— Кто знает! — отвечаю.

— Я часто думаю: а не попробовать ли?

— И что же тебя останавливает? — спрашиваю его, пытаясь угадать, к чему он клонит. Неспроста старик задает подобный вопрос! Наверное, догадывается о моих намерениях.

— Что меня останавливает? Сострадание к людям. Что с ними будет, если с них спадет личина лицемерия? Как бы не перемерли от ужаса, увидев, каковы они были раньше. Что может быть лучше и удобнее лицемерия? Оно облегчает тяготы жизни, скрашивает ее грязные стороны. Лицемерие, друг мой, дано людям для того, чтобы зло делать добром, застилать глаза розовой пеленой, не видеть своих ошибок и дурных поступков. Если открыть глаза людям, что с ними станет? Как ты думаешь?

— Мне кажется, ты не совсем прав. Ты как страус, который прячет голову под крыло, чтобы не видеть того, что ему неприятно. Ты говоришь, что лицемерие облегчает тяготы жизни. Но разве от этого они исчезают, разве лицемерие уничтожает зло?

— А какая разница — не замечать зла или его уничтожать?

— Разница огромная!

— Не думаю. Ведь жизнь человеческая состоит из иллюзий, имя которым — счастье, радость, печаль и прочее. Человек хочет не

уничтожать зло, а не видеть его. Он предпочитает быть сто раз обманутым, чем узнать, что его хоть раз обманули. Вот почему мне кажется, что не будет большой разницы, если тяготы и грязь жизни исчезнут или же если человек просто не будет их замечать.

— Ну, нет. С тяготами и мерзостями жизни нужно бороться. Человеку полезнее ясно представлять себе все темные стороны жизни. Это поможет ему преодолеть их, успешнее исправлять то, что плохо. Ты боишься, что человек, узнав правду о жизни, в ужасе покончит с собой. Смею тебя уверить — ничего подобного не случится. Да, люди ужаснутся гнусной правде, но не умрут от этого. Ибо чувства человека имеют свои пределы. Иначе человечество уже давно вымерло бы от безмерной тоски и печали. Расскажу тебе такой случай: одна женщина вместе с детьми и мужем как-то возвращалась ночью в Каир на телеге. Во мраке телега свалилась в оросительный канал. Дети и муж утонули, а женщина спаслась. На глазах этой женщины погибли самые близкие и дорогие ей существа. Когда мне рассказали об этом, я подумал: несчастная женщина! Как и для чего ей теперь жить? Я был уверен, что она или сошла с ума, или умерла с горя. И что ты думаешь? Проходит несколько дней, и я узнаю, что эта несчастная выходит замуж! Как видишь, она не сошла с ума от горя и не умерла, а готовилась к новой свадьбе! Я ее не порицаю, а рассказал тебе все это только в доказательство того, что печаль и горе человека имеют предел. Кто теряет троих детей сразу, горюет не больше того, кто теряет одного ребенка. И не думаю, чтобы тот, кто зарабатывает тысячу фунтов, радовался в десять раз больше того, кто получает сто. И если перед человеком откроются все несправедливости жизни, он не умрет от ужаса перед их множеством, а начнет бороться с ними и станет чище и добрее, чем сейчас.

Я внимательно посмотрел на старика, стараясь понять, какое впечатление произвели на него мои доводы. Но тот молчал. Мне показалось, что он спит. Но вдруг вижу — лавочник вскакивает со своего ложа и идет в угол, хватает мешок с экстрактом душевных качеств и возвращается на место.

Вот те на! Значит, я убедил его, что избавление планеты от лицемерия не сулит ничего страшного. Пользу же такое деяние принесет неизмеримую.

Хозяин лавки закрыл глаза, и я услышал, как он бормочет:

— В словах твоих, сын мой, много правды. Но все же я считаю, что тебя обуревают опасные мысли. Боюсь, глупость толкнет тебя на то, чтобы осуществить это безумное предприятие. Последствия же этого могут быть ужасны. Только богу известно, чем все это может кончиться, какая судьба ожидает людей, да и нас с тобой! Если тебя поймают, то не избежать нам жестокой кары — тебе как исполнителю, а мне как соучастнику преступления.

— Какой кары ты боишься? В чем нас могут обвинить?

— В том, что мы храним запрещенный товар и торгуем наркотиками. Ведь высокие душевные качества в наше время все равно что наркотики. А то и в преднамеренном убийстве — ведь мои порошки могут приравнять к возбудителям ужасных болезней.

— Но мы объясним судьям, что нами двигали самые благородные и честные побуждения.

— Вот дурак! Да судьи-то и будут больше всех злы на нас! Кто на свете более лицемерен, чем судьи? Они же первые лгуны, обманщики и лихоимцы. И уж сведут с нами счеты, будь покоен. А потому будем благоразумны.

Спорить было бесполезно. И я сделал вид, будто согласен с ним. Но только чтобы усыпить его бдительность, ибо вовсе не отказался

от своего намерения. Мы пожелали друг другу спокойной ночи, и вскоре я услышал густой храп старика. Все в порядке, пора действовать! Но тут меня охватили сомнения. С одной стороны, никому еще не выпадало такой замечательной возможности — стать благодетелем всего рода человеческого и изменить ход истории. С другой стороны, вдруг будет хуже? Да и кража мешка с экстрактом не такой уж благородный поступок. И как вытащить мешок из-под головы лавочника? Но тут, в самый разгар сомнений и раздумий, меня сморил сон. Когда я открыл глаза, уже рассвело. Слышу тихое бормотание. Оглядываюсь и вижу — лавочник творит утреннюю молитву. Мешок лежит совсем рядом со мной. Тихонько придвигаю его к себе. Какая удача! Теперь можно быстро выскочить из лавки, добежать до реки и высыпать содержимое мешка в воду! Как будто во сне, ворочаюсь с бока на бок, подкатываюсь к двери, улучаю удобный момент и, прижимая мешок к груди, мчусь словно ветер.

И опять я в женской ночной рубашке, к тому же и босой. Бегу огородами. Слышу сзади топот. Оглядываюсь. За мной бежит лавочник. Он тяжело дышит, но не отстает. Прибавляю шагу и намного его опережаю.

Вот, наконец, и Нил! Подбегаю к воде, спешу развязать мешок, но узел затянут туго. Оглядываюсь, ищу, чем бы разрезать веревку, но тут сзади наскакивает лавочник и хватает меня за руки. Мы начали бороться. Старик оказался крепким.

Борьба затягивалась. Лавочник упрашивал меня одуматься, не делать глупости. Я вырывался, и вдруг мешок выскользнул из моих рук и упал в воду. Старик этого сперва не заметил, а когда сообразил, что произошло, то кинулся в воду за мешком, который уносило течением. Поймать-то его он поймал, но мешок оказался пустым: весь порошок высыпался через дырку. Мокрый, расстроенный, держа в руках пустой мешок, лавочник вышел из воды и, горестно качая головой, заговорил:

— О глупец! Что ты натворил? И поправить дело нельзя. Я не виноват, ибо сделал все возможное, чтобы остановить тебя. Виноват во всем ты один. Я так и скажу судьям!

Старик побледнел, его лицо исказил ужас. Мне стало жаль несчастного, и я попробовал его успокоить.

— Не бойся! Всю ответственность я возьму на себя. Тебе нечего опасаться. Давай вернемся к тебе, и будь что будет!

Я взял старика под руку, и мы пошли назад. Солнце еще не встало, но было уже совсем светло.

Старик, пригорюнившись, сидел в углу. Я попытался отвлечь его от тягостных размышлений, а потому сказал:

— Ты оставайся в лавке, а я пойду посмотрю, что сделала новая вода с людьми. Вернусь и расскажу тебе подробно обо всем.

— А что мне делать в лавке? — грустно произнес старик.— Пойду и я с тобой, полюбуюсь на новый мир, на обновленных людей, на землю, избавившуюся от лицемерия.

— Как же ты закроешь лавку? Ведь твои товары вот-вот войдут в моду, и у тебя отбоя не будет от покупателей! Люди наверняка теперь захотят быть еще лучше и еще смелее, добрее, искреннее. Теперь тебе только и торговать, а ты хочешь уйти!

— Ну, так быстро это не произойдет. Надо подождать, пока порошок не начнет действовать, пока не исчерпаются трагедии и катастрофы, которыми чреваты высокие душевные качества. Не думай, что они будут прививаться легко и просто. Это очень болезненный процесс. Смелость будет восприниматься как опрометчивость, щедрость — казаться расточительством, откровенность и искрен-

ность — глупостью и безрассудством. Люди будут думать, что отравлены ядом безумия. Может произойти одно из двух — либо подлость и порочность в людских душах одержат верх над новыми, добрыми качествами и люди станут еще злее и несчастнее, чем сейчас, либо, наоборот, люди привыкнут быть смелыми, добрыми, честными и откровенными и почувствуют, что это их естественное состояние. Поэтому лучше мне пока закрыть лавку и пойти вместе с тобой. Если добро победит зло, я вернусь в лавку и широко распахну двери. Если же верх одержит зло, то даже богу неведомо, что с нами станет!

Мы прибрали в лавке, закрыли ее на замок и хотели уже уйти, но тут старик хлопнул себя по лбу и воскликнул:

— Вот болван! Чуть не забыл взять с собой Шулаха!

Он отомкнул лавку, и к нему тотчас подбежала мышка. Он взял ее, нежно погладил и положил в карман, приговаривая:

— Ничего, не бойся, Шулах. Твой глупый приятель высыпал в реку мешок душевных качеств. Пройдет немного времени, и все люди будут такими же, как ты. Тогда тебе некого будет бояться.

Я все еще был в злополучной рубашке и, не желая на этот раз привлекать к себе излишнее внимание, решил тихонько пробраться домой и переодеться. Сказано — сделано.

Домашние еще спали. Я бесшумно поднялся по черной лестнице и увидел, что дверь на кухню открыта. Наверное, девочка-служанка спозаранку спустилась в сад, чтобы украдкой полакомиться ягодами.

Прохожу в свою комнату, быстро переодеваюсь, вынимаю из шкафа остатки отпускных денег, возвращаюсь к старику, беру его под руку, и мы продолжаем свой путь. Под ложечкой сосет от голода, и я сворачиваю к ближайшей харчевне.

Садимся за мраморный столик на железных ножках. Приказываю подать тушеных бобов и салату. Мальчишка-официант быстро приносит заказ. Говорю старику:

— Кушай на здоровье.

А он съел только лепешку и запил стаканом воды, не забыв бросить мышке несколько крошек. Как я его ни уговаривал, расхваливая бобы и салат, он наотрез отказался. Вот упрямец!

— Не хочу себя баловать. Мне довольно хлеба и воды. Излишества же вредны для тела и души. И мой совет тебе, приятель: не привыкай к излишествам. Ограничивай себя в удовольствиях. Если ноги устают от долгой ходьбы, то не соблазняйся ни трамваем, ни автомобилем. Такой отдых заставит ноги забыть об их прямом назначении. Человек должен всегда довольствоваться тем, что посылает ему судьба, как бы мало это ни было. Тогда он не завидует ближнему, которого судьба одарила более щедро. Главная беда всех людей в том, что они привыкли сравнивать то, что есть у них, с тем, чем пользуются другие. Как оценить сухой хлеб с водой, если постоянно ешь бобы и салаты?

Мне показалось, что слова старого лавочника содержат много житейской мудрости. Я вспомнил, как люди страдают от того, что смотрят наверх и от этого чувствуют себя ниже.

Позавтракав, мы пошли дальше. Навстречу бежит газетчик. Покупаю «Аль-Ахрам» и просматриваю на ходу. Внимательно прочитываю извещения о смерти. Вдруг вижу знакомое имя: Ибрагим Абдель Мутааль. Да это ж мой бывший начальник! Не верю своим глазам и перечитываю извещение еще раз. Нет, не опечатка. С сожалением вспоминаю, как в последний раз назвал его трусом и ослом. Все-таки не такой уж плохой человек был, хотя и не ангел. Правда, пил много, но здоровье у него было отличное, да и возраст не такой преклонный — жить бы да жить. Так на ж тебе, скончался. Я так огорчился,

что вытащил платок и вытер набежавшие слезы. Старик спросил с удивлением:

— Что с тобой?

Я объясняю и говорю, что хотел бы выразить соболезнование семье усопшего и проводить его в последний путь. Похороны назначены на десять часов.

— А мне с тобой можно пойти? — спрашивает приятель.

— Конечно! Куда-куда, а уж на похороны у нас в стране никому приходить не заказано.

Была пятница. Время приближалось к девяти. В нашем распоряжении было больше часа, чтобы добраться до дома покойного, который жил в квартале аль-Мунира. Садимся в трамвай и начинаем внимательно рассматривать окружающих, прислушиваться к их разговорам. Мы были похожи на врача, сделавшего обезболивающий укол и ожидающего, когда он подействует.

Однако ничего необычного мы не увидели. Люди вокруг оставались такими, какими мы привыкли видеть их каждый день. Кондуктор оставался кондуктором, грубым и наглым с бедными и слабыми, трусливым и подобострастным — с контролером и богатыми пассажирами. Все те же низость и лицемерие. Ничуть не изменился в лучшую сторону и вагоновожатый. Как всегда, он так резко тормозил, что пассажиры валились друг на друга, трогал трамвай, не дожидаясь, пока сядут все, ругался последними словами по самому пустячному поводу. Мальчишки, как всегда, висли на подножках, лоточники и воры занимались своим ремеслом. Словом, все было привычно. Обращаюсь к своему спутнику:

— Что-то пока действия воды не заметно!

— Терпение! Нужно время для того, чтобы новая вода дошла до водопровода, колодцев, фонтанов, а уж потом и до людских глоток и желудков. Те, которых мы видим, очевидно, сегодня не выпили еще ни глотка воды.

Мы доехали до Атабы, вышли и пересели в другой трамвай, идущий до улицы Каср аль-Айни. Наконец доезжаем до остановки «Аль-Мунира» и идем пешком к дому покойного. Найти его не составляло никакого труда. Дорогу нам указывали плач и причитания женщин. Вскоре мы увидели и траурный шатер перед домом.

Мы пришли слишком рано. Шатер был еще пуст, его сооружение не завершилось. Прислуга — в майках и трусах, еще не облачилась в расшитые золотом и серебром парадные кафтаны.

У ворот дома толпились родственники. Они тихо переговаривались. Среди них я увидел мужчину в расшитом кафтане и в чалме — уж конечно хозяин лавки похоронных принадлежностей. Опечален он был куда больше, чем родственники усопшего.

Мы со стариком вошли в шатер и с печальным видом сели в уголке, негромко читая молитвы и переговариваясь. Из дома доносились рыдания и причитания.

— Что за человек был покойник? — спрашивает старик.

— Один из самых хороших, добрых, мудрых и смелых людей на свете.

Почему-то я начал щедро награждать покойного самыми благородными качествами. Шатер постепенно наполнялся. Среди входивших было немало моих сослуживцев. Они шли медленно, понурив головы. Можно было подумать, что покойный был для них отцом и что они никогда в сердцах не думали: «А, чтоб ты сдох!»

На лицах всех людей в шатре застыло выражение глубокой печали. Они тихо обменивались подобающими словами сожаления: «Да будет ему земля пухом». «Не щадил себя, работая сверх всякой ме-

ры». «Всегда был человеком долга». «Никто от него худого слова не слышал». И все прочее в том же духе. Прямо святой какой-то!

Шел уже десятый час. Солнце палило нещадно. По лицам струился пот. Но вот вошел слуга с подносом. На подносе стояли стаканы, полные воды со льдом. Руки потянулись к воде, все спешили утолить жажду. Мы с приятелем тоже выпили по стакану. Во рту у меня все горело — бобы и салат были переперчены. Тут я замечаю, что лавочник тихонько наступает мне на ногу. Оглядываюсь на него.

— Ну как вода?

— Очень холодная.

— Вкус у нее какой?

— Не понимаю.

— Экий ты недогадливый! Разве ты не чувствуешь, что она насыщена порошком, который ты высыпал в Нил?

— Ты уверен?

— Ну, уж я-то его вкус знаю!

Я так и похолодел. Начинаю внимательно вглядываться в лица, следить за всеми движениями окружающих. Как они поведут себя, лишившись маски лицемерия? Да еще где! На похоронах, где так необходимы притворство, лицемерные печаль и горе!

Но они как будто совсем не менялись. И я про себя решил, что лавочник ошибся — никакого порошка в воде не было. А может быть, его действие слишком слабо, чтобы возобладать над лицемерием тех, кто собрался в траурном шатре?

Вдруг кругом все задвигались, засуетились, со всех сторон послышались почтительные приветствия. Я посмотрел и вижу — сам министр усаживается в кресло, напоминающее королевский трон!

На толстом и важном лице министра была написана подобающая случаю печаль. Он переложил трость из правой руки в левую, поправил золотую цепочку часов, покоившихся в жилетном кармане, и уселся в своем кресле поплотнее. Присутствующие не спускали с него глаз. Громким шепотом они сообщали, кто он такой, и смотрели на него, как на чудо. Можно было подумать, что у министра, по крайней мере, две головы, или три ноги, или четыре глаза.

Конечно, сам министр прекрасно заметил, какое впечатление произвел его приход, и еще больше надулся важностью. Я вопросительно поглядел на старика.

— И ты продолжаешь утверждать, что почувствовал в воде вкус порошка?!

— Разумеется.

— Даже после всего того, что ты сейчас видел?

— Терпение, брат мой, терпение! Порошок начинает действовать не сразу. К тому же министр еще не пил воды.

Но вот министру подали стакан, и он выпил его до дна. Проходит несколько минут. Я беспокойно поглядываю по сторонам. Истошные вопли огласили округу, возвещая о том, что гроб с телом покойного вынесли из дома. Родственники умершего бросаются к министру и выводят его из шатра во главе процессии.

Толпясь и толкаясь, остальные повалили за ними вон из шатра. Носильщики выносили из дома гроб. На балконе толпа воющих и причитающих женщин. Одна из них особенно усердствует. Несомненно, это жена покойного, которую он величал «подлой бабой», отравившей всю его жизнь. Сколько часов выслушивал я его жалобы на ее сварливость, низость, подлость и бессердечие! Но, глядя на эту несчастную женщину, столь явно убитую горем, я подумал, что покойник, по-видимому, плохо знал ее. Она так надрывно голосила, так вырывалась из рук державших ее плакальщиц, что казалось — вот-

вот она прыгнет с балкона на гроб мужа. Бедняжка не переставая повторяла:

— О господин мой! На кого ж ты меня покинул! Ведь не настала еще твоя пора, господин мой!

Внезапно ее рыдания оборвались. Она отвела глаза от усопшего супруга и внимательно посмотрела на двор, где стоял мясник с окровавленным ножом в руке. Перед ним лежала туша барана, зарезанного перед гробом. И вдруг вдова сердито закричала мяснику:

— Эй, ты! Поосторожней! Не испорть шкуру. Я хочу постелить ее в коридоре. Понял, что тебе говорят?

Переведя дух, она продолжала:

— И смотри у меня. Когда будешь разделывать тушу, не вздумай забрать себе кусок! А то я знаю вашего брата — глаза завидущие, руки загребущие! Чтобы вся требуха была в целости! Принимать буду по счету. И кишки оставь, буду делать колбасу. Покойник прежде сам ее всю съедал, а теперь мы возьмем свое!

Отдав распоряжения мяснику, вдова снова повернулась к гробу. Все стояли, словно окаменев, так их поразило ее поведение. Она же гневно завопила:

— Почему стоите? Чего ждете? А ну волоките его туда, откуда он больше не вернется! Сколько я от него натерпелась! Ну да бог на моей стороне! Совсем сгнил, чем только душа в теле держалась. Шлялся по казино, заигрывал с соседками и их дочерьми. Сколько раз я заставала его с женщинами — и со шлюхами, и с порядочными. Сколько раз внушала ему: «Постыдись, Ибрагим, побойся бога и людей!» Со дня свадьбы не знала я ни минуты счастья. Будь ты проклята, сватья Умм Махмуд! Если бы не ты, то была бы я давно женой Шехи, торговца парфюмерией! Вот уж мужчина так мужчина! Ну так чего вы ждете? Берите его, тащите на кладбище, да заройте поглубже! Сколько раз он позорил меня перед людьми! Ты — старуха, кричит, а я ему в дочки годилась! Подлый был человек, пустой! Я-то хорошо знаю, каким был этот бек на службе! А его еще назначили начальником департамента! Да он выеденного яйца не стоил! Думал только о женщинах да о вине...

Вдова вдруг смолкла, совсем задохнувшись. Но тут закричала женщина, стоявшая с ней рядом:

— Она чистую правду говорит! Развратник был, каких мало. Помню, тащился за мной по пятам, когда я ходила по магазинам, выбирала батист на платье. Купила я, что мне требовалось, выхожу на улицу, а он там поджидает...

— Это тот самый батист, который ты отдала портнихе Луис? — вдруг перебивает ее соседка.

— Тот самый.

— И сколько берет мадам Луис за платье?

— Пять фунтов.

— Дороговато!

— Правда твоя,— вмешивается третья.— А ко мне швея на дом приходит, и за день платье уже готово. И берет всего фунт восемьдесят пиастров, причем шьет не хуже, чем мадам Луис.

— Кто же это такая? — спрашивает еще одна.

— Умм Абду.

— Не могла бы ты прислать ее ко мне в пятницу?

— Пришлю, конечно.

Тут вторая спрашивает у вдовы:

— А ты не оставишь мне пару кружков колбасы, которую собираешься сделать?!

И пошли на балконе разговоры о колбасе и печенке, о материях и портнихах, о чем угодно, только не о покойнике.

Потом одна из них вдруг замечает министра, ошеломленного происходящим, тычет в него пальцем и спрашивает:

— А это что еще за индюк?!

Послышались смешки. Все как будто забыли, что находятся на похоронах.

Вдруг кто-то раздраженно закричал:

— Какого черта вы стоите? Нам что — больше делать нечего? Сегодня у нас еще пять похорон! И ведь надула подлая баба: обещала заплатить как положено, а теперь больше двух фунтов не дает. Ну, да ничего, мы свое возьмем, когда ее хоронить будем. Ей долго не протянуть. Ну, хватит время терять, бездельники. Берите гроб и пошли.

Это говорил хозяин лавки похоронных принадлежностей. Носильщики взялись было за гроб, громко выражая свое недовольство. А их хозяин вдруг хлопнул в ладоши и сказал с самым искренним чувством:

— А ну, братцы, молитву за упокой тех, кто нас кормит!

Он воздел руки к небу и пробормотал молитву, а потом объявил:

— На сегодня еще пятеро! Эх, была б среди них моя теща! Взял бы бубен и, танцуя, пошел за гробом! — И правда, пустился в пляс и запел: — Еще пятеро мертвяков! А лучше б десятеро! Дай бог, чтобы им не было числа! Пусть мрут как мухи!

Я посмотрел на министра. Он обливался потом, гневно оглядывал окружающих и говорил:

— Это что же такое? С какой стати нам надо терпеть жару и неудобства ради похорон этого ублюдка и осла? Зачем было устраивать эту комедию? Оттащили бы его на кладбище, и делу конец!

Министр недоуменно оглядывался, но никто не обращал на него внимания, никто не спрашивал, что ему угодно. И министр был вынужден сам крикнуть, чтобы ему подали машину. Один из чиновников недовольно посмотрел на него и заявил:

— Чего ты кричишь? Твоя машина стоит около дома. Ты что, дойти до нее не можешь?

Делать нечего, министр пошел к машине, но шофер не выскочил, не распахнул перед ним дверцу, а продолжал сидеть, удобно развалившись.

Министр уехал, а гроб все стоял на тротуаре. Никто не хотел его нести. Те провожающие, кто еще не разошелся, громко переговаривались, обмениваясь мнениями о покойном. «Только и ума, что врать и ругаться». «Редкостный дурак был». «А уж важничал!» «В мешок бы его, да в воду».

Но вскоре и они удалились, и остались мы втроем — я, мой приятель-лавочник и мышка. Балкон тоже опустел. Только гроб стоял на тротуаре. Какая судьба ждет бедного покойника? Неужели ему суждено валяться в придорожной канаве?

На балкон вышла вдова, проверить, что делает мясник, и очень удивилась, увидев гроб на тротуаре. Схватившись за грудь, она закричала:

— Это что же такое? Его так и не схоронили? — И обещала слугам по полфунта, если они оттащат гроб на кладбище.

Слуги ухватили гроб за ручки и припустили рысью. Провожала покойного только мышка Шулах, которая выскочила из кармана лавочника. Но тут раздался страшный шум, и она от испуга юркнула назад в карман. Но что это было такое? А-а! Вдова метнула в гроб кувшином!

Лавочник грустно проговорил:

— Да благословит бог лицемерие! Только оно сдерживало их подлость и злобу!

— Терпение, мой друг, терпение! Этого следовало ожидать. Пусть люди посмотрят, каковы они без прикрас. Тогда им будет легче избавиться от всего дурного!

Глава 13

Молитва в пятницу

Было уже одиннадцать часов утра.

— Где мы сотворим молитву? — спрашивает меня лавочник.— Ведь сегодня пятница.

— Разве?

— Конечно! А ты что, не молишься по пятницам?

— Когда-то молился. Но сегодня не хочу!

— Почему?

— Лень! А впрочем, пожалуй, помолюсь с тобой! Пусть это будет началом новой жизни.

— Но где же мы помолимся?

Я хотел было сказать: да где угодно! Но тут мне в голову пришла мысль, что было бы неплохо помолиться в какой-нибудь большой мечети, где собирается великое множество народу. И мы направились на улицу ас-Садд, где есть такая мечеть. Снимаем обувь, входим внутрь, садимся на корточки перед краном и совершаем обряд омовения.

Мечеть битком набита. Все благоговейно шепчут молитвы, слушают чтение Корана, закрыв глаза, покачивая головами в такт чтению.

Молитва окончилась. Затем на возвышение поднялся почтенный старец самого почтенного и благочестивого вида. Я напряг слух, чтобы не упустить ни слова проповедника. Но двигала мною вовсе не жажда мудрых наставлений. Нет, мне просто не терпелось узнать, что скажет этот старец теперь, когда он избавлен от лицемерия.

— Дорогие мусульмане! — начал проповедник.— Наступает месяц рамадан. Приготовились ли вы к нему? Очистили ли вы плоть от похоти, а сердца от злобы? Строго блюдите пост, ибо воздержание от пищи от восхода солнца до заката не только полезно для вашего тела, но и дает отдохновение ушам и глазам, возвышает душу. Дорогие мусульмане! Соблюдая пост, вы очищаетесь от скверны...

Вдруг старик умолк, тупо посмотрел на бумажку, по которой читал проповедь, скомкал ее и бросил с кафедры в толпу молящихся и глубоко вздохнул. Я замер. Вот оно! И раздался голос, полный искренности и веры:

— Рабы божьи!

В мечети воцарилась гробовая тишина. Молящиеся напряженно ждали, что еще хочет сказать им проповедник. А он, помолчав немного, снова крикнул:

— Рабы божьи! Знаете ли вы анекдот о мулле, который сказал проповедь против употребления гашиша?

— Нет,— сказали одни.

— Да! — крикнули другие.

— Не беда! — сказал старец.— Я расскажу этот анекдот тем, кто его не слыхал, ибо мы сейчас находимся примерно в таком же положении. Итак... Рассказывают, что жители одной деревни пристрасти-

лись к употреблению гашиша. Как-то в пятницу они пошли в мечеть сотворить молитву. И мулла начал убеждать их, что пристрастие к гашишу таит в себе неисчислимые беды и противно аллаху, карающему за него и на этом и на том свете. Но они сделали вид, что не понимают, о чем он им толкует. Какой такой гашиш, спрашивали они. Тогда мулла, потеряв терпение, покопался в складках своей чалмы и вытащил большой шарик гашиша. «Вот же он, гашиш, не знаете, что ли!» — воскликнул он укоризненно.

Правоверные громко рассмеялись. Старец ждал, пока они успокоятся, но тут раздался гневный крик одного из верующих:

— Какое кощунство! Рассказывать анекдоты и смеяться в храме божьем! Позор вам!

— Позор? — переспросил проповедник.— Дурак! Разве аллах запретил смеяться в его храме?

— Храм божий существует для того, чтобы смиренно творить молитвы и тем самым становиться ближе к богу!

— Что же, по-твоему, нас к богу приближают молитвы и поклоны? Так знай же: именно бог ниспосылает нам смех! Истинная вера заключена в груди нашей! И что грешного, если из груди нашей вырывается незлобивый, благодарный смех?!

— Это богохульство и ересь!

Проповедник даже не посмотрел в его сторону и продолжал, обращаясь к тем, кто слушал его с удовольствием:

— Рабы божьи! Я рассмешил вас рассказом об этом проповеднике. И в этом нет ничего удивительного. Удивляюсь другому: почему вы смеетесь лишь над ним одним? Почему вас не смешат те проповедники, которых вы слышали? Ведь все они сделаны по одному образцу! Тот, о ком я вам поведал, порицая гашиш, сам втихомолку его покуривал. А сами вы? Десятки лет я взываю к вам, убеждая вас очиститься от скверны, а вы слушаете меня, почтительно склонив головы и закрыв глаза, всем видом выражая согласие с моими словами и раскаяние. Но разве вы хоть раз пытались очиститься от скверны? Видит бог — нет! Ведь тогда бы вам не нужно было меня слушать и сам я не проповедовал бы вам прописных истин из года в год. Да и я глупец! Зачем я трачу время и убеждаю вас в гнусности распутства, когда твердо знаю, что все, кто приходит в мечеть молиться и слушать проповеди,— все до единого распутники!

Рабы божьи! Кто из вас не знает, что аллах отвращает свой лик от скверны, гнусности и распутства, от лжи и обмана и карает тех, кто ест сиротский хлеб?! Кто из вас не знает, что аллах велит всем быть справедливыми, добрыми и честными?

Рабы божьи! Гнусные лицемеры! Кто из вас не знает всего этого?! Однако никто из вас не избавился от перечисленных пороков.

Десятки лет вы остаетесь глухи к моим благим наставлениям! Десятки лет вы забываете о них, когда выходите из мечети, убежденные, что выполнили свой долг. Точно так же и я, закончив проповедь, считал, будто выполнил свой долг перед богом и людьми!

Рабы божьи! Все мы заблудшие овцы, ибо сбились с пути истинного! Какая польза от молитв и поклонов, если, выйдя из храма, мы вновь нарушаем установленья божьи и в мыслях своих, и в поступках? Если мы не перестаем обезображивать землю дурными деяниями? Что пользы от средства, если оно не приводит нас к цели?!

Создатель повелел нам молиться, стучать лбами в землю лишь для того, чтобы мы исправили то, что плохо в нас, избавились от злобы, очистили мир от гнилости и тлена, украсили нашу жизнь, любили друг друга, помогали в беде, были честными и правдивыми, не лицемерили! Вот истинная наша цель! Разве мы ее достигли? Нет, кля-

нусь аллахом, нет! Все, что мы делаем,— ханжество и игра. Мы смеемся над собой и обманываем друг друга. Ведь проповедь, которую я вам прочитал, та же самая, которую я читал уже много раз. Не осуждайте меня за это, ибо я такой же, как вы, лицемер среди лицемеров. То есть был таким. Но вот вдруг я почувствовал, что лицемерие оставило меня.

Рабы божьи! Клянусь аллахом, никогда больше я не буду читать проповеди, затаив в сердце злобу против вас! Никогда больше не буду убеждать вас избавиться от зла в сердце, пока сам от него не избавлюсь! Рабы божьи! Клянитесь и вы, что...

Проповедник не успел закончить. У дверей мечети послышался шум. Вошли полицейские и принялись быстро снимать ботинки. Среди них человек, обвинявший проповедника в безбожии и ереси. Показывая пальцем на святого старца, он кричал полицейскому офицеру:

— Слыхал?! Он клянется, что не начнет проповеди до тех пор, пока в душе его сохранится хоть капля злобы! Он с ума сошел! Богохульствует перед тысячами правоверных! Его следует отправить в дом для умалишенных.

Полицейские проталкивались сквозь ряды молящихся к проповеднику, а он кричал им:

— Нечестивцы! Вы осмеливаетесь хватать правоверных в храме божьем?! Вы верите этому ослу, обвиняющему меня в умопомешательстве? Сгиньте, проклятые еретики!

Однако проклятые еретики не сгинули, а только разозлились и уверовали, что старец сошел с ума.

Полицейские схватили проповедника и потащили его к выходу. Он отбивался изо всех сил, отчего они все больше свирепели. Неожиданно проповедник залепил одному из них пощечину. Блюститель закона ответил вдвойне. На старца обрушился град ударов. Тут на полицейских набросились верующие и стали отнимать у них бедного проповедника. Завязалась драка, и никто уже не отличил бы правого от виноватого. Со всех сторон слышались ругань и проклятья.

Я взглянул на лавочника, сидевшего в глубоком молчании. Покосившись на меня, он спросил:

— Ну как, ты доволен?

— Чем?

— А этим побоищем в храме божьем!

— Я-то тут при чем? Виноват этот безмозглый осел, который привел полицию. Да и сами полицейские хороши! Разве нельзя было позволить проповеднику говорить то, что ему хочется? К тому же он говорил правду. И если бы не полиция, то присутствующие, конечно, вняли бы его словам. Видно было, что они ему верят. Разумеется, о такой безобразной драке в мечети можно только пожалеть. Но известно, что всякий переворот неизбежно влечет за собой потери и жертвы. Однако такие потери и жертвы — весьма малая цена за те блага, которые теперь обретут люди. Ведь они будут доверять друг другу, заботиться о ближних, и скверна спадет с их души, точно грязь с омытого лица. Согласись, ради этого можно простить даже драку в мечети!

— Кто знает! — промолвил лавочник.

Драка теперь продолжалась на улице. Затем толпа двинулась к участку.

Мы с приятелем направились к площади ас-Сейида и пошли по улице Хейрат. Меня грызли сомнения, но я постарался убедить себя в том, что добрая цель оправдывает средства ее достижения. Ибо «без помощи иглы не вытащишь пчелиного жала»!

Глава 14

На предвыборном собрании

С улицы Хейрат мы направились к площади Абидин. На улице Кавля наше внимание привлек большой шатер с громкоговорителем над входом.

— Похороны или свадьба? — спрашивает лавочник.

Что-то непохоже. Не видно ни пестрых флагов, ни цветных стеклянных шаров, без которых не обходится никакая свадьба. С другой стороны, не слышно ни плача, ни причитаний, а без них — какие же похороны.

— Но, может, и похороны,— говорю я.— Если они выпили нашей воды, так плакать не станут.

— Может, и так.

Тут какой-то человек взобрался на лестницу и вывесил над входом в шатер большое полотнище. Надпись на нем сразу мне все объяснила. Шатер был построен не по случаю похорон. В нем должно было состояться предвыборное собрание. Надпись на полотнище гласила: «Голосуйте за вашего неподкупного, независимого кандидата! Голосуйте за сына вашей округи! Голосуйте за Абдель Вахеда Амина!»

И тотчас загремел громкоговоритель:

— Раз, два, три, четыре... Внимание, внимание!.. Хорошо слышно?

— Куда лучше! — невольно отозвался я.— Мертвый и то бы услышал!

— Внимание, внимание! — продолжал голос.— Ваш единственный кандидат!.. Абдель Вахед Амин-бек! Независимый политический деятель! Всегда верный принципам Мустафы Кямиля, Мустафы Наххаса и Мустафы Амина! Голосуйте за вашего неподкупного и независимого кандидата!..

— Что он говорит? — спрашивает мой спутник.

Только хочу ответить, как с соседней улицы вдруг доносится истошный крик другого громкоговорителя.

— Ваш единственный кандидат Зейнахам Хатхат-паша! Человек из народа!.. Сам пробил себе дорогу в жизни!.. Человек твердый и прямой! Нет у нас другого кандидата, кроме Зейнахама Хатхата-паши!..

— Зачем это все? — недоумевает мой спутник.

— Предвыборная борьба. Депутат от округа Абидин умер. Освободилось депутатское кресло. Вот они и сражаются за него, но только у них ничего не выйдет.

— Почему же?

— А победитель уже известен.

— И кто он?

— Кандидат правительства.

Только мы пошли дальше, как нас останавливает любезный возглас: «Пожалуйте!» Видим — у входа в шатер стоит человек с подносом в руках, уставленным стаканами. Он повторил приглашение:

— Входите, пожалуйста!

Мы заколебались. Но солнце палило нещадно, во рту пересохло, по лицу катился пот — и мы решили принять приглашение.

— Добро пожаловать! — воскликнул распорядитель.

Наливает два стакана красного шербета со льдом и подносит нам.

— За здоровье Абдель Вахеда Амина, вашего единственного кандидата! За упокой души Зейнахама Хатхата, кандидата усопших!

И распорядитель весело засмеялся своей шутке. Опорожнив стаканы с шербетом, мы сели в кресла и утерли лбы. Распорядитель попросил нас немного подождать — бек вот-вот пожалует.

Со всех сторон неслись ругательства и поношения, изрыгаемые громкоговорителями. Каждый оратор расписывал своего кандидата, точно старьевщик — свой товар или зазывала — цирковых фокусников. Мне даже показалось, что вот-вот вдруг кто-нибудь забудется и крикнет: «Голосуйте за своего единственного кандидата, пока он вас не надул!» Или: «Единственный ваш кандидат за два пиастра. Даром отдаю!»

И мы совсем оглохли от грохота, от духоты, снова пересохло во рту. И, выждав момент, когда распорядитель отвернулся, мы сбежали.

— Теперь куда? — спрашивает лавочник.

— К другому кандидату — Хатхату-паше.

— А зачем?

— Выпьем еще по стакану шербета. Ты против?

— Почему же? Ради шербета я готов обойти всех кандидатов до единого.

На другой улице также стоял шатер с громкоговорителем и полотнищем — точь-в-точь как первый, только имя на полотнище было другим. Стоим, делаем вид, что читаем. Ну, скоро ли нас пригласят внутрь выпить стакан шербета за здоровье Хатхата-паши? Но никто нас не зовет. Что за чертовщина? Входим в шатер без приглашения. Оглядываемся. Нигде не видно ни шербета, ни других напитков. Шатер пуст. Лишь в дальнем углу храпит человек. Подходим к нему и громко здороваемся. Надо ж его разбудить, пусть даст шербету!

Спящий проснулся и вскочил как ужаленный.

— Алейкум ас-салям! Хвала аллаху! Добро пожаловать!

Садимся напротив и снова ждем. Глядь — а бездельник опять захрапел. Неужели так и не выпьем за здоровье Хатхата-паши? Кричу как можно громче:

— Эй ты!

— Нет бога, кроме аллаха! — в испуге пробормотал тот и опять рухнул на стул, пытаясь заснуть.

— Не дашь ли воды напиться?

— Как не дать!

Выходит из шатра, и вскоре возвращается, неся стакан с водой, только что налитой из крана. Вот те на! Делаю небольшой глоток, возвращаю стакан и говорю:

— А мы слышали, что Абдель Вахед-бек подносит гостям шербет!

— Кто чем богат! — равнодушно ответил служитель.— Вот Хатхат-паша дает обед. Уже и барана зарезали. Будет и похлебка. Вот вернется паша из мечети, тогда и откушаем.

Не успел он закончить, послышался оглушительный шум. Шла целая демонстрация, и все вопили во всю глотку. Хатхат-паша восседал на плечах демонстрантов. Со всех сторон неслись приветственные возгласы: «Да здравствует защитник свободы!» «Да здравствует кандидат честности и правдивости!» «Умрем, но вечно будет жить Хатхат-паша!» «Мы — твои солдаты, Хатхат!» «Депутатское кресло ждет тебя!» Потом один принялся нараспев выкрикивать лозунги, а остальные отвечали хором и приплясывали. «Кого хотите?» — вопрошает запевала. «Хотим Хатхата!» — отвечает хор. «Кто ваш кандидат?» — «Хатхат и никто другой!» «Сын нашей округи — он, Хатхат!»

Мне невольно припомнилась сцена из времен моего детства. Бы-

вало, гонят по улице верблюдов на бойню и погонщики кричат прохожим: «А что с ними будет завтра?» А бегущие следом дети дружно отвечают: «Пойдут по два пиастра за килограмм!»

Орущая толпа заполнила шатер. Я внимательно разглядывал Хатхата-пашу. Он совершенно не соответствовал моим представлениям о пашах. Больше всего кандидат походил на жирную свинью. Настоящая гора сала, увенчанная на редкость тупой физиономией.

Паша подковылял к креслу на почетном месте, плюхнулся в него, и тотчас в шатер начали втаскивать столы с разными кушаньями— от мяса до риса и похлебки. Вскоре избиратели вступили в поединок с едой и одержали блистательную победу. Во всяком случае, вылизанные миски блестели просто ослепительно. Затем слуги быстро убрали столы и посуду.

Начинается второе действие — речи. Избиратели, отдуваясь, расселись по местам, и к микрофону подошел первый оратор. Поправив на носу очки, он откашлялся и важно произнес:

— Дорогие избиратели!

Я оглядел почтенную публику. Красные лица, осовелые глаза — сразу видно, что им не до речей, а вот всхрапнули бы они с большим удовольствием.

— Уважаемые избиратели! Да поможет мне аллах рассказать вам о чувствах, переполняющих мою грудь. Достоинства человека, о котором я собираюсь говорить, не нуждаются в красивых словах. Они очевидны для всех, кто его видит. Отрицать эти достоинства может лишь низкий завистник или слепец. Наш высокочтимый кандидат занимал судейское кресло. Он вовсе не собирался баллотироваться в депутаты. Это мы с вами попросили его об этом великом одолжении, дабы он облегчил нашу тяжкую жизнь, дабы в палате депутатов у нас был свой твердый голос и меч справедливости, дабы он защищал наши интересы, вернул наши узурпированные права. Мы обратились за помощью к этому человеку именно потому, что он наш. Если мы проголосуем за него, то каждый проголосует за себя самого. Если он победит на выборах, то это будет наша с вами победа.

А теперь, почтенные избиратели, я хочу кратко напомнить вам биографию нашего возлюбленного кандидата. Зейнахам Хатхат-паша, сын Хатхата-паши, родился в славной и уважаемой семье, осененной милостью аллаха и его пророка Мухаммеда. Но сын не захотел пользоваться богатством своего отца. Он решил сам пробить себе дорогу в жизни, полагаясь только на себя, свой ум, упорство, силу и честность. Он шел от успеха к успеху, добиваясь всего лишь своей мудростью и находчивостью. И, хотя его отец богат, как богат и он сам, Хатхат-паша остается добросердечным и отзывчивым.

Таков Хатхат-паша! Таков этот превосходный человек, чуждый каким бы то ни было недостаткам или порокам! Он тверд, бескорыстен, искренен, добр и любезен. Так сравните этого человека с тем, который пытается с ним соперничать! Это же жалкий, ничтожный урод, болван и осел, позор нашего округа! И он еще осмеливается претендовать на депутатское кресло?! Как у него хватает совести ставить себя на одну доску с гениальным Хатхат-пашой, который так и светится мудростью и энергией?!

Тут оратор замолчал, взял стакан воды и освежил пересохшую глотку. Потом собрался продолжить славословие, но тут его перебил заливчатый храп. Он гневно посмотрел в ту сторону, ища дерзкого нарушителя тишины, и увидел... Кого же? Его! Гениального героя, светящегося мудростью и энергией!

Храп становился все громче. Голова паши упала ему на грудь, и

жирный загривок походил на горб сытого верблюда. Нижняя губа отвисла, изо рта текли слюни.

Оратор оцепенел от изумления и возмущения. Лавочник пожал мне руку — дескать, примечай. Оратор-то, видно, напился нашей воды!

И вот, глядя на храпящего пашу, его недавний пылкий поклонник вновь обращается к сидящим в шатре:

— Видите? Свинья, а не человек. И он-то будет защищать наши права в палате депутатов? Горе ему и нам с вами, горе палате депутатов! Чтобы он и ему подобные восседали в депутатских креслах? Да он заслуживает лишь скамьи в самой грязной харчевне, табурета на кухне! Депутатское кресло не про тебя! Ты что думаешь, если сумел с помощью грабежа и обмана, торгуя на черном рынке, накопить денег, то можешь теперь купить что угодно и кого угодно?! Да покарает аллах тебя и отца твоего, всех, кто подаст за тебя голос!

При этих словах Хатхат-паша открыл глаза. Спросонья он долго ничего не понимал и, слушая ругательства в свой адрес, тупо смотрел на оратора. Когда же у него в голове немного прояснилось, он позвал слуг и приказал им выкинуть этого полоумного из шатра и сдать в полицию. Те немедленно бросились исполнять волю хозяина, схватили оратора за шиворот и выкинули вон.

Не надеясь больше на нанятых ораторов, Хатхат-паша сам взобрался на трибуну. Красный от гнева, он нервно поправил галстук, судорожно пошарил по карманам, вылил из графина остатки воды в стакан и выпил. Наконец, выложив перед микрофоном заранее написанный текст речи, он начал:

— Сыны моей родины! Я не собираюсь долго утруждать ваш слух. Мой девиз — больше дела, меньше слов! Я говорю лишь то, что нужно, делаю то, что полезно.

Уважаемые братья! Коротко расскажу о своих принципах и о целях, осуществления которых я буду добиваться, если вы изберете меня своим депутатом. Общие цели — служение родине, частные — служение населению нашего округа.

Общие цели родины — единство долины Нила под египетской короной, изгнание последнего английского солдата из Египта и Судана. Это — область внешней политики. Во внутренней — я буду добиваться улучшения положения феллахов и рабочих, повышения жизненного уровня беднейших слоев населения.

Что касается нужд нашего округа, то обещаю вам, что больше не будет ни одного безработного или угнетенного. Я открываю сердце перед вами. Я буду в палате вашей совестью, буду выступать там так, как бы вы сами выступали! Я сделаю все...

Тут паша замялся и продолжил:

— Я сделаю... Я сделаю...

Вдруг он посмотрел направо и гневно крикнул, обращаясь к сидящему рядом с ним человеку в чалме:

— Эй, шейх Али! Да разрушит аллах дом твой! Что ты написал после слов: я сделаю?.. Сам черт не разберет!

Паша комкает листки, бросает их в лицо бедняге Али и плюет в его сторону.

Мне все было ясно: Хатхат-паша начал испытывать воздействие чудесного порошка. Лицемерие, с которым он крепко сжился, оказывает отчаянное сопротивление честности и откровенности. Эта ожесточенная борьба отразилась на лице паши, который никак не мог понять, что с ним происходит. Но вот толстяк разражается оглушительным смехом и сдавленным голосом кричит:

— Эй, шейх Али! Да разрушит аллах твой дом, шейх Али! Отку-

да ты взял, что у меня есть принципы? У меня есть дома, земли, заводы, богатство, титулы! У меня есть все, кроме принципов. Может быть, ты называешь принципами лицемерие, обман и казнокрадство? Ну и чушь же ты написал! Единство долины Нила?! Смех да и только! Если я стану депутатом, только мне и дела будет, что бороться за единство долины Нила! Да кому оно нужно, это единство? Какая от него польза?

Короче говоря, это пустая болтовня и только. Мне плевать на политику! Сроду не думал ни о единстве, ни о чем другом подобном. А что до вывода из Египта английских войск, так я не только этого не приветствую, а подумать не могу, чтобы такое случилось. А как же иначе? Кому я обязан своими доходами? Да им же, союзникам-англичанам! Так-то.

А места в палате я добиваюсь ради почетного звания. «Уважаемый депутат» — это хорошо звучит. Да, и можно будет заняться политическими интригами. Кто знает, может, я сумею сменить депутатское кресло на министерское! И будут меня величать «ваше высокопревосходительство»!

Уважаемые избиратели! Вы будете уважаемыми, если проголосуете за меня. Если же я не выйду победителем на выборах, то вы — жалкие рабы и подонки!

О собачьи дети! Унижайся тут перед вами! Корми вас! Рассыпай перед вами обещания! Вы что думаете — если я стану депутатом, то сдержу хоть одно из них? Попробуйте только тогда попросить, чтобы я добивался удовлетворения ваших нужд! У меня на это не найдется ни времени, ни желания, заранее вас предупреждаю. Вы — жалкий сброд! Вы палец о палец не ударите без выгоды для собственного кармана или желудка! Али, шейх Али! Не заплатил ли я тебе два фунта, не считая обеда и ужина, за предвыборные речи?

Продажные и подлые избиратели! Зачем нам смеяться друг над другом? Будем откровенны и хватит обмана! Вы низкие и подлые люди — я еще подлее. Вы мерзавцы — я еще хуже. Вы вымогатели — а у меня нет никаких принципов. Так зачем же нам терять время на словоблудие? На болтовню о единстве долины Нила, о подъеме жизненного уровня и прочей чепухе?

Перейдем к делу. Я хочу стать депутатом, а вы можете осуществить мое желание. Исходя из принципа «бери и давай», я предлагаю вам сделку: за каждый поданный за меня голос плачу пятьдесят пиастров, и не чеком, а наличными. Что скажете?

По шатру прокатился возмущенный ропот: «От пятидесяти пиастров что толку?» «Платил бы уж по целому фунту». Другие кричали: «По рукам!» Хатхат-паша завопил, перекрывая шум:

— Больше пятидесяти пиастров не дам! Шейх Али! Полностью переделай объявление, подготовленное для газеты «Аль-Ахрам». Пусть оно будет написано следующим образом: «Зейнахам Хатхат-паша уведомляет подлых избирателей округа Абидин о том, что за каждый голос, поданный за него, он будет платить по пятьдесят пиастров, каковые будут выплачиваться прямо в избирательном участке. И будь проклят прах отца того, кому цена эта не подходит!»

Это наглое заявление вызвало бурю.

— Будь проклята вся твоя родня вместе с прахом твоего отца!

Началась свалка, затрещали скамьи, и шатер обрушился на головы собравшихся. Мы со стариком пустились бежать оттуда без оглядки. Остановились только на улице Хасана Великого. Лавочник мне гневно выговаривал:

— Это все ты наделал! Ты совершил неслыханное преступление! Все на твоей совести!

— Почему? Разве я заставил их избивать друг друга?!

— Ты высыпал порошок в Нил и изгнал из людских душ лицемерие! Ты открыл глаза людям на их низость и подлость, показал, что они на самом деле собой представляют! Увидели люди это и ужаснулись! Уж я ли тебя не предупреждал!

— Успокойся, друг мой! Не бойся за них! Я же говорил тебе, что ни один переворот не обходится без убытков и жертв!

Глава 15

Эпидемия

Подходим к воротам аль-Халляк. Площадь перед дворцом губернатора запружена толпой. Со всех сторон раздаются свист и улюлюканье. Спрашиваем: что случилось? Отвечают: из тюрем сбежали преступники. По слухам, их выпустили надзиратели, считая, что они ничего предосудительного не сделали. Куда им до министров или главы правительства! А те и по сей день на свободе, и никто их не лишил ни власти, ни почетных должностей.

— Все ты! — говорит лавочник.— Надзиратели выпили новой воды и вот что натворили!

— Ну что ж, они воплотили в жизнь принцип равенства. Так нужно делать: бедняков освобождать из тюрем, а сильных мира сего сажать за решетку, ибо они и есть подлинные преступники.

Идем дальше по улице Мухаммеда Али к площади Атаба. И вдруг видим у своих ног бездыханное тело, смотрим вверх и замечаем на балконе четвертого этажа мужчину, который со смехом кричит:

— Не бойтесь! Это моя теща!

Вокруг тела погибшей быстро собралась толпа. А мы поспешили уйти. Со всех сторон раздавались возгласы: «Э, пустяки! Это теща Али-эфенди». «Ну, чего толпитесь? Это же теща Али-эфенди!» «Подумаешь — теща Али-эфенди свалилась с четвертого этажа!»

— Да ты никак расстроен смертью тещи Али-эфенди? — спрашивает лавочник, заметив, что я погрустнел.

— Нет! Мне просто жаль, что я живу не так высоко.

Идем дальше. Из каждого дома доносится шум ссор и потасовок, в каждой лавке идут подлинные сражения. Нищие перестали жалобно просить подаяния и взамен осыпают прохожих ругательствами. Если раньше они сладко улещивали: «Аллах да сохранит дом твой, о бек, облагодетельствует его», то теперь: «Эй ты, давай монету, аллах да разрушит дом твой!»

Приходим на площадь Атаба. Все движение остановилось. Вокруг бушуют драки. Площадь Оперы. Как молния пролетает машина «скорой помощи». Останавливается около гостиницы «Континенталь». Через некоторое время на носилках выносят человека, который держится руками за голову. На тротуаре стоит парень. Начинаем его расспрашивать. Парень отвечает:

— Это Ибрагим Заки-паша.

— Министр общественных работ?

— Он самый.

— Что с ним стряслось?

— Банкет устраивал.

— Ну ты доволен? — спрашивает лавочник.

— Очень!

— Ну и бессердечный же ты!

— Вовсе нет, клянусь аллахом! А как еще можно было бы покончить с банкетами и тому подобными лицемерными спектаклями? Как ты думаешь, найдется теперь хоть один министр, который решится устраивать банкеты, зная, чем это кончается?

Было уже шесть часов вечера. Мы изнемогали от усталости, да и зрелище всех этих побоищ производило на нас гнетущее впечатление.

— Я сейчас упаду, ноги больше не идут! — говорю я.— А ты как?

— И у меня ноги подкашиваются! Вольно же тебе было высыпать порошок в реку, избавлять людей от лицемерия. Кто знает, чем все это кончится?

— Не бойся! Бог даст, все обойдется! Пойдем сейчас к тебе в лавку, поспим, а завтра утром снова походим по городу.

Вдруг замечаю, что к нашему разговору внимательно прислушивается какой-то мужчина, смахивающий на сыщика. Мы торопимся незаметно скрыться. А то, чего доброго, арестует нас!

Наконец добрались до лавки. Хозяин долго возится в темноте с ключом. Открываем дверь, входим. Старик вынимает из кармана мышку и пускает ее на пол. Затем берет два пустых мешка и расстилает их на полу. Мы укладываемся и тут же засыпаем как убитые.

Не знаю, сколько прошло времени, но вдруг я проснулся, разбуженный криками и громким стуком в дверь.

— Отворяй! — кричали снаружи.

Вскакиваю и вижу — хозяин дрожит как лист на ветру. Что делать? А в дверь все ломятся. Лавочник спрашивает:

— Кто там?

— Отворяй, тебе говорят!

Дверь трещала под ударами. Старик спрашивает:

— Как ты думаешь, кто к нам рвется?

— Откуда я знаю? Может быть, покупатели пришли за душевными качествами? Торопятся избавиться не только от лицемерия.

— Вряд ли...

— А может, воры? Напились новой воды и поняли, какой у тебя ценный товар. Вот и торопятся поскорей его забрать, чтобы торговать им на черном рынке.

— Ну, это чепуха. Напейся они нашей воды, так забыли бы о воровстве.

Очевидно, терпение стучавшихся лопнуло. Они начали выламывать дверь. Пришлось открыть. В лавку ввалилась толпа полицейских, а с ними тот человек, который прислушивался к нашему разговору на улице. В мгновение ока нас связали. Я возмутился.

— За что? — спрашиваю.

— Хватит притворяться! Сам расскажешь людям, какое тяжкое преступление ты совершил! — отвечает сыщик.

— Никакого преступления я не совершал! Понятия не имею, в чем меня обвиняют!

— Ах ты гнусный преступник! Значит, отрицаешь, что ты повинен в этой эпидемии? Что ты отравил воду вредоносными микробами?

— Какими еще микробами?

— Микробами высоких душевных качеств! Ты разрушил устои жизни, перевернул мир! Ты уничтожил в душах людей лицемерие! От твоей отравы не помогают ни прививки, ни пенициллин! Весь город бурлит и негодует! А вы здесь спокойно спите!

— С каких пор высокие душевные качества стали называть эпидемией? О чем ты толкуешь? Какие еще вредоносные микробы? Какое преступление? Мы ничего не скрываем. Да, это я высыпал порошок в реку и, как ты говоришь, отравил воду микробом высоких душевных качеств. Это я освободил людские души от лицемерия! Это я исправ-

лю мир, изгоню из него зло и подлость. Я сделаю то, что никому не удавалось сделать за все время человеческой истории.

— Убей меня бог, полоумный какой-то! — сказал один из полицейских и грустно покачал головой. Остальные согласились. Другой полицейский добавил:

— Из них опаснее второй. Он допустил, чтобы этот пустоголовый фантазер попытался сделать то, чего до него еще никому не удавалось. Надо же! Лишить людей лицемерия, обнажить их нутро, заставить бежать друг от друга, ужасаясь своей гнусной сущности! Ну, хватит болтать, пошли!

Он грубо схватил меня за руку, а второй тащит лавочника. Тот кричит:

— Погодите! Я возьму Шулаха! И лавку запереть надо, а то весь товар растащат! Может, и вправду мир изменится?! Может, у людей появится желание купить мои порошки?!

И вот мы идем среди полицейских, а они говорят, что нас посадят за решетку и будет вестись следствие.

А не предложить ли им взятку? Может, отпустят? Но я отбросил эту мысль: наверняка и эти пили нашу воду. А тогда они на взятку не польстятся.

Было раннее утро. Продавцы газет истошно кричали: «Страшная катастрофа!.. Новый микроб!... Эпидемия высоких душевных качеств! Последний выпуск!..»

Всюду, где мы ни проходили, были видны следы разрушений и погромов. На перекрестках — полицейские кордоны. Тут я понял, что положение складывается куда сложнее и опаснее, чем мне поначалу представлялось. Спрашиваю у полицейских разрешения купить газет и журналов.

Садимся в трамвай. Разворачиваю первую утреннюю газету и читаю крупный заголовок через всю полосу: «Страшные последствия необъяснимого явления!» Затем следуют подзаголовки: «Министр поражен тяжелым недугом во время банкета! Жених сходит с ума в мечети! Убито около полутора тысяч тещ! Бегство пяти тысяч жен от своих мужей! Группа злоумышленников убивает высокопоставленное лицо ботинками! Шейх Нур аль-Уюн выступает против купального костюма бикини, считая, что достаточно и одного предмета. Он выступает в поддержку нудизма! Профессор Балбуш, председатель общества борьбы против наркотиков, прочтет в зале «Эйворт» лекцию о пользе гашиша!»

Подобные заголовки меня не очень удивили. Перелистывая страницы газет, я убедился, что здесь произошли коренные изменения — газеты перестали быть главным источником лицемерия.

Подъезжаем к площади Баб аль-Халляк. Нас ведут в тюрьму и вталкивают в тесную камеру, вся обстановка которой состоит из двух тюфяков и деревянной скамейки.

Я сажусь на скамейку, а лавочник на пол. Он смотрит на меня и безнадежным тоном спрашивает:

— Ну теперь ты доволен?

— Терпенье — ключ к счастью!

— Сколько можно терпеть? До тех пор пока петлю на шею не наденут?

— Бог с тобой! У нас еще очень много времени: долгое следствие, долгий суд!

Мой приятель совсем сник и сказал, безнадежно махнув рукой:

— Долго ли, коротко ли, а нас все равно вздернут!

— Вздернут? Чудак человек! За убийство и то дают только десять лет. Так за что же нас вешать?

— Ты говоришь об убийстве, а мы отравили воду высокими душевными качествами. Это же совсем другое дело.

— Кто тебе сказал, что это не политическое преступление?

— Какая уж тут политика.

— А мы сошлемся на то, что, отравляя воду, имели в виду только противников правительства, то есть порядочных людей. Укажем, какую огромную пользу мы тем самым принесли правительству, которое сохранит свои пороки в целости, тогда как его противники оказались в плену высоких душевных качеств. Далее, эту воду неосмотрительно выпила оппозиция, и вот она утрачивает коварство и хитрость, теряет способность обманывать и оболванивать народ, забывает собственные корыстные интересы, избавляется от чванства, лжи и лицемерия. Где уж честной, бескорыстной, прямодушной оппозиции справиться с правительством, члены которого не пили воды с высокими душевными качествами? Мы же оказали правительству неоценимую услугу. И нас, безусловно, оправдают.

— Ты думаешь, что правительство нам поверит?

— А почему бы и нет?

— Мы же отравили в реке всю воду. Как мы можем доказать, что не покушались и на членов правительства?

— А мы сейчас пошлем телеграмму премьер-министру и предупредим его, чтобы он не пил речной воды, и тем докажем наши добрые намерения.

Я пошарил в карманах, нашел бумагу и карандаш и быстро набросал примерный текст телеграммы:

«Ваше высокопревосходительство господин премьер-министр! Не пейте воды, в которой содержится порошок высоких душевных качеств! Это грозит вам многими неприятностями и затруднениями. Пейте только «Виши»! Эта минеральная вода ничем вам не грозит. Да хранит вас аллах!»

Перечитываю телеграмму и спрашиваю собрата по несчастью:

— Ну как?

— А что, если они уже пили эту воду?

— Нам-то что до этого? Лишь бы он получил телеграмму и убедился, что мы только хотели оказать правительству услугу.

Стучу в дверь, зову надзирателя. Просовываю под дверь бумажку с текстом телеграммы и прошу отправить ее премьер-министру. Устав сидеть на скамейке, ложусь на тюфяк рядом с приятелем и беру газеты. Почитаю, чтобы скоротать время, а к тому же и узнаю, какой стала пресса без лицемерия.

Глава 16

Пресса без лицемерия

Открываю одну из самых известных каирских газет. В глаза бросается огромный заголовок над статьей известного публициста, чьи выступления в печати всегда отличались восторженностью, искренностью и убежденностью. Заголовок гласит: «Ради куска хлеба насущного». Изумившись такому холодному заголовку, начинаю читать: «И почему именно кусок хлеба? Все во имя хлеба насущного. А на самом деле так ли это? Уж если говорить, то не о куске сухого хлеба, а о том, что к нему прилагается. Нет, не кусок хлеба толкает нас на ложь, обман и лицемерие! Ради хлеба насущного мы не стали бы тратить таких усилий на совершенствование в искусстве обмана и фальсификации. Нет, всему виной наша безудержная алчность! Нам не нужен простой кусок хлеба, мы хотим тортов или пирожных!

Кто из вас не испытывал наслаждения, делая тайные расходы? Все мы погрязли в лицемерии, которого я столько вылил на вас в своих фальшиво красивых статьях!

Вы слишком мало знаете о закулисной жизни прессы. Красивые, трескучие статьи — это лишь маски, скрывающие действительное положение вещей. Все это пишется не от чистого сердца, а за хорошие деньги.

О простодушные читатели! Основная задача газеты, любой и всякой, вовсе не пропаганда патриотизма или долга служения народу, не распространение культуры и свободомыслия! Нет, трижды нет! Это лишь красивые сказки! Главная и основная задача газеты — защита ее собственных интересов: тираж, распространение, то есть кусок хлеба для газетчиков! Если патриотизм приносит прибыль — да здравствует патриотизм! Если насмешки и скептицизм приносят ее больше — долой патриотизм! Если доходны грязные сенсации — тем лучше. Если пропаганда низости и подлости способствует увеличению тиража газеты — ура и да здравствует!

Хлеб насущный — вот, о люди, наша главная цель, если не единственная! И во имя куска хлеба насущного мы готовы противоречить самим себе на каждом шагу.

Несколько дней назад в одной газете появилась статья, обличавшая американские кинокомпании, которые поддерживают сионистов. Автор призывал бойкотировать эти компании, не признавать американских звезд экрана. Перечислив ряд американских фильмов, автор статьи требовал, чтобы правительство запретило их ввоз в Египет.

Статья была пронизана патриотическим пафосом. Но что же я вижу внизу на той же странице? Объявление о демонстрации в Каире именно тех фильмов, которые перечислялись в статье.

Вас удивляет такое вопиющее противоречие. Напрасно. Это ведь делается только ради хлеба насущного! Патриотизм и энтузиазм — выгодный товар, а уж реклама — так просто золото! Двуличие газете не вредит. И статья, призывающая к бойкоту фильмов такой-то американской компании, и реклама фильмов этой же компании равно приносят газете прибыль.

Не могу понять, что заставляет меня рассказывать все это вам, раскрывать газетную кухню? Почему я, как обычно, не восхваляю правительство и его благородные деяния, хотя полученные мною от него деньги продолжают отяжелять мой кошелек?

Правительство имеет секретные статьи расходов, которые не подлежат контролю и учету. Хорошо помню, как впервые получил деньги по одной из секретных статей. Как-то утром сижу у себя в газете, пишу обычную свою ежедневную статью, в которой обрушиваюсь на правительство. И не потому, что я недоволен властью, а потому, что редактор требует: это нравится публике, а значит, увеличивает тираж газеты. Итак, строчу самые жестокие поношения в адрес правительства, а я очень хорошо умею это делать! К тому же мне хорошо заплатили за такую критику. Вдруг раздается телефонный звонок. Беру трубку: «Алло?» Какой-то голос спрашивает: «Это журналист такой-то? — и называет мое имя.— С тобой будет говорить паша!»

Его высокопревосходительство сообщил, что хотел бы побеседовать со мной по важному делу. Не окажу ли я ему честь принять его у себя дома? Я был поражен — сам блистательный и могущественный паша хочет пожаловать ко мне домой! Он же не просто министр, но и секретарь правящей партии, одной из движущих сил в государстве. И такая-то персона пожелала осчастливить мой жалкий дом своим визитом.

На крыльях счастья лечу домой. Оповещаю всех о том, что к нам сегодня будет высокий гость.

И вот он приезжает. Сидим, разговариваем обо всем понемногу, в том числе и о политике. Паша слегка пожурил меня за нападки на правительство, и мне стало стыдно. Затем он перешел к делу: правительство нисколько не против моей критики в его адрес, но неплохо бы смягчить тон. Члены правительства, разумеется, понимают, что я не могу сразу сделать резкий поворот от критики к поддержке правительства. Но вот постепенно... Правительство же со своей стороны готово многое сделать.

Ответить на такое лестное предложение было нелегко. Сам я мог бы проделать подобный поворот, не моргнув и глазом, начать восхвалять правительство с тем же пылом, страстью и убежденностью, с какой я критиковал его еще накануне. Чего не сделаешь ради хлеба насущного! Но ведь есть редактор, хозяин газеты. А он твердо убежден, что без статей, содержащих самую резкую критику деятельности правительства, его газета просуществует очень недолго.

Министр заметил мои колебания. И едва я произнес: «Видите ли, сам я был бы только счастлив сотрудничать с правительством. Но существует другая заинтересованная сторона»... как он перебил меня: «Об этом не беспокойся. С другой стороной мы уже договорились».

Я понял, что другая заинтересованная сторона предпочла золотой дождь из секретных фондов доходам от патриотической критики правительства.

Ох уж эти мне секретные фонды, из которых правительство может черпать любые средства, никому в них не отчитываясь! Ну как тут не стать на сторону правительства, не забыть свои прежние ругательства и поношения в его адрес и не забить в бубны и литавры, прославляя замечательные деяния власти? Я и раньше писал как лицемер, так что переменится, если теперь за такое же лицемерие буду получать больше?

Но вот сегодня я ощутил в себе непонятную и опасную перемену: лицемерие покидает меня, и я беспомощно бреду к собственной гибели. Что-то принуждает меня говорить лишь то, что я на самом деле думаю, писать лишь ради куска хлеба. Сегодня я убежден, что кусок хлеба должен быть чистым и что посылает его бог, а не люди. И собственной честностью человек должен дорожить больше, чем возможностью черпать из секретных фондов. Но я боюсь писать и говорить правду в стране, ее отвергающей. Если ради того, чтобы заработать на кусок хлеба, нужно лицемерить, то теперь я умру с голоду!»

Чтение этой статьи доставило мне большое удовольствие. Обращаюсь к собрату по несчастью:

— Наш порошок подействовал и на этого борзописца! Теперь можно ждать от него много настоящих дел. Самые полезные на земле люди — это искренние и честные мыслители, которые пишут от сердца. Они — лоцманы человечества, указывающие ему правильный путь. Но в нашей стране такие люди превратились в торговцев словами. Их покупают газеты за хорошее месячное жалованье. Они привыкают писать нужные газете статьи. Публика привыкла читать красиво написанные, но пустые и лицемерные статьи, в которых нет ни одной настоящей мысли или доброго чувства. Статьи эти пишутся только потому, что настало время сдавать материалы в номер. А для газеты важно лишь, чтобы под статьей стояло известное читателю имя. Вот и скажи: разве теперь страна не получит огромную пользу от труда честных, искренних и свободных в своих мыслях публицистов и журналистов?

Мой приятель согласно кивнул. Я снова взялся за газету. Про-

сматриваю кинорекламу. И даже засмеялся от удовольствия. Никакого лицемерия! Вот что я прочел:

«Кинокомпания «Рассвет» предлагает вниманию зрителей самый ничтожный и бездарный фильм сезона — «Безнадежная любовь»! Сценарист, режиссер, оператор, автор диалогов и главный герой — ничтожество из ничтожеств. Кроме него в фильме снимался всякий сброд, обычно именующий себя актерами и актрисами.

Фильм пошл до невероятности и к тому же скверно снят. Бессвязная мешанина из танцев, судебного процесса, растянутых и бессмысленных речей. Обычные заезженные кадры, предназначенные наводить ужас на зрителя. Эпизоды пожара, сумасшествия и самоубийства. Человек попадает под трамвай. Ребенок падает с четвертого этажа. Впрочем, все эти ужасы могут вызвать лишь смех. А что действительно ужасно, так это сальные анекдоты и глупые шуточки, которыми напичкан фильм. Мы предостерегаем публику — не смотрите этого бездарного фильма!»

— Каково? — спросил я со смехом своего спутника.— Теперь реклама всегда будет такой откровенной и смелой.

Читаю дальше. Еще одно объявление:

«Распродажа! В больших каирских магазинах начинается распродажа залежалых товаров без всякого снижения цен! Эти вышедшие из моды вещи нельзя реализовать иначе, как с помощью фиктивной «дешевой» распродажи! Берегитесь обмана и надувательства!»

Новое объявление: «Неподражаемый шарлатан! Если хотите увидеть удивительные чудеса, то побывайте на приеме у доктора, который ловко обманывает своих пациентов, обещая им полное исцеление с помощью магнетизма и воздействия драгоценных камней. Обман на обмане! Как только земля носит этого шарлатана!»

Перехожу к политическим известиям. Под заголовком «В совете министров» читаю:

«На заседании кабинета обсуждалась политическая обстановка... Заседание продолжалось более трех часов. Лица министров, выходивших из зала заседаний, выражают крайнюю степень усталости. Наш корреспондент обратился к одному из них с вопросом:

— Так что же было предпринято в связи с обстановкой?

Тот крайне изумился:

— С обстановкой?

— Ну да. Ведь правительство сегодня обсуждало именно этот вопрос.

— Возможно.

— Так какие же были приняты решения?

— Ей-богу, не знаю!

— Как? Разве вы не присутствовали на заседании?

— Конечно, присутствовал. И неплохо выспался.

Спрашиваем другого министра, более бодрого на вид:

— Что решило правительство после обсуждения политической обстановки?

— Ничего.

— Разве этот вопрос не обсуждался?

— Нет.

— А что же обсуждалось?

— Толком ничего. Рассмотрели вопрос о новых назначениях и выплатах. И до конца заседания министр торговли и министр финансов переругивались.

— Каковы последние новости в международной ситуации?

— Да отвяжись ты от меня! — с явным раздражением сказал ми-

нистр.— Какое мне дело до международной ситуации? Спроси у премьер-министра!

Мы попытались кое-что узнать у премьера, но он убежал от нас. Когда же мы догнали его, он замахнулся на нас палкой, обругал нецензурными словами и скрылся в машине».

Перехожу к колонке под названием «Министры». И читаю следующее: «Его высокопревосходительство министр сельского хозяйства отбыл в Александрию с инспекционной поездкой, хотя в этом не было никакой нужды».

«Министр общественных работ просидел в своем кабинете два-три часа и потребовал, чтобы мы поставили своих читателей в известность о том, как напряженно министр работает по двадцать часов в сутки. Быть министром очень тяжело. И если бы не интересы родины и народа, то он давно бы подал в отставку».

Ну и дела! В газете не напечатано ни одного лицемерного слова!

Беру другую газету, читаю заголовок: «Кто кого?» И дальше сообщается: «Перед самым выходом газеты мы получили сообщение о том, что правительство приняло решение распустить палату депутатов ввиду того, что она одобрила государственный бюджет, составленный с большим дефицитом. В свою очередь палата вынесла вотум недоверия правительству, так как оно не заслуживает никакого доверия».

— Что ты на это скажешь? — спрашиваю приятеля.

— Чему ты удивляешься? — говорит он.— Правительство перестало лицемерить, и, значит, оно должно распустить палату. Палата депутатов тоже больше не лицемерит, значит, она должна свалить правительство.

И вдруг лицо лавочника исказилось от ужаса, его глаза впились в газетные строки.

— А это ты читал? Тут же говорится о нас!

— Где?

Лавочник ткнул в заметку, напечатанную мелким шрифтом ниже сообщения об отставке правительства и роспуске палаты депутатов. Под заголовком «Эпидемия высоких душевных качеств» я прочитал:

«Мы получили экстренное сообщение, что два гнусных злоумышленника высыпали в реку мешок порошка высоких душевных качеств, эпидемия которых охватила всю страну. Мы узнали, что некий бдительный сыщик сумел напасть на след преступников. Они, несомненно, будут схвачены и понесут самое суровое наказание».

— Что теперь делать, как спастись? — спрашивает меня лавочник.

Глава 17

Финал нашей истории

Я не видел никаких оснований опасаться за нашу жизнь и постарался успокоить приятеля. Бросив газету, я сказал задумчиво:

— Бежать смысла нет. Пойдем до конца.

— До какого конца? Тебе все мало?

— Суд над нами будет забавным зрелищем.

— Ну что ж, отдадимся на божью волю.

Старик улегся на скамейке, а я устроился рядом на полу. Сказалась дневная усталость, и мы погрузились в глубокий сон, который, впрочем, продолжался недолго. Нас разбудил шум распахнувшейся двери. Полицейский повел нас на допрос.

Первым в кабинет следователя вошел я. Стою, внимательно гляжу на него, а он на меня. Следователь заговорил первым:

— Имя?

Отвечаю на этот и все другие предварительные вопросы. Следователь снова принялся внимательно меня разглядывать, как будто хотел понять, что у меня внутри. Я тоже смотрел на него и скоро понял, что следователь весьма доволен собой и упивается данной ему властью.

Внезапно он прервал долгое молчание:

— Где же ты был вчера в одиннадцать часов вечера?

Мне стало ясно, что следователь намерен вести допрос по всем правилам, не жалея ни нас с лавочником, ни себя. Чтобы не затягивать допроса и облегчить судьбу всем нам троим, решаю сразу во всем признаться.

— Ваша честь, не утруждайтесь зря. Это я высыпал в реку порошок высоких душевных качеств. Я готов написать и подписать свое признание.

Лицо следователя вспыхнуло от злости. Ведь я же лишал его возможности самому докопаться до истины, показать свои выдающиеся способности! И он сказал грозно:

— Брось эти штучки! Отвечай на мои вопросы!

— Да зачем! Лучше записывайте, что я буду говорить.

Следователь еще больше побагровел, ударил кулаком по столу и открыл рот, чтобы позвать полицейского, но тут зазвонил телефон. Он схватил трубку и сразу преобразился. Тихим, елейным голосом он ответил:

— Да-да, слушаю вас... Понял... Слушаюсь, ваше высокопревосходительство!.. В семь часов... Не опаздывать? Как можно!.. До свидания!..

Следователь кладет трубку, вновь гневно хмурится, вновь открывает рот, чтобы позвать полицейского, и опять ему мешает телефонный звонок.

— Я весь внимание, паша!.. Целую руки, ваше высокопревосходительство!.. Слушаюсь!.. Совершенно справедливо, ваша светлость!.. С превеликим удовольствием!.. Вот я и говорю!.. Разумеется, лучше будет так!.. До свидания, ваша светлость!..

Во время этого разговора следователь почтительно стоял, лицо расплывалось в умильной улыбке, и весь он был сама скромность и величайшее почтение. Но положив телефонную трубку, опять на себя напустил суровость... И опять зазвонил телефон. На сей раз его честь говорил смущенно и недовольно:

— Сготовь что хочешь, госпожа моя... Право, не знаю... Э-э, понятия не имею... Делай как хочешь...

Вдруг меня осеняет счастливая мысль: дать ему напиться воды, которая избавит его от лицемерия, а нас от нудной и ненужной процедуры. Говорю секретарю:

— Подайте же воды его чести.

Он тотчас приносит стакан воды и ставит перед следователем. Тот машинально пьет. И в третий раз напускает на себя суровый вид.

— Э-э-э, так о чем мы говорили?

Секретарь хотел было напомнить, но я опередил его:

— Господин мой, прошу тебя! Вопрос настолько прост и ясен, что не нуждается в усложнениях. Я открыто признаюсь в том, что, находясь в здравом уме, высыпал порошок высоких душевных качеств в реку и готов нести ответственность за все последствия, к которым это привело.

— Веди сюда второго! — приказал следователь полицейскому. Тот

привел лавочника, который послушно ответил на все предварительные вопросы, не забыв упомянуть, что он торгует душевными качествами оптом и в розницу и готов доставлять заказы на дом.

Затем следователь перешел к сути дела:

— Что тебе известно о мешке с экстрактом душевных качеств?

— Он принадлежал мне.

— А кто его высыпал в воду?

— Он,— и лавочник показал на меня.— Но я считаю себя его соучастником и готов разделить с ним ответственность за все случившееся. Правда, он-то по глупости не представляет, к чему приведет этот необдуманный поступок.

По лицу следователя было видно, что наш порошок уже начал действовать. Помотав головой, он вдруг спрашивает:

— И давно у тебя находился этот мешок?

— Очень давно.

— Безмозглый осел! Да как ты смел прятать его без всякой пользы? Почему молчала твоя совесть? Ведь ты же видел, как лицемерие отравляет души людей, портит им жизнь?! И ты не пытался дать им лекарство от этого тяжкого недуга.

Затем следователь приказал полицейским отвести нас в тюрьму. Он объяснил:

— Дело слишком сложное, нужно передать его прокурору.

В тюрьме мы провели беспокойный день и почти бессонную ночь. Наутро нас снова вызвали на допрос. По дороге к следователю нам удалось прочитать утреннюю газету. Через всю первую полосу шел цветной заголовок: «Оба опаснейших преступника пойманы! Ведется следствие! Во время допроса следователь внезапно отравился высокими душевными качествами и потребовал оправдать преступников или же судить их за то, что они так долго медлили с применением своего порошка».

Само же сообщение гласило: «Рано утром были арестованы два гнусных преступника, отравивших воду в реке микробами высоких душевных качеств. В десять часов утра они предстали перед следователем, но им удалось подсунуть ему стакан отравленной воды, после чего он отказался продолжать дознание и послал уведомление прокурору, требуя или оправдать преступников, или судить их за то, что они, зная, что страна подвержена тяжким недугам, долгое время даже не пытались предоставить людям лекарство, хотя, по их признанию, оно хранилось у них давно. Прокурор назначил нового следователя. Предприняты меры предосторожности, чтобы и он не заразился опасной болезнью.

Как стало известно нашей газете, пока еще имеется достаточный запас неотравленной воды, она предназначается для государственных деятелей и круга лиц, чье душевное и телесное здоровье необходимо для поддержания закона и порядка. Из их числа и выбраны те, кому поручено довести до конца дело опасных преступников, дабы они получили по заслугам.

Нам стало также известно, что ведутся поиски противоядия, которое нейтрализовало бы действие отравленной воды, хотя надежды на это крайне мало. Не ясно, прекратилось ли распространение эпидемии. Однако принимаются решительные меры для изоляции заболевших. Издано распоряжение уведомлять власти о каждом случае заболевания».

Я отложил газету, посмотрел на моего приятеля и сказал:

— Все, никаких надежд.

— Почему?

— Правительство тщательно оберегает себя и своих верных слуг

от заражения. Сегодня следователь будет обычным, не говоря уже о судьях.

Вид нового следователя не предвещал ничего доброго. Допрос продолжался очень недолго, так как мы опять сразу во всем признались.

Дни шли за днями, а мы все еще томились в тюрьме. Наконец нас повезли в суд. Садимся на скамью подсудимых. Зал набит битком. Вижу родственников, друзей, знакомых. Они машут нам руками, кричат, чтобы мы держались стойко.

Начинается судебное заседание. Судьи так и сверлят нас взглядами. Сразу видно, что никто из них не заразился высокими душевными качествами. Вызывают первого свидетеля Им оказался сыщик, который привел к лавочнику полицию. Он говорил всего несколько минут. Затем выступали те, кто потерял лицемерие, разучился лгать и обманывать. Они говорили о страданиях и невзгодах, которые принесли им благородные качества души. Вот слово берет обвинитель:

— Господа! Перед вами самые опасные преступники, которых когда-либо знала история. Перед этим преступлением меркнут все самые страшные злодеяния. И нет наказания, которое было бы равно их вине!

Стоящие перед вами подлые преступники вознамерились погубить человечество, сорвав с него маску, которой оно прикрывало свою низость. Они показали людям их ужасную сущность Как людям жить без лицемерия? Как они будут терпеть друг друга? Разве без лицемерия способен муж прожить с женой хотя бы один день? Как без лицемерия смогут люди вести дела, защищать свои интересы?

Как будут создаваться политические партии, формироваться правительства? Кто будет проповедовать патриотические идеи с трибун и в печати? Что делать судьям и адвокатам?

Господа судьи и присяжные заседатели! Я не собираюсь говорить долго, ибо преступление очевидно. Преступники признались, но к ним не следует проявлять ни жалости, ни снисхождения. Они этого не заслуживают. Я требую для них смертной казни, хотя она для них будет благом, ибо они расстанутся с миром, зараженным добротой, благородством и честностью!

Прокурор замолчал, вытер пот и попросил воды. Полицейский вытащил из кармана бутылку, налил в стакан и подал ему. Прокурор сделал глоток и поморщился.

— А что — холодной воды нет?

— Вам правительство разрешило пить только эту воду.

От защитника мы отказались, полагаясь на свою невиновность. К тому же я считал, что и сам сумею защитить нас. Прошу слова. Заявляю:

— Господа судьи и присяжные заседатели! Как бы я хотел, чтобы вы испили воды, зараженной высокими душевными качествами. Ведь именно за это деяние вы посадили нас на скамью подсудимых. Обвинитель потребовал для нас смертного приговора. Но вы никогда его не вынесете. Я уверен в вашей справедливости, хотя вы и не пили этой воды.

Вас пугают эксцессы, связанные с изменениями, которые происходят в людях. Но это же естественно! Как только мы избавимся от наших дурных свойств, все очень быстро наладится.

Неужели вам нравится мир, в котором мы живем? Кто из вас может понять цели лицемерной внешней политики, творцы которой, прикрываясь фальшивыми лозунгами о необходимости защищать свободу, толкают народы на братоубийство и разрушения? Не успевают народы залечить раны, восстановить разрушенное после одной войны,

как уже грядет новая? Стоит истребить в мире лицемерие, и народы поймут, что они — жертва глупости и обмана своих правителей. Это равно относится и к побежденным и к победителям!

Стоит истребить в мире лицемерие, и исчезнут банды политиканов, прикрывающих разглагольствованиями о мире и безопасности свое глубокое убеждение, что право всегда на стороне сильного. Вопли слабых не доходят до их ушей. Погиб человек — так ему и надо, значит, оказался слабее убийцы. Если бы не лицемерие, то людей не лишали бы их законных прав, не изгоняли бы один народ, чтобы поселить на его земле чужаков! Если бы не лицемерие, то гостя не признавали бы за хозяина дома, а того не превращали бы в изгнанника! Вот вам гнусная личина лицемеров!

Господа судьи! А что делают лицемеры с нашей страной, с нашим народом? Наш народ насчитывает двадцать миллионов, три четверти из которых влачат жалкое существование, живут как скоты и зарабатывают, только-только чтобы не умереть с голоду. Три четверти нашего народа — рабы, хотя говорят, будто у нас существует демократия. Народ — источник власти! Это ли не верх лицемерия?!

Представьте, что власть в нашей стране принадлежит народу. Тогда одно из двух: или этот народ, хотя и говорят, что он источник власти, презирает самого себя, не желая исправить свою жизнь, снять с себя тяжкие цепи нищеты, невежества и болезней, или этот народ — аскет, привыкший к своей несчастной жизни, к бесправию, держащему его за горло!

Этот народ, источник власти, что он сделал для того, чтобы переделать свою жизнь? Кажется, много делает, но результатов не видно. Почему? Да потому, что все это — одно лицемерие!

Помнится, был издан закон о введении в стране бесплатного начального образования. Этот закон объявлен чуть ли не панацеей от всех бедствий и тягот. Этот закон и сегодня — гордость его творцов и сторонников. Но достиг ли он своей цели? Нет. Действие этого закона распространилось лишь на детей богачей!

Совершенно очевидно, что для введения действительно всеобщего и бесплатного образования следует прежде создать все необходимые условия, построить достаточное количество школ и подготовить учителей. А на самом деле что получилось? Образование объявлено бесплатным, а количество школ осталось прежним. И закон этот принес пользу только тем, кто уже учился, то есть детям богачей, которым в нашей стране всеобщего блага всегда отдается предпочтение при приеме в школу!

Вот и получается, что дети министров финансов и просвещения учатся бесплатно, а дети несчастных бедняков по-прежнему не могут получить хотя бы начальное образование, так как двери школ для них закрыты. А все потому, что закон о бесплатном обучении — это чистейшей воды обман, а его авторы — бессовестные лицемеры!

Возьмем другой закон — о повышении заработной платы. Велика ли польза от такого закона, если его действие распространяется лишь на небольшое число государственных служащих? Что касается сельскохозяйственных рабочих, составляющих подавляющее большинство тружеников нашей страны, то их положение осталось без всяких изменений. Возьмем законы об ирригации, освоении пустынных земель и другие им подобные! Все это пустые красивые слова, пользы от которых ни на грош! А сколько было собраний, заседаний! Сколько произнесено напыщенных речей, напечатано в газетах подробных отчетов и хвалебных статей! И все оказалось лицемерием!

Народную нужду пытались уничтожить с помощью различного рода комиссий и заседаний! С голодом и нищетой боролись при помо-

щи нескольких народных столовых, а с невежеством — путем обещаний и пожеланий!

Господа! Все гнусное и плохое, что есть в нашей стране, исходит от лицемеров, которым принадлежит власть. Это они обманывают и себя и народ! Так чем же вы возмущаетесь, чего боитесь? Разве тот, кто содействует вытравлению из людских душ лицемерия, действительно преступник, заслуживает смертной казни?

Господа судьи и присяжные заседатели! Мы в вашей власти, приговаривайте нас к смерти, если хотите. Смерть во имя избавления мира от лицемерия — достойная жертва!

После моего выступления в зале суда воцарилось молчание, но его тотчас нарушили приветственные крики и рукоплескание публики.

Суд удалился на совещание. Подзываю к себе полицейского, у которого бутылка с не отравленной нами водой, и шепчу ему:

— Мы в твоих руках!

— Душа моя с тобой! — тихо отвечает он.— Меня просить не надо. Я знаю, чего ты хочешь! Ведь я-то пил вашу воду!

Ах, если бы он успел подменить воду в бутылке, а члены суда выпили ее!

Возвращается суд, а за ним и полицейский с бутылкой. Воды в ней не убавилось ни на каплю. И тут я понял — спасенья нам нет.

Судья суровым голосом начал читать приговор:

— Как сказал обвинитель, вы совершили такое гнусное преступление, какого еще не знала история. И смертная казнь — слишком легкое для вас наказание, ибо она помогла бы вам ускользнуть из мира, обитатели которого страдают от отсутствия лицемерия. А потому мы решили сохранить вам жизнь, чтобы вы полной мерой испили чашу страданий, на которые обрекли других.

В зале загремели аплодисменты, раздались приветственные крики. Скоро мы были свободны. Нас подняли на плечи и понесли по улицам. Со всех сторон кричали:

— Слава сокрушителям лицемерия! Долой лицемерие и лицемеров! Долой врагов благородства и честности!

Группа демонстрантов ворвалась в помещение, где хранилась вода, приготовленная для власть имущих, и вылила ее на землю. Пусть все теперь пьют только ту воду, которая заражает людей высокими душевными качествами!

Благородство, доброта, честность продолжали свое победное шествие по миру. Страсти улеглись, восстанавливался порядок. Власть в стране взяли в свои руки честные люди. Впервые были проведены по-настоящему свободные выборы, был создан парламент, депутаты которого были искренними, искренне понимали свой долг в служении избирателям. Народ вернул себе право быть подлинным источником власти. Жизнь начала исправляться. Разрабатывались поистине необходимые планы и проекты, у богатых были отобраны излишки, голодные были накормлены, нагие одеты. Все стали жить, как подобает людям.

Торговля моего приятеля процветала. От покупателей не было отбоя. Я помогал ему торговать порошком смелости, празднуя победу над лицемерием. Денег лавочник не брал. Он всем говорил: «Оставим расчеты до Судного дня!» Покупателей становилось все больше. Скоро мы распродали все запасы.

Ночью я спросил приятеля:

— Что будем делать завтра? Что скажем людям, которые придут за порошками?

Он ответил:

— Успокойся! Вместо порошка я дам людям добрые советы, которых им хватит на всю жизнь.

Утром у лавки собралась большая толпа.

— Чего вам надо? — спрашивает хозяин.

Народ зашумел: «Смелости, бескорыстия, искренности!» Лавочник попросил тишины.

— Терпенье, братья, терпенье! Все это есть у вас самих, только спрятано глубоко. Возьмите себе за правило поступать с другими так, как будто это вы сами. Прежде чем сделать что-то, поставьте себя на место ближнего и на добро отвечайте только добром!

Люди от души поблагодарили лавочника и разошлись.

Лавка опустела. Нас осталось трое: лавочник, я и мышка Шулах. Лавочник пожал мне руку и сказал:

— Спасибо тебе за помощь! Мы выполнили свой долг.

— Спасибо тебе, мой друг! — ответил я.

На этом мы расстались. Каждый возвращался к себе, повторяя завет: «Поступай с ближним так, как будто это ты сам!»

Такова моя повесть о лицемерии и лицемерах, о земле лицемерия. В ней немало фантастических преувеличений. Хотел я закончить эту историю, как все фантасты: был это сон, а когда открыл я глаза, то оказалось, что лежу у себя на балконе, растянувшись на удобном диване. Но ведь все факты в этой истории не вымышлены! Это крик моей души! И не хотелось бы верить, что она мне лишь приснилась. А потому с вашего разрешения здесь я и прерву свой рассказ, ибо всегда мечтал, чтобы сбылись чаяния людей добрых и благородных.

Лицемеры! Такова земля ваша! Я лишь попытался показать кое-что из ваших деяний, чтобы вы видели, сколь они гнусны и подлы! Не меня ругайте, самих себя порицайте! Не ругайте свое отражение, ругайте оригинал! А кто из вас не лицемер, пусть бросит в меня камень!

■

ХУАНА де ИБАРБУРУ

Перевод с испанского и вступление ИННЫ ЧЕЖЕГОВОЙ

Стихи Хуаны де Ибарбуру впервые появляются на русском языке.

В поэзии Латинской Америки много женских имен: в семнадцатом веке — Хуана Инес де ла Крус, в девятнадцатом — Гертрудис Гомес де Авельянеда, в двадцатом — целое поэтическое созвездие. Вот уже на протяжении десятилетий в испаноязычной поэзии, быть может, ярче других сверкают имена Габриэлы Мистраль, Хуаны де Ибарбуру, Альфонсины Сторни.

Летом 1938 года в первый и единственный раз они встретились на поэтическом празднестве на родине Хуаны в Уругвае. Хуана де Ибарбуру была из них самой молодой и уже самой прославленной: за десять лет до встречи она была в Монтевидео публично увенчана лаврами, заслужила пышный титул «Хуана Американская». Стройная, элегантная, изысканностью черт напоминающая «роковых» героинь немого кино, Хуана де Ибарбуру в поэзии начинала как язычница: славила радости жизни, любви, воспевала природу родного Уругвая. «Ее поэзия, словно живительный поток, омыла иссушенные человеческие сердца, обдав их библейским ароматом «Песни песней»,— так восторженно оценила критика первый поэтический сборник Хуаны де Ибарбуру «Бриллиантовые языки», вышедший в 1918 году. В 1920 году Хуана де Ибарбуру выпускает сборник стихотворений в прозе, в 1922-м — поэтический сборник «Дикий корень».

Признание своего таланта Хуана де Ибарбуру восприняла как чудо: выросшая в маленьком провинциальном городке, в патриархальной семье, Хуана, по ее собственным словам, и не помышляла о том, что станет поэтессой. Впоследствии, отвечая на расспросы досужих критиков, она вспоминала отца, галисийца по происхождению, обожавшего поэзию и часами декламировавшего дочери звучные строфы Эспронседы и Росалии де Кастро: «Для меня это всегда было самым большим праздником. Быть может, именно в эти часы и пробудилось во мне мое призвание...»

Шумная слава не затронула ни внутренней, ни внешней жизни поэтессы — жизнь ее протекала по-прежнему замкнуто и тихо. Отвечая своим читателям, Хуана де Ибарбуру говорила: «Я должна сознаться, рискуя разочаровать вас, что я не ношу развевающихся одежд, не пишу при свете золотых светильников, не возлежу на ложе, усыпанном лепестками роз и фиалок... Моя башня из слоновой кости — всего-навсего уютная комнатка на верхнем этаже, с двумя большими окнами, открытыми навстречу жизни, морю, долине, где растут деревья и виднеются бедные жилища. Должна сознаться, что у меня нет священных минут творчества, я дорожу любой минутой и любым часом, которые моя жизнь, наполненная многочисленными обязанностями, дарит мне... Быть может, эта правда разочарует вас, но поверьте, свет домашнего очага — тоже поэзия».

В 1930 году Хуана де Ибарбуру опубликовала новый сборник стихов — «Роза ветров». Пантеизм раннего периода ее творчества, юная радость бытия уступают здесь место более глубокому осмыслению прожитой жизни; образная и метрическая система ее поэзии обновляется. «Без постоянного внутреннего обновления,— пишет поэтесса,— человек стареет вдвое быстрее, а стихи стареют еще быстрей, чем человек». В «Розе ветров» уже ощущается предчувствие заката, еще только предчувствие, но его «распростертая тень» уже встает над вечно юным «ожиданием», бесстрашным в своем неведении «мятежом», наивной верой в «бессмертие». Уверенная классическая стро-

фика ранних стихов становится все более раскованной, слова приобретают бóльшую смысловую вескость, фразы — бóльшую энергию выражения.

Последующие годы проходят без видимых значительных событий в жизни поэтессы: она по-прежнему живет замкнуто, несмотря на многочисленные приглашения ни разу не покидает пределов своей страны. Но наступает время утрат: Хуана теряет своих близких. «Утрата» — так назвала она свою новую книгу (1950 год). Это печальная и мужественная книга — поэтесса не обманывает себя, как она никогда не обманывала других, и теперь она находит в себе силы признаться, что счастье, любовь ею утрачены и одиночество неизбывно. «Я еженощно эту боль терплю...» — пишет поэтесса, но это не только отчаяние, это и боль преодоления, боль, которую необходимо претерпеть, чтобы вырваться из замкнутого круга, чтобы выросли «новые крылья». Нет больше «смуглой, веселой дикарки», «охотницы Дианы», дерзко топтавшей росистую траву, но природа, которую она не уставала воспевать всю жизнь, спешит ей на помощь: «И аромат ромашки мне навстречу бросается, как старый, верный пес...»

Ожидание

О лен! Скорее зрей для полотна
на простыни: на них обнимет сон
любимого — вернется скоро он,
вернется он, едва придет весна.

О роза! Ты раскрой бутон тугой:
пусть лепестков твоих узорный ряд
всю яркость красок, весь свой аромат
отдаст, когда придет любимый мой.

Златые кандалы для милых ног
и невесомейшие из цепей
пусть в кузнице любви скуют скорей,
скорей, чтоб снова он уйти не мог.

В саду повсюду я посею мак,
чтоб он забыл все прежние пути...
О страсть, его жгутами окрути,
о нежность, верным псом у двери ляг!

Мятежница

На челн я твой взойду мятежницей, Харон,
пусть тени остальных неслышно точат слезы
иль тихо молятся, боясь, чтоб чей-то стон
не породил в глазах твоих немой угрозы.

Разбудит мертвый челн мой дух живой и дикий:
как жаворонок, я там буду плыть и петь,
рассыплю, как фонарь, я голубые блики
и воды мрачные заставлю просветлеть.

Да, я мятежницей взойду на челн Харона:
слезинки не пролью и не издам ни стона,
как ни бесись, старик, мой гордый нрав кляня,

нет, не принудишь ты меня к повиновенью,
с челна я не сойду сама покорной тенью,
как варвар — пленницу, ты вынесешь меня.

Бессмертие

Любимый, коль умру, не хорони
меня на кладбище: зарой меня
неглубоко, в том месте, где слышны
лишь гомон птиц и речки болтовня.

Неглубоко. Почти поверх земли,
чтоб солнце кости грело, чтоб мой взгляд
стеблями выросшей из глаз травы
вновь отражал пылающий закат.

Неглубоко захорони меня:
плоть будет бунтовать, и легче так
свершится переход ее туда,
где холод ждет ее, распад и мрак.

Там руки мои будут на груди
покоиться, не зная маяты:
я не хочу, чтоб в хаосе могил
они взрывали землю, как кроты.

Посей цветы. Пусть корни их возьмут
мой жалкий прах в бессмертное кольцо:
и, по корням взобравшись, я взгляну
глазами ирисов тебе в лицо.

Дикарка

Я пью из чистого и светлого ручья,
одна, среди полей, брожу без цели я,
и не забыл еще мой суковатый посох,
как пел в его ветвях хор птиц разноголосых.

Так провожу я дни, беспечна и резва,
и стелется ковром мне под ноги трава —
в ней земляники тьма, а чуть рукой раздвину
малинник — там найду поспевшую малину.

Горячим духом трав, созревших на лугах,
я вся пропитана. И в темных волосах,
летящих по ветру, смешались ароматы
шалфея, клевера, вероники и мяты.

Свободна и юна, смугла и весела,
Церерой царственной я, верно, быть могла...
Но, как охотница Диана,
росистую траву топчу я утром рано.

Дикий корень

Цивилизацией сыта по горло:
хочу свободной быть, хочу счастливой быть.
На пышной клумбе я цвету, как все, покорно,
но корень дикий мой не дам я обрубить!

Элегия

. . . . . .
Жизнь протекла ленивой рекой.
Что удержала я вялой рукой?

В мире моем все опустело:
ни легкости танца, ни сложности дела,
ни летнего солнца, ни нового дня...
И трауром ночь одевает меня.

Точильщик

Я еженощно эту боль терплю:
как трудно к новым крыльям приспособиться!
А где же те крыла, что лишь вчера
дала мне в предрассветный час бессонница?

О день, точильщик ножниц золотых,
стальных кинжалов и мечей железных,
вчерашней ночью на крылах зари
я до небес до самых долетела...

Но утром ты пришел,
и твой точильный камень,
крутясь, запел,
и ты, двенадцатью ножами,
ночные крылья долго резал мне...

Встреча

Лекарственной ромашки аромат.

Ромашки золотисто-белоснежной —
ее крестьянки старые хранят...

И всюду: на отлогих склонах гор,
в сырых низинах, сочных и зеленых,
на вьющихся среди полей дорогах
и возле старых ранчо — тут и там —
ромашки, разогревшейся на солнце,
я впитываю пряный аромат.

Иду я по знакомой мне дороге,
под сенью тамариндовых деревьев,
и аромат ромашки мне навстречу
бросается, как старый, верный пес...

Я пью его — целительный и терпкий,
хоть от него чуть-чуть и саднит в горле,
но свеж и чист он, словно в полдень знойный
глоток воды.

Я погружаю вновь лицо в цветы
с их запахом, радушным и невинным,
их лепестки, как белые зубцы,
венчают золотую сердцевину...

И прозревая вдруг, я ясно вижу,
что море лжет, что мне мила земля
и землякам моим она мила,
что к морю наша не лежит душа:
мы — пахари, земля у нас в крови.
Холмы и горы, степи и леса,
зеленые, цветущие равнины,
пасущиеся мирные стада —
все это ближе нам, намного ближе,
чем необъятный лживый океан.

С полей приносит в дом бродяга-ветер
все запахи земли. И все поет
во мне. И радость встречи
ромашкой в сердце у меня цветет.

■

РОБЕРТ СТОУН

В зеркалах

РОМАН

Перевод с английского Н. ТРЕНЕВОЙ, В. ГОЛЫШЕВА и И. ГУРОВОЙ

Рейни почти всю ночь прошагал по пустынным улицам. Когда пошел дождь, он сел в автобус и доехал до конечной остановки, где услышал звуки ночных болот, разносившиеся по воде. Из темных садов на него лаяли собаки. Где-то он прошел мимо ночной закусочной — сидевший в одиночестве раздатчик пугливо косился на широкое стеклянное окно.

Напрягая рассудок, Рейни старался решить, что делать дальше. Всю свою жизнь он чувствовал, что на него возложена какая-то обязанность и что эта миссия входит в договор, заключенный между ним и жизнью. Даже когда он переставал жить живой жизнью, это его не освобождало — он не мог отречься от этой обязанности и продолжать жить.

Он знал, что превратился в духовного калеку, что не выдерживает натиска обстоятельств, что у него нет резервов.

Он не переоценивал своих возможностей: он знал, что не способен преодолеть сопротивление. И что бы он теперь под конец ни сделал, это надо делать быстро и нести все последствия. Без сомнения, думал он, это будет что-то совсем малоценное, но вопрос не в этом. Если бы он начал раньше, то мог бы сделать что-то значительное, но теперь слишком поздно.

В одном он был уверен твердо: он пойдет завтра вечером на это их сборище.

Было уже очень поздно, когда он сел в автобус, шедший к центру. Он оказался совсем один, если не считать двух парочек, сидевших впереди,— служащих аэропорта, которые работают в ночную смену. Рейни не нравились их голоса: в них чудилось что-то знакомое и неприятное, о чем он не хотел вспоминать. Он тревожно смотрел в окно автобуса на бежавшие по почти уже ясному небу облака, странно прозрачные, обведенные по краям лунным светом. Когда он узнал замелькавшие снаружи улицы окраины, он встал и вышел из автобуса, ища укрытия во мраке, окутывавшем негритянские трущобы.

Он свернул в сторону от баров в южной части Рэмпарт-стрит на пустынные улицы. Машинально он пошел к гостинице Клото, и к тому времени, когда он добрался до нее, в нем возникла томительная тоска по дню и свету. Но когда он перешел замусоренную площадь и заглянул в окно вестибюля, была глухая ночь.

Окончание. Начало в №№ 4, 5.

Сторож подметал пол и хлопал щеткой по разбегавшимся мышам. Его губы непрерывно шевелились.

Рейни подошел к окну кафе и увидел, что Рузвельт Берри у пустой стойки пьет из пивной кружки. Он вошел и встал рядом с журналистом.

Берри невесело поглядел на него и ничего не сказал.

— Мы расквитаемся,— сказал Рейни.— По-моему, я могу оказать вам услугу.

— Так я и знал,— сказал Берри.— Входил сюда и знал, что нынче у меня счастливый день, а теперь являетесь вы с намерением оказать мне услугу. Ну что мне от вас может быть нужно? Убирайтесь-ка отсюда, пока с вами ничего не случилось.

— Я еще не знаю какую,— сказал Рейни.— Но какую-то непременно.

Берри поглядел на грязную рубашку Рейни, на его лицо, осунувшееся от усталости.

— Вы свихнулись, друг мой,— сказал он спокойно.— А мне не жаль вас. Вероятно, мне следовало бы жалеть, что вы свихнулись, но я не жалею. Впрочем, одно я вам скажу.— Он похлопал Рейни по плечу с вялым дружелюбием.— Я и не рад.

— Я собираюсь схватиться с ними. У меня нет другого выбора. Ради себя, ради жизни. Я хочу, чтобы вы знали об этом и были свидетелем.

— Чушь,— сказал Рузвельт Берри.

— Что бы это ни было,— сказал Рейни,— я хочу, чтобы кто-нибудь знал, что это было сознательное и обдуманное действие.

— Ну-ну,— сказал Берри радостно,— просто замечательно, детка. Сознательное и обдуманное действие, а? И вы хотите, чтобы я при этом присутствовал? Так разрешите сообщить вам, что я намерен присутствовать только при собственном отбытии из здешних мест. И не позволю, чтобы сумасшедший лишал меня столь необходимого мне отпуска.

Он допил вино в кружке.

— Друг мой,— сказал он Рейни,— вы до того свихнулись, что мне блевать хочется. То есть как это вы схватитесь с ними? И кто, по-вашему, эти «они»? Вы все взбиваете пену, и они сотрут вас в порошок. Вы уже заработали себе кое-какие неприятности.

— Я сделал что мог,— сказал Рейни.— И пока не явилась полиция, я даже не думал, что сделал так много.

— Они займутся вами, когда завтра вечером докончат то, что начали. После этого, как предполагается, многое пойдет по-другому. Ну, а я уезжаю в отпуск.

— Вы говорите про это «возрождение»? — спросил Рейни.— Про митинг на стадионе?

— Да,— сказал Берри,— про это самое.

— А что вам известно?

— Я что, по-вашему, осведомитель? — Берри подошел к двери, которая вела в вестибюль отеля, и заглянул туда. Потом он притворил дверь и несколько секунд простоял возле нее, прислушиваясь.— Ну что же, вы правы,— объявил он Рейни, неторопливо возвращаясь к стойке.— Я осведомитель. Но только из любви к искусству.— Он налил себе в кружку еще вина.— Этот митинг состоится в Большой Лавочке дядюшки Лестера. Он собирается завтра превзойти самого себя, потому что ему предстоит устроить там не более и не менее как небольшие расовые беспорядки. Заправилы позаботятся о восстановлении своего закона и порядка, а нас, мальчиков, прижмут к ногтю, чтобы мы и пикнуть не смели. Это будет вроде второго «Рождения на-

ции», а на роль злодея они подрядили Лестера. Он подошлет своих ребят — в решительный момент они должны будут появиться на стадионе, вопя что-нибудь. В теории предполагается, что они выберутся оттуда живыми и получат условленную плату, а тем временем одна компания возьмет верх над другой.

— Вы хотите сказать, что он намерен инсценировать расовые беспорядки?

— Для беспорядков нужны две стороны, и он поставит одну из них — ту, которая потерпит поражение, само собой разумеется. Кроме того, что-то вдруг стало очень легко организовывать протесты против этого митинга. Обычно Лестер протестов не одобряет, но вот на завтра они как-то очень быстро подобрали пикетчиков. А Лестер и не подумал вмешаться. Полиция тоже. Странновато получается.

— Кто стоит за этим?

— Не знаю,— сказал Берри.— Свободные техасские денежки.

— У них ничего не выйдет,— сказал Рейни.— Это невозможно.

— Я знаю, детка. Я знаю, что у них ничего не выйдет. Даже вы знаете, что у них ничего не выйдет. Но они-то этого не знают, а потому, глядишь, и добьются своего.

— Какое-то безумие,— сказал Рейни.— Зачем им понадобилось устраивать такое сумасшествие?

— Видите ли, друг мой, это все та же старая история: кто хуже. Но по моему мнению, мнению журналиста, они сядут в лужу. Во-первых, этот стадион находится в негритянском квартале. А к тому же я слышал, что завтра там соберутся еще черные, которые не работают у Лестера, и вот их умиротворить будет потруднее. И еще: во всей этой операции есть какая-то гнильца. Ничего похожего на добрые старые времена подначивания черномазых. Знаете, мне кажется, кое у кого из этих гладких толстяков есть в характере легкая склонность к самоубийству. Они помнят Аламо [1], ясно? Они думают, что пока вам не устроят хорошенькую резню, вы и знать не знаете, как это бывает.

— Они сумасшедшие,— сказал Рейни.

— Что ж, ведь и вы тоже, детка, не в своем уме, так почему бы вам не присоединиться к ним? — Он допил вино и весело посмотрел на Рейни.— Черт подери! Конечно. Вы же хотите оказаться в центре событий. Ну, так отправляйтесь туда и отчитайте их хорошенько. Скажите, что вас они надуть не могут.

— Да,— сказал Рейни.— Я пойду туда. Я должен что-то сделать.

Берри поставил кружку и отошел от стойки.

— Смотрите не подведите меня,— сказал он, поправляя соломенную шляпу.— Не то я пожалею, что рассказал вам.

Он оглядел кафе и вышел в темноту. Над улицей проносились обведенные лунным светом облака. Не было заметно никаких признаков утра.

Рейни заглянул в вестибюль гостиницы. Швейцар ушел, за конторкой не было никого. В одной из верхних комнат негромко играло радио.

Он вернулся в кафе и сел за столик у стены. Время от времени он поглядывал в окно, не забрезжил ли день, но там была только ночь. Кто-то расхаживал взад и вперед по комнате над его головой.

Он уткнулся лицом в руки и увидел ночные облака.

Когда он поднял голову, в комнате было почти совсем темно. Лампы над стойкой погасли, но дверь, ведущая в посудомойную, была

---

[1] Форт в Техасе. Во время войны США с Мексикой в 1836 году был осажден мексиканскими войсками. Гарнизон защищался до последнего человека. Выражение «Помните Аламо!» стало призывом к мести.

открыта, и за ней виднелась лампочка без абажура, висевшая над глубокой раковиной. На улице стоял непроницаемый мрак.

В дверях появился мистер Клото.

— Надвигался ураган,— сказал он Рейни,— но ушел в море.

Рейни рассматривал мистера Клото в свете тусклой лампочки. Ему казалось, что в комнате есть еще люди: он на мгновение словно увидел, что кто-то сидит, положив локти на столик, в темноте у окна.

— Все кончено,— сказал Рейни.— Мы больше не будем брать интервью. Я собрал все нужные мне сведения. Я разделаюсь с вами.

— Рейни,— ласково сказал мистер Клото,— лучше поищите, где бы приклонить голову. Это вам не по силам.

— Мне все равно,— сказал Рейни.— Я больше в этом не нуждаюсь.

— Вы увидите, как мир сужается. Вы увидите, как мир становится маленьким.

— Я это уже видел.

Мистер Клото прошел мимо него, медленно приблизился к окну и задернул занавеску.

— «Мамочка, позволь, я выйду поиграю в темноте»,— пропел он по-матерински ласково.— Где сейчас ваша мамочка? Мамочки нет, детка. Человечек совсем один?

— Да,— сказал Рейни,— я один.

— Значит, нечего вам и соваться. Вы *ни с кем* не в силах разделаться.

— Если я один бессилен, то и вы тоже. А вы останетесь один.

— Ах, мистер Рейни,— сказал Клото со вздохом,— опять тщеславие. Больные иллюзии. Я никогда не бываю один.— Он улыбнулся.— Если бы вы были нормальным человеком, вы бы не сидели тут. Если бы вы обладали целостностью духа, то даже я вас уважал бы. Но вы просто дурак. Неужели вы не понимаете?

— Каков я, не имеет ни малейшего значения. Если то, что я сделаю, ни к чему не приведет, это тоже не имеет значения. Но ничто не дается даром, Клото. Даже вам. Жизнь реальна, и люди реальны, и бездушный прах пробуждался не для того, чтобы вы творили подобие жизни и смерти. И я выступаю против вас.

— Ну что ж, извольте. Но разрешите сказать вам, что вы — основа существующего порядка вещей. Пока находятся люди вроде вас, все будет идти как по маслу. Право, не знаю, что было бы со мной без вас.

— Нет,— сказал Рейни.— Это не так.

— У каждого человека есть свой девиз, братец, и лучшего вам не найти. Вы думаете, это не так, глупец? Узнай вы, какой у меня девиз в жизни, вы бы сильно удивились. Впрочем, вас удивить не шутка, так уж вы устроены.

Рейни отступил и быстро поглядел на улицу. За занавеской по-прежнему было темно.

— Пора бы наступить утру,— сказал он.— Ночь сегодня очень длинная.

— Ничего, кроме ночи, вас теперь не ждет, детка. Мир для вас больше освещаться не будет. Привыкайте к тому, что есть.

— Вы...— сказал Рейни.— Клото, вы не можете отнять у меня свет...

— Могу,— сказал Клото.— Я уже его отнял.

— Вы не можете погрузить меня во мрак... когда мне еще надо многое сделать.

— Если вам нужен свет, придется взять его у меня. Потому что я могу дать вам свет и утро. Хотите, чтобы я это сделал, детка?

— Да,— сказал Рейни.

— Все готово! Глядите сюда!

Перед Морганом Рейни разлилось белое утро, тьма исчезла без следа. Глядя в ослепительный блеск, он видел над ним чистую синеву занявшейся зари, целомудренной и сияющей. Это было чудесное утро, веял ветер, неся шорохи колышущихся высоких трав.

До него донеслись голоса, и, прислушавшись, он уловил в их зове что-то зловещее — пение, смех и вопли боли, приносимые порывом душистого ветра. Он остановился, не понимая, кто может вопить от боли под таким небом.

— Клото! — позвал он.

— Вот ваш день,— сказал голос мистера Клото.— И света сколько угодно.

Голоса зазвучали ближе, и он внезапно понял, что́ именно он слышит и почему свет так ясен. Его обдувал душистый от запаха полей ветер американского утра, и он четко слышал каждый голос, приносимый ветром. Выражения сочувствия, обещания, скрытые насмешки, обольщения, лживый смех, еле сдерживаемая истерика, прерывистое дыхание, нежность, страх, внезапный взрыв страсти, унижение, вежливая жестокость, вежливый обман, ложь, которой верят, ложь, которой не верят,— все это звенело в его ушах и замирало вдали.

Он слышал в американском ветре, как пожилые дамы, запинаясь, бормочут слова молитвы, он слышал проклятия фермеров на заре, он слышал зов тысяч детей, заброшенных летом, хныканье пьяных, слышал, как кричат люди, перекрывая грохот машин, и как они, запинаясь, еле слышно бормочут в зале суда, и как монотонно причитают священники. Он слышал голоса полицейских, твердые, как булыжник, и голоса молодых дельцов на званом обеде, и смех толпы убийц, и смех детишек в супермаркете.

Рейни повернулся и увидел, что из солнца на него надвигается толпа. Когда первые ряды приблизились, он увидел, что лица людей окровавлены и что многие ему знакомы. Толпа наваливалась на него, угрожая сокрушающим, окровавленным объятием.

— Я не могу! — крикнул он.— Я не выношу, когда ко мне прикасаются!

Высоко вверху маленький сияющий самолет кружил в небе, поливая зеленые холмы огненным ливнем.

— Самое обыкновенное утро,— сказал голос мистера Клото.— Хотите, чтобы опять было темно?

— Да,— сказал Рейни.

И стало темно. Он был в чаще, звеневшей ночными насекомыми. Перед ним лежала поляна, где на земле мерцали тлеющие угли. Где-то в темноте пели люди. Пение удалялось и замирало.

Пока Рейни смотрел, по поляне скользнул луч света, и он увидел бочку из-под бензина, которая стояла на дымящихся камнях посреди ямы, засыпанной мусором. Через край бочки бежала дымящаяся смола, а из нее торчала фигура, похожая на грубо вырезанную статую. Из-под мышек фигуры и с ее шеи на обугленную траву свисали три почерневших куска каната.

В полосу света вошел толстяк и уставился на фигуру; толстяк судорожно глотнул, и его широкое красное лицо исказилось от возбуждения. Глаза у него выпучились, уголки рта взволнованно задергались.

«Черт подери! — сказал толстяк. Он отступил на шаг и хлопнул себя по бедру.— У-ю-ю-юй! — завопил он, и его глаза стали сумасшедшими.— Гляньте-ка! Это же смоляное чучелко, разрази меня бог! У-ю-ю-юй!»

Он повернулся и, вопя, бросился прочь. В горле у него клокотал сумасшедший смех. Рейни слушал, как его голос замирал вдали:

«Черт вас дери, только поглядите, что они устроили! Эти ребята сделали смоляное чучелко...»

Рейни чувствовал вкус черной земли, его лицо вжималось в траву, он судорожно кашлял и плакал в летнем душистом клевере на том самом месте, где это произошло много лет назад в Пасс-Руайом, когда там пронесся ураган.

— Я все это видел! —крикнул Рейни.— Я все видел, но я забыл. Я был не вполне нормален и не выносил, чтобы ко мне прикасались, и я забыл.

— Клото! — крикнул он.— Я помню это утро и помню этого мальчика. Я был вашим, но освободился от вас, потому что увидел все это. Слышите? Вам нечего мне показать! Ибо мы боремся не с людьми,— кончил он, глядя прямо в лицо мистеру Клото.— А с властью. Со слепыми силами.

— Наверное, вы провели тяжелую ночь, мистер Рейни. У вас совсем больной вид, сэр. Может быть, вы отдохнете и разрешите мне помочь вам?

— Нет,— сказал Рейни.— Вы уже оказали мне всю помощь, на какую способны. Мне хотелось бы, чтобы вы это знали.

— Надеюсь, это не так,— сказал мистер Клото.— Я уверен, что это не так.

— Это так. А теперь я попробую сделать что-нибудь для вас.

Мистер Клото невозмутимо посмотрел на него.

— Извольте.

За столиком возле двери сидел коричневый человек в белом костюме и смотрел на них. Рейни прошел мимо него и вышел наружу в серый утренний свет. Было прохладно и ветрено.

Мистер Клото вышел на тротуар и остановился, глядя вслед Рейни. Он стоял и вертел на пальцах перстни с драгоценными камнями.

Рейнхарт и Ирвинг шли в ногу через заставленную машинами площадку ко входу в туннель, украшенному знаменами. Из машин со всех сторон появлялись человеческие мирки; семьи шли в ряд, улыбаясь. Все шагали в ногу, как на параде; громко хрустел гравий. Чуть позади Рейнхарта шли Марвин и брюнетка.

Все, кроме Ирвинга, накурились марихуаны, пока ехали.

— На нас все косятся,— сказал Ирвинг.— Надо было нацепить пуговицы с эмблемой.

— Верно,— сказал Рейнхарт.

«Верно,— подумал он.— Неловко идти вперед без пуговиц. Нараспашку».

— Нам следовало бы нести флаг,— заметил он вслух.— И идти под крики и трубы, танцуя перед ковчегом.

— Или под грохот барабанов,— сказала брюнетка.

— Нам следовало бы прискакать на конях! — закричал Марвин.

— Знаете,— сказала девушка,— а жаль, что это не съезд на машинах. Можно было бы поднять стекла.

— На этот раз все будет по-другому,— мрачно объявил Рейнхарт.— Совсем по-другому.

Толпа замедляла шаг у воронки туннеля, через которую она вливалась на стадион. Их озарили цветные огни, музыка разжигала их нетерпение, ряды окутывала духота всеобщей доброжелательности. Рейнхарт и Ирвинг показали охраннику у ворот пропуска, подталкивая перед собой своих приглашенных.

— А это кто? — спросил охранник.

— О! — сказал Рейнхарт.— Эти молодые люди — победители нашей викторины о будущем двадцатого века. Нам велено привести их сюда.

Охранник обвел их взглядом.

— Это верно? — спросил он.

— Да,— сказал ему Рейнхарт.

— Где же они будут сидеть?

— На верхнем ярусе,— сказал Марвин.— Где-нибудь повыше.

Их пропустили, и они вошли под своды арки, за которой было поле. Вверху ряды искусственных факелов озаряли химическим светом изображения ранних христиан, молящихся в римских катакомбах. Толпа растекалась по ярко освещенным коридорам, любовалась остроумными украшениями, ее радостное возбуждение росло.

По другую сторону арки вздымался неизмеримый купол света, из которого словно бы маленькие смерчи снега непрерывно опускались на пронзительно-зеленую траву. На обоих концах поля торчали белые крестообразные флагштоки, окруженные цветниками из красных роз, а в центре, у края, стояла незатейливая эстрада. Позади нее виднелось что-то вроде брезентового циркового шатра. Перед эстрадой на вращающихся лопастях, скрепленных в виде креста, были установлены газовые горелки.

— Как бы нам забраться наверх? — спросил Марвин, глядя на факелы в вышине.— Нам надо туда.

— Ну,— сказал Ирвинг,— я бы так высоко сидеть не хотел.

— Верно,— сказал Марвин,— но ведь это мы, а не вы. И мы любим сидеть, где высоко.

Брюнетка угрюмо кивнула.

— Прекрасно,— сказал Рейнхарт.— В сомнительных местах испускайте одобрительные крики как можно громче.

— Само собой разумеется,— сказал Марвин, и они с брюнеткой направились к лестнице.

Ирвинг и Рейнхарт пересекли поле и прошли через лабиринт проволочных оград, окружавших скопления накрытых столиков.

— Поглядите-ка на траву,— сказал Рейнхарт.— Это же настоящая трава.

В дальнем конце поля оркестр в форме континентальной армии играл «Сплотимся под знаменем нашим, ребята».

— И розы,— сказал Ирвинг.

Рейнхарт, старательно не глядя на трибуны, показал свой пропуск охраннику у пандуса, ведущего на эстраду, и, пройдя по нему, направился ко входу в шатер.

— А мы опоздали,— сказал Ирвинг.

— Да,— сказал Рейнхарт.

— Пожалуй, я займусь звуком.

Ирвинг подошел к краю эстрады и посмотрел вверх, на прожектора. Рейнхарт сделал жест, словно поправляя галстук, и вошел в шатер.

Трава под брезентом была не такого цвета, как на поле; земля здесь была влажной и скверно пахла. В траве были вытоптаны грязные тропинки. Рейнхарту вдруг все это напомнило какое-то совсем другое место. Он сорвал с пола одуванчик, а когда выпрямился, под его веками пробежали разноцветные вспышки. Он уставился сквозь них на седого старца, который глядел на него с насмешливым добродушием.

Снаружи раздавался оглушительный шум, округленный нараста-

ющий звук, который рябил брезентовые стены. Рейнхарт смотрел на старика и старался вспомнить, где было это другое место.

— Кафе «Ребел»,— сказал Рейнхарт.

— Кафе «Ребел»? — вежливо переспросил сенатор Арчи Райс.— Вы, по-видимому, немало времени провели в этом кафе. Или там виски разбавляют один к десяти?

На складном столе посреди шатра стояла бутылка «Старой смеси». Рейнхарт подошел и стал смотреть, как свет фонаря просачивается сквозь жидкость, отбрасывая волнистые тени на стопки бумаги рядом с бутылкой. От шума снаружи стены и потолок надувались огромными противными пузырями текучего брезента. Рейнхарт потрогал пальцами грудь и ничего не почувствовал. Он смотрел на бутылку.

— Рейнхарт! — позвал чей-то голос.

Кто это крикнул: «Рейнхарт»? Он повернулся на звук, и в его исходной точке увидел Бингемона и Кинга Уолью, которые смотрели на него.

— Поди-ка сюда, приятель,— сказал Бингемон.

«Мистер Бингемон — это зрелище»,— подумал Рейнхарт.

— Какого черта, дружок? — ласково спросил мистер Бингемон.— Вы же не пьяны, а?

— Нет,— сказал Рейнхарт.— Я не пьян. Вот увидите.

Мистер Бингемон замигал, уставился на него и расхохотался.

— Сукин ты сын,— сказал он Рейнхарту.— Можешь быть уверен, я с тебя глаз не спущу. Бьюсь об заклад, ты себя покажешь.

— Да, покажи себя, дружок,— хрипло сказал Кинг Уолью,— и мы тебя расцелуем.

Красные и белые зловещие кольца плавали над их головами. Рейнхарт смотрел на них с торжественной серьезностью.

— Он сегодня на взводе,— сказал Бингемон.— Черт подери, с этими сукиными детьми надо держать ухо востро, когда они слишком развеселятся. Я хочу сказать, что ты опоздал на час, рыло!

— Да,— сказал Рейнхарт, посмотрев на часы, которых, как он прекрасно знал, на его левом запястье не было. Когда-то у него были часы, вспомнил он, но он их заложил.— Извините.

Бингемон и Уолью вышли на эстраду. На их месте короткими прыжками возник Джек Нунен. «Он будто перекроил себе лицо,— подумал Рейнхарт,— сырость вокруг глаз, а рот и нос словно заново наклеены».

— Я решил подождать, пока они уйдут, чтобы сказать вам вот что,— объявил Джек Нунен.— Вы здорово вляпались. Знаете, что сказал Бингемон? Он сказал, что убьет вас, если вы его сегодня подведете. Так и сказал: «Я его убью». И вполне возможно, что это — не для красного словца, Рейнхарт. Вы же его знаете. Я хочу сказать, что он может и вправду вас убить!

— Джек,— сказал Рейнхарт.

— Что? — слезливо спросил Джек Нунен.

— Ничего, Джек. Ничего.

Он прошел в тот угол шатра, где Фарли-моряк нервно перелистывал пачку исписанных листов.

— А! — сказал Фарли.— Рейнхарт, старина, ты впал в немилость, приятель. Тебя недолюбливают. Берегись Бингемона.— Он быстро посмотрел по сторонам.— Мы с тобой ведь будем стоять друг за друга, а? Пойдем рука об руку, верно?

— Конечно,— сказал Рейнхарт.— Нас водой не разольешь.— Он вышел на эстраду и уставился на толпу, проходившую по яркой траве. Ирвинг стоял у края эстрады с проводом в руке.

— Видишь? — сказал Ирвинг, кивая в сторону горелок на перекрещенных лопастях.— Это крест. Они здесь сегодня зажгут крест.

— Знаю.

— Это уже не смешно. И всегда-то эта штука была не слишком веселой, но, знаешь, когда такое...— Он обвел рукой трибуны.— Такое собирается вместе, чтобы зажечь крест, я теряю sang froid [1]. Видишь ли... крест! Это же для меня.

— Брось, Ирв,— сказал Рейнхарт.— Только увидел крест и уже думаешь, что он для тебя. А он отчасти и для меня.

Над прожекторами во мраке невидимой толпы бился гул, падавший на поле, как волны черного снега, или тень крыльев, или перекличка хищных птиц на ветру. Рейнхарт посмотрел на прожектора и увидел мертвые побелевшие глаза, подергивание тощих шей, окровавленную кость, терзаемую добычу — огромный стонущий птичник, клювы и когти.

— Ирвинг,— сказал он,— как ты думаешь, кого они там собрали?

Ирвинг пожал плечами.

— Твоих поклонников.

— Верно,— задумчиво сказал Рейнхарт.— Абсолютно верно.

— Да,— сказал Ирвинг, рассматривая изоляцию провода, который он держал в руке.— По-моему, это уже не смешно.

Она шла за толпой вверх по бетонной лестнице под звуки старой песни, которую играл оркестр на поле. Толпа вела себя как в деревенской церкви: в приподнятом настроении, но серьезные, люди занимали места на скамьях.

Джеральдина подумала, что вот уже три дня она живет неизвестно как. В сумке у нее было четыре доллара и сигарета с марихуаной, которую ей дали калифорнийцы, жившие под ними на Сент-Филип-стрит. Еще у нее была четвертинка с жидкостью под названием «Мексиканский коньяк» и пистолет, купленный за восемь долларов. Это был однозарядный «даррел-ворлис» калибра 5,59; каждый раз, когда она дотрагивалась до сумочки или перекладывала ее из руки в руку, она ощущала под винилом железные косточки машинки.

Толпа вышла на открытый воздух, и при виде поля, огней, оркестрантов в костюмах с блестками из груди людей вырвался сладкий вздох. Джеральдина двигалась среди них, держась за перила. Да, крупную развели бодягу, крупнее ей видеть не доводилось. «Молодец, Рейнхарт,— подумала она, окидывая взглядом стадион,— конечно, тебе самое место на радио». Она спустилась на несколько рядов и села около трех немолодых женщин.

Если ты и днем не можешь с этим жить, то ты вообще жить не можешь. Во всяком случае, она; ей это не по силам. Тогда уж лучше было остаться на полу в Галвестоне, в баре, который был залит ее кровью. «То дрожишь, то вздрагиваешь,— подумала она,— то деньки, то ночки, и голова кругом — бр-р. Нет, спасибо».

Оркестр на восточном краю поля заиграл «Обопрись на мощную руку». Там и сям на трибунах люди начали подпевать.

Чувства, от которых она избавилась, когда перестала быть ребенком, проснулись вновь: чувства вроде Страха Божьего, Священного Трепета. Но теперь они означали для нее только одно — смерть.

«Страшно,— подумала она.— Страшно, страшно, страшно». Она повторяла про себя это слово, а соседка пела о том, что надо положиться на Христа.

[1] Спокойствие духа *(франц.)*.

Она проводила время с человеком из Чарльстона; его очень растрогали шрамы на ее лице.

Она шла по Сент-Чарльз авеню под дождем, посередине улицы, и полицейские топали за ней по одному тротуару, а по другому, пока не взошло солнце, за ней гналась мужеподобная лесбиянка.

Она напилась с каким-то мужчиной, который рассказывал ей о том, как они с приятелем отрезали у одного человека уши и прибили к макушке.

Она бродила где-то часами, и в ушах ее стоял тот звук, который она услышала, когда Коряга в первый раз полоснул ее по лицу; этот звук слышишь внутренним ухом. Боли от первого пореза она совсем не почувствовала, но звук был жуткий.

Ей снились мертвые младенцы. Ей снился мужчина с кастетом.

В какую-то минуту она вдруг разозлилась; она зашла в магазин и купила маленький пистолет, словно нуждалась в нем больше всего на свете. Потом похолодало. Она устала, и ей стоило немалых трудов держать голову прямо. Она ходила и искала Рейнхарта, но его нигде не было. Она подумала, что, может быть, ей удастся уснуть, если она найдет Рейнхарта; она попросит его только посидеть в комнате, пока она будет засыпать. А больше ничего у него не попросит.

Страшно, страшно, страшно.

Соседка была низенькой и толстой; она печально осмотрела Джеральдину и улыбнулась.

— Пришла одна послушать этих замечательных людей?

Джеральдина повернулась к ней.

— Ага,— сказала она.— Пришла одна послушать этих замечательных людей.

Две другие женщины поглядели из-за плеча подруги на Джеральдину.

Средняя наклонилась вперед и, глядя на Джеральдину блестящими глазами, доверительно спросила:

— Выпила малость, признайся?

— Нет,— сказала Джеральдина.— Не пила я.

— А если выпила, то не нужно было приходить,— жизнерадостно произнесла соседка.— Выставить тебя надо.— Под ее глазами набухли белые мясистые бутончики.

— Я пришла послушать замечательных людей,— тихо сказала Джеральдина.— Отвяжитесь от меня к чертовой матери.

Три подруги задохнулись от возмущения.

— Где ты, по-твоему, находишься? — спросила средняя и встала. Из-под благопристойной внешности проглянули заматерелые деревенские месильщицы. Джеральдина сжала сумочку, нащупывая пистолет.

— Ты думаешь, зачем тебя сюда пустили?

Третья женщина, оглядываясь в поисках служащего, который мог бы выгнать Джеральдину, вдруг решила, что видит двух негров, появившихся в верхнем ряду.

— Ой, я вижу негров! — закричала она.— Я вижу двух негров наверху!

— Ничего удивительного,— сказала соседка Джеральдины.— Это безобразие. Прислали сюда наемных мерзавцев, чтобы все испортить. Кто тебя сюда прислал, бесстыжая? — спросила она Джеральдину.— Сколько виски дали тебе за это коммунисты?

Люди вокруг настороженно повернулись, словно собираясь вмешаться.

Женщина положила руку на плечо Джеральдины. Джеральдина с искаженным лицом сбросила с плеча руку женщины и вскочила.

Три женщины стояли и смотрели на нее, стиснув красные кулаки, пыхтя от ярости и злобы.

Джеральдина ушла, быстро поднялась по лестнице и в коридоре смешалась с толпой входивших. По серому коридору она добежала до следующей лестницы и спустилась в нижние ряды. В начале пандуса ей преградил дорогу молодой человек со значком «корпуса Возрождения» на лацкане. Джеральдина решила умаслить его.

— Кажется, я заблудилась,— застенчиво сказала она.— Я потеряла знакомого, с которым пришла.

Лицо молодого человека просветлело.

— Заблудилась? Такая большая девочка? А что у нас написано на билете?

— А он остался у моего знакомого,— сказала Джеральдина.

«Маленький танец,— подумала Джеральдина.— Деревенский мальчик и деревенская девочка, разрешите пригласить». Она беспомощно хлопала ресницами.

Он пропустил ее на трибуны искать знакомого; она дошла до конца прохода и, перегнувшись через парапет, посмотрела на поле. Напротив нее на эстраде устанавливали микрофоны и камеры, и там она увидела Рейнхарта. Он стоял на краю эстрады, глядя на огни над головой и дымя сигаретой.

— Вот ты где, сукин сын,— сказала она тихо.— Эй ты, сукин сын.

Рейнхарт. Я — никто. Если бы она посадила его к себе в комнату, то смогла бы уснуть. Господи, господи, ничего не было; ей казалось — что-то было, а не было ничего. Может, она это просто выдумала.

«Я думала, что он будет со мной и я смогу жить, но его не будет, и я не смогу. Я — никто. Ты,— подумала она,— ты меня под корень подкосил». Вот что он сделал — выбил почву у нее из-под ног. Она все поставила на него, на одного. И теперь она стоит возле рва. Теперь одна дорога — вниз, в яму, под землю. Он подкосил ее под корень.

— Ах ты, сукин сын! — сказала Джеральдина, прижавшись головой к железным перилам. Нет, что-то в этом было смешное.

Она вынула платок, который лежал в сумочке с пистолетом, и принялась махать им. Рейнхарт затоптал сигарету и перешел в центр эстрады, глядя на зрителей.

— Эй, дружок,— смеясь, кричала Джеральдина.— Эй, послушай, сукин сын!

Люди, занимавшие места позади нее, остановились и стали прислушиваться.

Какие-то парни в следующем секторе стали махать ей платками.

— Рейнхарт,— кричала Джеральдина.— Рейнхарт, ты подкосил меня под корень. Ты подкосил меня, золотко.

От ворот повалила свора билетеров; по ряду через толпу к ней пробивался охранник. Джеральдина повернулась и побежала назад к проходу. Она бежала по коридорам изо всех сил, покуда не отказали ноги. Почти все люди были уже на трибунах.

Когда она осталась одна в сером бетонном туннеле, она прислонилась к стене, сжимая кулак, обмотанный носовым платком. На поле раздался свисток, и весь туннель вздрогнул. Оркестр заиграл «Звездное знамя»; медь, усиленная громкоговорителями, грохотала в пустом коридоре.

Когда оркестр заиграл и люди над ней начали петь гимн, Джеральдина решила закричать. Когда они дошли до слов «гордо славили мы», она закричала и не останавливалась, пока они не пропели «в последних отблесках заката». Слыша, как мечется между стен ее крик, она вопила во все горло до самого конца песни и умолкла лишь тогда

когда стократно усиленный голос Рейнхарта произнес: «Американские патриоты! Внимание!»

Фарли-моряк выпрямился и раскинул руки, захватывая слушателей в свои объятия.

— Возлюбленные...— пропел он.

С трибун на него обрушился могучий стон. Фарли испуганно попятился от микрофона.

— Что это с Дженсеном? — спросил Ирвинг у Рейнхарта. Они сидели скорчившись под брезентом за эстрадой.

— Испугался собственного голоса в микрофоне,— сказал Рейнхарт.— Кроме того, он не привык выступать перед такой большой аудиторией. Он думает, что они на него обозлились.

Но, конечно же, они не обозлились на Фарли — это Рейнхарт отлично понимал. После такого апостольского обращения они уселись поудобнее, крепче ухватились за перила, предвкушая натиск благочестия; пугающим было их количество — десятки тысяч. Христиане старой закваски, взвинчивавшие свою веру у всех на виду. На самом же деле они были пока не опасней всем известных травоядных динозавров: их настрой был добродушным и дружелюбным, жажда крови оставалась пока чисто потенциальной. Рейнхарт вглядывался в темноту за прожекторами, ловя слухом хищный рев, но он смолк. Воздух над стадионом был многоцветным и полным музыки, огни стали блестящими глазами пристально глядящих насекомых, в них играла радуга.

— Сегодня мы начнем,— сказал Фарли,— с того, что становится все более редким в нашем недужном веке, с того, что было злобно изгнано из нашей общественной жизни, с того, что по-прежнему должно предшествовать всякому собранию истинно хороших людей,— с молитвы!

Все это было произнесено с излишней ядовитостью: Фарли не собирался привносить сюда воинственную ноту, но ему еще не удалось приладиться к микрофону.

Название молитвы отозвалось по стадиону мокрым шлепком, словно сердитый смачный плевок: аудитория, поколебавшись, разразилась бешеными рукоплесканиями, которые перемежались одобрительными воплями и мятежными выкриками «солдат Возрождения».

Ирвинг повернулся к охраннику в шатре.

— Уже провели подсчет?

— Нет пока,— ответил охранник.— Я слышал, что скажут просто: семьдесят тысяч.

— Господи,— продолжал Фарли,— раскинь свой божественный покров над этим маленьким теснимым отрядом христиан. Поддержи нас пред ликом Тьмы, окружающей нас. Ибо мы знаем, что за гранью нашего кружочка света в ночном мраке грохочет черный и порочный мир крамолы и подрывной деятельности, который ежеминутно угрожает нашему исполненному невинности и душевного здравия образу жизни. Дай нам силу, господи, в нашей невинности и душевном здравии сразить мерзость, коя ежеминутно поднимается из-под наших ног, пока мы следуем по стезе добродетели. Огради нас от заразы, пропитавшей наши газеты и журналы, наши библиотеки и так называемые учебные заведения и под маской простого легкомыслия проникающей в наши развлечения. Сохрани нас такими, каковы мы есть,— простыми праведными людьми, не смущенными хитрыми улещиваниями вездесущего антихриста. Благослови нашу невинность, господи, дозволь ей вознестись к небесам сладостным ароматом бла-

говения пред Тобой. Оборони и вооружи нас против черных сил черноты, кои денно и нощно чернят наш чистый путь своей черной угрозой. Аминь!

Могучий вопль заполнил воздух. Его прорезали отдельные выкрики. Люди за столиками на поле, сидевшие благочестиво склонив голову, пока Фарли возносил свою молитву, явственно задрожали.

— Аминь! — снова проорал Фарли.

Несколько женщин испустили пронзительный визг; охранники из агентства тревожно посматривали на трибуны.

— Аминь! Аминь! — вопила толпа.

Когда Фарли склонил голову, дабы сладостный фимиам вознесся к небесам, мужской голос, механически усиленный, проревел:

— Соединенные Штаты — республика белых... Долой черномазую демократию!

Толпа подхватила с удивлением и восторгом. Фарли поднял голову, простер руки и благословил их.

Бингемоновский мистер Алфьери вошел в шатер — вид у него был мрачный.

— Мегафон,— сказал он.— Верное средство.

В распоряжении Фарли на эстраде было мгновение тишины. Затем исступленный женский голос, также механически усиленный, медленно произнес:

— Кастрация за сек-су-аль-ные преступления.

Мистер Алфьери повернулся к ближайшему охраннику:

— Скажи ребятам, чтобы занялись этими мегафонами.

Охранник вышел, а мистер Алфьери встал рядом с Рейнхартом.

Фарли дирижировал дружным пением «Скалы Сиона», но тут с самых верхних рядов донеслись сердитые крики. Затем послышался треск ломающегося дерева.

— Ого! — сказал мистер Алфьери.— По-видимому, происходит нанесение ущерба недвижимости.— Он сделал шаг к выходу, но остановился и спросил: — Кто-нибудь из вас, ребята, видел мистера Бингемона?

— Он только что был здесь,— сказал Ирвинг.

Мистер Алфьери пожал плечами и ушел.

Когда гимн был допет, дама с мегафоном тотчас воспользовалась благоговейной паузой.

— Немедленная кастрация за сексуальные преступления! — возвала она.

Толпа снова начала одобрительно хохотать и вопить.

К ним сзади подошел Кинг Уолью и выглянул через их плечи.

— Кто-нибудь из вас, ребята, повинен в сексуальных преступлениях? — спросил он.— А где ваш хозяин?

— Только что был тут,— сказал Ирвинг.— Я не знаю, куда он ушел.

На эстраде Фарли ждал, пока спадут звуковые волны.

— Возлюбленные! — сказал он наконец.— Сегодня нам предстоит побеседовать о множестве злых сил, одолевающих нашу страну, а также о божественно ниспосланных средствах против них. Так давайте же займемся каждым вопросом в надлежащее время и в указанный черед.

Он сделал знак оркестру.

— Друзья! «Надежда наша — крест!» — с вашего позволения.

Рейнхарт оглянулся и увидел, что позади него стоит ковбой. На ковбое были белая рубашка из какой-то блестящей материи с черной вышивкой на плечах, белая стетсоновская шляпа с загнутыми полями и черные брюки в желтую полоску. Его талию стягивал пояс с сере-

бряным набором и двумя «кольтами» с перламутровыми рукоятками. Заметив взгляд Рейнхарта, он быстро повернулся на одной ноге, выхватил револьверы и крикнул: «Пу-у!»

Затем ловко убрал их в кобуры, изящно закурил сигарету и бросил спичку в банку с кофе. Рейнхарт почувствовал, что перед ним виртуоз.

— Я пошел в туалет,— сказал Ирвинг, едва не задев ковбоя плечом.

— Здрасьте,— сказал Рейнхарт.

— Здрасьте,— сказал ковбой.— Пожалуй, мне не стоило бы тренироваться под духовное пение. Извиняюсь.

— Неважно! — сказал Рейнхарт.— Я все равно думал о другом. Вы тут с Кингом Уолью?

— Если бы! — ответил мальчик, розовея.— Говорят, победителя снимут с Кингом и, может, отправят в Голливуд.

— Я в этом не сомневаюсь,— сказал Рейнхарт.

— Я специализируюсь на быстроте. Кто раньше выхватит револьвер.

— А! Где же ваш партнер?

— Он ждет в проходе под трибунами. Он, понимаете, выйдет с одной стороны, а я с другой.

— Ну и как — доходная профессия? — спросил Рейнхарт.

— Заработать можно,— ответил мальчишка.— Хорошие деньги. Говорят, это не христианское занятие. Может, и так. Я раньше работал в парфюмерной фирме тут в городе. А еще раньше водил молочный фургон в Сакраменто. Меня прозвали «Трам-тара-рам» — я из этой колымаги всю душу вытряхивал. Я бы рассказал вам, как научился моему теперешнему ремеслу, только это секрет от всех, кто не посвящен. Зарабатываю столько, что хватит заплатить за развод, вот что. И еще останется.

— И кто же победит?

Мальчик улыбнулся и снова порозовел.

— Это неизвестно, пока не спустишь курок. С этим парнем я еще не встречался. Говорят, он работает быстро. Ну и я тоже,— добавил он сумрачно.

В шатер вошло еще несколько ковбоев, но на них на всех были клетчатые рубахи и галстуки-шнурочки, а в руках они держали музыкальные инструменты.

— Ну, пока,— сказал мальчик. Он направился к задней стенке шатра, но задержался у стола, чтобы погасить сигарету.— Перед стрельбой много курить не годится. Хуже видишь в темноте.

— Желаю удачи, Кейз! — крикнул ему вслед один из музыкантов.

Кейз вышел в маленькую дверь в задней стенке шатра. Вернулся Ирвинг, поглядел на ковбойский оркестр и взял программу.

— Чижик-Йорик и его «Деревенские желуди»,— сказал Ирвинг.— Они сопровождают Кинга Уолью и состязание в стрельбе. Когда преподобный Дженсен кончит, ты должен будешь представить адмирала Бофслара.

Адмирал Бофслар уже вступил в шатер; он стоял у стола, прижимая пальцы ко лбу, и внимательно всматривался в свои ладони большими синими глазами.

Рейнхарт бесшумно подошел к нему. Он попытался привлечь внимание адмирала негромким покашливанием, но его дыхание, к несчастью, немедленно вырвалось из-под контроля. Адмирал повернулся и уставился на Рейнхарта, который стоял перед ним, вцепившись в край стола, икая и рыгая.

— Адмирал,— сказал Рейнхарт, совладав с кашлем.— Ваша речь,

сэр... Она следует за религиозной церемонией. Видите ли, я выйду и представлю вас, а потом вы выйдете и начнете.

— Вы меня представите? — осведомился адмирал.— Вы конферансье? С радио и телевидения, э? Жертвуете своим временем, так сказать?

— В некотором роде да, сэр,— сказал Рейнхарт, стараясь стоять прямо.— Я имею отношение к нашему общему делу.

Адмирал Бофслар испуганно попятился.

— Общему делу? Какому общему делу? Когда люди говорят мне об «общем деле», мне в голову приходит только одно «общее дело», слишком мерзкое, чтобы его можно было назвать, стоя на американской почве. «Общее дело» — это не американское выражение, молодой человек. Это выражение,— рявкнул адмирал,— весьма подозрительно, это выражение, от которого у меня кровь закипает. Американцы не говорят об общем деле, когда они идут в бой и умирают. Нет, они говорят о боге, о родной стране, троекратное «ура!» в честь красно-бело-синего знамени, да здравствуют армия и военно-морской флот. Американцы презирают идеологию, юноша, они любят простые добродетели, правду, своих близких и любимых, свое начальство. Миссия наших Соединенных Штатов заключается в том, чтобы уничтожить «общие дела» во всем мире,— если понадобится, то кровью и сталью. Повернитесь спиной!

— Сэр!

— Повернитесь спиной, чтоб вас черт подрал! — завопил адмирал.

Рейнхарт повернулся, и адмирал обыскал его с профессиональной ловкостью.

— Я не страшусь смерти,— сообщил он присутствующим.— Отнюдь! Еще одна битва — последняя и самая лучшая. Да, я много раз стоял под снарядами, готовясь последним показать пример. Но я виргинец, юноша, и я не позволю, чтобы озверелые интеллигенты стреляли мне в спину в такой вечер.— Он посмотрел на Ирвинга.— А это кто? Кто вы? Еще один? Еврейчик из Голливуда, э? Ну, ладно, ладно, Бингемон знает, что делает.— Он рывком выпрямился и начал обыскивать Ирвинга.

— Послушайте, мистер! — сказал Ирвинг.— Я инженер. Я не обязан выслушивать вашу дерьмовую чушь. То есть в моем контракте нет ни слова...

— Молчать! — взвизгнул адмирал.— А как насчет оркестра, черт вас подери? — Он поглядел на музыкантов.— Никакого замаскированного огнестрельного оружия? Кинжалов в виде авторучек?

Чижик-Йорик выступил вперед, защищая честь своего оркестра.

— Нет, сэр адмирал,— сказал он браво.— Я их всех обыскал. Ничего недозволенного не обнаружено.

— Отлично. Пусть будет так. Как вас зовут?

— Рейнхарт, сэр,— сказал Рейнхарт.

— Валяйте, Рейнхарт. Вы здоровы пить, что вас хорошо рекомендует. Идемте.

Они подошли к эстраде и из-под брезентового полога следили за окончанием религиозной церемонии. Фарли, отметил про себя Рейнхарт, увял прямо на глазах. Он слегка позеленел и все время пошатывался; к нему успел присоединиться преподобный Орион Бэрнс, и теперь именно он помешивал суп.

Во время проповеди с верхнего яруса в секторе «С» вновь донеслись прежние тревожные звуки: слышалось царапанье металла о цемент, треск ломаемого дерева, визг и глухая ругань. В соседних секторах это вызвало беспокойство, так что низкий опасливый гул волной

прокатился по всем трибунам и заглох, когда мистические упражнения завершились пением «Вперед, Христовы воины».

Преподобный Бэрнс присоединился к своим родственникам за одним из столиков, а Фарли юркнул в шатер, знаком показав Рейнхарту, что вот-вот задохнется. Рейнхарт вышел на эстраду и встал перед микрофоном.

Расстояние от выхода из шатра до микрофона, подумал Рейнхарт, совсем невелико — семь метров, не больше. И все же, когда он поглядел на трибуны, ему показалось, что он затратил неимоверные усилия на этот десяток шагов. Он решил, что все дело в его болезненном состоянии: именно оно делает его столь чувствительным к необычному характеру сборища, к которому ему сейчас предстояло обратиться. Ветер, например, посвистывал как-то бредово. Огни расплывались в неприятные радужные пятна.

— Друзья,— сказал он,— соседи...

Господи, что это был за звук, нечто уникальное. Громкоговорители на открытом воздухе — это уж слишком.

— С величайшим почтением я хотел бы представить вам джентльмена, принадлежащего к тому роду людей, который, по-видимому, быстро сходит на нет в наше время нытиков и хлюпиков, именуемое мирным. Герой в дни войны, советник своей страны в час испытаний, человек прозорливый и знающий, что делать,— Рауль Бофслар, адмирал военно-морского флота Соединенных Штатов в отставке.

Адмирал Бофслар зарысил к микрофону. Рейнхарт, с трудом переводя дух, вернулся в шатер к Ирвингу и Фарли.

— Эта стерва с мегафоном! — горько сказал Фарли.— Не знаю, отыскали они ее или нет. Пусть только еще раз крикнет, и, черт подери, я сам влезу на трибуну и дам ей пинка в задницу.

— Да,— сказал Рейнхарт. Он сел на складной стул и закрыл глаза.

— У тебя скверный вид, старина,— заметил Фарли.— Для таких вещей надо быть в форме. Твой способ тут не подходит.

— Многие лица кажутся знакомыми моим старым глазам, и это меня радует,— сообщил адмирал Бофслар толпе.— Без сомнения, многие из вас служили на флоте во времена более счастливые, чем эти...

— Ну-ка, скажи мне, Рейнхарт,— потребовал Фарли,— по-твоему, это все без фальши? Как бы не так! Сплошная фальшь.

— А что случилось с музыкантами? — спросил Рейнхарт.— Где Ирвинг?

— Их держат под стражей телохранители адмирала. Они отсюда всех убрали. Кинг Уолью ищет Бингемона. Мы с тобой, дружище, составляем островок здравого смысла в этом приюте для умалишенных. Должен сказать, что считаю этот вечер, вопреки его многообещающим целям, самой низкой точкой моей карьеры.

— Э-эй! А куда девалась бутылка со стола?

— Музыканты сперли.

— А! — сказал Рейнхарт.— Очень жаль. Нет, право, очень жаль.— Он попытался закурить сигарету, но обжег пальцы.— Просто подлость.

Рейни шагал среди машин, стоявших у ворот стадиона. Он очень прямо держал голову и дышал через открытый рот; походка у него была неуверенной и некоординированной. Физические силы его почти иссякли, но он чувствовал, что, напрягаясь, может сохранить ясность мысли. Беда была в том, что всякие ничего не значащие мелочи непрерывно отвлекали его внимание — тени на темной земле, узоры на по-

крышках, свет, мерцавший в листве деревьев, даже собственное тяжелое дыхание.

Внутри зеленых металлических складок стадиона толпа взрывалась ревом через почти равные интервалы. Регулярность этих выкриков придавала стальной арене сходство с гигантским станком, обрабатывающим детали. Между вспышками воплей усиленный репродукторами голос оратора скрежетал слова, которых Рейни не мог разобрать; слова произносились с неторопливой, рассчитанной агрессивностью, пережевывались, обкатывались в глотке и выплевывались; создавалось впечатление, что еще за секунду до конца очередной части декламируемой речи слушатели уже начинали стонать в предвкушении неизбежных слов, а когда эти слова произносились, раздавался оглушительный вой радости, как будто была грубо и публично удовлетворена какая-то элементарная потребность.

У края огороженной площадки для машин продавцы горячих сосисок в благоговейном молчании глядели на залитые светом ярусы. Полицейские и охранники из агентства не разговаривали между собой, а беспокойно расхаживали, оглядываясь через плечо и внимательно следя за шоссе.

На другой его стороне негры вышли на свои крылечки и смотрели на происходившее из глубокой тени. Каждый раз, когда раздавался рев толпы, вдоль ряда деревянных домишек прокатывался негромкий ропот; иногда в промежутках между воплями (если по шоссе в этот момент не мчались машины) ветер приносил громко выкрикнутое ругательство.

Рейни обогнул закругление стадиона и увидел молодых людей, которые шли гуськом между полицейскими. Их было человек тридцать, все в летних костюмах и в галстуках. Рейни разглядел, что двое из них белые, а остальные — негры.

Двое шедших впереди пританцовывали, ритмично хлопали в ладоши и пели «О, свобода!». Полицейские пытались завернуть их за стоянку для машин. Позади шли двое патрульных, буквально наступая на пятки последнему демонстранту. Рейни пошел за ними.

Полицейские пригнали тюремный фургон. Они направили цепочку демонстрантов так, что она описывала узкий эллипс между фургоном и стеной стадиона. Неподалеку стояли два седовласых человека в штатском и переговаривались с нарочитой беззаботностью.

Вскоре сидевшие в верхних рядах участники митинга заметили демонстрантов и подняли рев. Известие о происшедшем облетело трибуны, и над задней стеной стадиона возникла полоса лиц, а ритм одобрительных воплей слегка нарушился. На демонстрантов посыпались смятые комки бумаги, потом водяные бомбочки и почти полные пакеты с шоколадным молоком. Кто-то кидал камешки — и попал в двух демонстрантов. Рядом с фургоном, лязгнув, упала велосипедная цепь.

Полицейские начали загонять демонстрантов в фургон. Один из седовласых в штатском крикнул вверх:

— Эй, не кидайтесь в моих людей!

Рейни взглянул один раз вверх, на лица, окаймлявшие стену над ним, и больше туда не смотрел. Внутри стадиона все новые голоса подхватывали вопль: «Черномазые!»

Рейни заставил себя идти вперед, пока не подошел достаточно близко к полицейским, наблюдавшим за арестом. Когда он попытался заговорить, со стадиона снова донесся рев. Рейни был не в силах перекричать его. Он стоял у фургона и глядел на полицейских, пока они, наконец, не заметили его.

— Хочешь прокатиться, приятель? — спросил один из них.— Если нет, то проваливай отсюда.

— Кто сказал, что у них есть разрешение? — спросил полицейский сержант у человека в штатском.

— Не знаю,— ответил тот.— Я ничего об этом не знаю.

Последних пикетчиков волокли под руки — двоих из них полицейские швырнули в фургон головой вперед. Последнему попал в голову камешек, и он сразу сел. Полицейские увели его — он шатался и ошеломленно моргал.

Еще один полицейский швырнул в фургон плакаты на палках, и фургон укатил. Рейни пошел дальше.

Впереди он увидел четырех негров в беретах — они вбежали в калитку рядом со въездом на стадион. С ними был белый, который держал в руке повязку «корпуса Возрождения»; охранник из агентства стоял у калитки и спокойно глядел на них.

Когда они исчезли в туннеле, Рейни и охранник несколько секунд молча смотрели друг на друга. Потом Рейни повернулся и побежал туда, где находились полицейские. Ему навстречу шли двое патрульных с белыми дубинками. Те самые, которые помогли арестовать демонстрантов. Увидев Рейни, они остановились.

Рейни попытался заговорить, но голос его не слушался. Его шея быстро дергалась из стороны в сторону. Полицейские смотрели на него с отвращением.

— Послушайте,— наконец выдавил он из себя.— Они впустили их. Через калитку. Это же спровоцирует толпу.

Ничего не ответив, полицейские толкнули Рейни к калитке, через которую прошли люди в беретах.

— Они привели их сюда, чтобы разыграть спектакль для толпы.— Рейни указал на охранника из агентства, который смотрел на него с нервной улыбкой.— Он их видел.

Охранник пожал плечами.

— Просто уборщики, которые тут работают.

— Нет,— сказал Рейни.

— Идите-ка домой, пока не нарвались на неприятности,— посоветовали ему полицейские.

Рейни поплелся прочь, глядя в землю. Он двигался из последних сил. Что бы ни происходило, думал он, ему придется что-то сделать самому: говорить кому-либо что-либо бессмысленно.

Днем он вошел в телефонную будку и позвонил в ФБР. Голос, ответивший ему, был очень похож на голос Кэлвина Минноу, и на мгновение ему показалось, что это какой-то фокус. Это был голос из прохладного кабинета. Он не нашел в себе силы заговорить.

Внутри стадиона яростно заревела толпа. Ей показали негров.

Их нужно немедленно вывести оттуда, подумал Рейни, может быть, он успеет перехватить их у той же калитки. Но зачем? К нему приближались двое патрульных на мотоциклах, объезжавшие стадион. Он отступил в тень стального контрфорса и дал им проехать. Говорить больше не имело смысла.

Джеральдина шла по проходу между секторами за толпой, двигавшейся к шатру за эстрадой. Она держалась поближе к стене, и люди, сидевшие над ней, ее не видели.

Теперь на эстраде стоял деревенский оркестр и играл «Улицы Ларедо». Двое мужчин, одетых ковбоями, шли навстречу друг другу в центре поля. У микрофона Кинг Уолью объяснял, как проводится состязание, кто такие стрелки, откуда они родом.

— Закончились долгие приготовления,— говорил толпе Кинг Уолью,— и теперь по традиции старого Запада каждый из ребят бросил перчатку.

Брошенные перчатки — из воловьей кожи, с красивой бахромой — лежали по обоим концам дистанции, на каждую светил с эстрады небольшой прожектор.

Свет в проходах был выключен; Джеральдина шла в полутьме. Билетеры и охранники были поглощены представлением. Верхние ряды утихомирились, загипнотизированные событиями на поле.

— Мальчик из Сакраменто и Задира Бейтс, друзья,— торжественно выкрикивал Кинг Уолью под гром оркестра,— быстрейшие из быстрых.

Джеральдина пересекла пандус следующей секции и двинулась дальше по проходу. «Если идти вниз к той стороне поля,— подумала она,— то можно будет подобраться к самому шатру». Пустой наклонный коридор с зелеными стенами вывел ее к следующему пандусу, который уходил к нижним рядам. Где-то под ней на пандусе перешептывались люди; она видела их тени на стене. Она двинулась вниз, и в этот миг на поле раздались выстрелы. Два оркестра разразились театральным медным крещендо. Джеральдина бросилась бежать.

Она выбежала к проходу под нижним рядом; свернув туда, она увидела, что навстречу ей бежит группа мужчин. Передний был высок и смугл, на его лбу моталась в такт шагам прядь жестких черных волос.

Коряга! Ошибки быть не могло! Это был Коряга! Она сжала сумочку, где лежал пистолет.

— Коряга! — в ужасе закричала она.— Нет! Коряга!

Бежавшие остановились и уставились на нее.

Она не могла вытащить пистолет из сумочки; пальцы отказывались работать вместе. Она повернулась и побежала назад. Добежав до лестницы, которая вела вниз, она помчалась по ней, упала на первой площадке, вскочила, ринулась по следующему маршу. В лицо ей подул ветер; под ногами была трава. Она бежала вдоль проволочной ограды с верхним рядом из колючей проволоки. Над ней были черные стальные опоры; между ними эхом метался голос Рейнхарта и крики толпы.

Человек — Коряга — бежал по лестнице за ней, а она уже бежать не могла. В изнеможении она прислонилась к ограде, а преследователи, сбежав с лестницы, взглянули на нее и помчались в другую сторону. На них были темные костюмы со значками «корпуса Возрождения» на лацканах. Черноволосый человек был не Коряга.

Теперь на поле звучал другой голос, голос старика.

— Где они теперь,— печально вопрошал голос,— благолепные фермы, милые улочки с уютными домиками и дружелюбными лицами? Развеяны в прах, говорю я, или почти развеяны — в этот черный век надменности и беспорядка, век неприкаянности и небрежения чистотою расы! Друзья, несметные полчища безродной черни подтачивают священное здание нашего образа жизни. Сегодня утром солнце светило тусклее над божьим миром.

Сталь над головой Джеральдины отозвалась тяжелым вздохом.

За оградой стадиона тянулся широкий пустырь. По ту его сторону в тени густых кленов стояли пикапы и «караваны». Пустырь находился за пределами законной стоянки для машин — широкая полоса песка и дерна, усыпанная мусором.

Рейни шел вдоль машин, ища темноты. Тоска по свободе жгла его горло, как жажда; жуткие краски утра сгущались вокруг него. Сердитые вопли толпы раздавались в насмешку над его слабой рысцой в темноте.

Он остановился в грязи, вытянув шею, выставив подбородок, напрягая все тело в стремлении преодолеть охватившее его ощущение болезненного бессилия.

На него была возложена миссия, но не нашлось бы человека, столь бесполезно скроенного. Его сознание было бредом, тело — конвульсиями.

Он смотрел на шоссе, на сверкавшие быстрые машины, проносившиеся мимо. Его сердце забилось чаще, он следил за поющими шинами.

Темно-зеленые стены стадиона были опоясаны огнями. Вот она — стальная броня. У бокового входа стоял охранник — метрах в тридцати от въездных ворот. Если идти крадучись, он успеет покрыть половину пути, прежде чем за ним погонится патрульная машина. Он войдет — мимо охранника или несмотря на охранника. А войдя, он уже не остановится.

Никчемный, думал он, готовясь броситься вперед. Никчемный и презренный.

«Я болен,— говорил он себе.— Когда-то я был здоров». Теперь ему оставалось только одно — освободиться.

Он пробрался вдоль маленького грузовичка с поднятым брезентовым верхом и поглядел на охранника. Пригнувшись к земле возле грузовичка, он заметил, что к борту приклеен плакат с красной надписью; надпись почти вся была скрыта брезентом. Под брезентовой крышей он разглядел сваленную в кучу старую мебель и бочонки, полные до краев треснутой фарфоровой посудой, безделушками, семейными фотографиями, старыми книгами.

Рейни настороженно огляделся и отогнул брезент.

В густом сумраке он медленно разобрал надпись:

«Вы не распнете
С. Б. Протуэйта на
Кресте холода».

Рейни застыл, глядя на надпись. Со стадиона донесся рев, и он услышал, как тысячи ног загремели по деревянным скамьям.

— Хочешь получить гаечным ключом по кривым зубам? — спросил его кто-то.

В кабине грузовичка сидел человек. Рейни не рассмотрел его лица, увидел только синюю фуражку железнодорожника.

— Кто вы такой? — спросил он.— Что вы намерены делать со всем этим?

— Это мое дело. Чего ты шаришь у моей машины?

— Кто такой Протуэйт? — требовательно спросил Рейни.— Вы тоже из возрожденцев?

— Из возрожденцев? — рявкнул хозяин грузовичка.— Ах ты крыса-переросток! Ну-ка покажись!

Рейни осторожно приблизился к дверце грузовика, и они уставились друг на друга в смутном свете лампочек на стенах стадиона.

— А я тебя видел в бинокль,— сказал хозяин грузовичка.— Я видел, как ты взывал к черномазым. Я думал, полицейские тебя забрали.

Это был совсем уже старик с длинным костистым лицом. Из-под фуражки на лоб выбивалась прядка седых волос. У него были очень большие круглые голубые глаза с широкими полумесяцами белой гладкой кожи под ними.

— Заботься о своих черномазых, а я позабочусь о Протуэйте. Я отсюда в «черной Марии» не уеду.

— Кто вас сюда прислал? — спросил Рейни.

— Никто меня еще ни разу никуда не присылал во внерабочие часы,— сказал старик.— Только на железной дороге. А тебя кто сюда прислал?

— Никто,— сказал Рейни.— Я пришел...

— Из-за черномазых, так?

— Я пришел, чтобы остановить их. Им...— Он поглядел на стадион. Изнутри вместе с ревом одобрения доносились сердитые и испуганные выкрики.

Старик засмеялся.

— Пришел остановить их, э? А не остановил, так?

— Нет.

— Твоим способом их не остановишь, молодой человек. Дурость, и больше ничего. По-твоему, если ты начнешь расхаживать и орать под стенами, они возьмут да и обрушатся? Чушь, верно? Только попробуй, и они расправятся с тобой, как с неграми. Как с косоглазыми. Они со всеми так обходятся, отродье шлюх и шакалов! — Он поглядел на огни стадиона и сплюнул в окошко. Глаза у него сверкали.— Патриотическое возрождение! — сказал он.— У, шакалы! Шакалы! И как ты думаешь их остановить, каланча?

— Ну...— сказал Рейни.— Никак. Я не сумею. Это очевидно.

— Очевидно, что тебе никогда ничего не добиться — этим вот путем. Я видел, как многие пробовали... Они приходят и уходят, а шакалы остаются. Тем временем они настроили небоскребов и шоссейных дорог, а под каждым шоссе, под каждым небоскребом — кости рабочих.

В ушах у Рейни звенело. Он потряс головой, словно стараясь привести в порядок мысли, и с удивлением посмотрел на старика.

На стадионе визжали женщины — от страха или от восторга, он не мог понять. Он поставил ногу на подножку грузовичка и оперся на колено. Утомление терзало его тело.

— Да, это верно,— говорил старик,— в каждых пятнадцати километрах американского бетона погребены кости рабочего. Сходи-ка завтра утром на биржу и посмотри, как тамошние ребята спекулируют на пластмассе. Пластмасса — вот что им по душе, да-да! Пластмассу ведь не уничтожишь, что бы с ней ни делать. В своей бесстыжей жадности они покрыли пластмассой всю страну, куда ни погляди. Строят свою власть на пластмассе, потому что думают, будто ее не сломать.— Он высунул голову в окошко и придвинул подбородок к лицу Рейни.— Я тут для того, чтобы сказать тебе, как они думают.

— А вы действительно знаете, что стоит за этим митингом сплочения? — спросил Рейни.— Я этого не знаю.

— Не знаешь? Где тебе знать! — съязвил старик.— Желторотый дурень, вот ты кто. Да просто загляни туда, пустая голова, и увидишь, сколько они натворили мерзостей, размахивая американским флагом, размахивая этой проклятой книгой, полной суеверий, глупостей и лжи. Выкормыши банков и железных дорог, лакеи крупного капитала, марионетки, обезьяны и гиены.

Рейни закрыл глаза и прижал лоб к окошку грузовика.

— Там, за этими воротами — самый большой из живущих карликов, укротитель аллигаторов и долларовый страус. Вся компания. Кэлвин Минноу в том числе.

Рейни поглядел на старика.

— Вы знаете Кэлвина Минноу?

— В картинных галереях Парижа,— сказал старик,— есть два-

дцать семь портретов Иуды Искариота. Все они не похожи между собой, но в каждом можно найти сходство с Кэлвином Минноу. В его теле двести шесть костей, и все — из пластмассы. Да, сэр, я его знаю. Этот скот сделал из меня бродягу.

— Погодите,— сказал Рейни.— Что вы задумали?

— Ну, я-то приехал сюда не для того, чтобы маршировать под стенками. Есть только один способ заставить эту одураченную орду узреть свет разума — отправиться туда и показать им, что они заблуждаются.— Он кивнул и, прищурившись, поглядел на въездные ворота.— И не вздумайте меня останавливать, профессор. Я вас перееду и глазом не моргну.

— Вы хотите сказать, что попробуете проникнуть туда?

— Я туда проникну без всяких «попробую». Видишь ли, я давно к этому готовился.— Он несколько раз подпрыгнул на сиденье, весело усмехаясь.— Да, сэр! Я последние три дня собирал сведения о программе этой аферы. Мне все известно. Я, например, знаю, что сегодня они не меньше двух раз откроют вот эти въездные ворота. Во-первых, им нужно вон оттуда привезти на машине оркестр для их финального трамтарарама. А во-вторых, ворота откроют, чтобы машины частной полиции выехали до конца. Погляди-ка! — продолжал он, схватив Рейни за затылок и поворачивая его лицо в ту сторону, где расхаживал охранник агентства.— Видишь того коротышку? У него портативный радиотелефон. Как только им понадобится открыть ворота, они должны будут сообщить об этом ему. А я слежу за ним с помощью вот этой штуки.— Он вытащил бинокль и тут же спрятал, словно это был ключ к его логическим построениям.— Ах, Мельба! — сказал он, погладив Рейни по голове.— Мне все про них известно. Я сюда приехал не для того, чтобы трепать языком. Когда ворота откроются, я въеду на своей старухе прямо на эстраду и вправлю им мозги.

Рейни уставился на него, открыв рот.

— Если вы попробуете ворваться туда таким способом, вас почти наверняка убьют. Они хотят возбудить толпу. Если вы сделаете такую глупость и въедете...— Он умолк, стараясь справиться с судорогой в шее.— Въедете на стадион на грузовике, они разорвут вас в клочья.

— Убьют! — сказал старик.— Плевать я хотел. Им у меня больше нечего отнять. Выжали досуха эти миллионеры-преступники. Как тряпку.

Рейни дрожал. Руки и ноги у него застыли, хотя вечер был теплый. Голос старика доносился до него как в горячечном бреду.

— Не будьте дураком,— сказал Рейни.— Вы же сыграете им на руку. Они только и дожидаются чего-нибудь такого.— Он оглянулся на стадион. Перед главными воротами вспыхивали красные фонарики полицейских — он видел их отражения в ветровых стеклах машин на стоянке.— Вы уверены, что эту мысль вам кто-нибудь не внушил? Не подсказал, что надо бы устроить такую штуку?

— Кого это ты назвал дураком, пустомеля? Считаешь меня невеждой, потому что я рабочий? У меня котелок еще как варит! Стоит кому-нибудь решить что-нибудь сделать, и уж какой-нибудь идиот из образованных тут как тут. Дескать, играешь на руку противной стороне. Послушай, умник, вот когда ты ничего не делаешь, тогда ты играешь им на руку. До этого ты сам еще не додумался?

— Но поймите же,— с усилием сказал Рейни.— Нельзя этого делать.

— Чушь. Я лет на пятьдесят дольше тебя прожил в этих проклятых Соединенных Штатах, умник. И мне плевать, как вам всем это кажется. Когда имеешь дело с такими людьми, есть только один спо-

соб действия: пойти прямо к ним и показать что к чему. А если духу не хватит, они и будут обходиться с тобой, как с половой тряпкой.

Рейни отошел от грузовичка и засмеялся. Он поднес ладонь к лицу и посмотрел на нее. Его звали голоса, которые доносились не со стадиона. Эти голоса твердили ему свое. Он закрыл глаза и заставил себя прервать смех.

— Я тоже пришел сюда не для того, чтобы бродить под стенами,— сказал он старику.— Если вы туда въедете, они наверняка убьют вас. Но если вам удастся туда въехать, я хочу быть с вами. Я не могу остановить их и не могу остановить вас.— Он покачал головой и улыбнулся.— Я поеду с вами, мистер.

— Не выйдет — никаких пассажиров. Только в одиночку можно рассчитывать на один паршивый шанс.

Прокурор штата Кэлвин Минноу стоял у микрофона и произносил небольшую толковую речь о проблемах бедности и лени, неразрывно между собой связанных. Жесты прокурора, которыми он отнюдь не злоупотреблял, удачно подкрепляли каждый вывод: жесты эти были направлены вширь и вверх, указывая на положительную конструктивную позицию оратора. Подчеркивая какое-нибудь утверждение, прокурор Минноу резко опускал кулачок на подставку микрофона, демонстрируя твердость и целеустремленность своих намерений.

Однако прокурор штата Кэлвин Минноу мог бы с таким же успехом и полностью игнорировать все правила риторики — более того, если бы он сообщил аудитории, что занимается осквернением трупов или питает особый интерес к фекалиям, это нисколько не повредило бы его репутации. Ибо толпа и не думала слушать Кэлвина Минноу — внимание толпы было поглощено деревянными стульями, летевшими на поле из верхних секторов.

Рейнхарт, который как в тумане представил нескольких ораторов и удалился в лабиринт стрелков-ковбоев, чтобы еще раз затянуться сигаретой с марихуаной, теперь внезапно проникся страстью к зеленому цвету травы.

— Фарли,— без конца повторял он,— нет, ты только погляди на эту траву!

— Заткнись,— говорил Фарли. Он пытался проникнуть в настроение толпы и был занят логическими изысканиями.— Что-то тут не так, Рейнхарт,— сказал он вдруг.— Кто-то там дирижирует этими остолопами. Почему мы не можем ублаготворить их?

— В каких только парках я не бывал,— сказал Рейнхарт,— а такой травы нигде не видел!

— Либо люди, устраивающие это, сами не знают, что делают, либо... — Он помолчал, прислушиваясь к отдаленному треску.— Либо какие-то разные люди делают совершенно разные вещи.

— Послушай! — сказал Рейнхарт.— Такой зеленой травы не запомнит ни один старожил. Это — настоящая американская трава, Фарли, трава воскресных пикников нашего детства.

— Терпеть не могу ситуаций, когда какие-то разные люди делают совершенно разные вещи,— сказал Фарли.— И особенно, когда тебе неизвестно, кто эти люди и что, собственно, происходит.

— Я вызову сюда федеральную полицию!

— Сохраняйте хладнокровие, сенатор,— сказал Джек Нунен. Его глаза горели безумием власти.— Мы выиграем.

Над толпой взметнулся непрерывный крик — волна звука, которая не спадала. Один из оркестров на поле заиграл. Генерал Тракки

бросился на эстраду, оттолкнул Кэлвина Минноу от микрофона и воззвал к трибунам.

— Что происходит там наверху? — закричал генерал.— Что происходит наверху, эй, вы там?!

— Что значит выиграем? — спросил у Нунена сенатор Райс.— Эти чертовы ворота перед столиками заперты. Почему моим друзьям не дают уйти?

— Ключи у Алфьери, сенатор. Об этом вам следует поговорить с ним.

— Ну, так где же он, черт подери? — трясясь, спросил Арчи Райс.— Где, черт подери, все остальные политические светила? — Он негодующе посмотрел на Рейнхарта и на Фарли.— Я убежден, что вы все — самые отпетые сукины дети, каких мне только приходилось встречать.

— Мы? — спросил Рейнхарт.— Вы спятили, почтеннейший. Как мы можем быть самыми отпетыми детьми, каких вам только приходилось встречать? Я не в силах с этим согласиться.

— Послушайте, а при чем тут федеральная полиция, сенатор? — спросил Фарли.— Так ли она нам нужна и все такое прочее?

— Вам она не нужна,— сказал Арчи Райс.— Она нужна мне. Я хочу, чтобы меня не дали убить, а вас, подлецов, засадили за решетку. Черт возьми! Вы же затеяли то, что на Севере, по-моему, называют расовыми беспорядками! Здесь! В таком городе такого штата!

— Расовые беспорядки? — осведомился Фарли.— Вы имеете в виду — с участием черномазых?

— Насколько мне известно, это обязательное условие,— сказал сенатор Райс.— Вы, если не ошибаюсь, намекаете, что ничего не знали об этом... этом безумном двойном обмане?

— Как это можно назвать расовыми беспорядками? — спросил Фарли.— Мы же тут все белые, старина.

— Уже нет, проповедничек. Я только что видел шайку черномазых, которых вы, подлецы, сюда впустили.

— Какая чепуха! — сказал Фарли.— Это же чепуха, верно, Рейнхарт?

— Это чепуха, Фарли,— подтвердил Рейнхарт.— Я хочу сказать: взгляните на проблему «дух — тело» — вот вам образец чепухи.

— Да он же рехнулся! — воскликнул сенатор Райс, уставясь на Рейнхарта.— Поглядите на его глаза!

— У него случаются припадки,— сказал Фарли.

В шатер вбежал мистер Алфьери и быстро оглядел брезентовые стены.

— Где мои настенные телефоны? — исступленно бормотал он.— Они забрали все мои телефоны!

— Вы поедете в Анголу,—уведомил его Арчи Райс.— После всего, что я для вас сделал, вы могли хотя бы предупредить меня об этой затее.

— Сенатор! — сказал Алфьери.— Богом клянусь, меня надули. То есть меня предупредили, но потом меня предупредили, что меня предупредили, чтоб сбить с толку. Если бы не это, я бы вас предупредил.

— Черт подери, Франческо, вы же обязаны знать всю подноготную! — возопил сенатор.— Ведь всех в городе предупредили, что их предупредили, чтоб сбить с толку. Но сбили-то их с толку, предупредив во второй раз!

— Кто знает? — сказал Рейнхарт.

— Вы! — сказал Алфьери.— Это все ваши паскудные приятели. Без них тут не обошлось.

— Погодите,— сказал Фарли.— О чем он говорил, когда сказал «мы выиграем»? Где этот тип Нунен?

Джек Нунен в глубине шатра пытался открыть замок на двери правого запасного выхода. Фарли приблизился к нему, занеся стул над головой.

— Мистер Нунен, не могли бы вы проинформировать нас, что тут происходит?

— Ха! — сказал Джек Нунен, медленно направляясь через шатер к другому выходу.— Встревожились? Эту операцию проводит мистер Бингемон, и он выиграет. Если мы будем держать себя в руках, то и мы выиграем с ним.

Он судорожно сглотнул, продолжая продвигаться к другому выходу.

— Это игра в открытую, брат Дженсен. Рассчитанная игра в открытую. Я узнал это непосредственно из первых рук: правительство в Вашингтоне — сплошь коммунисты, и прямо тут у нас на Юге зреет предательство.

Фарли пошел за ним вокруг стола.

— Но ты-то не с Юга, свинья! Что ты врешь?

— Это не имеет значения,— сказал им Джек Нунен.— В борьбе участвуют все. Слушайте же — я говорю от имени М. Т. Бингемона, как вам должно быть понятно. Для вас двоих я — его голос. Пособникам и дилетантам уже поздно прыгать за борт.— Лицо Джека Нунена приняло задумчивое выражение.— Не ошибитесь! — объявил он.— Это слова Бингемона. В тысяча восемьсот семьдесят четвертом году...— Он умолк и поглядел вверх, словно вспоминая выученный текст.

Фарли-моряк в ужасе попятился.

— В тысяча восемьсот семьдесят четвертом году? — ахнул он и обвел взглядом брезентовые стены, словно не веря своим ушам.— В тысяча восемьсот семьдесят четвертом?

— В тысяча восемьсот семьдесят четвертом году,— с мрачным упорством продолжал Нунен,— мы, белые этого штата, восстали, чтобы сохранить наш образ жизни. Но на этот раз наши враги не желают выйти и бороться в открытую, а потому мы обязаны пробудить народ сейчас же — сегодня и здесь! Мы намерены продемонстрировать, какую угрозу нашим свободным институтам представляет все возрастающее насилие со стороны негров и коммунистов, и покончить с этой угрозой теперь же, на этом митинге. Публично, на глазах всего города мы покажем, как надо встречать эту угрозу.

Рейнхарт подошел к выходу из шатра поглядеть на траву.

— Таково реальное положение вещей. Это то, что происходит на самом деле, поймите же! Только потому, что сейчас в это нельзя прямо ткнуть пальцем, не нужно думать, будто мы не можем разоблачить этого. Если мы сами это устраиваем, отсюда вовсе не следует, что этого нет.

Фарли медленно надвигался на него, отрезая ему путь к отступлению.

— Я выяснил все это с Бингемоном,— сказал Джек Нунен.— Все до мелочей. Я полностью в курсе.

— А я-то думал, что буду так счастлив! — сказал Фарли, становясь на пути Нунена, попробовавшего робко изменить направление.— Я ведь уже не молод.

— В чем дело? — истерически крикнул Джек Нунен.— Толпы испугались? Вы же справлялись со всякими подонками. А если вы справлялись с сотней подонков, то справитесь и с тысячей, так? А если вы справитесь с тысячей подонков, то и с десятью тысячами справитесь?

Фарли подскочил к Джеку Нунену и схватил его за галстук.

— Я человек глубоко верующий! — воскликнул он.— Но я презираю фанатиков!

Приподняв Нунена, он прижал его спиной к краю стола и начал выгибать. Он явно хотел переломить Нунена пополам.

— Я тебе покажу тысяча восемьсот семьдесят четвертый год, поросячье рыло! — сказал он.— Ты погубил мою старость.

— Они сжигают собственные церкви,— взвизгнул Нунен.— Мы имеем право принимать меры!

Стол развалился под тяжестью Нунена, и Фарли принялся его душить.

— Тысяча восемьсот семьдесят четвертый!— повторял Фарли, молотя затылком Джека по обломкам стола.— Тысяча восемьсот семьдесят четвертый...

Мистер Алфьери и сенатор Райс озабоченно наблюдали, как Фарли подсунул локоть под шею Нунена и запрокинул его голову под опасным углом. Они прислушивались к реву толпы.

— Вы тут ответственное лицо, Алфьери,— сказал сенатор.— Вы обязаны вывести нас отсюда.

— Я открыл ворота у столиков,— сказал Алфьери,— но к тому времени почти все уже перелезли через ограду. Толпа вот-вот ринется на поле.

— Эй-эй! — крикнул сенатор, обращаясь к Фарли.— Хватит его душить. Идите на эстраду. Вы же все-таки проповедник.

Фарли отпустил Джека Нунена и с удивлением уставился на сенатора.

— Любезный сэр,— сказал он,— я ни к чему подобному не готов.

Джек Нунен отошел от него и сел на стул возле обломков стола.

— Я делаю патриотическое дело,— заявил он, обеими руками пытаясь поставить челюсть на место.

— Рейнхарт незаменим в подобных ситуациях,— сказал Фарли.— Надо будет выслать к ним Рейнхарта.

В шатре Рейнхарта не было; он вышел пройтись по полю.

— Идите туда, Дженсен,— сказал Алфьери.— Вы у нас единственный проповедник. Идите туда и проповедуйте, пока мы вас не скормили толпе.

— Безумие,— с горечью сказал Фарли.— Безумие, куда ни посмотришь.

Он вышел на эстраду и осторожно приблизился к микрофонам, отчаянно улыбаясь в пустоту.

— Дорогие друзья! — крикнул он.— Возлюбленные! Надо опомниться!

Рейнхарт брезгливо пробирался сквозь красный снег. Он шел по краю поля, разглядывая вопящих людей, скопившихся в нижних рядах. Иногда он помахивал им рукой.

Дама в зеленой косынке перегнулась через барьер и попыталась хлестнуть его связкой домашних сосисок.

— Вот один! — завопила она.

Мужчина с сигарой во рту прыгал на перевернутых сиденьях, размахивая желтым носовым платком.

Рейнхарт решил вернуться в шатер. Он по-военному сделал поворот кругом и пошел назад.

Мимо пробежали два охранника, преследуя человека в белой простыне.

— Друзья мои,— говорил Фарли.— Мы сейчас не делаем чести нашему делу, нашей вере и флагу. Это необходимо прекратить.

В воздух взвился человек, на руке которого была повязка со свастикой, и шлепнулся у ног Рейнхарта.

— Мои очки! — сказал человек в повязке со свастикой.— Я разбил очки.

Рейнхарт обошел его.

В середине поля бородатые люди в полевой армейской форме гонялись за неграми, которые должны были по сигналу зажечь кресты.

— Взываю к вам нутром Христовым,— ревел Фарли,— сочтите, что вы ошиблись!

— Хватай черномазых! — ответили мегафоны.— Хватай этих еврейских битников-коммунистов!

— Кнутом белых! В петлю черномазых!

В обоих концах поля два почетных караула в форме собрались под флагштоками, намереваясь защищать свои окруженные розами святыни с помощью знамен и декоративных мушкетов.

По ступенькам одного из верхних ярусов сбегал человек в розовой спортивной рубашке, размахивая боевым знаменем конфедератов и вопя во всю глотку:

— Черномазые! Черномазые!

— «О, если ты спокоен, не растерян... — декламировал Фарли, закрыв глаза и поглаживая микрофон,— когда теряют головы вокруг... И если ты своей владеешь страстью, а не тобою властвует она...»

— Хватай их! — ревели мегафоны.— Хватай их всех!

С верхних ярусов, мягко планируя, летели куски горящей бумаги. Рейнхарт подошел к краю эстрады и одобрительно посмотрел на Фарли.

— «...И будешь тверд в удаче и в несчастье,— продолжал Фарли,— которым в сущности цена одна!» [1]

Он увидел Рейнхарта и нырнул под микрофоны.

— Ради бога, приятель, помоги нам! Это же твоя обязанность!

В шатре выкрикивали имя Рейнхарта.

— Давайте его сюда!

Рейнхарт подошел к пандусу, ведущему на эстраду, и начал подниматься. Но по дороге он остановился и посмотрел по сторонам. Все приняло багровый оттенок.

Он выпрямился и поднялся на эстраду.

Рейнхарт подошел к пюпитру, отрывисто поклонился публике и, повернувшись, встретил взгляд испуганных глаз первого кларнета.

— Поспокойнее,— сказал он первому кларнету.— Я там был. Ничего страшного.

Огни надвигались на него, покрывая испариной онемевшее тело.

— Зачем столько огней? — спросил Рейнхарт.— К чему эти микрофоны?

Он не был готов дирижировать.

Рейни бессильно привалился к дверце грузовичка С. Б. Протуэйта; С. Б. сосредоточенно наводил бинокль на въездные ворота. Внезапно он отнял бинокль от глаз и довольно усмехнулся.

Охранник с радиотелефоном поднес аппарат к уху и направился вдоль стены к воротам. Он махнул рукой охраннику у соседнего входа, и тот пошел ему навстречу.

— Я хочу заявить здесь и сейчас,— сказал старик,— что я отвергаю религию, потому что я верю не в духов, а в человечество.

Рейни поглядел на него и вскочил на подножку.

— Я еду с вами, мистер. Вы должны взять меня.

Старик нахмурился.

---

[1] Отрывки из стихотворения Р. Киплинга «Если...», перевод С. Маршака.

— А, черт! Вы говорите, что ваше место тут. Может, так оно и есть.

Рейни опустился на сиденье. Его ноги были зажаты между дверцей, кучей посуды и большой вазой.

— Поосторожней,— сказал ему старик.— Возле вашей ноги прах Мэвис Сешенс Протуэйт.

— А! — сказал Рейни.

— Я — С. Б. Протуэйт. Рад познакомиться с вами.

— Морган Рейни,— сказал Морган Рейни.

Старик включил зажигание, и они увидели, как позади них вспыхнули фары полицейской машины. Лучи ее фар выхватили из темноты кучку молодых негров, которые несли с пустыря длинные узкие свертки оберточной бумаги. Рейни оглянулся и увидел, что через шоссе со стороны темных домов идут еще группы негров. В одном месте они остановили движение, пересекая шоссе густой толпой. Некоторые несли бейсбольные биты.

С. Б. Протуэйт увидел их и облизнул губы.

— Ого! — сказал он весело.— Поглядите-ка! Вон туда!

Охранники раздвигали створки въездных ворот.

— Ух ты! — сказал С. Б. Протуэйт.— Поглядите-ка на этих негров!

Он медленно повел грузовичок через пустырь. Ворота были открыты, и охранники стояли перед ними в явной нерешительности, переводя взгляд с поля на шоссе. Руки они держали на кобурах. Со стоянки выехали два полицейских мотоцикла с колясками и пронеслись мимо них внутрь стадиона. Машина для оркестра не показывалась.

С. Б. Протуэйт выехал на асфальт медленно, но с каждой секундой набирая скорость. Он вел машину к воротам под углом примерно в шестьдесят градусов.

Из ворот выбежали оркестранты в синей форме и стремглав кинулись к своим машинам. Из-за стадиона вылетел еще один мотоцикл и тоже въехал на поле. Рейни не мог разобрать, что там происходит.

Сирена стоявшей позади них полицейской машины взревела. Охранники у ворот увидели приближающийся грузовичок Протуэйта, но не встревожились. Только у самой стены С. Б. Протуэйт резко повернул в ворота и нажал на газ. Одновременно он дернул за шнурок, сдвигая брезентовый верх, чтобы открыть свой лозунг.

— Ого-го-го! — крикнул С. Б. Его нижние зубы свирепо впились в верхнюю губу.

Люди кричали на Рейнхарта.

— Начинай! — кричали они.— Говори!

Доски эстрады в нескольких шагах от него треснули, в яркой краске появилась черная дыра и белая рана.

— Нет,— сказал Рейнхарт.— Музыка.

— Бог и родина! — кричали из шатра.— Бог и родина!

«А! — подумал Рейнхарт.— Это и я могу сделать. Это и я умею».

Он схватил микрофон с самоуверенной улыбкой.

— Братья американцы! — заревел он.— Обсудим американский путь!

Рейнхарту показалось, что трибуны почтительно затихли, и, ободренный этим, он продолжал.

— Американский путь — это невинность,— объявил Рейнхарт.— В любой ситуации мы должны и будем проявлять такую грозную и необъятную невинность, что весь мир от нее съежится. Американская невинность поднимется могучими клубами паров к благоуханию небес и поразит все страны. Патриоты! Наши легионы не такие, как у дру-

гих. Мы не извращенцы с гнилыми мозгами, как англичане. Мы не жалкая мразь, как французы. Мы не психи, как немцы. Мы не хвастливые маньяки, как итальяшки. Напротив, наши глаза — самые ясные из всех глаз, глядящих на нынешний мир. Говорю вам: под пристальным широким взором наших голубых глаз коварные правители иностранных орд теряются, как наглые язычники перед просвещенным Моисеем. И что бы они ни говорили, американцы, помните одно: мы парни что надо! Кто еще может сказать так? Никто! Никто другой так сказать не может: мы парни что надо. Только в Америке люди могут сказать: мы парни что надо, и я хочу, чтобы вы все сказали это вместе со мной. Мы парни что надо! — закричал Рейнхарт, взмахнув рукой. Кто-то на трибунах выстрелил из пистолета.

Рейнхарт прижал ладонь ко лбу, но ничего под ней не ощутил.

Когда на них обрушилась полуденная яркость прожекторов на стадионе, Рейни весь подобрался и уцепился за сиденье. Охранники перед воротами в последнюю секунду бросились в сторону, но правое крыло зацепило одного из них и с силой ударило о зеленую железную дверь. Двадцать бежавших мушкетоносцев расступились перед ними, как колосья пшеницы.

Рейни пытался поджать ноги; он поглядел вниз и увидел, что урна, в которой покоился прах Мэвис Протуэйт, стоит на грубо сколоченном ящике с надписью: «Динамит». Кроме этого слова на крышке было написано: «С величайшей осторожностью».

— Черт подери! — кричал старик.— Сейчас вы поджаритесь, шакалы!

Пронзительная зелень поля вертелась перед ними волчком, всюду бегали люди. На трибунах дрались.

— Динамит,— сказал Рейни.— У вас в машине динамит.

— Единственный способ,— объяснил ему С. Б. Протуэйт.

Грузовик несся между двумя рядами столиков, отгороженных сеткой, из-под колес летели комья земли. Два коротко остриженных подростка бежали перед ними, размахивая топорищами. Рейни увидел вопящих мужчин в смокингах — их манишки багровели.

— Это же убийство,— сказал Рейни.

Кэлвин Минноу смотрел на них сосредоточенным взглядом; его шея была обвязана красным платком. Он бросился к пандусу, хватаясь за лацканы.

— Минноу! — закричал старик, делая сумасшедший поворот вправо.— Я приехал за твоей шкурой!

— Это убийство,— сказал Рейни и нагнулся, нащупывая ручной тормоз.

Старик с изумлением уставился на него, а грузовик опять повернул влево.

— Ах ты, сентиментальный шакал! — завопил С. Б. Протуэйт. Глаза у него округлились.

Ручной тормоз не действовал, и Рейни нажал на педаль ножного, а старик бил его по лицу жестким кулачком, пытаясь вести машину одной рукой.

Грузовичок резко повернул и пошел по траве юзом. Рейни оттолкнул старика и остановил машину перед пандусом, к которому бежал Кэлвин Минноу.

Он увидел, что в другом конце поля перед микрофоном стоит Рейнхарт.

— Сентиментальный фашистский шакал! — кричал С. Б. Протуэйт.

К грузовичку с пистолетами в руках бежали молодые люди с повязками «солдат Возрождения». Рейни выпрыгнул в открытую дверцу и побежал к ним навстречу по траве.

— Не стреляйте! — кричал он.— Не стреляйте!

Два охранника из агентства схватили его и остановили.

«Солдаты Возрождения» смотрели то на грузовичок, то на трибуны. Там теперь было немало негров — они прыгали по перевернутым скамьям.

— Черномазые! Черномазые на поле! — завопил кто-то из «солдат Возрождения».

— Черномазые у ворот!

— В грузовике! Черномазые в грузовике!

— Не стреляйте! — сказал Рейни. Он пытался повернуться, охранники волокли его по траве спиной вперед.

Раздался выстрел из пистолета, и Рейни оглох от страшного удара. Палящий ветер вырвал его из хватки охранников, подбросил, обжигая, в воздух и швырнул на траву. Вверху в ярком свете летели бочонки, стена огня пронеслась по бетонной полосе у выхода. Когда бочонки падали на бетон, земля содрогалась снова и снова. На другой стороне поля в раздевалке вылетели стекла.

Рейни встал и пошел к эстраде. Брезентовый шатер за ней был охвачен пламенем. Он шел до эстрады очень долго. Мимо бежали люди, обливаясь кровью.

Он поднес руку к лицу и ощутил, что оно в крови. Мелкие осколки фарфора и эмали, впившиеся в его тело, причиняли ему сильную боль.

На эстраде стоял Рейнхарт и смотрел на него с недоумением.

Рейни сказал Рейнхарту, что все кончено. Они поговорили об обязательствах. Он больше не чувствовал, что у него есть обязательства.

Он не разбирал, что ему говорил Рейнхарт. У него словно разом заболели все кости.

Перед ним с выражением ужаса на лице стоял полицейский. Он совершенно ясно разглядел окровавленное лицо полицейского, но боль его больше не занимала. Ему очень хотелось пить.

Слишком поздно. Он не сумел предотвратить. Когда-то он был здоров, подумал он. Тогда, возможно, у него хватило бы сил.

— Больно,— сказал он полицейскому и упал на траву.

Когда его положили в машину «скорой помощи», он бредил о детях и о Венесуэле.

Рейнхарт подошел к краю эстрады. Вокруг стоял дикий шум. Огней стало как будто больше. На траве играли тени, обещая приятные зрелища где-то еще; но когда он поворачивался, обещание оказывалось невыполненным и раздавался только звук другой окраски.

«Такова жизнь,— думал Рейнхарт.— Пещера Платона. Сквозь стекло, смутно».

Мимо эстрады пробежал человек с банджо, изо рта у него текла кровь.

Когда Рейнхарт подошел к другому краю эстрады, он увидел, что там, застряв между эстрадой и алюминиевым стояком шатра, лежит адмирал Бофслар. На адмирала упала перекладина, и он не мог встать.

— Эй, вы! — просипел адмирал.— На помощь! На нас напали. Со всех сторон. Не просить пощады. И не давать. Армагеддон.

— Отчего взорвался этот грузовик? — спросил его Рейнхарт.— Грузовик просто въехал и взорвался.

Он пошел ко входу в шатер, испытывая смутное разочарование.

И это — Армагеддон! Какой-то хлам летает в воздухе и взрывается. Но каким концертом могло бы это быть!

По полю к нему шел Морган Рейни.

— Кончено,— сказал Рейни.— Теперь я понимаю, что все кончено.

— Кто вас об этом спрашивает? — сказал Рейнхарт.

— Я нехорошо себя чувствую,— сказал Рейни.— Мне придется пойти домой.

— Какого черта вы не относитесь ко всему этому проще? Считаете, что у вас есть обязательства?

— Да,— сказал Рейни.— Это так.

— Но, естественно,— сказал Рейнхарт,— если все кончено, то вы можете просто уйти домой.

— Слава богу,— сказал Рейни.— Я могу просто уйти домой.

— Слава богу,— сказал Рейнхарт.

Рейни вошел в надвигающийся клин полицейских и упал.

«Хотел бы я знать, когда мне следует уйти домой»,— подумал Рейнхарт. Он вернулся в шатер и сел на складной стул.

В шатре стало очень жарко. Снаружи раздавался оглушительный шум, который, по мнению Рейнхарта, не мог иметь к нему никакого отношения. Все было залито оранжевым светом.

Он нагнулся, нащупывая на полу футляр с кларнетом. Футляр исчез. Это его встревожило, и он выпрямился. Затем ему пришло в голову, что он не приносил с собой кларнета, и он вспомнил Джеральдину.

Нет, он не приносил с собой кларнета, но, несомненно, был какой-то важный предмет снаряжения, без которого... что? Без которого все потеряно? Он пошарил в карманах, ища темные очки, но они исчезли. Во внутреннем кармане был бумажник, но когда он потянулся за ним, его рука задела грудь и ничего не почувствовала.

Он решил не поддаваться страхам. Он открыл бумажник и пересчитал деньги, которые лежали там. Денег было много. «Ну,— подумал Рейнхарт,— это хорошо».

Снаружи кто-то завопил.

В шатер вбежал без пиджака Фарли-моряк; он тоже держал в руках бумажник и сверточек банкнот.

— Какого черта ты здесь торчишь? — спросил его Фарли.— Пошли. Или они сожгут тебя заживо.

Рейнхарт с изумлением посмотрел на Фарли.

— Время для выживания наиболее приспособленных, ребята,— сказал Фарли.— Давай займемся выживанием. Вдвоем мы перехитрим всю эту шайку и побьем ее организованностью. Попробуем пробраться через туннель. Единственный путь.

Рейнхарт встал и подошел к двери запасного выхода.

— Полно дыма,— сказал он.

— Черт! — сказал Фарли.— Все-таки надо попробовать.

Он сунул банкноты в карман, а бумажник бросил на пол.

— Я снял с адмирала Бофслара шесть сотен. Кто бы подумал, что старая перечница расхаживает с такой наличностью! Я рассчитывал на горсть мелочишки.

— То есть как? — сказал Рейнхарт.

— Надо уметь распознавать особые ситуации и действовать соответственно,— сказал Фарли.— Если он выживет, это еще не значит, что я выживу, и так далее.

Они вошли в черный дым прохода, зажав нос платком и согнув-

шись в три погибели, чтобы избежать наиболее горячего воздуха. Рейнхарт следовал за Фарли вдоль невидимой стены, судорожно кашляя в льняную материю. Ноги и плечи у него абсолютно онемели, основание черепа опоясывал раскаленный обруч; он осознавал только ритм бегущих ног и обжигающее прикосновение стены к своему плечу.

После первого десятка метров стало прохладнее, и лампочки под потолком еще горели. Проход влился в широкое низкое помещение с наклонным бетонным полом, на котором неподвижно лежал человек в разорванном дымящемся комбинезоне. Фарли и Рейнхарт остановились возле него. Это был негр-уборщик. Пальцы мертвеца переплелись, над ключицей синела пулевая рана. Рейнхарт смотрел на рану — он страшно устал.

— Так-так,— сказал Фарли, оглядывая помещение с хладнокровной сосредоточенностью.— Пожарная лестница? Дверь? — рассуждал он вслух.

Ни лестницы, ни двери. На полу, там, где начинался новый проход, стояла корзина с красно-сине-белыми топорищами. Они взяли по топорищу и пошли дальше.

Тут лампочки не горели. Дым сгущался, становилось невыносимо жарко. Они, согнувшись, побежали по струе более прохладного воздуха у левой стены. За поворотом они снова увидели свет, бивший из распахнутой двери в стене прохода. Они услышали кашель, шепот и, бросившись на пол, поползли к открытой двери. Рейнхарт прижал голову к стене, следя за тем, как тень дыма скользит по пятну света на потолке. Потом он посмотрел на тень двери и остался вполне доволен ее формой — клин, треугольник.

Из двери в коридор шагнул какой-то человек, прижимая к глазам красный платок. Фарли выпрямился и ударил его сзади топорищем. После короткой неловкой паузы человек сел на пол и застонал. Фарли, опасливо оглянувшись на полуоткрытую дверь, ударил его еще дважды. Стало намного жарче, дым приобретал мерзкий металлический запах.

Фарли пробрался назад вдоль стены, засовывая деньги в карман.

— Кто? — спросил Рейнхарт, глядя на неподвижное тело на полу.

— Орион Бэрнс,— сказал Фарли.— Знаешь, по-моему, выход должен быть в этой комнате.

— А что там внутри?

— Не знаю. Еще какая-нибудь погань.

Они поползли к двери и, скорчившись, попробовали заглянуть внутрь. Им было видно только белое пространство стены. В коридор доносился запах каменной пыли, однако комната начинала наполняться черным дымом.

Рейнхарт протянул руку и толкнул дверь так, что она гулко ударилась о внутреннюю стену. Они подождали; где-то вдалеке непрерывно выла сирена; теперь они расслышали и винтовочные выстрелы. Из комнаты перед ними донесся негромкий вежливый кашель.

Рейнхарт поднял голову и увидел Мэтью Бингемона, сидевшего за деревянным столом. Рядом стоял переносной телефон, и в левой руке Бингемон держал трубку. На столе в диком беспорядке валялись вороха разноцветных листовок, аккуратно присыпанные обломками штукатурки и кирпичным щебнем; правая рука Бингемона находилась в успокоительной близости от европейского автоматического пистолета.

— Не топчитесь в дверях, мальчики,— сказал мистер Бингемон.— Входите!

Они встали и осторожно вошли. Бингемон следил за ними почти приветливым взглядом. Его лицо горело юношеским радостным ожив-

лением. Он выглядел счастливым. Обломки штукатурки выбелили половину его лица, усыпали лацканы пиджака и угнездились в тщательно уложенных волнистых волосах.

— Джек Нунен не с вами? — спросил Бингемон.— Он не прячется в коридоре?

— Нет,— сказал Фарли. Он смотрел на Бингемона с почтительным страхом.

— Как вам нравится наш вечер, джентльмены? — спросил мистер Бингемон.

— Ох! — сказал Рейнхарт.— Они все на одну колодку.

— Так это был спектакль не в вашем вкусе, мелюзга? — сказал Бингемон.— Очень жаль. Теперь мы устроим парням вроде вас несладкую жизнь. Пользу свою вы уже принесли. А теперь мы очищаем атмосферу. Да-да.

— Она сейчас немного дымная, сэр,— заметил Фарли-моряк.

— Про грузовик мы не знали,— сказал Бингемон улыбаясь.— Готов откровенно в этом признаться. Когда взбаламучиваешь ил, естественно, кое-какая крупная рыба выпрыгивает из воды. Но с этим все сейчас будет улажено. А теперь...— Он весело поглядел на Рейнхарта.— Повернись-ка, парень, и увидишь радиопередатчик. Включи его и вызови «Альфу-Джульет-Кило». Свяжешься с одним из наших ребят снаружи. Скажешь ему то, что я тебе скажу.

Рейнхарт повернулся и включил передатчик на стене.

— Все свободные машины в квадрате «де» к номеру девятьсот двадцать первому на Люсинии... на первом этаже несколько вооруженных людей... частный жилой дом. Пожарный заслон в квадрат «эф», центр восьмисотого квартала...— Голоса накладывались друг на друга и перебивались помехами.

— Полицейские вызовы,— сказал Рейнхарт, глядя на Фарли.

— Неважно,— сказал Бингемон.— Мы воспользуемся их волной. У нас там есть друзья. Вызывай «Альфу-Джульет-Кило».

Рейнхарт посмотрел на него.

— Пошевеливайся, Рейнхарт! — крикнул Бингемон.— Ты что, хочешь зажариться тут живьем? Мы сообщим им, где мы находимся, и они помогут нам выбраться.

— А почему мы не можем выбраться без их помощи? — спросил Фарли.— Ведь не заперто же?

— Конечно нет, черт побери,— сказал Бингемон.— Просто... возможны некоторые осложнения.

— А почему вы сами не вызовете их, сэр? — спросил Фарли более вежливо.— По телефону, трубку которого вы держите?

— Он не для того,— сказал Бингемон.

— А почему вы не положите трубку, сэр?

На лице Бингемона отразилась только легкая досада.

— Хватит глупостей, идиот,— сказал он ровным тоном.

— Рейнхарт,— сказал Фарли,— почему он не кладет трубку?

Рейнхарт посмотрел на левую руку мистера Бингемона. Он заметил, что кисть очень распухла. Как и вся рука до локтя. Мистер Бингемон сжимал трубку окостенелыми пальцами.

— А он не может,— сказал Рейнхарт.

Они все трое посмотрели на пистолет на столе мистера Бингемона. Рука, лежавшая возле него, была неподвижна. Суставы пальцев были вздуты. И по отношению к плечу мистера Бингемона она находилась в каком-то очень неестественном положении.

— Он не может пошевелить руками,— с изумлением сказал Рейнхарт.

Фарли со змеиной быстротой вытянул руку и прижал пистолет ладонью. Мистер Бингемон нахмурился. Легким движением пальцев Фарли толкнул пистолет на несколько дюймов по захламленному столу под носом Бингемона. Бингемон следил за пистолетом с необычайной сосредоточенностью.

— Он не может шевельнуться,— сказал Рейнхарт.

Фарли ухмыльнулся.

— Любезный мистер Бингемон,— сказал Фарли.— Вы втираете нам очки, сэр. Вы не можете сделать ни одного, даже самого поганого, движения.

Бингемон стиснул зубы.

— Шлюхино отродье! — произнес он четко и раздельно, с неотразимой властностью, и посмотрел на Фарли, а потом на Рейнхарта.— Возьми микрофон. Скажи: «Альфа-Джульет-Кило»!

— Сифилис,— сказал Фарли.— Ты когда-нибудь слышал, что такие вот типы вроде него обычно бывают гнилыми насквозь? Я где-то читал про это. И сильно напугался. У этого старичка сифилитический паралич, Рейнхарт. Он не очень-то соображает.

— Выламываешься, подонок,— сказал Бингемон.— Без меня ты отсюда не выберешься — и квартала живым не пройдешь. Я господин, а ты слуга, дурень.

— Свободное предпринимательство, детка,— ласково сказал Фарли.— Индивидуальная инициатива.

Рейнхарт и мистер Бингемон смотрели, как Фарли занес свое топорище и пробил мистеру Бингемону висок. Вот так, подумал Рейнхарт. Чмокающий звук. Рейнхарт обдумал этот звук. При обдумывании этот звук вызывал утомление. Рейнхарт чувствовал огромную усталость.

— Момент для выживания наиболее приспособленных,— сказал Фарли-моряк.— Никаких скидок.

— Да,— сказал Рейнхарт.

Из ушей мистера Бингемона текла кровь. Фарли осторожно извлек бумажник из кармана его жилета и разочарованно исследовал содержимое. Затем наклонился и ощупал талию мистера Бингемона.

— Гнусная шуточка. Ни начинки, ни потайного пояса. Ни автомобильных ключей. Ни банковской книжки. Богачи не похожи на нас с тобой, Рейнхарт. Грабить бедняков всегда выгоднее.

Фарли взял пистолет и засунул его себе за пояс.

За комнатой, в которой лежал Бингемон, находился вестибюль с железной винтовой лестницей, уходившей в потолок. С нижней половины стен штукатурка осыпалась, обнажив кирпичную кладку, а часть пола провалилась — там зияла темная зловещая дыра. На штукатурке и щебне валялось несколько огромных прожекторов со стальными основаниями — их стекла разлетелись вдребезги, и они лежали, как дохлые ящеры. В одной из стен, перегороженный исковерканными стальными балками перекрытия, находился проход, который, по-видимому, вел на трибуны. Они заметили руки и башмаки, зажатые штукатуркой и металлом. На одной из опаленных стен виднелась широкая горизонтальная кровавая полоса, от которой к полу тянулись узкие струйки. Рейнхарт глядел на эту полосу, пока Фарли рыскал по развалинам.

— До них не доберешься,— сказал Фарли.— К черту. Надеюсь, Джек Нунен тоже тут. Господь его благослови.

— Пойдем,— сказал Рейнхарт.— Жарко.

Было очень жарко, но дыма стало меньше. Когда они поднялись по винтовой лестнице, повеяло прохладой. На каждом витке лестницы светила уцелевшая красная лампочка.

— Господи! — запыхавшись, сказал Фарли.— Динамит. Вернее, пять здоровых гранат. Нет, это не расовые беспорядки, Рейнхарт!

На полпути они наткнулись на Кинга Уолью, который лежал поперек площадки.

— Он жив,— недоумевающе сказал Фарли и, вытащив бумажник Кинга Уолью, похлопал патриотическим топорищем по собственному затылку.— Что же делать? — Покосившись на бесчувственное тело, он заглянул в бумажник и улыбнулся.— О! — сказал он.— Голливуд! — Он сунул деньги Кинга Уолью к себе в карман и посмотрел на карточку, удостоверявшую, что податель сего является помощником шерифа лос-анджелесского округа.— Он стервец,— сказал Фарли.— А сегодня мы убиваем всех стервецов.

— Всех их мы убить не можем, Фарли,— сказал Рейнхарт.— К тому же чем больше ты убьешь людей, тем скорее кто-нибудь про это дознается.

Фарли сунул в карман удостоверение помощника шерифа и оттянул веки Кинга Уолью.

— Он действительно в обмороке.

Голова Уолью неловко ударилась о железный пол.

— Я его пощажу, черт подери! Ибо я христианин и ребенок в душе. А еще потому, что деньги как-то размягчают душу.

Они поднялись еще выше и оказались перед металлической дверью. Рейнхарт открыл ее, и они вышли на каменный парапет, залитый светом пожара. Под ними у подножия стадиона виднелись десять — одиннадцать пожарных машин, блестевших в лучах полицейских прожекторов. Они подбежали к краю парапета и по стальным конструкциям спустились вниз, спрыгнув в грязь у подножия колонн. Из темноты под трибунами доносились звуки тихих схваток, топот бегущих ног, стоны. Раздался пистолетный выстрел и лязг металла, от которого рикошетом отлетела пуля. Прямо на них от пожарных машин, держа оружие наготове, надвигалась шеренга федеральных полицейских в шлемах; пожарные направились в другую сторону, разматывая шланги. На середине выдвижной лестницы стоял человек в штатском и что-то выкрикивал в мегафон.

Фарли и Рейнхарт метнулись в сторону, чтобы не быть на пути приближавшейся шеренги. Будочка кассы у запасных ворот валялась перевернутой в метре от ближайшего ряда машин на стоянке; припав за будочкой к земле, Рейнхарт и Фарли оглядели стоянку. В центре многие машины были перевернуты и горели; в дальнем конце около шоссе машины все еще внезапно вспыхивали огненными столбами, и ветер разносил запах горелой резины и изоляции электропроводки. Ревя клаксонами, два зеленых армейских грузовика въехали на середину стоянки и высадили отряды национальных гвардейцев, которые, озираясь, опасливо выстраивались повзводно.

Две пивные через шоссе забаррикадировали окна; соседняя бакалейная лавка зияла опустошенными витринами, из нее валил жирный дым. В здании у начала боковой улочки Рейнхарт заметил движущийся в окнах фонарик, который выхватывал своим лучом людские тени, отчаянье жестов, взмах красной материи, а стекла одно за другим разлетались, усыпая мостовую осколками. Тротуары казались пустыми — зевак на них не было.

Один из армейских грузовиков начал шарить по стоянке ослепительным лучом прожектора, время от времени озаряя какую-нибудь одинокую фигуру, которая по-муравьиному копошилась возле разбитых машин. Центр битвы, по-видимому, переместился куда-то еще — из боковых улиц доносилась частая стрельба.

Внезапно Рейнхарт увидел, как свет засиял на его рукаве,— он

попятился, луч ударил ему в глаза, мгновенье помедлил и скользнул дальше.

— Рейнхарт! — позвал в отдалении женский голос. Это был не вопль и не оклик, а... стон.

— Рейнхарт! — на этот раз чуть дальше.

Рейнхарт вдруг повернулся и побежал в том направлении, откуда донесся голос. Он несся за движением могучего луча, увидел седого человека, который стоял на четвереньках в липкой луже, увидел башмак...

— Рейнхарт! — прозвучало удаляясь.

Он бежал сквозь темноту и наткнулся на проволочную изгородь; по ту ее сторону двигались темные человеческие фигуры, отблеск пожара озарял их бегущие ноги, лица были невидимы.

— Рейнхарт!

Это была она. И исчезла.

Звуки. Звук собственного имени, названного в ужасе, названного в тоске, названного... в то же время... если хотите... с любовью,— слабеющий, затихающий. Звук собственного имени, как ропот горя в бесконечном падении. Замерший.

— Рейнхарт,— негромко сказал Рейнхарт.

Он пошел вдоль темной изгороди, пытаясь обойти ее, но она продолжала огибать стадион, и он так и не обнаружил, где она кончалась. Он повернул, чтобы вернуться под защиту ограбленной кассы, и внезапно увидел Фарли на фоне вспыхнувших фар какого-то «форда». Машина только что тронулась и еще набирала скорость, а Фарли бросился от нее и увернулся в последний момент, как критский боец от быка. «Форд» отчаянно затормозил в футе от изгороди; Фарли кинулся к нему, держа в руке пистолет Бингемона. «Форд» дал задний ход, но тут Фарли рукояткой пистолета разбил боковое стекло и распахнул дверцу — жена Джека Нунена принялась молотить его по голове сумочкой. Рядом с ней Джек Нунен за рулем лихорадочно пытался завести заглохший мотор. Пока Рейнхарт бежал к ним, Фарли удалось стащить миссис Нунен с сиденья за длинную соблазнительную ногу; он вскочил на сиденье рядом с Нуненом и выпихнул его в дверцу. Джек Нунен проехался по песку и упал спиной на изгородь. Фарли дал задний ход. Рейнхарт стремительно подскочил к «форду», ухватился за ручку и залез на переднее сиденье. Фарли деловито навел пистолет на голову Рейнхарта.

— Рейнхарт! — сказал он.— Я чуть было не застрелил тебя, старина.

— Знаю,— сказал Рейнхарт.

Они отъехали от изгороди, следуя изгибу стадиона, полавировали среди дымившихся обломков и устремились в первый же выезд на примыкавшую улицу. Позади них кричали «Стой!», гремели выстрелы. Фарли на двух колесах свернул в переулок; они мчались через пустые перекрестки мимо одинаковых темных дощатых домишек. На одном углу из темноты выпрыгнула группа негров, держа в руках деревянный шлагбаум с надписью: «Полицейское управление Нового Орлеана». Они направили его на ветровое стекло, точно таран. Фарли бросил машину на тротуар и свернул за угол.

За следующим светофором стало поспокойнее. На тротуарах, переговариваясь, стояли толпы негров и глядели в сторону стадиона. Они молча смотрели на проезжавший «форд». Впереди поперек улицы стояли две полицейские машины. Фарли притормозил — полицейский с фонариком подошел к ним и махнул, чтобы они проезжали.

Фарли улыбнулся, Рейнхарт откинулся на спинку сиденья. От усталости у него отвисала челюсть.

— Ну,— сказал Фарли,— вот так. Пусть теперь Джек Нунен рассказывает национальным гвардейцам, как я украл его автомобиль.

Рейнхарт смотрел в окно; мимо, ревя сиренами, проносились полицейские машины.

Фарли весело смеялся, покачивая львиной головой.

— М-да! Дела приняли странный оборот, верно, Фарли?

— Удивительный,— сказал Фарли.— Удивительный! Тем не менее для хладнокровных людей эти ситуации имеют свою прелесть.

— Что ты думаешь делать?

— Ну,— сказал Фарли,— ночь предлагает большой выбор заграничных самолетных рейсов. Воспользуюсь каким-нибудь из них. Я всегда слежу за авиационными расписаниями. Когда дело касается самолетов, я превращаюсь в мальчишку. Меня не хватятся до утра, а может быть, и несколько недель. А завтра утром я уже буду в самом неожиданном месте.

Они остановились перед светофором. Фарли принялся весело напевать. Он заработал крупные деньги.

— Советую тебе убраться из этого города, старина. Сейчас же. Если бы я тебе не доверял, я тебя прикончил бы, как Бингемона, это ты понимаешь. Но события нас отлично замаскировали, и мне было бы очень неприятно, если бы тебе пришлось разъяснять некоторые из них.

— Сегодня я уехать не могу,— сказал Рейнхарт.— Мне надо кое-кого разыскать. Я уеду завтра.

— И поскорее,— сказал Фарли.— Как только они тут наведут порядок, положение станет очень трудным.

— Высади меня в северной части Рэмпарт-стрит.

— Ах! — сказал Фарли.— Жизнь!

— Жизнь — это то, что ты из нее сделаешь.

— Жизнь реальна, жизнь серьезна. Так сказал поэт. Жизнь, какой бы прихотливой она нам ни представлялась, ведет к определенной цели. Однако дела складываются весьма и весьма своеобразно.

— Да,— сказал Рейнхарт.— Я только что об этом кому-то говорил. Становится холодновато.

— Да,— сказал Фарли,— ты совершенно прав. Однако я холода не боюсь.

— Ты молодец.

— Станет еще холоднее, Рейнхарт. Это пустяки. Когда ударит настоящий мороз, я вернусь. Мне это нравится. «И если ты способен все, что стало тебе привычным, выложить на стол, все проиграть и вновь начать сначала...» Киплинг. Сегодня вечером я им воспользовался.

Они остановились около безлюдной заправочной станции на углу Рэмпарт-стрит.

— Ну, ладно,— сказал Рейнхарт.

Фарли сердечно потряс его руку.

— Vive la bagatelle[1] и все прочее. Я еще вернусь.— Он возвел глаза к небу и поднял правую руку, уставив вверх указательный палец.— Я вернусь очень скоро.

— Пока, Фарли. Увидимся, когда ты вернешься.

— Давай живи,— сказал Фарли отъезжая.

Рейнхарт шел в темноте по Рэмпарт-стрит, с трудом переставляя ноги. Он старался держать глаза открытыми пошире.

Издалека доносились пение «Дикси» и звук, похожий на топот марширующих ног. Было холодно.

---

[1] Да здравствуют пустяки *(франц.)*.

Джеральдина сидела на сломанных качелях посреди темной детской площадки и смотрела, как по стенам стадиона в квартале от нее бегают лучи прожекторов. В синей тьме у ворот площадки пытался встать на ноги молодой негр — пытался уже довольно давно и безуспешно. После каждой попытки он падал ничком и начинал сызнова. Джеральдина наблюдала за ним, слегка покачиваясь и постукивая носком по гравию. Изредка проезжали полицейские машины, сверкали фарами и уносились.

Через несколько минут негр стал кричать. Потом умолк и еще раз попробовал подняться. Фары проезжавшей полицейской машины осветили его; рысцой подбежали два полисмена и попытались поставить его на ноги. Ничего не получилось; снова положив его на землю, они ушли. Немного погодя подъехала «скорая помощь», и санитары унесли его на носилках.

Полицейские, появившиеся с санитарами, стали ходить по площадке, светя фонариками. Один из них заметил Джеральдину.

— Эй,— сказал полицейский. Он подошел, ощупал ее лучом фонарика.— Что с вами? Вы не ранены?

Джеральдина покачала головой.

Он постоял, разглядывая ее при свете фонарика. Подошел другой, тоже с фонариком. Оба навели свои фонарики на нее.

— Вы не ранены? — спросил второй.— Что вы тут делаете?

Джеральдина покачала головой.

— Была там? — спросили они, показывая на стадион.

Джеральдина помотала головой.

— Как тебя звать, детка?

— Смит,— сказала Джеральдина.

— А полностью?

— Форт Смит.

Полицейские успокоились. Они буркнули что-то, скосили глаза, почесали носы.

— Это не смешно,— сказал один.

— Да,— сказала Джеральдина.

— Что у тебя в сумке?

— Песок,— сказала Джеральдина.

Полицейские переглянулись; один осторожно взял у нее сумку, взвесил на ладони. Он втянул щеки, держа сумку на прямой руке.

— Оружие в сумке есть?

— В первый раз эту сумку вижу,— сказала Джеральдина.

Полицейский положил фонарик на землю, поставил рядом с ним сумку и осторожно открыл замок. Потом залез в сумку, вытащил пистолет и проверил предохранитель. Он прижал пистолет коленом и вытащил сигарету с марихуаной, держа ее двумя пальцами.

— Смотри-ка,— сказал он, вертя сигарету перед фонариком.— Старушка Марианна.

— Для себя или для кого-нибудь? — спросил полисмен, стоявший рядом с Джеральдиной.

Джеральдина смотрела на световые пятна, метавшиеся по стене стадиона, и молчала.

— Это не наша забота,— сказал другой.— Заберем ее.

Полицейские сложили вещи в сумку, отвели Джеральдину к машине и посадили между собой. Они заметно повеселели: им пришлось самим везти ее в участок — можно было на время уехать со стадиона. Они ехали в хорошем настроении, напевали что-то себе под нос, толкали ее коленями.

— Может, тебе это подложили? — сказал тот, что справа.— Если

подложили, ты скажи районному прокурору, а мы подтвердим, что ты была пьяная. Если будешь хорошо себя вести.

Полисмен за рулем метнул на него взгляд: поаккуратней.

— Ты знаешь, что тебе за это придется предстать перед присяжными? Слышишь, красавица, в нашем городе наркоманов не жалуют.

— Да ну? — спросила Джеральдина.

Они ехали дальше, навстречу санитарным и полицейским машинам, двигавшимся к стадиону. Полисмен на пассажирском месте нагнулся и включил сирену.

— Кто-то должен заняться неграми,— сказал он.— Рано или поздно в этой стране невозможно будет жить.

Другой, стиснув зубы, невнятно выругался.

Около приземистого кирпичного здания полиции они остановили машину и втолкнули Джеральдину в вестибюль. Снаружи стояла охрана из полицейских в шлемах; они были вооружены охотничьими ружьями и обшаривали прожекторами улицу перед зданием. Внутри теснились полисмены и агенты в штатском, которые проводили мимо ряда освещенных столов длинные очереди людей с разнообразными повреждениями.

— Придется подождать.

— Я не против, а ты?

Позвали человека из районной прокуратуры; человек из районной прокуратуры велел им обыскать Джеральдину и запереть на ночь — утром ею займутся первой.

Полицейские отвели Джеральдину к лифту и спустили в подвальный этаж, где за металлическим столом возле голубой железной двери сидел старик полицейский.

Они предъявили ей обвинение в бродяжничестве и вызвали надзирательницу. Надзирательница была маленькая, хрупкого вида женщина с перманентом.

Джеральдина перешла с надзирательницей в соседнюю комнату и разделась. Надзирательница спросила, почему на ней нет белья. Джеральдина сказала, что так — полезней для здоровья. Надзирательница влепила ей пощечину.

— Хочешь драться? — сказала она.— Будем драться.

Старик полицейский принес сумку Джеральдины, и надзирательница вытащила пистолет и сигарету. Старик положил их в коричневый конверт.

Потом они втроем вернулись к металлическому столу и старик полицейский заявил Джеральдине, что на основании обыска, проведенного надзирательницей, она обвиняется в хранении наркотиков, незаконном ношении оружия, а также в нанесении ущерба городскому имуществу и нарушении порядка в общественном месте.

Сейчас им некогда, а завтра ею займутся с утра пораньше, сказал он. За ночь она может продумать объяснение своих действий. Надзирательница отвела ее в бетонированный подвал и там взяла у нее отпечатки пальцев, а мужчина ее сфотографировал.

Другая надзирательница провела ее через другую железную дверь в коридор. В камерах были оранжевые стены и синие откидные койки на цепях — очень яркие, очень новые. Джеральдина шла по освещенному коридору впереди надзирательницы; она не оглядывалась на женщин, которые наблюдали за ней. Кто-то свистнул ей вслед.

Ее поместили в крайнюю камеру — узкое треугольное помещение с умывальником посредине; решетки и койка поставлены были, по-видимому, недавно, когда уборную переделали в камеру. Койка была только одна, но на стенах висели цепи еще для нескольких коек. Ря-

дом с раковиной стоял унитаз без крышки, с лужицей густо-коричневой жидкости.

— Побудешь здесь, чтобы суду не пришлось тебя искать завтра утром,— сказала надзирательница.— Одеяло я тебе дам, а свободных матрацев не осталось. Если будешь блевать, то в унитаз, а не в раковину. Ты здесь ненадолго, поэтому веди себя тихо и скажи спасибо, что сидишь одна. А будешь шуметь, отправим как скандалистку в городскую тюрьму — там тебя приведут в порядок. Не будешь шуметь?

— Нет,— сказала Джеральдина.

Надзирательница ушла. Джеральдина села на койку и посмотрела сквозь решетку. Она взяла одну из свободных цепей и приложила к губам, пробуя скверный вкус стали.

«Ну, все,— подумала она.— Ну, все. Попалась».

Страх ушел, но сердцу в груди было тесно, и непонятное, невыносимое волнение сковывало тело.

Во рту пересохло. Сильными руками она скрутила свободную цепь, прижала к зубам и провела языком по кислому металлу.

Рейнхарт. Я — никто.

Сколько ты проживешь, спроси у лавра. Вытянешь короткую веточку — умрешь молодой, вытянешь длинную — проживешь долго.

«А я всегда вытаскивала длинную»,— подумала Джеральдина.

По ту сторону коридора заключенная подняла глаза от Библии и улыбнулась.

— Эй! — закричала Джеральдина.— Эй!

В коридоре никого не было.

Через несколько минут Джеральдина услышала, что дверь открылась; вошла надзирательница, суровая и раздраженная.

— Давай-ка потише, девочка.

— Принесите мне Библию.

Надзирательница посмотрела на нее.

— Здесь камера предварительного заключения, милая. У нас тут библий не держат. Когда переедешь в городскую тюрьму, там тебе дадут Библию. А может, и со священником удастся поговорить, если захочешь.

Джеральдина показала на женщину в камере напротив.

— У нее же есть.

— У нее своя,— сказала надзирательница.— И вообще, на нее не смотри — у нее голова не в порядке.

— Хорошо,— сказала Джеральдина.— Все равно спасибо. Спасибо вам огромное.

Джеральдина прижала цепь к животу и подождала, пока снова хлопнет дверь. Тогда она сняла синюю шерстяную кофточку и положила рядом на койку. Потом стала на раму койки и, поднявшись на цыпочки, захлестнула свободную цепь наверху вокруг штыря, так что получилась петля. Она наклонилась и связала кофточкой лодыжки; затем, привалившись к стене, вытянулась вперед и просунула голову в железное кольцо. Влажные звенья холодили затылок, сжимали горло.

«Ну, все».

Джеральдина закрыла глаза, вздохнула и ногой откинула к стене койку. Цепь над головой распрямилась с жутким звуком, натянулась, рванула. Джеральдина окаменела от боли и страха; ее пальцы судорожно потянулись к свисавшему краю одеяла.

«Ошибка, ошибка,— подумала она.— Никому этого не хочется». Но она знала, что ошибки нет. Все было очень знакомо.

По телу Рейнхарта пробежала судорога, и он проснулся.

Он услышал, как хлопнула калитка во дворе и чей-то голос выкрикнул его имя.

Сначала он подумал, что это Джеральдина. Он вышел на лестницу и увидел, что Филомена, неуклюже переставляя ноги в шинах, подошла к кирпичной ограде садика во дворе и села. Она подняла голову и посмотрела на него.

— Эй, спуститесь,— сказала она.— Я к вам не дойду. Мне надо вам что-то сказать.

Рейнхарт спустился и подошел к ней. Она смотрела на него равнодушными голубыми глазами.

— Я вам скажу одну вещь, а вы уж сами соображайте, что она значит: Джеральдина умерла.

Рейнхарт сел рядом с Филоменой; сердце его зачастило. Он и в самом деле пытался сообразить, что это значит. Едва успев сесть, он поднялся снова.

— Утром в гостиницу «Рим» пришли из полиции. Искали у меня марихуану и всякую такую штуку. Она была вам верной подругой, Рейнхарт. Она дала им мой адрес, не ваш. Ее забрали вчера ночью в этой заварухе, и она повесилась в камере.

Рейнхарт отошел к лестнице.

— Это точно? — спросил он.

Филомена пожала плечами.

— Про эти дела я всегда узнаю. Я знаю одного полицейского, его зовут Брауни. Он мне и сказал. Я всегда узнаю, он там или нет, этот Брауни. Он мне и сказал. Про эти дела...— Она опять пожала плечами. От нее разило пивом.— Ну, как вам теперь? — спросила Филомена.— Вам грустно?

Рейнхарт посмотрел на нее.

— Грустно? Про что вы толкуете? — сказал он. Руки у него затряслись.— Что значит грустно?

— Грустно,— пояснила Филомена и, сложив пальцы щепоткой, приставила к груди.— Ну, понимаете, грустно.— Она пыталась объяснить ему, что значит грустно.— Вы чувствуете, что вам грустно?

— А-а,— сказал Рейнхарт.— Грустно. Ну да, я понимаю, что вы хотите сказать. Она повесилась?

Филомена застонала и заплакала. Потом откашлялась и улыбнулась ему.

— Она удавилась на цепи, Рейнхарт. И это — самое грустное, верно?

— Да,— сказал Рейнхарт.— Я понимаю, что вы хотите сказать. Понимаю.— Он все время помахивал рукой, словно отгоняя ее. Рука тряслась неудержимо.

— Вам должно быть грустнее, чем мне, а я прямо не знаю, что делать,— так мне грустно. Она была вашей верной подругой. Вам, должно быть, теперь ужасно грустно, Рейнхарт.

— Мне грустно,— сказал Рейнхарт.— Грустно.— Он думал про цепь.— Мне ужасно грустно.

— И ничем теперь не поможешь. Вот что самое грустное.

Вокруг шеи. Вокруг щитовидки. Вокруг горла. Удушье. Глаза. Язык наружу.

Внезапно он вспомнил ее.

Ее лицо, шрамы. Ее запах. Ее гнев. Все ощущения, которые он испытывал, прижимаясь к ней, нахлынули на него волной.

Цепью. По живому телу. Умерла. Больше нет. Что? Умерла?

Рейнхарт сунул руку в карман, вытащил пятидолларовую бумаж-

ку и дал Филомене. Она приняла ее со слезами и нежно посмотрела на него.

— Представляю, как вам грустно,— сказала она.

— Да,— сказал Рейнхарт.

— Вы пойдете опознать ее? Кто-то должен пойти и сказать им, кто она и что с ней делать.

— А,— сказал Рейнхарт.— Значит, вы не...

— Я не могу ходить в такие места, разговаривать... Не умею.

— Где она?

— В городской больнице. В морге лежит.

— Ладно,— сказал Рейнхарт.

— Спасибо вам за пять долларов, Рейнхарт. Мне хватит, чтобы напиться.

— Правильно,— сказал Рейнхарт.

Он пошел к себе. Надо собирать манатки. Квартира все еще пахла ею — или так ему казалось. Он старался не дотрагиваться до ее вещей. Многое из того, что она купила, было разбросано по квартире: кастрюли, тарелки, ее одежда. Он старался на них не смотреть. В чемодан он сунул только то, с чем приехал в город, а остальное разложил на кровати. Все бумаги, где было его имя, он разорвал, оставив только водительские права и визитные карточки Джека Нунена. Приметы у них были схожие. Закончив, он закрыл за собой дверь и выбросил ключи в садик.

Снова стало жарко. Неподвижный воздух гудел.

Рейнхарт сдал чемодан на станции междугородного автобуса и пошел в больницу.

На белом лифте он спустился в морг. В белой комнате, наполненной гулом вентилятора, за столом сидел бледный толстяк. Рейнхарт сказал:

— Мне сообщили, что умерла моя приятельница.

Человек посмотрел на него равнодушно. Рейнхарт подумал: мертвецы лежат, конечно, не здесь. Здесь только он и бледный толстяк.

— Как фамилия покойницы?

— Фамилия, по-моему, Кросби,— ответил Рейнхарт.— Зовут Джеральдиной.

— А,— сказал толстый.— Катастрофа на Шеф-Мантёр.— Перед ним стояла металлическая коробка с карточками, и он начал их перебирать. Рейнхарт наклонился и посмотрел, что написано на карточках.

— Нет,— сказал Рейнхарт.— Моя приятельница умерла в тюрьме. Она повесилась на цепи. То есть так мне сказали.

Бледный толстяк кивнул и вынул из коробки карточку.

— Это правда? — спросил Рейнхарт.— Она здесь?

— Да,— ответил толстый.

— А,— сказал Рейнхарт.

— Так вы хотите получить тело? Вы родственник?

— Нет,— сказал Рейнхарт.

Из коридора появился охранник в форме и, зайдя за стол, стал над толстяком, чтобы прочесть карточку.

— Понимаете, это моя знакомая. А тут мне говорят, что она умерла. Мне это сказали, и... ну, я подумал, что, понимаете... надо проверить, так ли это. Правда ли, что она умерла.

— Видимо, правда. Джеральдина Кросби. Двадцати четырех лет, белая, блондинка, глаза голубые. Вы готовы опознать тело?

— Да,— сказал Рейнхарт.— Да, конечно.

Толстяк вынул из верхнего ящика своего пластмассового стола

бланк и вложил в пишущую машинку. Охранник вынул из другого ящика еще один бланк и передал толстяку.

— Ваша фамилия? — спросил толстяк.

— Нунен,— сказал Рейнхарт.— Джон Р. Нунен.

— Разрешите ваши документы,— сказал охранник.

Рейнхарт дал им права Нунена.

Толстяк напечатал на бланке имя и адрес Нунена и встал.

— Пожалуйте со мной.

Рейнхарт подошел с толстяком к зеленой металлической двери. Охранник сел за стол и начал печатать.

Около двери была зеленая кнопка, и толстяк нажал на нее. За стеной зазвенел звонок, и немного погодя зеленая дверь перед ними стала уходить вверх. Они вошли в другую комнату — очень просторную и выложенную белым кафелем. В углу стоял металлический стол на колесиках. Высоко над ними, под потолком, два серых матовых окошка, забранные мелкой сеткой, цедили в комнату дневной свет.

— Теперь подождите,— сказал ему толстяк.

Рейнхарт ждал, глядя на окна. Толстяк скрылся за дверью.

Рейнхарт слышал, как он спускается по железным ступеням. Где-то внизу ожил металл: лязгнула железная дверь, басовито загудел мотор, зашумела зубчатая передача. Рейнхарт подумал: «Колесики алюминиевые».

Двустворчатая дверь в стене раздвинулась, зажегся красный свет. Из лифта, которого Рейнхарт сначала не заметил, вышел негр в очках, везя за собой стол с покрытым простыней телом. Рейнхарт стоял и смотрел вверх, на окна.

Бледный толстяк появился снова. На нем был белый халат.

Не взглянув на Рейнхарта, негр в очках подкатил к нему стол и вышел.

Толстяк поднял простыню. Рейнхарт не сразу решился посмотреть вниз.

Она лежала на столе. Под затылком была металлическая скоба, поддерживавшая голову. Простыня была отогнута на груди, и открытая часть тела была синеватой. Ее шея и челюсти были почти фиолетовые, губы — синие. Вся нижняя часть лица сильно раздулась. Под глазами, как два полумесяца, лежали крапчатые восковые припухлости; сами глаза были полуоткрыты; из-под жестких век выглядывали потемневшие белки. «Во всем этом,— подумал Рейнхарт,— самое неподвижное — ресницы». С каким бы напряжением он ни смотрел на них — ресницы ни разу не дрогнули.

— Это моя приятельница.

Толстяк обогнул стол и встал рядом с Рейнхартом.

— Что ж, если так,— сказал он Рейнхарту,— вы свободны.

Он снова закрыл Джеральдину простыней. Рейнхарт наблюдал, как саван ложился на лицо. Он различил очертания носа, лба и маленькую выпуклость на месте шрама.

Как, умерла?

Рейнхарт проследовал за толстяком к письменному столу.

— Вы связаны с ее ближайшими родственниками? Как они намерены распорядиться телом?

— Видите ли...— сказал Рейнхарт.— Я не знаю, кто ее ближайшие родственники. То есть как бы это сказать... я вообще о ней мало знаю. Понимаете, я хочу сказать, что не знаю, какие могут быть сделаны распоряжения и кто их может сделать.

— Хм,— произнес толстяк.

Подошел охранник, и Рейнхарт заполнил два бланка от имени

Джека Нунена. В них содержался отказ от претензий на имущество и тело и акт об опознании. Охранник расписался как свидетель и ушел.

Рейнхарт обещал толстяку порасспросить насчет родственников Джеральдины. Если он выяснит, где они, то даст им знать.

Выйдя из комнаты, он направился не обратно, к белому лифту, а вверх по бетонной лестнице. Он видел, как охранник разговаривал перед дверью лифта с двумя мужчинами в синем, и, подумав, что это могут быть полицейские, решил уходить другой дорогой.

Бетонная лестница привела на второй этаж, в негритянскую половину больницы. Заблудившись окончательно, Рейнхарт долго бродил по коридорам, забитым больными неграми. Все перед ним расступались.

Рейнхарт вышел на улицу по проезду для санитарных машин и повернул к автобусной станции. Час был поздний — вместе с темнотой наползал жаркий туман, и над Канал-стрит висело желтое свечение. Оседлав трамвайные линии, проносились изредка грязно-оливковые армейские грузовики. Грузовики с разбитыми машинами на буксире попадались гораздо чаще обычного. В остальном движение было маленькое; негры почти не встречались.

На многих углах стояли группами люди в ярких спортивных рубашках — жители соседних городков, решившие своими глазами взглянуть на то, что происходит. Они были озадачены, таинственность событий в большом городе раздражала их бесхитростные души. Большие города холодны и черствы, думали они и, провожая прохожих липким взглядом, цеплялись за всякую возможность хоть под конец принять участие в беспорядках. С наступлением темноты они почувствовали себя неуютно, некоторые бубнили что-то малопристойное по поводу Рейнхартова костюма.

— Эй,— спросил его малорослый провинциал на углу Бейсин-стрит,— эту улицу еще не отняли у белых?

— Ваша, ваша,— сказал Рейнхарт, жестом предлагая ему трамвайную остановку и статую Боливара.

Провинциалу не очень понравился ответ; он выругался, глядя в сгущавшуюся темноту. Но Рейнхарта пропустил.

Рейнхарт торопливо вошел на автобусную станцию и огляделся. Если все мужчины в шляпах были полицейские, то полицейских здесь было не меньше, чем пассажиров. Вдобавок здесь наверняка были и полицейские без шляп. Рейнхарт благополучно миновал всех полицейских и стал в очередь позади матроса и заморенной молоденькой женщины с грудным ребенком.

Когда подошла его очередь, он купил билет до Канзас-Сити; там он мог пересесть на автобус до Денвера. Он спрятал билет в карман и пробрался между агентами к выходу, задержавшись на миг, чтобы взглянуть в дверное стекло, где отражались кассы. На станции, по-видимому, никого не встревожило то, что он уезжает из города.

Автобус до Канзас-Сити отправлялся в девять часов.

Рейнхарт вышел со станции и завернул за угол. С аптечной витрины на Каронделет-стрит стащили все бритвы. Фанерная обшивка кое-где была оторвана, но стекло уцелело; в витрине остались только мятые листы яркой цветной бумаги. На следующем перекрестке полицейские на мотоциклах разгоняли небольшую толпу; качаясь, двигалась цепочка темных фигур, преследуемая мотоциклистами с вертящимися красными огнями. Рейнхарт повернул и пошел на север по темной и пустой Каронделет-стрит, выискивая, где бы купить на дорогу виски. В неестественной тишине с близлежащих улиц доносились зловещие звуки — обрывок дикой песни, свист сквозь зубы. Освещенные окна и сдвинутые шторы в меблированных комнатах окраины на-

водили на мысли о домашних мятежах, квартирных буйствах, садистских забавах.

И впереди справа стояла гостиница «Рим».

И впереди поперек улицы стояло полицейское заграждение, прыскало желтым и красным светом на Пердидо-стрит.

Рейнхарт остановился на тротуаре, посмотрел на фонари заграждения, перевел взгляд на окна гостиницы.

— Я не знаю, Джеральдина,— сказал он,— чего еще плохого тебе ждать. Но если бы я знал и мог, я был бы счастлив предупредить тебя. Ты ведь понимаешь, я представления не имею о том, что значит удавиться на цепи от койки.

— «Мой милый, милый друг»,— продекламировал Рейнхарт...

«Господи,— подумал он,— почему я не сказал ей этого раньше?»

— Теперь ты понимаешь, Джеральдина, что значат слова «не поможешь».

Чувства утраты не было совсем. Он мог вспомнить ее только мертвой, с выпученными глазами.

— У меня жена жива. У меня ребенок,— сказал Рейнхарт.

— Я жив, малютка,— сказал он Джеральдине.— Это ты умерла. Не я. Ты не нужна мне — с чего ты это взяла? Понимаешь... я хочу сказать... тут не было глубокой страсти, Джеральдина. И следующий стаканчик выпью я, не ты. Не ты.

— Я люблю тебя, малютка... Не поможешь.

В одном из окон гостиницы поднялась штора, и старик в белой бейсбольной кепке выглянул на улицу.

Рейнхарт перестал кричать.

— Я люблю тебя, малютка,— сказал он, отвернув от старика лицо.— Не поможешь.

От заграждения, взвыв сиреной, отъехала полицейская машина. Рейнхарт двинулся назад.

Не доходя квартала до автобусной станции, Рейнхарт завернул в «Отдых спортсмена», где косая буфетчица беседовала с двумя мужчинами в красных спортивных рубашках. Он прошел прямо к краю стойки и сел под часами.

У косой буфетчицы были каштановые волосы и сломанный нос; она подошла, чтобы принять заказ у Рейнхарта.

— Ночь полна раненых женщин,— сказал он ей.

Она знала Рейнхарта, хотя он ее не помнил. Она посмотрела на него с пытливым участием, рот ее сверкнул подсолнухом.

— И раненых мужчин. Как она жизнь?

Рейнхарт разглядывал белую косточку на ее переносице. Казалось, он уже смотрел на нее когда-то раньше.

— Я выжил. Твердый духом, я покидаю сии равнины и отбываю в Денвер, Заоблачный город.

— Ну что ж,— сказала буфетчица. Она продала ему бутылку виски на дорогу и поставила перед ним еще стакан с виски.— А что вы будете делать, когда приедете в Денвер?

Рейнхарт посмотрел на нее в замешательстве и выпил.

— Ах,— сказал он, чуть не подпрыгнув на табуретке от грубой ласки спиртного,— гадом быть, это великолепно. Нет, правда.

Он уплатил, и девушка налила ему еще порцию.

— Так что же вы будете делать в Денвере?

— Я найду самое высокое место в городе, влезу наверх и буду смотреть оттуда вниз.

— На что? — спросила девушка.

Двое в красных рубашках, прибывшие в город на беспорядки, услышав интонации Рейнхарта, подошли поближе.

— А-а,— сказал Рейнхарт,— на все, чем этот славный мир богат. Как чудесно быть юношей в этой республике,— сказал он двоим в спортивных рубашках, когда они уселись по обе стороны от него.— И вы этого не забывайте.

Они переглянулись.

— Точно? — немного погодя сказал один.

— Точно,— подтвердил Рейнхарт.— И когда я приеду в Денвер, я сяду наверху и буду смотреть вниз.

— Где это ты так говорить научился? — спросил сидевший слева.

— Слушайте,— сказала буфетчица со сломанным носом, глядя на Рейнхарта добрыми косыми глазами,— вы будете скучать по нас, когда уедете?

— Да,— ответил Рейнхарт,— очень. Когда я приеду в Заоблачный город, я почувствую утрату. Господи, конечно,— сказал он девушке и двоим в красных спортивных рубашках.— Когда я туда приеду, мне будет о чем погрустить.

— Иди ты? — сказал один из мужчин.

— Вы прямо как из комикса,— сказала буфетчица, пытаясь разрядить атмосферу.— Пришел в бар, и обязательно надо выложить все свои неприятности.

— Да,— признался Рейнхарт,— я — герой комикса.

— Хм,— сказали двое в спортивных рубашках.

Буфетчица пошла вдоль стойки бара.

— Не приставайте к нему. Он просто любит рассказывать про свои неприятности в баре. У вас, что ли, не бывает неприятностей?

Они позволили девушке увести себя от Рейнхарта и сели поодаль от него.

Рейнхарт поставил стакан и встал.

— Слушайте,— крикнул он им.— Слушайте! Они убили мою подругу. Я разнесу пивную.

Оба мужчины встали.

— Оставьте его,— сказала буфетчица.— Уходите, шеф,— сказала она Рейнхарту.

— Они убили мою подругу,— сказал Рейнхарт.— Я разнесу пивную.

— Ничего ты не сделаешь,— сказал один из мужчин.— Ни хрена ты не разнесешь. Самого тебя понесут.

— Отстаньте от него, слышите,— сказала буфетчица.— Он уезжает.

— Нет, я сделаю, старик,— сказал Рейнхарт мужчине, который загородил ему дорогу.— Они убили мою подругу, и я разнесу пивную.

Он обогнул мужчину, держась за стену, дошел до двери и остановился.

— Подождите,— сказал он.— Одну секундочку. Где мой кларнет?

— Вы его потеряли,— сказала буфетчица.— Идите.

Он вышел на тротуар. Никто его не преследовал. Вокруг были темные дома, звезды и впереди — большая изогнутая стрела, указывавшая дорогу к автобусной станции.

Рейнхарт посмотрел, как мигает головка стрелы.

Путь открыт, подумал он. Он выжил.

— Они убили мою подругу,— сказал Рейнхарт, идя по улице.— Я разнесу пивную.

■

О романе Р. Стоуна «В зеркалах»

Действие захватывающего романа Стоуна, с журнальным вариантом которого познакомился советский читатель и за который автор получил в Соединенных Штатах Америки одну из крупных литературных премий, происходит в Новом Орлеане в 1962 году. Автор как бы приподнимает крышу над разложением и моральной деградацией Америки — страны, полной противоречий, которые долгое время не выходили наружу, а в 60-х годах вылились в кризис. Начало 70-х годов уже показало, что взрывы народного возмущения далеко не исчерпали себя. Нужно яркое перо, проницательный глаз, чувствительность сейсмографа, чтобы запечатлеть на полотне природу и запах загнивания в нашей стране. Всеми этими качествами в значительной степени обладает Стоун. Кошмар, в котором живет Америка, отражается в зеркалах. И ты не можешь бежать от этого кошмара, который смотрит на тебя и преследует тебя на каждом шагу. Все кажется искаженным, точно в страшном сне.

Но в произведении подлинного искусства это приводит к тому, что искаженные детали складываются в реальную картину, куда более правдивую, чем фотографический снимок. Это картина мрачная, нарисованная мощными мазками реалистической кисти, умело сочетаемыми с поэтическими и даже лихорадочными взлетами в области сюрреализма. Даже тот, кто никогда этого сам не испытал, почувствует правду в кошмаре, созданном Стоуном. А те из нас, кто жил в этом кошмаре, слишком хорошо знают его, ибо мы живем с открытыми глазами среди всего этого ужаса.

Какой кошмар сравним со страшной американской реальностью сегодняшнего дня, с этой волной убийств, которой были отмечены 60-е годы и которая перекатилась сейчас в 70-е: братья Кеннеди — президент и сенатор, доктор Мартин Лютер Кинг, Малькольм Экс, 28 руководителей «черных пантер», 43 негра и пуэрториканца, убитых в тюрьме в Аттике, 4 студента Кентского университета, руководитель профсоюза горняков Джозеф Яблонский, его жена и дочь, убитые у себя дома 1 января 1970 года, Джозеф Калеб, другой профсоюзный лидер и борец за гражданские права негров, павший от руки наемного убийцы 8 февраля 1972 года, Айрис Коунс, молодая секретарша импресарио Сола Юрока, убитая сионистами, бросившими бомбу в его конторе.

На протяжении многих лет Америка представала миру как промышленный гигант, который мог производить автомобили в таком количестве, в каком в других странах производят одежду, она представала миру как Америка тончайшей туалетной бумаги и роскошных ванн, где можно сидеть в мягком кресле и читать многостраничное воскресное издание «Нью-Йорк таймс», как страна широких возможностей, где любой может стать богачом. Шестидесятые годы и особенно грязная война во Вьетнаме, а также восстания в черных гетто разрушили эту лживую картину и обнажили подлинное лицо (а вернее, подлинных два лица) Америки: одно — в образе лейтенанта Колли, а другое — в образе Анджелы Дэвис. Война во Вьетнаме выявила гниль, долгое время скрывавшуюся под налетом широковещательных разглагольствований об изобилии и демократических правах. Она показала основные противоречия: доступность (хотя и не для миллионов) автомобилей, с одной стороны, и позорной могилы во Вьетнаме — с другой; Декларация независимости, с одной стороны, и Сонгми — с другой; Билль о правах, с одной стороны, и грязная война внутри страны против самих же американцев, борющихся за мир и выступающих против расизма,— с другой. Ленин говорил о загнивании империализма. Мы сегодня в Соединенных Штатах живем в этом загнивающем мире.

Одним из самых существенных аспектов социального кризиса, который сенатор Роберт Кеннеди охарактеризовал как величайший кризис, когда-либо переживавшийся Соединенными Штатами со времен Гражданской войны,— является кризис морали. Никогда прежде такое количество американцев (а долгое время это чувствовало лишь незначительное меньшинство) не сознавало, как бездушна, пуста, бесчеловечна и лжива жизнь в капиталистической Америке, несмотря на получаемые ежегодно миллиардные прибыли. Никогда прежде американцы, включая множество людей, принадлежащих к средним слоям населения, и в особенности молодежь, не выступали так решительно против мнимых ценностей общества, готового потратить миллиарды на то, чтобы стереть с лица земли города и селения Вьетнама, но не находящего денег на оплату труда учителей или на то, чтобы наши школы работали с полной нагрузкой. Это моральное загнивание отравляет жизнь тем, у кого есть совесть. Оно превращает Соединенные Штаты в самую уродливую в мире страну. Вот почему столь многие выступают против «американского образа жизни».

Стоун написал свою книгу до волны убийств, до Сонгми, до опубликования документов Пентагона, однако он как бы предчувствовал весь этот кошмар. В романе не просто отражено разложение американского общества. Стоун не вскрывает жизнь антисептическим скальпелем бесстрастного хирурга. Он осмысливает обнаженный вскрытием ужас. Раны, увиденные им, кровоточат, он взволнованно кричит, как кричат американцы, которые любят свою страну — Америку, провозгласившую «справедливость и свободу для всех» и убитую в Сонгми, в Аттике. Стоун испускает гневный

вопль вместе с теми американцами, которые перестали верить своим президентам, которые не просто возмущаются, а активно выступают против политики своего правительства, и вместе с тем это патетический крик Америки, которая еще не нашла своего пути. В этом крике отражена ностальгия великого американского писателя Томаса Вулфа, так хорошо уловившего лихорадочный пульс своей страны во время кризиса 30-х годов. Подобно Вулфу, Стоун тоже чувствует, как его крепко держит «паутина земли».

В Рейнхарте, «антигерое» книги, Стоун создает образ, страшный своей ужасающей реальностью, ибо перед нами циничный представитель интеллигенции, «продающий свои мозги», извращенный, заботящийся лишь о собственной шкуре и вместе с тем неуклонно шагающий к самоуничтожению. В пропитанном алкоголем мозгу Рейнхарта живо золотое правило, которому следует «практичный» американец в нашей «свободной» стране: «Да здравствую я!» «Всяк за себя, и пусть черт поберет всех прочих». Вскормленный этой философией, руководствуясь ею в своей жизни и в своих политических воззрениях, Рейнхарт и глазом не моргнув продает себя Бингемону, чудовищу без всяких моральных устоев, финансирующему расистские, фашистские движения. На протяжении всей книги, особенно когда какие-то человеческие чувства грозят выбить его из седла «практицизма», Рейнхарт повторяет: «Мне надо выжить». И оказывается, что «выжить» можно, по его представлению, лишь притупляя совесть с помощью виски и наркотиков.

Лишенные корней, деклассированные элементы вроде Рейнхарта представляют собой серьезную угрозу для сегодняшней Америки. Запрограммированные преувеличенными представлениями о ценностях нашего общества, которых они не утрачивают, даже опускаясь на самое дно, выученные упаковывать и продавать эти ценности, рейнхарты являются готовым орудием для бингемонов. И, зная это, бингемоны вытаскивают рейнхартов — даже из сточных канав. Я встречал рейнхартов в 50-е годы во время «охоты на ведьм», которую вел Маккарти. Циничные и образованные репортеры типа Рейнхарта готовили сочные бифштексы антикоммунизма и «холодной войны» против Советского Союза и скармливали их своим менее осведомленным согражданам-американцам. Они называли в своих статьях коммунистов — рабочих и интеллигентов, зная, что одно такое упоминание влечет за собой потерю работы и тюрьму. Их очерки на первых полосах газет уничтожали жизни и разбивали карьеры. Но, как и Рейнхарт, они делали это не задумываясь. Как и Рейнхарту, им надо было «выжить».

В романе Стоуна показана страшная картина реакционных, расистских течений, существующих в нашей стране наряду с радикальными течениями и возникших в связи с неслыханной волной выступлений, требующих коренных перемен. Вместе с советскими корреспондентами я наблюдал ужасающие сцены фашистского и расистского разгула во время предвыборной кампании 1968 года, когда выступал Джордж Уоллес,— сцены эти очень напоминали «патриотическое собрание», устроенное Бингемоном в заключительной части романа. Со времени выхода книги Стоуна в Америке не раз уже бывали такие спровоцированные выступления — в Джексоне, штат Миссисипи, в Кентском университете и т. д. Сегодня они такая же неотъемлемая часть американской жизни, как нью-йоркские небоскребы. Бингемон — образ, вовсе не придуманный. Подобные ему люди лишили жизни Мартина Лютера Кинга и пытаются убить его Мечту. Поскребите Бингемона, и вы увидите отвратительное лицо техасского мультимиллиардера и нефтяного короля Ханта, финансирующего Джорджа Уоллеса и немало других расистских и фашистских движений, яд которых распространяет армия рейнхартов через мощные радиостанции, телевидение и газеты.

Стоун нарисовал правдивую, живую и в известной мере пророческую картину, которая входит составной частью в сложную мозаику сегодняшней, захлестываемой кризисом Америки. К сожалению, здесь отсутствует немало существенно важных моментов, которые необходимы для того, чтобы получилось полное и более точное изображение сегодняшней американской действительности. Пожалуй, самым серьезным недостатком книги является то, что к концу у читателя возникает ощущение невероятной безысходности. Америка Бингемона, Рейнхарта и Фарли нарисована ярко и страшно. Но Америки, заслужившей звание великой страны, Америки Мартина Лютера Кинга, Америки Анджелы Дэвис, Америки ветеранов вьетнамской войны, швырявших свои позорные медали к подножию Капитолия, Америки бастующих рабочих, выступающих против баронов большого бизнеса,— этой Америки в романе Стоуна почти нет.

В итоге герои и героини Стоуна, если их можно так назвать, кажутся такими хрупкими и крошечными перед лицом всепобеждающего фашизма и реакции. В образе Джеральдины Стоун показывает жалкую, избитую жизнью женщину, потерявшую почву под ногами, из последних сил старающуюся поддержать свое человеческое достоинство. Я видел таких джеральдин, когда проходил военную службу в Алабаме и Джорджии в период второй мировой войны, и Джеральдина Стоуна, пытающаяся бороться с порочным миром, которому нужно лишь ее тело, вызывает в моей памяти определенные образы. Джеральдина, как и Рейнхарт, опускается на самое дно. Но хотя она цепляется за жизнь, «выжить» для нее не главное. К сожалению, Джеральдина — любимое создание автора — выглядит жалкой по сравнению с циником Рейнхартом и

безжалостным Бингемоном. Попытка Стоуна наделить ее героическими чертами весьма неубедительна.

Еще менее убедительно выглядит «герой» Стоуна — Рейни. Да, многие честные сыновья и дочери богатых родителей выступают против ложных ценностей, которыми живут их семьи и общество, пополняют ряды борцов против расизма и реакции, против войны во Вьетнаме — это действительно одна из характерных черт нынешнего периода американской действительности. Но Рейни у Стоуна — человек эксцентричный и, следовательно, далеко не типичный для этой части американцев. То же самое можно сказать и о неграх в романе Стоуна. В нем не показаны мужественные, преданные, талантливые лидеры негритянского движения, столь много сделавшие для того, чтобы поднять свой многострадальный народ на борьбу, которая приобретает все больший накал, несмотря на убийства и преследования лучших сынов и дочерей негритянского народа. Негры представлены в романе образом Клото, человеком циничным и продажным, играющим — независимо от того, что он про себя думает,— на руку белым боссам. Такие, как Клотс, существуют. Но для борьбы за освобождение негров в 60-х и 70-х годах более характерны другие фигуры — такие как Мартин Лютер Кинг, Малькольм Экс, Анджела Дэвис.

Почему же, несмотря на эти серьезные недостатки, роман Стоуна является все же ценным вкладом в американскую литературу сегодня? Потому что он отражает главное в жизни сегодняшних Соединенных Штатов Америки, давая страшную картину социальной системы в стадии разложения, и заслуживает того, чтобы роман прочитали советские люди. Я прожил в Советском Союзе больше трех лет и понял, что среди советских людей, особенно молодежи, все еще живы иллюзии относительно жизни в Соединенных Штатах. Все еще существует непонимание того, что эта страна насквозь прогнила. Советские люди живут совсем в другом мире, и им так же трудно понять, что в Соединенных Штатах жизнь строится по принципу «человек человеку волк», как трудно представить себе жизнь на Марсе. Ведь подавляющее большинство нынешних советских граждан никогда не жили при капитализме, не знают эксплуатации, не знают той деградации и степени унижения человека, которая возможна при капиталистической системе. Отсюда и возникает проблема недопонимания. Проблема эта серьезная, особенно если учесть идеологическую войну, которая идет между двумя системами. Исход ее не вызывает сомнений. И многое уже делается, особенно вашими поэтами, для того, чтобы уничтожить пропасть непонимания. Еще больше, я уверен, будет сделано вашими писателями. Но совершенно особую роль в этом могут сыграть наши честные, талантливые, думающие писатели. Искусство обладает способностью создавать такие живые картины, которые заставят вас, живущих в мире, столь отличном от нашего, поверить им. А главное достоинство романа «В зеркалах» заключается в том, что, несмотря на все свои недочеты, это — произведение искусства.

МАЙК ДЭВИДОВ

■

ЯРОСЛАВ ИВАШКЕВИЧ

Sérénité

РАССКАЗ

Перевод с польского Г. ЯЗЫКОВОЙ

I

На озере, 8 сентября

Дорогая пани Агата!

Подлинное мое приобщение к изобразительному искусству, к живописи произошло довольно поздно. В юности мне нравились картины скорее банальные, более того — некоторые из них так сильно подействовали на мое воображение, что я помню их по сей день, нет-нет да и отзовутся они в моем собственном творчестве. Помнится, в моде тогда была картина Фантен-Латура под названием «Свадебное путешествие», или «Путешествие любовное». Отъезжающая карета, в заднем окошке ее видны две склонившиеся друг к другу головки: женская и мужская, на запятках, где складывают чемоданы, маленький фавн, играющий на флейте, и все это выдержано в золотисто-красных тонах осенней листвы. Как же восхищала меня эта картина, какой была исполнена музыки, музыки, как мне казалось, в духе Форе...

Помню и другого художника — Анри Мартена. Он писал какие-то фрески в Париже. Его именем называлась даже главная аллея в районе Пасси, и только после того, как ее переименовали в авеню Мандэль, я заподозрил, что тут что-то не так. И в самом деле, оказалось, что улица была названа в честь знаменитого историка, однофамильца моего художника. И тот, и другой теперь забыты.

И вот у этого-то художника, Анри Мартена, была картина, которую он назвал «Sérénité». Оригинала я, кажется, не видел, хотя, возможно, он и хранился в Люксембургском дворце. Но я хорошо помню открытки с репродукциями, которые так меня тогда восхищали.

«Sérénité» прежде всего изумляла цветом, яркостью зелени. И в пронзительно-ярком зеленом лесу медленно возносились в небо человеческие фигуры. Все они летели слева направо, медленно поднимаясь вверх. Одни были совсем нагими, другие — в свободных, прозрачных, каких-то облачных одеждах, некоторые из них держали в руках лиры. И все они плавно устремлялись ввысь — с зеленой земли к ясному небу.

Очень трудно мне, пани Агата, перевести это слово — sérénité. Оно означает ясность, просветленность в природе и в душе, тишину,

успокоение — да, пожалуй, слово успокоение подходит сюда больше всего, хотя, впрочем, в «Sérénité» нет никакого оттенка недавнего смятения и, может быть, именно поэтому оно не совсем соответствует тому, о чем я хотел бы Вам сейчас рассказать.

С тех пор, как я поселился здесь, у озера, я все время думаю об этой картине, хотя достоинства ее сомнительны, это я отлично понимаю. Меня со всех сторон окружают старые деревья, платаны, кедры, ясени, и мне все кажется, что среди этих скульптурных стволов парят белые и лиловые тени. Я вижу их красивые головы, благородные очертания кифар.

Здесь я уже несколько дней. Как я писал Вам, я приехал сюда по приглашению Марре Шуара, который в свои девяносто лет сохранил полную ясность ума. Я собираюсь погостить у него и здесь же дождаться своего восьмидесятилетия — для него это, может быть, и не так уж много, а мне и того довольно.

У меня нет больше никаких дел и, разумеется, нет никаких замыслов и планов. Мне ничего уже не нужно, разве что подвести итоги, кое-что сопоставить, преувеличив что-то, а может и преуменьшив. И вот, погрузившись в этот блаженный покой, глядя на двухсотлетние деревья, на светлую голубизну озера, на парусники, скользящие по водной глади, словно легкокрылые поденки, я и решил написать Вам. Но не то привычное письмо, простой знак вежливости, каких, увы, за последнее время Вы получили от меня множество, а письмо настоящее, пусть бы оно было напоминанием обо всем том, что мучило и объединяло нас когда-то, а потом незримо и невидимо оставалось между нами.

Не бойтесь, я не буду сентиментален. Этой слабости за мной никогда не водилось. Да и речь пойдет, в первую очередь, о поступках, а не о чувствах.

Я не боюсь показаться и чересчур откровенным. Это мне, кажется, не грозит, просто я хотел бы еще раз взглянуть на прошлое, на пути наши, которые когда-то были совсем близко, а потом разошлись. Но все-таки они вели нас к тому, к чему всегда хотелось бы прийти перед окончательной разлукой. Они вели нас к примирению, к полному согласию с миром, к sérénité.

Мне часто не дает покоя одна мысль, сама по себе она очень банальна, но тем не менее может докучать человеку в долгую бессонную ночь, мысль о том, что какие-то случайные минуты в человеческой жизни могут оказаться роковыми. Подумать только, от какого-то пустяка — от того, в какую сторону мы свернем, гуляя по саду, в какое сядем кресло, какой решимся набрать номер, сняв телефонную трубку, порой зависит все. От одного слова, едва заметного жеста зависит вся наша жизнь. И кто знает, куда бы она нас увела, если бы этого жеста или слова вообще не было.

Представим себе на минутку, пани Агата, что тогда в парке, а вернее, в ущелье, по склону которого я с таким трудом вскарабкался, я не упал бы в обморок. Представим, что этого бы не было. Ведь никогда, ни до, ни после того, я не падал в обморок. Это случилось со мной один-единственный раз. И теперь мне даже кажется, что я, если можно так сказать, упал в обморок с умыслом, именно для того, чтобы решающей минуты не наступило и мне не пришлось сказать Вам ни слова из того, что было мною давно обдумано и что перевернуло бы всю нашу жизнь.

Если бы я тогда не упал в обморок, я сказал бы Вам все, сказал бы, как сильно любил Вас; разумеется, мне только казалось тогда, что я люблю: ведь я был тогда сущий младенец — несмелый, нелов-

кий, грустный. Эта грусть жива в моей душе и по сей день, жива и в эту минуту, когда я пишу Вам письмо.

Все могло бы сложиться по-иному.

Ведь Вы, наверное, помните, что это было в самом начале войны, в сентябре 1914 года, и сразу же после нашей встречи мне пришлось уехать. С той поры письма должны были заменить все и так ничего не заменили.

Та первая зима была еще относительно спокойной, хотя и очень тяжкой, как все военные зимы. В военных школах ввели ускоренный курс обучения, и уже через несколько месяцев меня отправили на фронт, причем сразу же в роли командира. Я еще не понимал тогда, какое бремя на меня легло, пока рядом вдруг не стали падать люди. Не знаю, способны ли Вы представить, как это бывает, когда на твоих глазах падают вдруг твои друзья, офицеры и солдаты, находящиеся под твоим началом, то есть когда их убивают. Столько лет прошло, столько было страшных, самых неожиданных испытаний, столько товарищей, столько солдат погибло на моих глазах, что, по правде говоря, деталей я уже не помню. А в их числе были и убитые мною люди, и подожженные деревни. Но сегодня все это для меня словно густой лес, и я иду по нему, ударяясь о деревья, разбивая в кровь руки и ноги, иду навстречу шальным пулям, скитаюсь по еврейским местечкам, по госпиталям, по осенним, размытым дорогам.

Наверно, и тогда бывали летние дни, теплые дожди, зеленели деревья, но мне запомнилась только осенняя размытая дорога и мои стертые в кровь ноги, которые шагают по этой дороге без устали: раз, два, раз, два.

И знаете, почему эти годы оказались для меня такими важными? Вовсе не потому, что была война, об этом я даже и не помнил, а потому, что я убедился, что изнанка всех человеческих поступков — жестокость, жестокость по отношению к людям, к мужчинам, женщинам, животным. Помните, как это описано у Достоевского, все эти сны; исповедь Ставрогина — это еще пустяк, для меня куда страшнее сон Раскольникова, помните, ему снится, как убивают лошадь, которая не может тащить телегу с людьми. С каким наслаждением люди убивают лошадь, и ведь все это мерещилось Раскольникову, стало быть, Достоевский думал обо всем этом, и в памяти его осталось убийство лошади.

Сколько таких искалеченных лошадей довелось мне увидеть! Самое страшное, что было на войне,— это раненые лошади, которых некому было добить. Люди тоже мучились безо всякой вины. Но безвинность страданий была особенно заметна, когда мучили животных.

Тогда-то все и началось. А кончилось ли? Нет, не кончилось. Вот и сейчас, у озера, в этом роскошном парке под сенью огромного, напоминающего рифленую колонну дерева, стоит только мне закрыть глаза, и я вижу вереницу убитых людей, замученных животных, разрушенных и обвалившихся домов, и этот ряд бесконечен, он движется точно так же, как я шагал тогда по осенней дороге, в дождливой мгле: раз, два, раз, два.

Сломанные предметы так же обездолены, как раненые животные. Конечно, разрушенные дома ничего не чувствуют, но все разрушенные дома, которые мы с Вами видели, выглядели так, словно бы они испытывали страдания не только физические, но и душевные. Казалось, они в полном отчаянии.

И, собственно говоря, вся наша жизнь была жизнью таких вот обездоленных, лишившихся надежды домов. И мы покидали их, расставались с ними. Мне часто снится все тот же сон: мы с Вами снова

в старом доме, где прошло наше последнее лето, в том доме, где мы вместе читали Ахматову и Иллакович и где — подумать только! — вдруг увидели, что Конопницкая совсем не плохая поэтесса, что она очень музыкальна, выразительна... И вот мне часто снится тот старый дом, только всегда в полумраке, таким, каким он был во время солнечного затмения — помните это затмение? Мне снится этот полутемный дом, и я брожу по комнатам, со мною Ваш отец, мы ищем Вас, но нигде не можем найти. И кассир, который выплатил тогда мне деньги в золотых рублях, тоже тут, и мы все вместе бродим в сумерках по дому, по его огромным комнатам и не можем Вас отыскать. Дом нужно покинуть, и я уже не знаю почему: каждый раз мне снится это по-разному, то ли вот-вот должен начаться бой, то ли сейчас сюда нагрянут гайдамаки, а может, просто нужно срочно убираться отсюда без всякой причины — кто знает, но только дом, с которым мы вот-вот должны расстаться, значит для нас так много. В конце концов это даже и не мой дом, моя судьба с ним не связана, но во сне мне кажется, что непременно нужно сохранить все то, что меня с этим домом соединяет.

Во двор въезжают лошади, телеги, подводы, и мы собираемся в дорогу, вещей ужасно много, Вас все нет, Ваш отец спрашивает: «Где Агата?» А кассир, поглядывая из-за пенсне в золотой оправе, говорит с ехидной усмешкой: «Она прощается с домом». Говорит «прощается с домом», но на самом деле слова его и ехидная усмешка означают что-то совсем иное. Сон этот повторяется много раз, и во сне у меня сначала есть дом, потом я прощаюсь с домом, теряю дом. Дом сам по себе начинает играть ту роль, какой у него никогда не было. Вы ведь знаете, у меня никогда не было дома.

Теперь мне кажется, что, как только я выбрался из ущелья, где со мной тогда случился обморок, тотчас же началась война, стрельба, фронт. И сразу убили моего денщика, так бессмысленно и нелепо. Он как раз собирался в отпуск, стало быть, зима давно прошла, раз ему уже дали отпуск. Но в памяти моей все это ссохлось, превратилось в маленький комочек, который нужно опустить в горячую воду, чтобы он превратился в самые различные картинки, как это было с японской игрушкой, о которой писал Пруст, которая и мне доставила в детстве немало радости и которой уже давно не существует, как и стольких других вещей.

Вещи не только умирают, они исчезают. Теперь, например, совсем исчезли яблоки. Помните, сколько было когда-то разных яблок, сколько сортов — и у каждого свой вкус, свой аромат. А теперь ученые стараются свести их к нескольким, а вернее, к двум сортам. Как раз здесь, на берегу, я читаю статью — воспоминание о том, какие чудесные яблоки были прежде, о том, как старые яблони вырывали из земли: они должны были уступить место жалким кустикам, щедро дарящим «гольдены», которых никто не хочет есть, в которых содержится ничтожное количество витаминов, но которых сейчас такое множество, что их тоннами вывозят на поля, целые гектары земли покрыты слоем гниющих яблок. Как странно все устроено в этом мире...

А потом начались тюрьмы.

Впрочем, нет, конечно, это мне сейчас так кажется, ведь была и молодость, я писал стихи, пользовался успехом. Это было уже после Вашего замужества. Перед этим мы долго не виделись. От кого-то из общих знакомых я узнал, что Вы вышли замуж, и написал Вам письмо. Тогда у нас в Польше светские развлечения были примерно в том же роде, как это описано у Жеромского в его «Пепле». Заметьте, что описание балов у Жеромского и у Налковской очень сходно.

И я был точно таким же старосветским, сделал предложение, был помолвлен, обвенчался. Впрочем, брак мой, так же как и Ваш, это уж совсем иная материя, об этом и разговор должен быть особый.

Но в памяти моей от той поры остались прежде всего мои тюрьмы. Их было немного, но все они запомнились. Вообще заключение — дело тонкое, для того чтобы лишить человека свободы, существует множество узаконенных способов. Но какую они преследуют цель? Я всегда невольно задумывался над тем, какую цель преследует человек, запирая на ключ другого человека, одного или вместе с другими людьми. Хочет ли он направить его на путь добродетели, или же дать ему возможность поразмыслить, или же просто изолировать его от других людей? И то, и другое, и третье. Но если б Вы только знали, что такое эти тюрьмы. Порой мне казалось, что они созданы в угоду тем, кто там служит, чтобы доставить радость садистам, чтобы избавить некоторых людей от тяжкого груза комплексов, чтобы придать тюремному механизму то значение, которое потом определит и всю систему: «Дания — тюрьма».

И, может быть, именно потому мои воспоминания о тюрьме живы во мне, потому они поднялись как на дрожжах, вытесняя остальное, что все случившееся тогда со мной и казавшееся таким редким, таким диковинным, выступило потом на первый план не только в моей жизни, но и в жизни многих других людей. Все это превратилось потом в лагеря, во всевозможные тюрьмы, где мучили и пытали людей, в те оковы, которые человек надевает на человека, которые и на меня надевали и которые год от года становились все страшнее.

Вы ведь знаете, что я женился, у меня были дети, трое сыновей, они появились на свет с разницей в три года, а умерли все трое в один год. Я много работал, бывал за границей. Вы помните нашу встречу в Париже?

Что там тюрьмы! Я помню ту ночь — кабачки, «балы», на которых мы с Вами побывали, а потом, под утро, обратный путь мимо решеток Люксембургского сада. Сад был еще закрыт, но все равно это был июньский рассвет, пахло росой, пели какие-то птицы. Мы мало разговаривали, совсем не вспоминали о прошлом, и только один раз Вы обронили такую фразу:

«В саду пахнет росой, совсем как у нас на Украине».

Теперь мне кажется, что это мгновение было таким счастливым! Пути наши снова сблизились, но тогда я не обратил внимания на эти слова. Как порой мы будто бы не слышим боя часов, а потом вдруг в памяти зазвучат их удары и мы даже мысленно ведем им счет, так и я не заметил Ваших слов, и лишь потом, да и то не сразу, а много лет спустя, на родине, дома или даже в тюремной камере, слышал Ваш голос:

«В саду пахнет росой, совсем как у нас на Украине».

Запах росы был тем, что нас как-то объединяло, но, согласитесь, дорогая, ведь это такая малость, что даже неловко об этом говорить. Рушатся империи, создаются новые государства, люди бессмысленно убивают друг друга, жестокость торжествует, а мне вдруг неожиданно вспоминаются Ваши слова о запахе росы.

Все это так несоизмеримо со всем, что пришлось мне испытать, с моей памятью, со всем моим существованием вообще. В жизни каждого человека встречаются такие несообразности. Люди ступили на Луну (точно в такое же июньское, пахнущее росой утро), а в моих ушах все звучат Ваши слова, сказанные давным-давно тем памятным, чуть приглушенным, матовым голосом, который остался со мной на всю жизнь, слова о том, что в саду пахнет росой, совсем как у нас на Украине.

И теперь, когда отсюда, из этого роскошного парка, я гляжу в прошлое, все в моей памяти сливается в цельные картины, ничего в отдельности я уже не вижу, и даже то утро в Люксембургском саду отодвинулось еще дальше, в еще более давние времена. Я словно бы и не помню, что видел Вас еще когда-то, мне все кажется, что мы встречались только там, в весеннем саду, и поэтому Вы навсегда остались символом моей юности.

А ведь время от времени мы все же видели друг друга. Вначале часто, а потом изредка, иногда. Как-то раз я встретил Вас в театре вместе с мужем. Вы были тогда такой красивой, и мне показалось, что Вы счастливы. Правда ли это? Было ли в жизни Вашей хотя бы одно мгновение, когда Вы взглянули на прошлое с мимолетной улыбкой, а на кольца на руках Ваших — как на безделицы?

В моей жизни была такая минута: в тюрьме. Я уже ничего не ждал, ничего не хотел, считал, что все в моей жизни свершилось. И тогда, глядя на голые стены камеры, я подумал: боже, как же я счастлив!

Это длилось всего лишь секунду. И тут же ко мне вернулось прежнее ощущение, словно бы я лежу в неудобной постели. Я снова почувствовал, что я несчастлив, что я никогда не был счастлив, что я не буду счастливым. Да и само по себе такое понятие, как счастье, это нечто столь примитивное, столь недостойное человека, что говорить о счастье — верх наивности. А тем более писать! Прошу прощения и ретируюсь.

И потом я снова встретил Вас — на похоронах Вашей маленькой дочки. Я видел, что Вы сломлены и ни муж, ни брат, которые были тут же, рядом с Вами, не могут быть для Вас поддержкой. Вы посмотрели на меня. И я почувствовал, что, может быть, я бы мог Вам помочь, но это ощущение было таким же мимолетным, как ощущение счастья в тюремной камере. Вы глянули на меня откуда-то издалека, словно бы не замечая. Вам тяжело было нас всех видеть.

Существует ли какое-нибудь средство от несчастий? Можно ли не замечать их, не принимать во внимание? Марре Шуар говорит, что одна из тайн науки — это готовность ко всему. Может быть, это и одна из премудростей жизни? И нужно принимать жизнь такой, как она есть? Зависит ли хоть что-то от выбранной нами позиции? Правомерна ли вообще такая постановка вопроса?

Мне кажется, что красавец Диего, фактотум моего профессора, не задумывается над этими проблемами, но наверняка реализует один из принципов Шуара — он не отвергает жизненных даров. Вы помните, конечно, такой тип людей еще со дней нашей юности. Диего напоминает тех прежних своей откровенной чувственностью. Он почти всегда ходит в ярко-алой, цвета мака, рубашке. Наши друзья были не столь вульгарны. Впрочем, вернее, не друзья, а друг...

Вы помните, конечно, что сразу же после моего обморока, когда я, очнувшись, лежал на свежей траве, мы почему-то невольно заговорили о нем. Наш Диего не носил рубашки ярко-красного цвета, тогда было не принято показываться в обществе без пиджака. На нем всегда был серый пиджак. Но вот сандалии он носил на босу ногу, чем доставлял всем своим теткам немало огорчений. Впрочем, все это было еще до войны. Война приучила женщин к тому, что мужская нагота выставлена на всеобщее обозрение. Все эти босые ноги, икры, обнаженная грудь, закатанные рукава. Чем было для Вас все это?

Дорогая! В эти утренние часы — сейчас одиннадцать — здесь так хорошо, еще не жарко, да и днем теперь уже нет жары. Озеро передо мной голубое-голубое. Повторить определение дважды значит сделать его более действенным, цвет озера более синим. Последние ро-

зы и далии сливаются, кажутся издали розовой пеной, и стволы кедров за моей спиной словно колонны в кафедральном соборе. У Вас там так же хорошо, как здесь сейчас?

II

Дорогая Агата!

Сегодня Диего пришлось напялить свою красную рубашку (до этого он разгуливал почти нагишом) и отвезти меня в город, в больницу, на обследование. Вчера вдруг что-то со мной случилось: обручем сдавило голову, все словно бы ушло куда-то, все, кроме смутной тревоги. Мой профессор перепугался, ночью раза четыре он присылал ко мне в спальню Диего, а потом позвонил своему другу директору клиники и с утра (натощак) я отправился к нему в больницу. Там у меня взяли кровь, сделали кардиограмму, провели еще какие-то обследования, по новейшему методу, суть их я не уловил, потому что сразу же после укола на мгновение потерял сознание.

И я с огромным интересом, словно бы впервые, наблюдал за тем, как берут у меня кровь. Процедура эта всегда кажется каким-то чудом, вызывает огромное любопытство: мне всегда хочется знать, о чем говорят крохотные частицы моей крови, размазанные на стеклышке, разгадать их язык. Пальцы сестры двигаются проворно — и красные следы на стекле и в самом деле совсем ничтожны.

Но информация их очень важна: они говорят о том, например, какой процент ацетона у меня в крови, и о том, сколько там холестерина, о вещах, определяющих мое здоровье и в конечном счете даже определяющих возраст — степень моей старости или молодости. Сестра, хрупкая блондинка, брала кровь очень умело, и мне казалось, что собственное мастерство доставляло ей такое же наслаждение, какое бывает у исполнителя трудной баллады Шопена или этюда Листа, радость совершенства.

И конечно же, все это время я думал о Вас. После того, как я решился Вам написать, я думал о Вас непрестанно, а тут еще и эта больница. Больница стоит наверху, а входить в лабораторию нужно сбоку, как в Вашей больнице. Ведь я был там однажды, но не дождался Вас, потому что спешил. Впрочем, я мог бы и подождать, времени у меня хватало, но немножко боялся этой встречи. О чем бы мы стали разговаривать?

Недавно мне приснился сон, что я опять в Закопаном, стою у дороги, опершись о плетень, и гляжу на свадебный поезд. Да, да, на самый обыкновенный и такой волшебный свадебный поезд, какой так часто можно увидеть у гуралей, но только вместо полозьев у саней были колеса, и меня это удивило. В одной из повозок я увидел Вас — молодую, красивую, оживленную,— а я все повторял свой вопрос: зачем же колесами по снегу — лошадям тяжело! — хотя и знал, что спрашиваю напрасно, Вы все равно не услышите. И все вы в своих повозках, весь свадебный поезд, такой праздничный и веселый, как это всегда бывает на свадьбе у гуралей, промчался мимо, оставив меня без ответа. И тогда я подумал: она мне никогда не отвечает. Никогда ни о чем не рассказывает.

Ведь Вы никогда бы не рассказали мне всей своей жизни. Я о многом знал, да и сейчас знаю, но, разумеется, не все. Я долго думал об этом здесь, в больнице, и бедняге Диего, должно быть, надоело меня ждать.

Оказавшись в больнице, я почувствовал вдруг такое успокоение, такую легкость! Наверно, по двум причинам. Одна из них та, что я

уже стар и больница кажется мне пристанью. Такая больница это почти что кладбище, подумал я. И мне стало так хорошо, так «уютно», словно бы я укладывался спать и вдруг на меня снизошло то великое успокоение, о котором я мечтал. А еще мне было там хорошо, потому что я все время как бы видел перед глазами Вас. Ведь Вы, можно сказать, всю свою жизнь провели в такой вот обстановке, в таком окружении. Я сидел в больничном холле — он здесь очень просторный и полупустой — и представлял себе Вас в такой вот больнице. Мне казалось даже, что я Вас вижу, узнаю Вашу летящую, чуть неровную походку. Несколько лет замужества, похороны и все прочее — не в счет. В жизни Вашей остается только эта больница.

И теперь, когда наша жизнь подходит к концу, когда все уже в прошлом и превратилось в широкую полосу тени, где все очертания, все краски стерлись, как мне хотелось бы узнать, чем было для Вас то, что дала Вам больница. Принесла ли она Вам умиротворение? Была ли она тем, чего Вы ждали от жизни?

Разумеется, я не говорю здесь об ожиданиях юности. Обо всем, что было предметом Ваших надежд и разочарований в то памятное лето, когда мы, не любовники, а просто друзья, так много об этом говорили.

Я помню, как Ваш отец уверял, что дружба между мужчиной и женщиной невозможна. Это говорилось в том смысле, что всякая дружба между мужчиной и женщиной всегда окрашена эротикой. Но наша дружба была такой пленительной, такой сладостной, а о большем мы не думали. Вы любили человека, который был недостоин Вашей любви. Случилось так, что я знал о нем больше, чем мог сказать, прекрасно понимал, что Вас ждет, и заранее словно бы хотел смягчить Вашу горечь и боль... Иногда мне так хотелось прижать Вас к груди и сказать: Агата, все это ничего, ничего не стоит, все это так быстро пройдет, превратится во что-то совсем иное, что не будет иметь ни запаха, ни очертаний плода, это что-то будет как засохший осенний лист. Но сухие осенние листья тоже прекрасны, и кажется, что у каждого из них — своя тайна. И наши дни тоже будут такими, словно бы у каждого из них своя тайна. Но, впрочем, это заблуждение. Ведь тайной нашего сегодняшнего дня могут быть только воспоминания — и каждый день непременно какое-то новое.

Иногда это воспоминание о наших разговорах в то далекое лето, когда мы были так дружны и так много говорили о любви, о молодости, о верности и о теле. Разговоры о теле были робкими, ведь тогда секс еще не вошел в моду.

А сейчас у меня перед глазами словно бы прошла вся Ваша жизнь. Случалось ли Вам думать в больнице о прошлом? Или Вы думали только о том, что нужно и важно сейчас? О том, чтобы пани Вольской вовремя дали лекарство, пану Курноскому сделали укол, может быть, он еще и поправится?

Нравилось ли Вам, как той сестричке, брать кровь? Она сегодня так ловко воткнула иглу в вену, отчетливо проступающую на сгибе моей, теперь уже стариковской руки. Руки, которая уже утратила свои прежние очертания, а ведь она наверняка была красивой, когда держала весло, в то лето, когда мы с Вами катались на лодке, когда мы вместе глядели на облака и звезды, когда мы так много говорили о Витеке, о котором Вы еще не знали ничего, а я знал так много.

Я никогда не рассказывал Вам, что в том же самом году, сразу после нашей встречи, я был у Кароля в деревне. Всего лишь несколько дней, был июль, погода стояла чудесная, на редкость тихая, словно бы это было и не в июле — июль ведь не назовешь месяцем тишины,— а в конце августа или начале сентября.

Вы помните, как умел Кароль слушать? Но на этот раз Кароль слушал меня недолго. Он вскоре стал сам рассказывать. Говорил о Витеке, который вовлек его в какую-то темную историю (какую именно, об этом он умолчал), но она-то и погубила Кароля окончательно. Если Витек и вызывал у меня досаду, то только потому, что он был обеспеченным молодым человеком и всегда, когда я у него бывал, он выдвигал ящики, вынимая из них всевозможные галстуки — помнится, были там и галстуки бабочкой. Ему так хотелось произвести на меня впечатление и своими туалетами, и телом. Но Вы ведь знаете, что такой успех недолговечен, и тогда он нашел себе другие занятия.

Кароль тогда долго рассказывал мне обо всем этом, но я не знал, верить ли ему. После жарких летних дней ночью разразилась гроза, загорались молнии, освещая зеленые тучи, которые тотчас же снова погружались во тьму. За окном все пришло в движение, словно бы набежали волны. Вы помните, конечно, как это бывает ночью, в деревне? А я думал все об одном: как мне разговаривать с Вами? Что именно о нем Вы уже знаете, о чем уже догадываетесь, могу ли я быть с Вами откровенен и в какой мере? Но так ничего и не надумал.

А Витек был рядом, в соседней комнате. И вдруг, неожиданно, вышел к нам и сказал: «Что вы тут шумите, спать мне не даете». А ведь это гроза не давала ему уснуть. Он был в шелковой полосатой пижаме. Увидел на буфете начатый арбуз и стал есть его ложкой, так, словно бы до этого никогда ничего не ел. И гроза понемногу утихала, отдалялась. Молнии освещали полосу еще не скошенного овса, желтизна которого казалась особенно яркой на фоне темных фиалковых туч, освещенных отблесками далеких молний. И вдруг в саду под березами я увидел кусочек совершенно зеленого небосклона, с огромной звездой посредине. А я все не переставал думать о Вас, пани Агата.

Кароль наклонился над сидящим Витеком и поцеловал его в спину, между лопаток, которые выступали под пижамой, и все это было так буднично, так обыкновенно. И поэтому вызывало восхищение. И пахло арбузом. Я и сегодня помню этот запах. Свежий, чуть пронзительный запах арбуза. Моя жена не выносила этого запаха. А я его обожаю.

Может быть, оттого, что он напоминает мне ту ночь в деревне, когда мы говорили о Витеке и я узнал о нем такие вещи, которых не должен был бы знать, и когда я с таким самозабвением думал о Вас и о Ваших отношениях с этим человеком. Мне хотелось крикнуть: «Одумайся, Агата, он тебя не стоит». Но на что бы это было похоже?

На рассвете я вернулся к себе в комнату. Комната была наверху, в окна заглядывали ветки высоких кленов, и конечно же на клене кричала иволга. Я не мог уснуть, иволга все посвистывала, а я говорил себе: совсем как у Ахматовой. И мне так вдруг захотелось познакомиться, а может быть, даже и поговорить с ней.

Обо всем этом вспоминал я, сидя в больничном холле, и чувствовал такую слабость! Здесь, в этой больнице. Отчего вдруг такая слабость и головокружение? Мне снова показалось, что едет свадебный поезд. Играет музыка. И Вы тоже едете, а я стою и гляжу. Может быть, сестра взяла у меня слишком много крови? Ведь так, наверно, бывает? Вы, должно быть, знаете?

И еще какое-то странное чувство — будто вместо моей собственной жизни перед глазами моими, словно свадебный поезд, вереницей прошли чужие жизни — Ваша, Кароля, Витека, людей, которых я знал, зная Вас. И сон, который я видел, был не моим сном, а Вашим. И даже не сном, а каким-то легким сновидением.

Я был словно бы в тумане и не ощущал так остро, как прежде,

своего собственного «я». Стены больничного холла расступились, сливаясь воедино с очертаниями деревьев, с их высокими колоннами. Это были кедры и платаны. Я не терял представления, что я там же, где был прежде. Мне вовсе не казалось, что я перенесся к Вам.

На мгновение меня вдруг одолела сонливость, то блаженное состояние, которое знает только старость, когда все тело наше словно бы окутано невидимой, незаметной, существующей только в нашем воображении ватой и нам кажется, что плоть наша словно бы тает в этом тепле и превращается в ничто. Эта сонливость, наверно, предчувствие смерти, а вата, в которую мы укутаны,— наша душа. Она уже почти рассталась с нашим телом и теперь укрывает свою прежнюю колыбель чем-то очень мягким и нежным. Я люблю эти мгновения полузабытья, а потом и забытья, полного забвения, такого нежного и усыпляющего.

Кто-то положил руку мне на плечо. Я открыл глаза, передо мной стоял Диего, но я не мог понять, кто это, и не понимал, где я. Диего показался мне ангелом в броне. Я чувствовал, как под напором его плоти вот-вот лопнет красная рубашка, и не знал, чего этому ангелу от меня нужно. Я видел, что он будит меня, но только где я? Больничный холл показался мне роскошным вестибюлем мраморного дворца. Красота Диего ослепила меня. Я закрыл глаза и снова едва не уснул.

— Чего ты хочешь? — спросил я.

И на какое-то мгновение мне показалось, что это паяц, наподобие тех, что в карнавальный четверг скачут на площадях и улицах Бенша. Знаешь, есть во Фландрии такой городишко, где в день карнавала все скачут на улицах, как кузнечики, и на всех очень приличные, старательно сшитые шутовские наряды. Если бы Вы знали, как утомительно на это глядеть! Зрелище это я видел всего лишь раз, но скачущая по улицам городка толпа долго стояла у меня перед глазами. Мне она казалась олицетворением всего человечества.

И вот на какое-то мгновение Диего тоже показался мне таким вот шутом из Бенша, и я даже удивился было, почему он не скачет.

Но он, склонившись надо мной, сказал:

— Пан Август, пора возвращаться к профессору.

И тут весь мир снова повернулся вместе со мной на сто восемьдесят градусов, я снова оказался в холле больницы, передо мной стоял секретарь великого Марре Шуара и предлагал вернуться к действительности.

Но мне не хотелось возвращаться к действительности. Я предпочитал остаться там, в той грозовой ночи, где молнии освещали тополиные ветки, светлые снизу и казавшиеся еще более светлыми на фоне фиалковых туч, проносившихся где-то в вышине над домом и садом. И я чувствовал, что должен сделать все возможное и невозможное для того, чтобы Вы не вышли замуж за Витека.

И знаете, отчего Диего казался мне похожим на клоуна? Потому что все в памяти смешалось: карнавал в Бенше и костюмированный бал, где все вы в костюмах а-ля Ватто танцевали гавоты и менуэты. Вы, конечно, помните этот бал? Как хорошо я его помню и помню свою боль и печаль, почему я не с Вами...

Я думаю, что эта боль осталась со мной надолго, а может быть и на всю жизнь. Боль — оттого, что «я не с вами»: ведь и Вы, и Витек, и Ваш муж, и Кароль — все ушли куда-то, а я остался один. Мне казалось, что течение уносит от меня плот, нечто вроде ладьи, украшенной флагами радости, которая никогда не была и не могла быть моей. Я видел, как вы отдалялись и уже не глядели на меня, и если бы я делал вам какие-то знаки, вы все равно бы их не заметили. Но

я не делал никаких знаков, я заранее отказался от всего, я уже знал, что скроен из другого материала — таких, как я, отправляют в солдаты таскать пушки, а потом — в тюрьму. Это вовсе не означает, что даже в самые тяжкие часы, в окопах или казематах, я не видел перед собой реки и плывущего по ней островка — ладьи, украшенной разноцветными лентами, а в ней актеров, исполняющих комедию дель арте, и Вас в роли Коломбины с этими огромными помпонами, которые преследовали меня по ночам. Гавот был необыкновенно изящен. Я помню, Вы танцевали его с Витеком — оба такие молодые, смеющиеся, счастливые, что сразу было ясно, дальше это продолжаться не может, но все же хорошо, что была такая минута.

Я вижу, как Вы начинаете свое первое па — с левой ноги, поднимаете ее не очень высоко, но, пожалуй, все же высоковато для такого танца, как гавот, вижу Ваше счастливое, смеющееся лицо. И Ваши глаза. Светлые, прозрачные, ликующие глаза. Такие молодые глаза.

В старости почти невозможно себе представить, что другие тоже состарились. Мне кажется, что старость не коснулась ни Вас, ни Витека. Впрочем, Витек и в самом деле остался молодым — Витек умер. Но и Ваши глаза, наверно, давно утратили свой молодой веселый блеск. Тогда, на кладбище, они вовсе не казались мне лучистыми, они потускнели. И за гробом Вы шли не прежней своей летящей походкой, а шли так, как обычно люди идут за гробом, с трудом передвигая ноги.

Обратно мы с Диего переправлялись через озеро в лодке. Обследование прошло успешно. Частицы крови моей дали полный отчет обо всем, что со мной происходит. Они раскрыли прекрасной блондинке все тайны моего тела, моего естества, моего стареющего «я». И оказалось, что никаких поводов для волнений нет.

Но отчего же вдруг мне так сдавило голову? И откуда вдруг эта сонливость?

Впрочем, прежней сонливости я уже не ощущал. Озеро было спокойно, Диего мерно взмахивал веслами, и сонливость моя постепенно перешла в покой. Я вдруг почувствовал себя отдохнувшим, даже словно бы помолодел. И снова думал о Вас.

После всех тех бурных событий, после всех великих печалей, после всех тех трагедий, участницей и зрителем которых Вы оказались во время войны, бывает ли у Вас хоть когда-нибудь такое же ощущение полного покоя, какое испытывал я, пока мы плыли в лодке по озеру?

Диего неторопливо и спокойно взмахивал веслами, но я не знаю, был ли он и в самом деле спокоен. Время от времени он смотрел на меня как провинившийся пес. Может быть, он чувствовал себя виноватым? Вины у него передо мной не было. Я не принадлежу к тем старым людям, для кого чья-то молодость и красота — тяжкий грех. А может быть, он просто-напросто был встревожен? И это я там, в больнице, своим странным поведением, своим нежеланием возвращаться к обычной жизни напугал его? Мне захотелось ему что-то сказать, но о чем с ним говорить, я не знал. Я начал было рассказывать ему о Вас, но прервал на полуслове и умолк. Нет, нельзя. Это было бы чем-то вроде святотатства. Мое молчание обеспокоило его еще больше, но я делал вид, что ничего не замечаю.

Всю дорогу я молчал. Я глядел на Диего — моего перевозчика в страну вечности, на берега озера — зеленые врата жизни, на белые облака вдали, и мне было покойно как никогда. Бывают ли у Вас мгновения такой вот отрешенности и покоя?

III

Через несколько дней

Дорогая!

Плохо мне, грустно и тяжко. Я места себе не нахожу. На душе у меня так же неспокойно, как у ласточки или аиста перед отлетом. Помню, когда-то в деревне к нам на двор залетели четырнадцать аистов. Они садились на крыши, на деревья, выбирая себе места, сталкивали друг друга. Наконец они уселись, задрали клювы вверх и громко заклекотали. На рассвете аисты улетели, и когда я проснулся — их уже не было. Это была проба сил перед отлетом.

Вот бы и мне поклекотать немножко, а может, не немножко, а вволю. Мне кажется, что клекотом я мог бы выразить все — и тоску свою, и тревогу, и страх. Мне сразу стало бы легче. А так я, неизвестно почему, весь день бесцельно слоняюсь по дому и по парку.

Ощущение пустоты в голове прошло, но по-прежнему я чувствую страшную тяжесть. Словно железным обручем давит виски. Недобрый знак. Пора возвращаться, но куда? Разве что к Вам?

Не пугайтесь. Я не нарушу Вашего покоя и тишины, добытой огромными усилиями многих лет жизни. Жизни Вашей и моей. Ведь и мне когда-то нужны были кое-какие усилия, хотя бы для того, чтобы в «свободную минуту» не послать Вам такого письма. А теперь уже можно: я знаю, теперь ничто не нарушит завоеванной Вами тишины.

Сегодня идет дождь, я сижу дома. Раньше я любил выходить из дому именно в дождь. Ездил верхом. Как только начинался дождь, я отправлялся верхом на почту. А теперь торчу в доме.

Все краски слились, а верхушки деревьев утонули в тумане. Скоро осень. Мне бы сейчас поклекотать немного — и в путь.

Вчера весь день в парке было тихо и солнечно, ни малейшего ветерка. Жаль только, что я не нашел там уединения.

Я не успел сказать Вам, что парк возле виллы Марре Шуара стал чем-то вроде городского парка, рассчитывают, что он отойдет городу. Вроде бы и входить туда не разрешено, но тех, кто вошел, не выпроваживают. Тут всегда можно встретить матерей, гуляющих с детьми, и сидящих на лавочке, погруженных в свои мысли старичков. К ним принадлежу и я. Ведь все, о чем я пишу Вам,— результат моих размышлений у озера, на берегу которого сиживали когда-то и Мицкевич, и Словацкий. Вчера мне было как-то особенно не по себе: я сидел на скамейке и, глядя на голубые волны, готовился к смерти. Чуть поодаль стояла коляска с полугодовалым младенцем. Верх этой коляски, в отличие от прежних, напоминал не будку, а плоский балдахин. Сделав несколько шагов к дому, я поравнялся с коляской и увидел личико младенца. Он — кажется, это был мальчик — открыл один, совершенно черный глаз. Этот черный глаз уставился на меня. И столько злорадства, столько ехидного торжества, столько высокомерия и презрения было в его взгляде! «Эх ты, жалкий старик,— говорил мне черный глаз,— твое время прошло, скоро ты уйдешь в землю, ничего не поделаешь, жить тебе осталось год, от силы два или три. Я буду подниматься вверх по лестнице жизни, буду молодым, красивым, меня будут любить женщины, я буду счастлив, когда ты обратишься в прах». Я отошел на несколько шагов, остановился. Поглядел на младенца. Глаз закрылся. «Ах, дитя, дитя,— сказал я,— ты рассуждаешь несколько старомодно. Что из того, что ты будешь мо-

лодым? Поймешь, что это значит. А потом состаришься и тоже обратишься в прах и черный глаз твой тоже не будет видеть красоты мира. Умрешь, умрешь!» — повторял я. А младенец проснулся и закричал. Как и положено человеку.

А сегодня день дождей и бесед с Марре Шуаром. Это ученый с мировым именем, человек незаурядный, только очень уж старый.

Как все старые люди, так же как и я, хотя я и моложе его на десять лет, он много говорит о своей юности. Я не люблю этих разговоров. Юность во французском варианте — это нечто настолько отличное от нашей польской юности, что мы даже не можем сопоставить наших воспоминаний. Для него, например, война 1914 года — полный абсурд, нечто такое, чего и понять невозможно. А для меня, несмотря на всю ее бессмысленную жестокость, она была тем, что кончилось так, как оно кончилось. «Мечты ваших отцов и дедов...»

— Дурацкие обещания царя,— отвечает он, и, разумеется, прав, но за всем этим кроется и еще что-то.

Дорогая! Может быть, все это в конечном счете не так уж и важно? И все же при одном только слове «независимость» меня бросает в жар, оно звучит как голос трубы, как что-то, что нас возвышает, помогает жить вопреки всему.

Сейчас, когда я пишу Вам это письмо, я уже ничего не понимаю: человек состоит из разных пластов, и все они не смешаны. У каждого такого пласта свой цвет и вкус, как у той разноцветной пастилы, которой торговали когда-то в Киеве.

Один из таких пластов — способность радоваться вещам, которые вовсе не заслуживают этого. Но, дорогая пани Агата, в жизни так мало радостей, что иногда не грех подсунуть самому себе и такую, про которую заранее знаешь, что скоро она сама собой превратится в обман, обиду, боль.

Листва от дождя пожелтела, и окна словно бы завешаны золотистыми шторами, и в комнате вдруг появился какой-то особый интимный уют.

Профессор велел затопить камин кедровыми шишками, здесь почти в каждой комнате есть камин. Кедровые шишки дают не слишком много тепла, зато, когда они горят, в комнатах пахнет дымком чуть-чуть, только чтобы чувствовалось — тут живут люди. Во время завтрака Диего сетовал на дождь, на непогоду, а Марре в очень изящной форме доказывал нам, что истинная мудрость заключается именно в том, чтобы быть готовым ко всему, чтобы уметь все принять. Истина эта имеет не только житейский, но, как он утверждает, и научный смысл. Это своеобразная философия, которая заранее соглашается с ходом событий, принимает их такими, как они есть. Можно принять и такой ход мыслей и не противоречить ему. Во всяком случае, не отвергать его по частям. Потому что стоит нам изменить в наших рассуждениях хотя бы одно положение, мы неизбежно должны принять тогда и все вытекающие отсюда изменения. Ведь нельзя же изменить какую-либо часть целого так, чтобы не изменилось целое. Оно станет тогда совсем иным. И с этой данностью мы опять-таки должны согласиться, должны заранее ее предвидеть, относиться к ней как к чему-то новому. Например, нельзя не принять того, что сегодня день хмурый, нужно с его хмуростью примириться, и только тогда мы сможем увидеть этот день как целое. Он говорил что-то в этом роде, и это было верно, даже на удивление верно, жаль только, что я с ним не соглашался. Разумеется, в душе.

Вообще меня даже несколько тревожит, что я не могу согласиться с Шуаром. Послушай, Август, говорю я себе, ведь все это довольно

нелепо, перед тобой большой ученый, ты даже не всегда можешь поймать нить его рассуждений. Он настолько умней, образованней, настолько мудрее тебя, что ты мог бы и должен был бы принять на веру все, что он говорит. Он руководствуется истиной, а ты какими-то неясными даже самому тебе порывами, которые, если бы ты рассказал ему о них, вызвали бы у него только улыбку.

Я думаю, что и Вам эти порывы чувства могут показаться смешными. В самом деле, старинный знакомый, который от случая к случаю напоминал Вам о своем существовании, вдруг ни с того ни с сего исповедуется перед Вами в том, в чем не хотел бы признаться даже самому себе, чего боялся и что долгие годы, в сущности, было скрыто где-то очень глубоко.

Да и кто я такой? Самый заурядный человек, и теперь уже не столько человек, сколько старик. Я давно уже вышел из игры. Здесь я часами веду беседы с моим хозяином. Он сохранил ясный ум, у него по-прежнему великое множество теорий. Он смеется, утверждая, что новых теорий у него становится все больше, а старые не желают потесниться. Как обычно, он занят проблемами, связанными с математикой и философией или же с математикой и логикой. «Исходной» же своей физикой он больше не занимается, во всяком случае, никогда о ней не говорит.

«Там мне все известно»,— говорит он. Что ему известно, мы все знаем, дорогая пани Агата, и знаем также, чем это нам грозит. Но он — может, потому, что ему самому скоро девяносто,— как будто бы вовсе не страдает из-за этого. Говорит, что свою миссию он выполнил, а как использует его открытие техника, это его вовсе не интересует.

Рассуждения Шуара не кажутся мне убедительными. Главным образом его занимает теперь логика, сегодня он очень долго говорил о ней. Я не понял ни слова. Хорошо еще, что шел дождь и меня совсем не тянуло в парк. Под вечер Диего подал нам кофе с молоком, и мы пили из таких красивых чашек! Это было очень кстати — слушать рассуждения Шуара стало намного легче.

Он привел такой пример: одни мужчины в деревне бреются сами, другие — с помощью парикмахера. Парикмахер не принадлежит к разряду мужчин, которые бреются сами, так как его бреет парикмахер, а это означает, что он бреется сам. Словом, нечто в этом роде. Подумать только, что в этой маленькой истории кроется серьезная философская проблема и важная проблема логики и что решить ее можно, только вооружившись очень серьезной научной теорией. Теперь я понимаю, почему с некоторых пор молодые люди решили отпускать себе бороды. Просто для того, чтобы не иметь дела с подобного рода проблемами.

Подумать только! Тут озеро, горы, деревья, вселенная, звезды над головой. И что это такое и для чего все это существует, никто не знает, все так призрачно, а наряду с этим вдруг «очень важная проблема»: можно ли сказать, что парикмахер, который себя бреет, бреется сам? Все это немножко странно.

Из таких вот странностей состоит и мир, и наука, и люди, и их поступки. Почему я никогда прежде не говорил Вам, что люблю Вас, а говорю об этом теперь, когда я Вас уже не люблю? Может быть, это тоже чуть-чуть напоминает историю с парикмахером? Как, впрочем, и все в этой жизни? Почему я вдруг оказался здесь, в этой очаровательной местности на берегу озера именно теперь, когда меня это уже не радует, а только утомляет; почему Диего возвращает меня к действительности, когда больше всего на свете мне хочется спать?

Не знаю, поверите ли Вы мне, что этот крупный ученый, этот физик, математик, логик, от научных открытий, от разума которого зависит не только уровень мировой науки, но и практика нынешнего и завтрашнего дня, сама возможность нашего существования вообще, что этот человек почти всю свою долгую жизнь крутил какие-то дурацкие романы. И женщины, в которых он влюблялся, были одна глупее другой.

От рассуждений чисто научных, иррациональных, он незаметно перешел к рассказу о своих любовных интригах и интрижках. Диего принес пухлые альбомы и стал показывать мне фотографии этих женщин...

Вы, конечно, знаете, какими мертвыми, ничего не значащими бывают порой фотографические снимки, как мало они говорят. Самый красивый человек в старомодном костюме может показаться карикатурой на самого себя, и невозможно представить, что он был и мог быть значительным. На некоторых фотографиях были и голые, но вы и представить себе не можете, до какой степени впечатление наготы создается костюмом. Она всегда подлаживается к одежде, делая тайное явным. Я не решился сказать об этом профессору, но выглядело все это достаточно мерзко.

Передо мной как бы прошла вся его жизнь, промелькнула панорама жизни одного из величайших ученых современности (раньше таких называли мудрецами). И мне было чуточку не по себе от этого зрелища. Даже не немного, а весьма.

И именно тогда я подумал, что настоящую ценность во всей его жизни имеет только одно — его математика. И те великие труды, которые он написал, и это его сомнение, следует ли принимать на веру математические аксиомы, ну, скажем, то, что наикратчайшее расстояние между двумя точками — прямая или что у прямой только два измерения. Именно эти сомнения говорят о подлинной человечности великого ума. Я попытался сравнить эту прекрасную, мудрую, исполненную трудов и поисков жизнь с жизнью Витека, Кароля, и мне вдруг стало холодно. Я ничего не мог бы никому объяснить. Не только Марре Шуар, но и Диего ничего бы не понял, хотя он и много моложе. А может, именно потому, что моложе.

Моя собственная жизнь показалась мне всего лишь нелепой сумятицей. Никогда еще я так остро не чувствовал всей ее бессмысленности. Но и Ваша жизнь показалась мне какой-то мучительной суетой, поиском с вечно меняющейся целью. Эта неустойчивость, неопределенность наших жизней особенно поражает рядом с ясной и раз навсегда определившейся жизнью Шуара с ее четким смыслом.

Да разве может быть смысл в жизни такого человека, как я — то ли писателя, то ли солдата, человека, который большую часть отпущенного ему времени провел в тюрьмах и на войне? А что за смысл в той ужасной жизни, какую прожил Витек?

И, рассматривая пухлый альбом, выслушивая длинные логические построения моего хозяина, я невольно задал себе кощунственный вопрос — а стоит ли вообще искать какой-то смысл в жизни? Не только в моей, а в жизни любого другого человека?

Я называю свой вопрос кощунством, потому что все, что пришлось нам испытать, все, о чем мы говорили, чем мы были в те годы,— все это было великим восхвалением жизни. Великой любовью к жизни Это был крепкий настой. И именно в таком настое жизнь казалась нам исполненной смысла. И мы не задавали ненужных вопросов ни себе, ни другим — мы просто доверялись жизни.

Во время мировой войны, сразу же после революции в России,

мне пришлось проделать большой путь верхом в таком краю, где каждая встреча с человеком могла грозить смертью. Стояло лето, чудная летняя, но, увы, такая короткая ночь, нужно было торопиться. Я не спрашивал себя, зачем я это делаю, все было так удивительно и прекрасно. И я, и ночь, и мой конь, и запахи трав и лéса вдали были чем-то одним, и я ни на минуту не чувствовал страха. Если бы я боялся, я бы, наверно, был осторожнее в выборе дороги, красота мира не вызывала бы у меня того восторга, который остался со мной на всю жизнь и помог пережить мне еще одну войну. Может быть, именно этим чувством можно объяснить и то, что, переступив порог тюрьмы, я ощутил себя счастливым. Тогда, в ту летнюю ночь, я не испытывал счастья. Мир во мне и вокруг меня был так полон, что для счастья просто не оставалось места.

В ту ночь, когда гроза освещала фиалковые тучи за домом, и ветер ударял в окно, раскачивая ставни, и серебристый тополь за окном казался то белым, то темным, когда Кароль поцеловал Витека в спину между лопатками, я не задумывался над смыслом жизни, не философствовал. Может быть, философия Шуара губит жизненную силу, точно так же как уничтожает жизнь учение об атомах? Подумайте только, в какое счастливое время прошла наша молодость. В те годы ученые еще не расщепили атома. Теория о строении атома оставалась только рабочей гипотезой. Совсем как в раю, когда плод с древа познания добра и зла еще не был сорван.

А сегодня, лежа в постели, из окна профессорской виллы я увидел утреннюю звезду. Она промелькнула так быстро, будто спешила куда-то, не оглянулась на меня — скользнула по тени гор и мягкому блеску озера, словно говоря, что глядеть ей вслед не нужно. Мне нечего ждать от нее, точно так же как нечего ждать от своего тела.

Хотел бы я знать, ощущается ли тело в минуту смерти как сплошная боль, может быть, сознание расстается с телом с таким же трудом, как отходит пластырь от раны? Как ощущает тело собственное умирание?

Звезда не хотела на меня глядеть, а я в отчаянии следил за ее полетом. Она уходила, оставляла меня одного, не дав никакого объяснения ни своему, ни моему существованию. То ли она символ, знак чего-то, что существует где-то, недоступное нам? А может быть, она существует вполне реально, как лунная поверхность, на которую в эти дни ступил человек? И почему утренняя звезда не может меня услышать, как бы я ни хотел этого? Или в самом деле остается только молитва?

И я уже не мог вздохнуть, как прежде, полной грудью, как тогда ночью, на балконе, да мне и не хотелось этого. Я даже забыл, как это бывает. Как говорит Марре Шуар: «Принимая одно изменение, мы должны принять и другое, нужно принять и целое».

Как Вы думаете, есть ли в таких вот ночных размышлениях хоть какой-то смысл? Как бы мне хотелось знать, тревожат ли Вас по ночам воспоминания. Старые люди обычно просыпаются под утро, и тогда в памяти их встают разные подробности долгой прожитой жизни. Как мне бы хотелось знать, что именно Вы вспоминаете — раннюю ли молодость, или те годы жизни, когда Вы были замужем и дочка была маленькой, или то далекое время, когда я приходил к Вам каждое утро?

А может быть, Вы вспоминаете похороны своей дочери, тот день, когда Вы шли за ее гробом и равнодушно взглянули на меня, как бы не узнавая, ничего не значащим взглядом? А может быть, я вообще никогда ничего в Вашей жизни и не значил?

IV

Несколько дней спустя

Дорогая!

После дождей наступили вдруг прозрачные, ясные, солнечные дни, когда мир кажется таким совершенным, что слова застревают в горле, перо в руке становится недвижимым, потому что описать все это невозможно. Горы вдали словно призрачные и покрыты легкой дымкой, небо яснее и глубже, чем всегда, почти такое же, как на юге. Деревья, словно изваяния, стоят недвижимо. На каштанах и на липах можно разглядеть каждый листик, а все ветки на огромных кедрах сверху донизу усыпаны розовыми шишечками, словно бы кто-то решил убрать деревья бумажными цветами. И в самый разгар осеннего лета невольно вспоминаешь о рождестве, о морозах, обо всем что так скоро наступит.

Наступит, но кто знает, для кого из нас?

Диего велел вынести из дому обеденный стол и накрыть его к завтраку под высоким кедром. Белое полотно скатерти на солнце и в тени под сенью больших темных деревьев гляделось как на картинах импрессионистов. Округлые желтые солнечные пятна передвигались по скатерти, поблескивали на серебряных приборах. Марре с самого утра улыбается миру, глядит вокруг — на деревья в парке, на поблескивающее озеро — с таким вниманием и радостью, словно бы наблюдает за ходом удачно поставленного химического опыта.

Опять Диего был в своей ярко-красной, цвета мака, рубашке со шнуровкой. И как-то не верилось, что находишься в таком раю, в таких вот искусственных условиях, которые куда больше подходят для заморских птиц, каких-нибудь павлинов или фазанов, чем для человека, который только все портит своим присутствием.

— Мы живем в нечеловеческих условиях,— сказал я Шуару.

— Что вы имеете в виду? — забеспокоился Диего.— Вас что-то не устраивает?

— Напротив,— сказал я.— Мне кажется, что для людей моего круга эти условия показались бы просто невероятными. Все это слишком хорошо для того, чтобы сойти за правду.

— Вы шутите, наверно,— сказал Марре.— Только так и должны жить люди. Все без исключения.

— Увы,— вздохнул я,— это утопия, дорогой профессор. И больше того, я думаю, что счастливые люди вообще так не живут. Такая жизнь — оправа для людей несчастных.

— Вы считаете себя несчастным?

— Нет. Но для меня это не просто оправа. Вот все это.— И я показал рукой вокруг.

И вот тогда, дорогая, тогда я снова подумал о Вас. Счастливы ли Вы у себя в больнице? Разумеется, мой вопрос лишен смысла. Спокойно ли у Вас на душе? Не озаряется ли иногда поверхность Вашей жизни заревом далекого бунта, огнем зловещих воспоминаний обо всем том трудном, далеком, недобром, что Вам пришлось испытать? Не тревожит ли оно Вас по ночам?

Меня преследуют по ночам вовсе не воспоминания о войнах, убийствах, пролитой крови, не зрелища тюрем и лагерей, а чаще всего, даже и тут, на берегу этого озера,— воспоминания о минутах безмятежных и ясных. В последний месяц перед своей женитьбой я стал частым гостем в Вашем доме. Я приходил по утрам, мы вместе пили чай, подолгу говорили о книгах и ни слова не говорили о людях.

Я знал, что Вам очень бы хотелось начать со мной разговор о своем отце, о муже, о Кароле, о Витеке. Но Вы не решались его начать, боялись притронуться к тому, что так сильно болит, нарушить уют наших утренних чаепитий, таких вот, как этот завтрак на берегу озера, устроенный Диего, не хотели, чтобы между нами встал со всей своей откровенной жестокостью еще кто-то, еще какой-то человек. И Вы не расспрашивали меня ни о чем — ни о войне, ни о тюрьмах, ни о моей будущей жене. Сказали только, что как-то видели ее в театре, что она очень красива. А я думал о счастье. Да, о счастье. Я думал о нем много раз, но я хорошо знаю, что счастье — это утопия. Что такое утопия? Утопия — это желание вывернуться, уйти от ответственности, это стремление свести всех людей к единому уровню, не считаясь с тем своеобычным, что заложено в каждом человеке, является его единственным и только ему принадлежащим наследством. Утопия — это нежелание считаться с историей, а поэтому прошлое оборачивается против нас. Мы всегда живем прошлым, и каждый из нас толкует его по-своему. Как может думать о счастье человек, принадлежащий народу, извечным мифом которого было восстание? Не миф о вечном счастье или о всеобщей забастовке (как у Сореля), а миф о восстании. Мы все живем только ради того, чтобы когда-нибудь наконец состоялся этот торжественный обряд — жертвоприношение на алтарь отчизны тысяч юношей и девушек, как это было когда-то в каких-то далеких государствах, имевших совсем иные мифы.

И поэтому между мной и профессором никогда не будет настоящего взаимопонимания, да что говорить о профессоре, даже Диего никогда не поймет нас, ведь он, хотя и принадлежит к другой расе, давно усвоил эталон среднеевропейского счастья. Не знаю, поймете ли Вы, что я хочу сказать.

Мир ужасен. Во-первых, потому, что существует смерть и все мы обречены. И даже когда я нахожусь здесь, на берегу этого волшебного озера, за этим словно бы сошедшим с полотна импрессионистов столом, я понимаю, что меня окружают смертники, что сам я тоже приговорен, что ангел смерти, пусть он будет даже столь прекрасен, как Диего, вот-вот постучит ко мне в дверь или тяжкой косой своей ударит по этому чудному дереву, под сенью которого я сейчас блаженствую. А во-вторых, потому, что человек по природе своей жесток и любит напоминать себе и ближним своим об этом приговоре, всячески оттягивая в то же время час его исполнения.

Иногда случается, что по неизвестным причинам он перестает оттягивать час казни. И как же тогда наслаждается он страхом, который написан на лице другого человека, ведь человек, ко всему прочему, еще и трус,— твердо зная, что уйти от приговора нельзя, он все равно не в силах преодолеть страха.

А теперь я хочу исповедаться перед Вами до конца, я хочу сказать Вам все, до последнего слова. Я видел, как приводился в исполнение приговор, который был вынесен Витеку нашей подпольной организацией. Я не был в числе исполнителей его, этого от меня не требовали, хотя никто не знал, что связывает меня с этим человеком, но я видел все. Самое неприятное, что в него нельзя было стрелять. Его удушили шелковым галстуком, одним из тех многочисленных галстуков, которые он хранил в ящиках письменного стола и в шкафу.

Я уже говорил Вам, что он любил показывать эти галстуки, и, наверно, не только мне, потому что за эти галстуки его возненавидели, и когда был вынесен приговор, а по разным причинам стрелять было нельзя (в соседней комнате жили немцы), решено было его удушить.

Какими же силачами были те двое ребят! Они сорвали с себя ру-

башки, это было летом, и я видел, как они засунули ему в рот кляп, чтобы не было слышно крика. А он и не кричал, а только чуть слышно хрипел и посапывал, словно боров, которому перед тем, как его зарезать, обвязали тряпкой рыло. Мясники так тоже иногда делают.

Я глядел на него, и мне вспомнилось все — и как он ел арбуз ложкой в точно такую же летнюю ночь, и что он сказал, когда мы хотели заставить его на Вас жениться, и то, как вдруг Кароль поцеловал его между лопатками,— и в эту минуту я ненавидел его с такой силой, что не чувствовал к нему ни малейшей жалости.

Только иногда вот в такую чудную погоду, как сегодня, тут, на этом берегу, мне вдруг слышится то ли хрип, то ли всхрапывание, неслышное захлебывание, агония этой ненавистной мне жизни.

Разумеется, с Марре Шуаром мы об этом не беседовали. Мы говорили о погоде, о красоте гор, о том, как трудно приходится испанской эмиграции, и ни слова не было сказано ни о нас, ни о войне, ни о будущем, ни о других страшных, очень страшных вещах.

Вот так, пани Агата, все неприятные темы тщательно обходились. Совсем как тогда, во время наших утренних чаепитий. Мы были с Вами очень осторожны. Избегали всего, что могло бы помешать нам спокойно глядеть на мир в ту безоблачную минуту. Ведь у нас много было и совсем иных, непохожих на ту минут. Один раз, правда, я хотел было рассказать Вам о той грозовой ночи, когда Витек ел арбуз ложкой, а Кароль поцеловал его меж лопаток, но Вы тотчас перебили меня вопросом о последнем номере «Вядомостей литерацких». Мы торопливо стали обсуждать то, что там было напечатано. Кажется, речь шла об одном из репортажей Тоня Собаньского.

Примерно в таком духе была и наша беседа с Марре Шуаром в то осенне-летнее утро у озера. Мы всячески избегали разговоров о том, что могло занимать нас на самом деле.

Впрочем, он не в состоянии понять ни того, что у нас было, ни того, что есть сейчас. Например, того, что Гашинский или, скажем, Годебский писали стихи и участвовали в сражениях — один под Рашином, другой — под Остроленкой. Точно так же он не может понять того, что я сидел в тюрьмах, любил, воевал, как умел, а между делом еще и издавал стихи, те самые, которые всем известны, но как и когда я умудрился их написать, даже мне самому неясно. Еще он не может понять, почему теперь, на старости лет, все свои путешествия, тюрьмы, войны, все восстания я вспоминаю куда охотнее, чем неудавшиеся романы. В самом деле, каким образом (боже, смилуйся надо мной!), каким образом мне удалось хоть как-то сочетать свою солдатскую службу с литературной деятельностью? Я и сам не понимаю этого, как же я мог бы объяснить это ему?

Когда речь заходит о моих стихах, я всегда испытываю какую-то неловкость. Помните, как я читал Вам чьи-то стихи и даже не решился намекнуть, что я тоже пишу? Теперь я жалею об этом. Ведь Вы бы, конечно, все поняли. Вы бы поняли меня, теперь это мне так ясно.

Наверно, Вы догадывались обо всем, но это совсем другое. И, может быть, если бы я прочел Вам свои стихи, мне было бы легче. Я чувствовал бы себя увереннее. Моя жена вообще не читала стихов — никаких, ни моих, ни чужих. А мне сейчас даже тяжело думать обо всем этом, не то что говорить. Тем паче с профессором, с ученым, с чужим для меня человеком, уже «закончившим свое плаванье». Для разговоров с ним я выбираю другие темы.

И по ночам, когда мне не спится, память моя никогда не возвращается к таким вот блаженным часам, как нынешнее утро, как этот завтрак в парке, в обществе Марре и Диего. В таком вот «завтраке на траве» есть что-то нечеловеческое, говорю я себе, говорю чаще

всего в те минуты, когда сон медленно окутывает меня своей ватой. Ведь куда более по-человечески грызть сухари, давить вшей, биться головой о стену, в кровь разбивая лоб. Так мне казалось прежде. И еще — человеку свойственно убивать других людей.

Но сейчас я думаю также, что человеку свойственно принимать время таким, как оно есть, пусть себе идет, пусть летит, как говорят у нас в Варшаве. Я написал это глупое «пусть летит» и вдруг ощутил какую-то прямо физическую тоску — по нашему воздуху, по нашим пейзажам, по нашей судьбе, которую нельзя заменить никакими другими судьбами и которую ни один самый мудрый мудрец никогда не сможет понять.

Это блаженство, эта райская красота и этот изысканный комфорт обернулись вдруг против меня, они мне спать не дают по ночам. Нелегкая судьба моя никогда не преследовала меня во сне, и в этом моя победа над временем, во всяком случае над моим.

Подобно тем вырождающимся обитателям моря, которые могут жить только в пене разбушевавшейся волны, я могу жить лишь там, где все вокруг рушится,— рушится, как те дома, о которых я Вам уже писал. Эти полуобвалившиеся дома снятся мне по ночам — мрачные, полутемные, со своей таинственной и такой недоброй жизнью. Старость — очень скверная вещь. Если бы Вы знали, как тяжело старику по утрам вставать, одеваться, а вечером раздеваться, как тяжело ему укладываться в постель, с какой опаской поглядывает он даже на самую мягкую удобную подушку. Но старость должна быть покоем, отрешенностью, памятью о всех тех, кто навсегда остался молодым. Мне ни разу не довелось встретить никого из тех мальчиков, что были чуть моложе меня, учеников одной из тех многочисленных школ, в которых мне довелось учиться. Я и сейчас отлично их помню. И для меня они остались такими же, какими были тогда. Мне так не хочется думать, что они постарели, что тела их, точно так же как и мое тело, утратили свою упругость, улыбка не озаряет лица, глаза потеряли свой блеск. Я не верю, что они больше не существуют, и всегда вижу их такими, какими они были когда-то, какими навеки остались в моей памяти. Как хорошо, что мне ни разу не довелось их больше встретить, что я не видел их расплывшихся лиц, потухших глаз, черных беззубых ртов, открытых в улыбке. И все, что как будто бы уже исчезло, на самом деле существует, осталось во мне, и ночью я могу прислониться к прошлому, как к стволу дерева, и слушать давно умолкшую музыку.

Я помню, как когда-то Кароль играл Меланхолическую серенаду Чайковского и все слушали его в молчаливой сосредоточенности. Он играл на скрипке, Вы аккомпанировали, а за окном шумело какое-то дерево, но какое именно, я никак не могу вспомнить. И это ужасно меня мучает. Иногда в памяти всплывают такие ничтожные подробности, как меню обедов, состав гостей, приглашенных к чаю, масть коней в упряжке, а вот что же это было за дерево, на которое мы с Вами каждый день глядели, ума не приложу. Но стоит мне закрыть глаза, и я вижу его — большое, раскидистое, оно шелестит тихонько, и в шелесте листьев мне чудится повесть о нашей жизни, незадавшейся, несовершенной,— жизни, в которой ничего уже не исправить и которую мы должны принять такой, как она есть, потому что ничего в ней уже не изменишь: ни один из ее элементов не станет ни прозрачным, ни твердым, похожим на кристалл.

Да. Кароль играл, а все мы слушали его в вечерних сумерках, и каждый думал о том, что его ждет, как все устроится и чем будет озарено. И вдруг Витек заговорил, сразу нарушив общее настроение, и это было так неожиданно, так грубо, что Вы вздрогнули и сбились.

— Любопытно было бы увидеть,— сказал Витек,— кто будет сидеть здесь через пятьдесят лет?

Прошло пятьдесят лет, и вот никого не осталось, никого, кроме меня и Вас. И поэтому мне пришла вдруг мысль послать Вам такое письмо издалека, из этой озерной дали, из этой осени летней, с этого зеленого луга, из-под этих монументальных кедров.

Хозяин дома улыбается мне своей доброй улыбкой. Он — мудрец. И последний итог его мудрости заключается в том, что он потерял представление о человеческой жестокости. Он не только сам не умеет быть жестоким, он не верит в то, что люди вообще могут быть жестокими. Передоверив другим выводы из своих гениальных открытий, он точно так же передал молодым и всю свою жестокость, которой он, будучи ученым и бескомпромиссным экспериментатором, несомненно обладал. И мне кажется даже, будто жестокость свою он перевалил на плечи Диего. В красной рубашке Диего, в его шее, в его загривке, какой обычно бывает у убийц, а вернее, у палачей, сосредоточено все то, что составляет его силу, его сущность, главные его достоинства. Я ничуть не удивился бы, если бы сегодня или завтра его арестовали за преднамеренное убийство или если бы он вдруг ушел в монастырь.

Я отлично представляю его преступником, совершившим преднамеренное убийство, только неизвестно, кто был бы подлинным убийцей: он или Шуар. Вы, наверно, слышали об убийствах per procura [1]. О таких, в каком повинен Иван Карамазов, который, можно сказать, толкнул Смердякова на убийство. Но, интересно, не он ли наставил Алешу на путь святости?

А Марре Шуар — улыбающийся, наивный старичок, который не догадывается о таких вещах. Он занят своим парком и садом. Только вот почти половину парка у него отняли. Вдоль озера сейчас прокладывают шоссе. Если б Вы только знали, какое это ужасное зрелище, когда валят деревья. Марре относится к этому очень спокойно, он чувствует, что жить ему осталось недолго, а то, что после его смерти парк достанется горожанам поредевшим и урезанным, его мало волнует. А может быть, он столь хорошо воспитан, что, оставаясь верным своим принципам, спокойно принимает и этот удар судьбы и не снисходит до того, чтобы страдать из-за смерти деревьев. Мне же это кажется ужасным, и когда полуголые испанцы пневматическими пилами валят дерево за деревом, я стараюсь не глядеть в их сторону. Валят даже огромные кедры, которые при наличии доброй воли можно было бы легко сохранить, устроив посредине пути маленький оазис. А испанцам эта расправа с деревьями доставляет какое-то особое, я бы даже сказал почти физическое, наслаждение. И Диего тоже упивается этим зрелищем, а профессор с нежностью поглядывает на Диего, любуясь его массивным загривком и кудрявыми волосами. С особой нежностью смотрит он на Диего в те минуты, когда тот с жестокой улыбочкой следит за падением какого-нибудь могучего дерева.

А в общем профессор всегда очень мягок, уравновешен и ко всему относится с философским спокойствием. Как и полагается великому Шуару. Не рассказать ли ему о смерти нашего Витека?

Если говорить честно, дорогая пани Агата, профессор немного меня раздражает. Несмотря на старость, несмотря на то, что нынешний день, до которого ему удалось дожить, поставил перед ним проблемы, которые не существовали в дни его молодости, он по-прежнему все еще озабочен шлифовкой своего мировоззрения.

Музыку, литературу, живопись Шуар по-прежнему презирает.

[1] По поручению *(лат.)*.

И не без оснований, ведь они не могут изменить мир. А мне жаль их. Ведь они могут мир убаюкать. Для меня мир всегда засыпает под заключительные такты «Валькирии». Огонь и дым и далекое звучание скрипок как голос самой судьбы, погружение в сон Брунгильды, засыпающей точно так же, как все мы уснем когда-то. Марре Шуар верит в науку, которая завела нас так далеко. Он верит и, может быть, даже велел и своему Диего верить в то, что наука спасет мир. Поможет людям очистить воды, воскресить отравленную рыбу, оживить убитых зверей, возродить заново плоды, поможет людям любить друг друга. Конец мира представляется ему чем-то вроде большой фарондолы в тональности C-dur, блестящим завершением неверно взятого аккорда, полной и окончательной гармонией, перечеркивающей смерть.

Но он забывает об одном — о том, что смерть зачеркнуть нельзя. Что это единственная реальность, которой человек обладает, единственная принадлежащая ему ценность. А избавлять мир и человека не нужно, смерть и так всех от всего избавит.

Ведь когда мы перестанем существовать, нам будут безразличны войны, голод, несчастья и катастрофы; атомные бомбы раскидают наши могилы, но нам это будет безразлично. Мы будем тихо спать в покое и в мире, вернувшись снова туда, откуда пришли,— в небытие.

Марре Шуар старается меня утешить. Он говорит, что жизнь наша не была прожита даром. Gratuites[1]. Она не была бесплодной, но каковы плоды этой жизни — об этом он умалчивает.

Он приводит мне — жаль, что по-французски,— слова святой Терезы из Авилы:

Que rien ne te trouble
Que rien ne t'épouvante
Tout passe
Dieu ne change pas.

«Пусть ничто тебя не печалит, пусть ничто не тревожит, все проходит, не меняется только Бог...»

И хотя полет этих медленно возносящихся в небо теней с лирами в руках должен был бы внести в мою душу успокоение, и хотя я знаю, что скоро, очень скоро и я тоже уйду вслед за ними, как уже ушли все мои близкие, как улетел Кароль и все трое моих Ежи, как вознеслась в небо добрая дюжина моих Стасей, как ушли все те, кого я любил земной любовью, и те, кого я любил любовью небесной, как я любил Вас, пани Агата, все же эта картина ничуть не утешает меня. Избавление дает лишь сон, который уже окутывает меня своим туманным плащом.

Подумать только — столько было восторгов, столько страданий, столько смелых замыслов и мудрых слов, и все же эта утренняя звезда над моей головой навсегда останется для меня чем-то непостижимым.

Они уже стали ничем, отблеском света, сном, в то время как мне кажется, что я еще «живу», «чувствую», «творю». И не знаю, кто примет меня в свое лоно — небытие, материя или Бог?

Бог — это то, из чего возник, родился этот страшный мир. Страшный своей полной непонятностью, этим $\sqrt{-1}$, который всегда был для меня символом существования. То самое, из чего возникло извечно непостижимое, остается неизменным, это — вселенная, материя, Бог, мы.

[1] Даром *(франц.)*.

И вот что самое важное:

Que rien ne t'épouvante
Tout passe
Rien ne change...

Ведь вовсе не в утешениях Марре Шуара, на которые он не скупится, и не в улыбках Диего, обещающих райское счастье, но в ясном понимании того, что все мы будем спать в неизменном небытии, я вижу прообраз безмятежной просветленности — Sérénité.

Из года в год, с каждым новым произведением ширится круг героев Ярослава Ивашкевича. Есть среди них особенно близкие ему, возвращающиеся в его творчестве образы-символы. Так, не единожды встречаемся мы с профессором Шуаром, подвижником науки, не подвластным времени. Вечно молодым предстает перед нами в разных ипостасях и композитор Кароль Шимановский, беспощадный к себе искатель новых путей в искусстве, о котором Ивашкевич писал впервые еще в 1920 году. И не случайно они, олицетворяющие дерзание в разных областях познания мира, возникают в неожиданных ракурсах рядом с лирическим героем рассказа «Sérénité». На их фоне рельефнее выделяется фигура пожилого литератора, поверженного внезапным приступом недуга и как бы теряющего контакт с внешним миром. Фигура драматическая, сложная. Как пришла она на страницы рассказа?

Стоит ли теряться в догадках, если мы имеем возможность получить разъяснения от самого автора. Действенный гуманизм и демократизм Ивашкевича проявляется не только в его творениях, но и в его стремлении сократить расстояние между художником и читателем, удовлетворить интерес читателя к производственным тайнам литературы, к тому, «как это делается». Писатель охотно прибегает к газетной трибуне, особенно удобной для прямого общения с огромной аудиторией. Его беседы о книгах в «Жице Варшавы» исполнены горячей заботы о том, чтобы приблизить к читателю «тот сложный процесс, который происходит в душе творящего».

Разумеется, душа художника вмещает не только чисто технологические процессы: отбор материала, целенаправленное накопление впечатлений, из которых рождается замысел. И Ярослав Ивашкевич прекрасно показал это еще в лирическом отступлении на страницах «Книги о Сицилии».

«...Говорят, например, о долге писателя... Говорят о верности себе — и о писательской измене. И о том, что писатель должен выразить свое время и свой народ,— и вдруг пробуждают у меня угрызения совести. И я тревожусь, выражают ли мои «Панны из Вилька», над которыми я корпел все те дни в Сиракузах, пока дожидался парохода из Туниса,— мое время. Не знаю. Они попросту выражают меня...»

Герой рассказа «Sérénité» — пожилой литератор — не испытывает подобных душевных борений. Автор, тонкий психолог, ставит здесь перед собой задачу повышенной трудности — показать художника в минуту творческого затишья, обезоруженного недугом.

«Удел нам столь знакомый, столь мучительно переживаемый и неотвратимый — удел старения,— замечает Ивашкевич как бы на полях трогательной переписки двух престарелых корифеев литературы прошлого века.— Стареет сам писатель, стареют его приемы, приходит неизбежное, непонятное новому поколению обособление в своей среде и неизбежное одиночество...»

Впрочем, рассказывать о писателе вымышленном не менее сложно, чем создавать биографию реально существовавшего.

«...Написание биографии всегда является выбором «правд»,— рассуждает Ивашкевич в другом эссе,— а как же тут выбирать, если правда о писателе утром — одна, а вечером — другая».

Автор рассказывает жестокую правду о писателе. Правду того момента, когда перо выпадает из ослабевших рук и всегдашний противник — человеческая жестокость, порождаемая войной, мнится уже небывало всеобъемлющей и неодолимой. Но ведь это лишь одна из многих правд. В е ч е р н я я правда... Размеренный скрип уключин упрямо твердит о движении вперед, и молодой силач-перевозчик так не похож на Харона. И мы предчувствуем, что завтра лодка, везущая героя рассказа, причалит к желанному, исцеляющему берегу у т р е н н е й правды, исполненной жизнеутверждения.

...Лодка плывет, а за бортом ее возникают континенты воспоминаний, то туманные, то обретающие реальные черты. И мы узнаем милую сердцу автора Украину, откуда он уже не раз отправлялся в дальние плавания и на Сицилию, и к берегам страны папуасов...

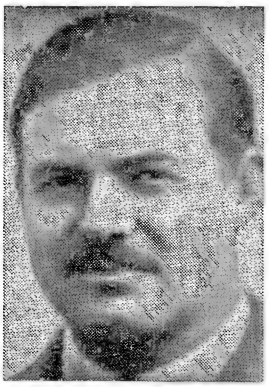
О связях Ярослава Ивашкевича с Украиной написано очень много. Но лучше всех пишет об этом он сам. Украинская земля дорога ему не только тем, что он там родился, рос, учился, дебютировал как поэт. С нею у него связаны также волнующие мысли об узах великой гуманистической культуры, роднящей народы.

«Счастливый Бердичев, литературный город, где венчался Бальзак и родился Джозеф Конрад!» — восклицает он, размышляя над книгой «Вечерние беседы» Максима Рыльского. И тут же выписывает наиболее созвучные ему высказывания своего украинского друга:

«...Рыльский пишет, что... это связано более прочными нитями, чем кому-либо кажется. Когда я думаю о величии Пушкина, Шевченко, Мицкевича, Байрона, Гейне, Виктора Гюго, Петефи, когда устремляю свой взор еще дальше в глубь веков и встают передо мной живые — да, живые! — фигуры Гёте, Шекспира, Данте, древнегреческих трагиков, я испытываю гордость, что я являюсь человеком, что хожу по той же самой земле, по которой ходили эти великие, создавая для нас бесчисленные богатства нашей культуры. Именно так: нашей культуры». Ибо без этих великих «нельзя осознать нашей духовной жизни, нельзя понять ни нашего сегодня, ни нашего завтра, ибо без них не было бы ни Леси Украинки, ни Ивана Франко, ни Коцюбинского, ни Блока, ни Маяковского, ни Стефана Цвейга, ни Гийома Аполлинера, ни Джозефа Конрада... Развитие мировой культуры, и не только литературы,— это прочная, непрерывная цепь, из которой нельзя удалить без ущерба ни одного звена».

В этой цепи мы видим имя замечательного польского писателя, лауреата международной Ленинской премии мира — Ярослава Ивашкевича.

М. ИГНАТОВ



ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ

О писательстве

Перевод с английского и предисловие А. СТАРЦЕВА

Рассказ «О писательстве» напечатан в вышедшем в 1972 году в Нью-Йорке посмертном сборнике Хемингуэя «Рассказы о Нике Адамсе». В этот сборник вошли все рассказы, в которых участвует автобиографический герой Хемингуэя Ник Адамс — сперва подросток на берегу Мичигана, потом солдат-доброволец в Европе в конце мировой войны 1914—1918 гг., израненный молодой ветеран, осознавший свое призвание писатель.

Эти рассказы писались Хемингуэем на протяжении 20-х годов, в разное время и вне какой-либо строгой последовательности. Он включал их в свои первые сборники «В наше время» (1925), «Мужчины без женщин» (1927), «Победитель не получает ничего» (1930).

В «Рассказах о Нике Адамсе» все эти рассказы собраны в «хронологический ряд», чтобы читатель мог проследить постепенное формирование героя. Составитель сборника американский литературовед Филип Янг, еще при жизни писателя начавший изучать его творчество в связи с его биографией, считает, что такая картина поможет сильнее почувствовать автобиографический аспект в творчестве Хемингуэя. Для полноты Янг включил в сборник восемь не публиковавшихся ранее рассказов, набросков, отрывков из архива Хемингуэя, принадлежащих к тому же циклу и связанных тем же центральным героем.

Замысел Янга страдает известной искусственностью. Некоторые из рассказов о Нике Адамсе (например, знаменитый рассказ «Убийцы») мало в чем соотносятся с остальными рассказами этого цикла и гораздо теснее связаны с другими произведениями Хемингуэя, где Ник Адамс совсем не присутствует.

Тем не менее сборник «Рассказы о Нике Адамсе» принадлежит к заметным явлениям хемингуэевской литературы последнего времени, остро ставит вопрос об автобиографических мотивах у Хемингуэя, в особенности же привлекает читателя новыми публикациями.

Рассказ «О писательстве», пожалуй, самый интересный из всех, опубликованных Янгом.

Это «внутренний монолог» — размышления молодого писателя о том, что составляло в разное время страсть его жизни и завершилось всепоглощающей страстью творчества.

Материал его размышлений большей частью известен читателю, знакомому с творчеством Хемингуэя. Картины американской природы и «таинство» рыболовства восходят к таким рассказам Хемингуэя, как «На Биг-Ривер». Коррида, имена замечательных матадоров, характерная атмосфера и терминология боя быков — к «Непобежденному» и «Смерти после полудня». Воспоминания об американских и английских

писателях, живших в 20-х годах в Париже, перекликаются со страницами позднейших мемуаров Хемингуэя «Праздник, который всегда с тобой». О важном влиянии живописи Сезанна на свой творческий метод Хемингуэй говорит в той же книге.

Все имена, даже вскользь упомянутые в рассказе,— это реальные лица, тесно связанные с Хемингуэем в разные годы его жизни. Так, например, Билл Смит — близкий приятель детских и юношеских лет Хемингуэя, а Сударыня — его тетка, которую так называли в семье. Из недоговоренных имен литераторов Шервуд — это Шервуд Андерсон (1876—1941), знаменитый американский писатель, оказавший влияние на молодого Хемингуэя; Эзра — Эзра Паунд (1885—1972), известный американский поэт; молодой Аш — Натан Аш (1902—1964), литературный сверстник Хемингуэя, дебют которого («Контора», 1925) он одобрял; Билл Бэрд — Уильям Бэрд, американский журналист и поэт, первый издатель Хемингуэя в его парижские годы. Раскрываются и все прочие имена.

Таким образом, автобиографичность рассказа не вызывает сомнений.

Вместе с тем многое, что говорит молодой писатель в рассказе о художественной недостаточности прямого автобиографизма в искусстве, проливает дополнительный свет на природу и функцию этих мотивов у самого Хемингуэя.

Сегодня они представляются нам сложнее, чем это казалось первым интерпретаторам творчества Хемингуэя, полагавшим, что рассказы о Нике Адамсе — готовые страницы биографии писателя.

«Ник из его рассказов не был он сам. Он его выдумал»,— говорит молодой писатель в рассказе. Все, кто знает рассказ Хемингуэя «Индейский поселок», запомнят также слова Ника Адамса, что «никогда он, конечно, не видел, как индеанка рожает» и что этот рассказ был написан на основе других впечатлений.

Возможность таких «поправок» надо иметь в виду и читая рассказ «О писательстве». Потому, хотя многое в нем максимально приближено к личным высказываниям, не следует толковать его слишком прямолинейно, как монолог молодого Хемингуэя.

Рассказ «О писательстве» написан летом 1924 года. Ритмическая организованность прозы, лексические и синтаксические повторы весьма характерны для ранней манеры Хемингуэя. Писатель не готовил, как видно, рукопись для печати: некоторые мысли как бы оборваны, намеки до конца не раскрыты. При том «О писательстве» органически входит в круг рассказов молодого Хемингуэя и займет законное место в его литературном наследии.

Делалось жарче, солнце припекало ему затылок.

У Ника уже была славная рыбина. Много ему и не надо. Река становилась широкой и мелкой. По обоим берегам шли деревья. Деревья с левого берега отбрасывали предполуденные короткие тени. Ник знал, что в каждой теневой полосе сейчас прячется рыбина. Он и Билл Смит открыли это однажды в жаркий день на Блек-Ривер. Во второй половине дня, когда солнце начнет опускаться к холмам, форель уплывет в прохладную тень к той стороне реки.

Самые крупные лягут совсем близко к берегу. На Блек-Ривер они всегда их там находили. Они с Биллом Смитом вместе сделали это открытие. Когда солнце опустится к западу, форели уйдут в быстрину. И когда, перед тем как зайти, солнце сделает реку ослепительно-яркой, форели будет полным-полно по всей быстрине. Удить тогда будет почти невозможно, поверхность воды будет слепить, как отраженный от зеркала солнечный зайчик. Можно, конечно, пойти вверх по течению, но здесь, как на Блек-Ривер, течение очень быстрое и, где поглубже, вода валит с ног. Удить против течения совсем не легкая штука, хотя во всех книжках написано, что это единственно верный способ.

Единственно верный способ. Сколько раз они с Биллом в то время смеялись над этими книжками. Все они начинаются с ложной посылки. Сравнение с охотой на лис. Парижский дантист Билла Бэрда любил говорить, что тот, кто удит на муху, состязается с рыбой в

сметливости. А Эзра ответил, что он всю жизнь так считал. Есть над чем посмеяться. Было много в те времена над чем посмеяться. В Штатах считали, что бой быков — это повод для шуток. Эзра считал, что рыбалка — повод для шуток. Многие люди считали, что поэзия — повод для шуток. И англичане — тоже повод для шуток.

Помнишь, они нас пихнули в Памплоне через барьер на быка, потому что приняли нас за французов? Биллов дантист так же судил о рыбалке. Дантист Билла Бэрда, конечно. Раньше Билл это был Билл Смит. А теперь это Билл Бэрд. И Билл Бэрд проживает в Париже.

Когда Ник женился, вся старая бражка ушла, и Джи, и Одгар, и Билл Смит. Ушли потому, он решил, что все трое не знали женщин. Ну, Джи-то, положим, знал. Нет, старая бражка ушла потому, что, женившись, он как бы сказал всем троим: есть что-то важнее рыбалки.

Ведь все создавал он сам. До начала их дружбы Билл не ходил на рыбалку. А потом они были вдвоем. На Блек-Ривер, на Стэрджен, Пайн-Барренс, на Аппер-Минни и на разных малых речушках. И почти все открытия они сделали вместе с Биллом. Работали вместе на ферме, вместе ловили рыбу и с июня до октября уходили надолго в лес. Только весна шла к концу, и Билл увольнялся с работы, и он увольнялся тоже. А Эзра считал, что рыбалка — повод для шуток.

Билл простил ему все рыбалки до начала их дружбы. И все реки тоже простил. Он гордился их дружбой. Это вроде как с девушкой. Она может простить все, что было с тобой до нее. Но после — дело иное.

Вот почему ушла старая бражка.

До того все они поженились с рыбалкой. А Эзра считал, что рыбалка — повод для шуток. Почти все так считали. Он сам был женат на рыбалке, до того как женился на Элен. Всерьез был женат. И тут совсем не до шуток.

Старая бражка ушла. Элен думала — потому, что она им не нравится.

Ник сел в тени на валун и привесил мешок так, что его повело в глубину. Вода, бурля, обтекала валун с обеих сторон. Нику было прохладно. Ниже деревьев берег реки был песчаным. По песку шли следы норки.

Хорошо посидеть в холодке. Камень был сухой и прохладный, Ник сидел, и вода стекала с сапог по краям валуна.

Элен думала — потому, что она им не нравится. В самом деле так думала. Уф, вспомнил он, как это казалось ужасно, когда люди женились. Теперь и подумать смешно. Наверно, он чувствовал так потому, что водился со старшими, закоренелыми холостяками.

Одгар хотел непременно жениться на Кэйт. Но Кэйт не хотела вообще выходить замуж. Они постоянно спорили, и Одгар хотел жениться только на Кэйт, и Кэйт не желала знать никого, кроме Одгара. Но она говорила, что лучше всего, если она и Одгар останутся просто друзьями. И Одгар тоже хотел, чтобы они оставались друзьями, и они постоянно ссорились, и были оба несчастны, стараясь остаться друзьями.

Должно быть, это Сударыня внушила им их аскетизм. И Джи был затронут тем же, хотя он бывал в Кливленде в веселых домах и водился там с девушками. И Ник был затронут тем же. И все это было ложным. Вам внушают ложное чувство, потом вы к нему приспосабливаетесь.

А любовь вы всю отдаете рыбалке и лету.

И эта любовь была для него всем на свете. Он любил копать с Биллом картошку в осеннюю пору, долго ехать в машине, удить рыбу в заливе, лежать в гамаке с книгой в жаркие дни, уплывать далеко от пристани, играть в бейсбольной команде в Шарлевуа и в Петоски, оставаться гостить у них в Бэе; ему нравилось все, что стряпала им Сударыня, нравилось ее обращение с прислугой; он любил есть в столовой, глядя в окно на огромный клин поля, упиравшийся в озеро, любил толковать с Сударыней, выпивать с отцом Билла, уезжать от них на рыбалку, просто слоняться кругом.

Он любил это долгое лето. И его хватала тоска, когда первого августа ему вдруг открывалось, что еще только месяц — и ловля форели кончится. И сейчас это чувство порой посещает его во сне. Ему снится, что лето прошло, а он не ходил на рыбалку. И его хватает во сне такая тоска, словно он пробудился в тюрьме.

Холмы у южного берега Уоллунского озера, моторка на озере в штормовую погоду, а ты с зонтиком на корме бережешь от воды двигатель; или помпой работаешь; или гонишь моторку в большую волну, развозишь заказчикам овощи, вверх и вниз, волна за тобой; или везешь бакалею с южного берега озера — чикагские газеты и почта укутаны в парусину, и ты еще сядешь на них, чтобы надежней укрыть от дождя; такая волна, что трудно стать у причала, сушишься у костра, ветер свищет в верхушках деревьев, и, когда ты босой бежишь принести молока, под ногами — сырая хвоя. Встаешь на рассвете, на веслах идешь через озеро, а потом — на попутной машине, поудить в Хортонс-Крике после дождя.

Хортонс-Крику дождик на пользу. А Шульц-Крику всегда во вред. Поднимается муть со дна, и вода разливается по прибрежному лугу. Интересно, куда же уходит форель?

Вот в то время и был этот случай. Бык погнал его через изгородь, и он потерял кошелек со всеми крючками.

Если бы он тогда знал о быках все, что знает теперь. Где Маэра, где Альгабено? Августовская фиеста в Валенсии, Сантандер и бесславная коррида в Сан-Себастьяне. Санчес Мехиас и его шесть убитых быков. А ходячие фразы из корридных газет так и лезли ему на язык — и он бросил совсем их читать. Коррида в Миурасе. Хотя paso natural [1] там было совсем никудышным. Цвет Андалусии. Чикелин эль Камелиста. Хуан Террамото. Бельмонте Вуэльве.

Малыш, брат Маэры, теперь уже матадор. Вот так оно и идет.

Целый год все его душевные силы уходили на бой быков. Чинк — расстроенный, бледный из-за лошадей на арене. А Дон — тот ничуть не расстроился, сказал: «В ту минуту я понял, что полюблю бой быков». Наверно, тогда был Маэра. Маэра был лучшим из всех. И Чинк понимал это. И пошел за ним следом в encierro [2].

Он, Ник, был другом Маэры, и Маэра помахал им рукой из восемьдесят седьмой ложи над их sobrepuerta [3], обождал, пока Элен заметит его, а потом замахал снова, и Элен боготворила его, и в их ложе были еще три пикадора, и другие пикадоры работали прямо внизу под их ложей и махали им всякий раз, когда приступали к работе и когда кончали ее, и он сказал тогда Элен, что пикадоры работают друг для друга, и это была правда. И чище той пикадорской работы он в жизни не видывал, и три пикадора в их ложе в кордовских шляпах кивали при каждом удачном vara [4], и пикадоры внизу

[1] Одна из главных боевых поз матадора *(исп.)*.
[2] Корраль, где держат быков *(исп.)*.
[3] Места над выходом на арену *(исп.)*.
[4] Укол пикадорской пикой *(исп.)*.

на арене махали в ответ, продолжая свою работу. Это было совсем как в тот раз, когда португальцы приехали и старикан-пикадор швырнул на арену шляпу и прямо повис на барьере, уставившись на молодого Да Вейгу. Грустнее этого зрелища он в жизни не видывал. Caballero en plaza [1], мечта толстяка пикадора. Этот мальчик Да Вейга умел держаться в седле. Было на что поглядеть. Но в кино это не получилось.

Кино все загубило. Это вроде того, как болтать о чем-то действительно важном. Даже войну они сделали ненастоящей. Слишком много болтали.

Болтать всегда плохо. Еще плохо описывать то, что действительно с вами случилось.

Губит наверняка.

Чтобы вышло толково, надо писать о том, что вы сами придумали, сами создали. И получится правда. Когда он писал «Моего старика», он ни разу не видел, как жокей разбивается насмерть, и ровно через неделю разбился Жорж Парфреман на том самом скачке и в точности как в рассказе. Все толковое, что ему удалось написать, он выдумал сам. Ничего из этого не было. Правда, было другое. Может статься, что лучше. Никто из его родных так ничего и не понял. Считали, что все, что он пишет, он сам пережил.

В том же и слабость Джойса. Дедалус в «Улиссе» — сам Джойс, и получается плохо. Романтика, всякое умствование. А Блума он выдумал, и Блум замечателен. Миссис Блум он выдумал тоже. И это настоящее чудо.

То же и с Маком. Работает слишком близко к натуре. Впечатления надо переплавлять и создавать людей заново. Впрочем, у Мака есть кое-что за душой.

Ник из его рассказов не был он сам. Он его выдумал. Никогда он, конечно, не видел, как индеанка рожает. Потому получилось толково. И никто об этом не знает. А видел он женщину, рожавшую на дороге, когда ехал на Карагеч, и постарался помочь ей. Вот как оно было.

Если бы только всегда удавалось писать именно так. Будет время, это исполнится. Он хотел стать великим писателем. Он почти был уверен, что станет великим писателем. По-всякому это чувствовал. Станет назло всем помехам. Это будет совсем не легко.

Нелегко стать великим писателем, если вы влюблены в окружающий мир, и в жизнь, и в разных людей. И любите столько различных мест в этом мире. Вы здоровы, и вам хорошо, и вы любите повеселиться, в самом деле, какого черта!

Ему работалось лучше всего, когда Элен была нездорова. Самая чуточка разногласий и ссоры. А бывало и так, что он не мог не писать. И вовсе не чувство долга. Независимо, как перистальтика. А после иной раз казалось, что теперь у него никогда ничего не получится. Но проходило какое-то время, и он чувствовал снова: чуть раньше, чуть позже он напишет хороший рассказ.

И это давало бóльшую радость, чем все остальное. Вот почему он садился писать. Он не так представлял это раньше. Вовсе не чувство долга. Просто огромное наслаждение. Это пронзало сильнее, чем все остальное. И вдобавок писать хорошо было дьявольски трудно.

Ведь всегда есть так много штучек.

Писать со штучками было совсем легко. Все писали со штучками. Джойс выдумал сотни совсем новых штучек. Но от того, что они

---

[1] Конный матадор *(исп.)*.

были новыми, они не делались лучше. Все равно в свое время они становились захватанными.

А он хотел сделать словом то, что Сезанн делал кистью.

Сезанн начинал со штучек. Потом все порушил и стал писать настоящее. Это было неслыханно трудно. Сезанн — из самых великих. Великих навеки. Это не было обожествлением Сезанна. Ник хотел написать пейзаж, чтобы он был весь тут, как на полотнах Сезанна. Это надо было добыть изнутри себя. И без помощи штучек. Никто никогда еще не писал так пейзажей. Это было почти как святыня. Чертовски серьезное дело. Надо было сразиться с самим собой и добиться победы. Заставить себя жить глазами.

И об этом нельзя болтать. Он решил, что будет работать, пока не получится. Может быть, никогда не получится. Но если он даже чуть-чуть приблизится к цели, он это почувствует. Значит, есть работенка. Быть может, на всю жизнь.

Писать людей было просто. То, что модно, писать было просто. Примитив в пику нашей эпохе, небоскребам и прочему. Каммингс, когда писал модно, мог работать как автомат. Но «Огромная комната» была настоящая книга, одна из великих. Каммингс работал как зверь, чтобы ее написать.

Ну, а кто кроме Каммингса? Молодой Аш? Не без способностей. Но поручиться нельзя. Евреи быстро сдают, хотя начинают сильно. Мак был тоже не без способностей. Дона Стюарта можно было поставить прямо за Каммингсом. Что-то было и в Хэддоксе. Может статься, и в Ринге Ларднере. Может статься — не более того. В стариках вроде Шервуда. В еще более древних, как Драйзер. Ну, а кто там еще? Юнцы. Безвестные гении. Впрочем, таких не бывает.

И никто не искал того, чего он добивался.

Он сейчас видел этих Сезаннов. Портрет у Гертруды Стайн. Она-то почувствует сразу, когда у него получится. И отличные два полотна в Люксембургском музее, на которые он приходил каждый день поглядеть, пока они были на выставке в галерее Бэрнхейма. Солдаты, раздевшиеся перед тем, как купаться, дом сквозь деревья и еще дерево сбоку, нет, не бледно-малиновое, то — на другом полотне. Портрет мальчика. Люди у него получались. Это, впрочем, полегче, он делал их теми же средствами, что и пейзаж. И Ник мог так поступить. С людьми было проще. Никто ничего в них не смыслил. Если казалось толковым, вам верили на слово. И Джойсу верили на слово.

Сейчас он знал точно, как написал бы Сезанн этот кусок реки. Живого его бы сюда, господи, с кистью в руке. Они умирают, вот ведь в чем чертовщина. Работают всю свою жизнь, стареют и умирают.

И Ник, зная точно, как написал бы Сезанн этот кусок реки и соседнюю топь, встал и вошел в воду. Вода была холодна и реальна. Идя по картине, Ник пересек реку вброд. У берега, встав на колени на гравий, он ухватил мешок, где была форель. Он тянул всю дорогу мешок за собой по мелководью. И этот молодчик был жив. Ник развязал мешок, дал форели скользнуть в воду и глядел, как она припустила вперед со спинным плавником наружу и, виляя среди камней, ушла в глубину. «Все равно велика на ужин,— сказал себе Ник,— я наловлю мелочи прямо у лагеря».

Ник вышел на берег, смотал лесу и двинулся сквозь кустарник. Он дожевывал сандвич. Он торопился, и удочка мешала ему. Он ни о чем не думал. Он хранил что-то в памяти. Он хотел возвратиться в лагерь и сесть за работу.

Он шел сквозь кустарник, прижимая к себе удочку. Леса зацепилась за ветку. Ник стал, срезал ветку и снова смотал лесу. Он держал теперь удочку перед собой, так было легче идти сквозь кустарник.

Впереди на тропе он увидел лежащего кролика. Ник нехотя остановился. Кролик едва дышал. В затылок ему за ушами впились два клеща. Клещи были серые, налитые от выпитой крови, величиной с виноградину. Ник отцепил клещей, они шевелили ножками, головки у них были твердые, маленькие. Ник раздавил их ногой на тропе.

Ник приподнял с земли кролика, его тельце обмякло, глаза-пуговки потускнели. Он сунул его под куст душистого папоротника рядом с тропой. Опуская зверька на землю, Ник услышал биение его сердца. Кролик тихо лежал под кустом. Может, еще отдышится, подумалось Нику. Наверно, клещи прицепились к нему, когда он дремал в траве. До того плясал на лужайке. Кто знает.

Ник пошел по тропе, направляясь в лагерь. Он что-то хранил в памяти.

■

Критика

В. КУТЕЙЩИКОВА,
Л. ОСПОВАТ

ЛИТЕРАТУРА В ЖИЗНИ РЕВОЛЮЦИОНЕРА

(К портрету Эрнесто Че Гевары)

Пять с лишним лет назад в Боливии, одной из самых отсталых и бедных стран Латинской Америки, расположенной на крутых отрогах Андского хребта, происходили события, приковавшие внимание всего мира. Шли последние отчаянные бои горстки партизан во главе с Че Геварой против преследовавших ее войск. Финал наступил в октябре 1967 года. Почти все участники отряда погибли, раненый Че был захвачен и убит. Стремясь ликвидировать материальные приметы жизни Че, враги по-своему внесли лепту в его посмертную славу.

Редко случается, чтобы реальная историческая фигура так мгновенно превращалась в легенду. Легенду прежде всего в изначальном смысле слова — революционер, погибающий за свободу народа, естественно становится в его сознании фигурой легендарной. Для миллионов латиноамериканцев Че и сегодня — живой герой, участвующий в борьбе. Но затем легенда о Че начала приобретать иные очертания, не только героические, но и, так сказать, демонические: переосмысленный левоэкстремистскими идеологами, образ Че стал выглядеть символом тотального насилия и террора. В десятках книг и тысячах статей, написанных о Геваре после его гибели, можно встретить самые что ни на есть противоположные концепции его судьбы— от истории «жестокого авантюриста» до мифа о «Христе XX века». Фигура Че оказалась в центре самых острых не только идейных, но и нравственно-философских столкновений, и потому нередко реальные черты этого революционера искажались. А меж тем деятельность и подвиг Гевары не могут быть поняты, если не знать, как в конкретных исторических условиях Латинской Америки формировались его идеи и его человеческий характер.

Гевара вошел в историю Латинской Америки в момент, когда этот континент превратился в арену бурных социальных взрывов, в поле высокого напряжения, где рождались и проверялись на практике новые формы революционного действия.

Путь Гевары — это путь превращения мятежного индивидуалиста в практика революционной борьбы. Этот путь был отмечен напряженными поисками, победами и заблуждениями В данной статье мы не будем касаться революционной стратегии Че Гевары — она уже охарактеризована в других опубликованных у нас работах. Многие сложные философско-нравственные аспекты революционной деятельности Че Гевары также требуют особого рассмотрения. Наша задача иная — представить историческую траекторию Че Гевары под углом зрения того, какую роль сыграла литература в формировании его личности.

Родившийся в одной из сравнительно богатых стран Латинской Америки — Аргентине, в семье довольно обеспеченной, Эрнесто Гевара с юных лет обладал независимым нравом, проявлял ироничность и трезвость по отношению к окружающей его среде. Он на собственный лад повел борьбу со своим недугом — астмой: наперекор

правилам, с помощью усиленной физической нагрузки. Еще будучи студентом-медиком, он дважды совершил со своим товарищем путешествие по Латинской Америке. Не имея денег, но в избытке обладая смелостью и жаждой приключений, они не только увидели многое, но и многое пережили. Напомним хотя бы их врачебный опыт в перуанском лепрозории, где они в течение нескольких месяцев оказывали помощь людям, страдавшим неизлечимым мучительным заболеванием. Быть может, в ту пору их вдохновлял пример Альберта Швейцера. Однако внутренние импульсы молодого врача Гевары толкали его на поиски иного приложения своих сил. Этот поиск завершился в Гватемале, куда во второй раз Гевара приехал в 1954 году, том самом году, когда народ маленькой страны, осмелившийся провести аграрную реформу, подвергся агрессии Соединенных Штатов. Вот тогда-то молодой врач Гевара принимает жизненно важное для себя решение. Он избирает профессию революционера.

Попав в Мексику, он знакомится с Фиделем Кастро и вступает в его отряд, готовящийся для высадки на Кубу; цель этой экспедиции — свергнуть тиранию Батисты. Вместе с Фиделем Че проходит весь путь двухлетней партизанской войны в Сьерра-Маэстре и после победы отдает себя становлению нового общества. Он покидает Кубу через шесть лет, с тем чтобы повторить опыт Сьерра-Маэстры в другой стране Латинской Америки — Боливии.

Как бы ни оценивать итог боливийской кампании, сама гибель Че придала его жизни законченный смысл, с предельной ясностью обнажила необыкновенные черты его личности. Нужно было особое сочетание осознанного подвижничества и аскетического самопожертвования, сверхтвердости воли и творческой одухотворенности, чтобы жизнь его превратилась в легенду. Для Че Гевары в высшей степени была характерна сознательная самоорганизация собственной судьбы, целенаправленное построение своего характера. Об этом лаконично сказала однажды его товарищ по борьбе Айде Сантамария: «Ты сотворил нечто уникальное, ты сотворил самого себя». А в этом процессе «самосоздания» существенную роль сыграли факторы не только идеологические, но и этические и, как мы увидим ниже, эстетические.

Люди, близко знавшие Че, отмечали характерную его особенность — рано проснувшееся и сильно развитое воображение. «С самого начала Че умел соединять качества, которые нам покажутся полярными и несовместимыми,— реализм и фантазию. Он умел подниматься над реальностью потому, что обладал воображением, и умел превратить мечту в жизнь, ибо знал, что во всех случаях реальность более всего нужна людям для осуществления самых благородных идеалов»,— сказал о нем мексиканский писатель Эммануэль Карбальо.

Говоря о роли воображения в ходе формирования личности Че, мы имеем в виду это слово не только в общепринятом смысле, но и как собственно философскую категорию, как такое свойство человеческого сознания, которое является существенным условием всякого, и прежде всего революционного, исторического творчества. Замысел Фиделя Кастро — высадиться на Кубе с патриотами, оказавшимися вне страны, чтобы из горстки партизан выросла повстанческая армия, способная свергнуть тиранию, был примером революционного воображения. Этот замысел потому и захватил Че, что соответствовал его внутренним импульсам, стремлению осуществить «невозможное». Позднее он скажет, что в ту пору с Фиделем его «связала романтическая склонность к приключениям и мысль, что стоило умереть на чужом берегу во имя столь чистого идеала». Весьма показательно, что к самовоспитанию Че относился как к творческому процессу, сродни тому, что переживают люди искусства. В последнем письме родным, своего рода завещании, он писал: «Воля, которую я оттачивал с художническим самозабвением, теперь поддержит ослабевшие ноги и усталые легкие». Слово «художник» употребит впоследствии и Фидель Кастро, чтобы охарактеризовать сокровенную сущность Че. В прощальной речи 18 октября 1967 года он назовет его «художником партизанской войны».

С этим существенным свойством личности Че в значительной степени связана та роль, которую в его жизни играла художественная литература. Орудие самовоспитания, литература была для него также и полем приложения собственных сил. Произведения Че, в которых он запечатлел свой революционный и человеческий опыт, в свою очередь оказали воздействие на многих писателей Латинской Америки. Наконец, и сам он стал тем героем, который прямо из жизни шагнул на страницы литературы. Не полагая, что в одной статье можно хоть приблизительно исчерпать эту тему, мы хотим осветить в этих заметках некоторые существенные ее стороны.

■

Любовь к литературе пробудилась в нем рано. В рассказах отца, опубликованных после смерти Че, перечисляются книги, прочитанные им в детстве. Рядом с Джеком Лондоном, Дюма, Жюль Верном — обычным чтением в юношеском возрасте — русские и испанские классики, латиноамериканские романисты 30-х годов. Но особенно он любил поэзию. Выучив с помощью матери французский язык, он начал в оригинале читать Бодлера, ставшего его любимым поэтом. Его сверстники вспоминают, что он любил декламировать стихи Мигеля Эрнандеса, Гарсиа Лорки, Антонио Мачадо, Пабло Неруды. Любовь к поэзии он пронес через всю жизнь — отправляясь в Боливию, он взял с собой тетрадь с любимыми стихами, собственноручно им переписанными.

Читал Че всегда и везде. Его друг Гранадос, с которым он путешествовал по Латинской Америке, рассказывал, что в Перу, в городе Куско, отыскав библиотеку, он углубился в чтение книг по истории и археологии. В Мексике он нанялся разносчиком книг издательства «Фондо де культура экономика», затем сторожем на книжной выставке — лишь только для того, чтоб беспрепятственно читать. Там же накануне отплытия с экипажем «Гранма» он покупает своему товарищу Карлосу Бермудесу две книги: «Репортаж с петлей на шее» Фучика и «Молодую гвардию» Фадеева. Книги были для Че непременными участниками его собственной жизни, о чем свидетельствуют многие его признания.

Описывая первый тягчайший бой, который довелось выдержать членам экипажа «Гранма», высадившимся на кубинском берегу в декабре 1956 года, бой, в котором Че был ранен, он так вспоминает свое состояние: настигнутый пулей, «я растянулся и сделал один ружейный выстрел в сторону горы, повинуясь смутному импульсу раненого человека. Сразу же стал думать о том, как лучше умереть,— в ту минуту все казалось конченным. Я вспомнил старый рассказ Джека Лондона, герой которого, опираясь на ствол дерева, готовится достойно кончить свою жизнь; замерзая в ледяных просторах Аляски, он уже считал себя приговоренным к смерти. Это была единственная картина, которая возникла в моей памяти»[1].

Эти воспоминания интересны тем, что показывают, как сильно было тяготение Че к образному осмыслению жизни, если оно не покинуло его даже в столь кризисный момент.

Во время двухлетней партизанской войны в Сьерра-Маэстре Че, переносивший все тяготы этой войны с удвоенным мужеством, которого от него требовала еще и борьба против приступов астмы, не переставал читать запоем. «Пока все отдыхали, он брался за книги. И это в то время, пока остальные, истомленные усталостью, валились спать». Таково одно из многих свидетельств очевидцев. А вот аналогичное: «Че читал рано утром, на заре, и поздно ночью у костра». В сборнике воспоминаний «Че в Сьерра-Маэстре» есть даже характерный раздел — «Ранец с книгами»; эта деталь в жизни Че бросалась всем в глаза. «Надо было плотно поесть, чтобы тащить на себе этот ранец»,— шутливо вспоминает связной Гевары.

Журналистов, которые начали приезжать в Сьерра-Маэстру, поражало разнообразие читательских интересов партизанского командира — Маркс, Сартр, Мерло-Понти, Валье-Инклан, Тойнби, Бовуар. Тогда же была сделана и получившая широкое распространение фотография Че; она относится к его вынужденной остановке в Эль-Омбрито. Застигнутый приступом астмы, он лежит, раскрыв книгу Эмиля Людвига «Гёте».

[1] Очевидно, речь идет о рассказе «Костер».

Если собрать все имеющиеся воспоминания о Че Геваре в Сьерра-Маэстре, то можно составить длинный список книг — в него войдет и Ленин,— которые он читал, о которых рассказывал солдатам и крестьянам. Но, может быть, выразительнее, чем весь этот список, характеризует Гевару-читателя свидетельство старой крестьянки Чаны Перес:

«Этот христианин всегда таскал за собой книги; картинок в них не было, одни только слова. Я подумала: матерь божья, и что же читает этот человек? Встану иногда за его спиной, пока он сидит с книгой, может, что и разберу, но это были все такие книги и журналы, в которых только про политику да про войну пишут. Может быть, там были у него и романы или книжки с рассказами, но я не очень-то разобралась, не большая я мастерица на чтение, да и зрение у меня плохое. Помню только, что книги все были в красных, синих, зеленых обложках. Ранец с книгами он никогда не бросал. И помню еще, что когда он брал в руки книгу, то становился таким тихим-тихим, наполовину вроде бы отсутствующим, а лицо становилось добрым, как будто бы он был в другом мире. И подумать только, есть же такие христиане, которые настолько сходят с ума от книг».

Чтение было для Че занятием творческим в самом точном смысле этого слова. Художественные, и в частности поэтические, образы не только оказывали на Гевару эстетическое и идейно-нравственное воздействие. Они перерабатывались его собственным сознанием, становились частью его собственной духовной жизни.

Из поэтов, близких Геваре, надо прежде всего назвать Хосе Марти. Апостол кубинской революции и поэт, проложивший новые пути латиноамериканской поэзии, он был для Че наивысшим образцом слияния революционера и художника. Гевара неустанно пропагандировал тезис Х. Марти: «Лучший вид слова — дело». Геваре были близки и дороги также высокие этические принципы Хосе Марти, который был идеологом не только социального освобождения народа, но и нравственного его возрождения: «Каждый настоящий человек должен чувствовать на собственной щеке удар по щеке другого человека». Эту фразу Гевара будет не раз повторять в своих выступлениях и статьях.

Геваре была очень важна и близка и еще одна идея Хосе Марти, которую тот сформулировал в конце XIX века,— идея континентальной солидарности латиноамериканских народов. Эту идею Хосе Марти выдвинул в момент, когда стала отчетливо обнаруживаться угроза империалистической экспансии Соединенных Штатов в страны Латинской Америки. Но истоки единства этих стран Марти находил еще раньше, в эпохе, когда индейцы Америки оказыва-

ли яростное сопротивление испанским конкистадорам. Марти напоминал своим современникам те далекие дни, когда ацтеки в ночном мраке зажигали очаги, огонь которых ярко освещал небо. «Настал час очагов, и ничего не должно быть видно, кроме света»,— так афористически определил Хосе Марти задачу непримиримой борьбы против североамериканских колонизаторов в конце прошлого века. И эти же слова повторил Че Гевара, взяв их в качестве эпиграфа к последнему своему произведению — «Воззвание к народам мира». Оно было прочитано в Гаване на конференции ОЛАС в июне 1967 года.

Че Гевара много раз писал и говорил об исторической необходимости единства латиноамериканских народов, часто привлекая при этом и иные поэтические ассоциации — например, афоризм о роли братской дружбы из знаменитой аргентинской поэмы «Мартин Фьерро» Хосе Эрнандеса: «Если братья подерутся, то чужие их сожрут». Но, пожалуй, самым высоким художественным воплощением этой идеи была для него поэтическая эпопея «Всеобщая песнь» Пабло Неруды, стихи которого, как уже сказано, Гевара знал и любил с молодых лет. Товарищ Че по совместному путешествию Гранадос вспоминал, что, поднявшись в Андские горы, где сохранились руины древней индейской цивилизации, Че на память цитировал стихи Неруды «Вершины Макчу-Пикчу» — одну из частей «Всеобщей песни». Путешествие Неруды к Макчу-Пикчу в свое время сыграло решающую роль в кристаллизации художественного замысла «Всеобщей песни»; именно здесь поэт впервые столь остро ощутил величие и живую силу индейского наследия Америки как одной из основ ее единства. Через десять лет, повторив это путешествие, молодой Гевара как бы пошел по следам Неруды. Быть может, с эмоционально-эстетическими переживаниями Че связана его первая, пока еще полусерьезная, фраза о необходимости совершения революции в Латинской Америке.

«Всеобщая песнь» стала для Че одной из самых значительных и важных книг; есть несколько свидетельств о том, что он читал ее в Сьерра-Маэстре, а по словам крестьянки Линии Гарсес — еще и рассказывал о Неруде местным жителям, связанным с партизанами.

Были и другие причины особой тяги Гевары к поэзии Неруды. Когда двадцатидвухлетний Че попал в 1951 году в Чили, он не мог не знать о недавнем поединке поэта с диктатором Гонсалесом Виделой. Вынужденный скрываться, Неруда рассказал о своих скитаниях в поэме «Беглец», позже вошедшей во «Всеобщую песнь». Эта поэма — пример того, как сама жизнь перерастает в поэтическое творчество и как лирический дневник поэта, попавшего в исключительные обстоятельства, оказывается способным вместить в себя драму всего народа. В ту пору и прозвали Неруду «совестью Латинской Америки». Двумя десятилетиями позже совестью Латинской Америки назовут Гевару, который, творчески строя свою жизнь революционера, искал в Неруде поэтическое предвосхищение своей судьбы. С одним из ранних его стихов — «Прощание», самолично переписанным в тетрадь, Че отправился в Боливию.

Интерес к этическим проблемам революции, особенно проявившийся в последние годы жизни Гевары, нашел свое кульминационное выражение в эссе «Социализм и человек на Кубе» (1965). Центральная тема этого эссе — проблема формирования нового человека в новом обществе. Этому же посвятил Гевара и свое выступление на митинге 15 августа 1964 года, причем он вновь апеллирует к художественному образу, на сей раз созданному большим поэтом Испании Леоном Фелипе.

Последние десятилетия своей жизни Фелипе провел в изгнании в Мексике, где с его стихами впервые познакомился Че. Представитель блестящей плеяды испанских поэтов XX века, современник Хименеса, Мачадо, Гарсиа Лорки, Фелипе выразил в своей поэзии яростный накал борьбы двух сил: тьмы и света, свободы и рабства. Зная о любви Че к его стихам, Фелипе послал ему в Гавану свою книгу с надписью-посвящением.

Случилось так, что первым откликом Гевары на полученные стихи Леона Фелипе и было его выступление перед рабочими, награжденными за трудовой героизм. Развивая мысль о рождении нового человека в новом обществе, о новом отношении к труду, он по памяти приводит стихи Фелипе:

Но человек — это глупый ребенок-труженик,
превративший труд в потную поденщину,
превративший в мотыгу палку от барабана,
вместо того чтобы выбивать ею из земли песнь радости.

«Мне захотелось привести вам эти слова,— сказал далее Че, обращаясь к собравшимся рабочим,— потому что мы можем сказать сегодня этому большому отчаявшемуся поэту, чтобы он приехал на Кубу и увидел, как человек, прошедший все ступени капиталистического отчуждения и познавший положение вьючной скотины, сгибавшийся под ярмом эксплуататоров, вновь нашел свою дорогу, вновь нашел дорогу к радости».

В письме, которое Че вскоре после этого выступления направил Леону Фелипе (21/VIII 1964), мы находим признания, существенно дополняющие представление о том, какую роль играла поэзия в жизни Че: «Учитель! Прошло несколько лет с тех пор, как после победы революции я получил Вашу последнюю книгу с посвящением мне. Я так и не сумел поблагодарить Вас, но она всегда со мной. Быть может, Вам будет интересно узнать, что одна из двух или трех книг, которые находятся всегда у меня под подушкой,— это «Олень». Мне очень редко удается ее перечитывать, потому что доныне на Кубе спать, проводить

время, не принося ощутимой пользы, или попросту отдыхать — это кощунство и преступление.

Недавно я присутствовал на митинге, который для меня имел большое значение. Зал был переполнен рабочими-энтузиастами, и в атмосфере ощущалось дыхание нового человека. То, что оставалось во мне от несостоявшегося поэта, выступило наружу, и я обратился к Вам, чтобы поспорить на расстоянии. Это знак моего преклонения перед Вами, и я прошу именно так это понять».

Первое признание — Че говорит о себе как о «несостоявшемся поэте». То, что он и в самом деле писал стихи, известно по опубликованному стихотворению «Песнь Фиделю», которое было написано им во славу подвига экипажа «Гранма». Сам Че никогда не собирался его обнародовать и был недоволен, когда помимо его воли это стихотворение появилось в журнале «Верде оливо».

Другое признание — поэма Леона Фелипе «Олень», которую особенно любил Гевара. Центральный ее образ символичен: преследуемый олень — это сам угнетенный и преследуемый на всем протяжении истории Человек, который ведет безуспешную, но непрекращающуюся борьбу за то, чтобы остаться Человеком. Итальянский кинодеятель Джанни Тоти, однажды видевшийся с Геварой, специально обратился к этой поэме Фелипе, чтобы найти в ней ключ к личности Че. «Я заново прочитал «Оленя» и нашел объяснение любви Че к содержащейся в этой поэме безнадежной аллегории: оно — и символичное и пророческое... Че захотел совершить то, что уже совершал вечно преследуемый олень... но для того, чтобы поставить его преследователей лицом к лицу со всеми людьми планеты... Че хотел сам написать свою лучшую поэму, которую мы сможем прочесть, если все мы будем продолжать писать эту поэму — его и нашими руками...»

Не раз встречаешься с тем, что жизнь Гевары осмысливается его современниками именно в этом поэтическом ключе. И если такая интерпретация его судьбы имеет, как кажется, свои основания, то становится понятной роль еще одного, крайне важного для Че художественного образа — образа Дон Кихота. Косвенно упоминал об этом и он сам. Для Че Гевары — человека, который строил свою жизнь революционера, окрыленный мечтой,— Дон Кихот был высшим воплощением человеческого подвига во имя ее. И здесь, уже в иной связи, хочется вспомнить слова Леона Фелипе, который, говоря о назначении поэта, дал свое собственное, весьма современное и созвучное Геваре истолкование бессмертного образа Сервантеса: «Поэт не тот, кто ловко играет маленькими словесными метафорами, но тот, кого пробудившийся прометеев дух ставит зачинателем великих метафор — социальных, человеческих, исторических, межзвездных. Дон Кихот — поэт этого класса. И он отличается от зауряднных поэтов мира тем, что хочет писать свои стихи не острием пера, но острием копья... Там, где присутствует фантазия, неизбежно возникает воля. И метафора поэтическая вливается тогда в великую метафору социальную...»

Эти строки Леона Фелипе могли бы стать эпиграфом к жизни Че Гевары. Воображение, питавшее его могучую волю и пронесенное им через всю его жизнь, то, что некогда подметила старуха Чана, когда смотрела на этого «христианина, который настолько сходит с ума от книг», на самом деле сделало его зачинателем «великих метафор». Неутомимый мечтатель, искатель новых путей и средств борьбы за освобождение человечества, Гевара и сам осмысливал образ Дон Кихота в ключе высокой поэзии. И словно прямой отзвук слов испанского поэта звучат собственные слова Че. В письме к родным, отправленном накануне отъезда в Боливию, он сам полушутливо отождествил себя со странствующим рыцарем Сервантеса: «Я вновь чувствую своими пятками ребра Росинанта, снова, облачившись в доспехи, я пускаюсь в путь... Многие назовут меня искателем приключений, и это так, но только я искатель приключений особого рода, из той породы, что рискуют своей шкурой, чтобы доказать свою правоту».

Характерно, что тот же образ возникает косвенно еще в одном письме, отправленном непосредственно из Боливии: «Сквозь пыль, поднятую копытами Росинанта, с копьем, готовым вонзиться во врагов-гигантов, преследующих меня, я спешу передать вам это почти телепатическое послание...»

Творческая энергия Че, его способность заставить воображение работать на революционную практику органически сочетались в нем с такими совершенно не «донкихотскими» чертами, как беспощадная трезвость, народный юмор (характерными отнюдь не для Рыцаря Печального Образа, а скорее для его оруженосца), умение критически оценивать не только других, но и себя. Его строгая приверженность к фактам со всей силой проявлялась тогда, когда он сам брался за перо, чтобы зафиксировать события, которых был свидетелем или участником.

Потребность записывать увиденное и пережитое довольно рано проявилась у Че. По свидетельству товарища его юности Хосе Агиляра, он уже по возвращении из первого путешествия по Америке начал писать дневник. Эту привычку он сохранил до последнего дня жизни. И в Сьерра-Маэстре, и в Боливии Гевара вел дневник на глазах у товарищей; они позже об этом вспоминали как о характернейшем его пристрастии. Свидетельствует об этом и Фидель Кастро:

«Во время партизанской жизни Че имел привычку тщательно записывать в своем

личном дневнике наблюдения каждого дня. Во время долгих переходов по пересеченной и труднодоступной местности, посреди влажных лесов, когда отряды людей, сгибающихся под тяжестью ранцев, снаряжения и оружия, останавливались на минуту на отдых или когда колонна получала приказ остановиться для организации лагеря после утомительного трудового дня, можно было видеть, как Че — так мы, кубинцы, с любовью окрестили его с самого начала — вынимал свою записную книжку и мелким, едва понятным почерком врача делал свои записи».

■

Гевара не считал себя писателем — и не только из-за присущей ему скромности («Звание писателя для меня — самое священное в мире»,— признался он в письме к своему соотечественнику, известному прозаику Эрнесто Сабато), но и потому, что брался он за перо, как правило, с единственной целью: как можно точнее передать факты. Чем более важную роль играло в его деятельности воображение, тем упорней стремился он, запечатлевая эту деятельность в слове, обойтись, насколько возможно, без участия воображения. Еще при жизни ставший олицетворенной легендой, сам он не допускал в своих сочинениях ничего вымышленного.

Обращаясь к участникам боев и походов в Сьерра-Маэстре с призывом записать пережитое, он настаивал: «Просим лишь о том, чтобы рассказчик был предельно правдив, чтобы никогда во имя уточнения собственной позиции, или ее приукрашивания, либо для того, чтобы сделать вид, будто он был там, где его не было, этот рассказчик не написал чего-либо неверного». Такое же требование Гевара постоянно предъявлял и себе самому.

Однако, несмотря на это, а может быть именно благодаря этому, можно сказать, что Гевара внес свой вклад в латиноамериканскую прозу. В наше время, когда между художественной литературой и внелитературной словесностью происходит все более активное взаимодействие, эстетические открытия подчас совершаются в промежуточных «пограничных» жанрах. И многие страницы литературного наследия Че, обладающие ценностью не только исторического, но и человеческого документа, несут в себе заряд художественного обобщения. Здесь возникают и отчасти реализуются новые возможности исследования внутренней жизни человека в такие моменты, которые требуют от него максимального напряжения физических и духовных сил.

Человек в революции, человек в освободительной борьбе — тема сама по себе не новая для латиноамериканской литературы. Но судьба Че, который был одним из вождей и в то же время рядовым бойцом партизанской войны, ее идеологом и летописцем, наделенным к тому же даром чисто художнической восприимчивости, острым интересом к конкретному и частному,— эта судьба необыкновенна. А отсюда и особая широта и своеобразие его взгляда на революционную действительность, особая его зоркость. В казалось бы протокольно зафиксированных им фактах нередко проступает глубинный человеческий смысл; документальное свидетельство оказывается способным соперничать с образным осмыслением жизни.

Новое качество обнаруживается уже в дневниковых записях, которые, как сказано, Гевара вел смолоду и до самой смерти. Пока опубликована лишь заключительная часть этих записей — знаменитый «Боливийский дневник», начатый в ноябре 1966 года и оборвавшийся 8 октября 1967 года, за два дня до гибели Че. «Вот и на сей раз благодаря неизменной привычке Че записывать основные события каждого дня мы располагаем подробнейшей, точной, неоценимой информацией о последних героических месяцах его жизни в Боливии»,— писал в предисловии к первому изданию дневника Фидель Кастро.

Найденный в походной сумке Гевары, дневник попал в руки врагов, но через некоторое время его фотокопия была переправлена на Кубу. Там дневник был прочитан и издан, а затем переведен на двадцать два языка.

Историческое значение «Боливийского дневника» трудно переоценить, а вместе с тем он обладает поразительной силой эмоционального воздействия. Теоретически разработавший «стратегию партизанской войны», Че в Боливии реализовывал ее на практике, и его дневник содержит бескомпромиссный анализ этого практического опыта. Героическое предприятие не увенчалось успехом. Лаконичные записи рассказывают о том, как оказались тщетными усилия партизан обеспечить себе поддержку населения, а без этого была невозможна победа. Запечатленная безыскусно и деловито, встает перед нами трагическая коллизия.

В поле зрения Гевары — как отряд в целом, так и каждый из бойцов. Его в особенности интересует поведение людей в критических ситуациях. Неотразимо достоверны психологические наблюдения, объектом которых чаще всего является сам автор.

Вот запись от 3 июня 1967 года: «...в 17 часов проехал военный грузовик, тот же, что и вчера, с двумя солдатиками на скамье, завернувшимися в одеяло. У меня не хватило мужества застрелить их, а мозг недостаточно быстро сработал, чтобы задержать машину, и мы позволили ей проехать». В истории партизанского отряда этот эпизод не играет существенной роли. Но он существенно дополняет человеческий облик революционера.

Гевара не оправдывает себя («У меня не хватило мужества»), но он и не раскаивается — он просто рассказывает: так было. И рассказ этот убедительно опровергает утверждения тех, кто хотел бы предста-

вить Че слепым фанатиком, уверенным в своей непогрешимости.

Еще одна запись, сделанная 8 августа 1967 года, когда партизанский отряд уже двигался навстречу гибели. Изнемогавший от астмы и усталости, выведенный из себя строптивостью лошади, на которой он ехал, Че ударяет ее ножом в шею. А вечером, на привале, собрав всех товарищей, он обращается к ним со следующими словами: «Мы в трудном положении... Я превратился в человеческое отребье: эпизод с лошадкой показывает, что бывают минуты, когда я теряю контроль над собой. Это поправимо, но обстановка, в которой мы находимся, одинаково тяжела для всех, и тот, кто не чувствует себя способным выдержать ее, должен так и сказать. Настал один из таких моментов, в которые принимаются великие решения. Борьба, которую мы ведем, дает нам возможность стать настоящими революционерами, подняться на высшую ступень рода человеческого, и в то же время она позволяет каждому из нас выдержать экзамен на звание Человека. Кто не в силах добиться ни того, ни другого, должен признаться в этом и бросить борьбу».

Свою мечту о новом человеке, которого формирует революция, Гевара подвергал суровой проверке. Даже из собственной слабости он стремился извлечь урок для своих товарищей. В верности правде, сколь горькой она бы ни была, проявляется его революционный пафос, твердость его характера. В этом — один из важнейших политических, человеческих и художественных уроков «Боливийского дневника».

Бóльшая степень художественной организации жизненного материала характеризует вышедшую в 1963 году книгу Гевары «Эпизоды революционной войны», рассказавшую о тех событиях, которые привели к свержению режима Батисты и победе народной революции на Кубе. В ее основу положены дневниковые записи, однако подвергшиеся авторской обработке, в результате чего они превратились в законченное произведение. «Че писал «Эпизоды революционной войны» — эту превосходную, чистую, разговорную прозу, движимый не только интеллектуальными побуждениями, но еще и как художник... «Эпизоды»—это сама плоть борьбы, персонифицированная в живых фигурах, героических и колеблющихся, возвышенных и жалких, но неизменно подлинных». Так оценил эту книгу кубинский поэт Роберто Фернандес Ретамар. О художественных достоинствах «разговорной» прозы «эпизодов» Гевары писала также и его выдающаяся соотечественница, писательница Мария Роса Оливер.

Стоит добавить, что «Эпизоды революционной войны» — это и история формирования личности автора, его превращения из стихийного бунтаря в одного из вождей и идеологов кубинской революции. Как признавался сам Че, только опыт партизанской войны в Сьерра-Маэстре привел его к мысли о необходимости соединить борьбу против политической тирании с коренными преобразованиями всего общества: «Идея аграрной реформы обрела тогда ясность, а связь с народом из теоретической посылки превратилась в важнейшую составную часть нашего сознания».

Книга Гевары написана деловито, без патетики, без какой бы то ни было экзальтации. Автор подчеркнуто объективен, даже суховат. Партизанская война в его описании — это прежде всего изнурительный труд, лишения, постоянное напряжение физических и духовных сил. О героизме и подвижничестве говорится мало, но тем более убедительно ощущение и сознание того, что партизаны — настоящие герои. Это чувствуется по тому, как мужественно преодолевают эти люди голод, жажду, усталость, как ведут себя в бесконечных стычках, засадах, сражениях.

Один из первых эпизодов — «Алегриа дель Пио». Так называется место, где 5 декабря 1956 года революционеры, высадившиеся на болотистый берег со шхуны «Гранма», были встречены огнем правительственных войск. Из восьмидесяти двух товарищей Фиделя в отряде осталось двенадцать, включая самого Че. Рассказывая об этих трагических событиях, автор сознательно ограничивает себя кругом личных, непосредственных наблюдений; картина сражения встает перед нами такой, какою она запечатлелась в его смятенном сознании.

Вот он — врач отряда, тащивший с собою мешок с медикаментами,— неожиданно для себя превращается в бойца, когда один из отчаявшихся товарищей бросает ему под ноги ящик с патронами. «Пожалуй, именно тогда передо мною практически встала дилемма: мое медицинское призвание или мой долг революционного солдата. Передо мною лежал мешок с медикаментами и ящик с патронами, они были слишком тяжелы, чтобы унести оба. Я схватил ящик и, бросив мешок, пересек прогалину, отделявшую меня от тростниковых зарослей».

Раненный в грудь и горло, он читает свой приговор в глазах ближайшего товарища, готовится умереть достойно, вспоминает рассказ Джека Лондона. В то же время он не только продолжает стрелять, но и слышит, как «кто-то, стоя на коленях, кричал, что надо сдаваться, а сзади раздался голос (потом я узнал, что это кричал Камило Сьенфуэгос): «Здесь никто не сдается»... и крепкое словцо вдобавок». Цепкий взгляд его схватывает «то достойные Данте, то гротескные сцены»: «Один здоровенный боец пытался укрыться за тростниковым стеблем, а другой посреди ужасной сумятицы и выстрелов требовал тишины, не зная, собственно, для чего».

Из этих, казалось бы, разрозненных подробностей вырастает не просто неопровержимая в своей подлинности картина

В. КУТЕЙЩИКОВА, Л. ОСПОВАТ
ЛИТЕРАТУРА В ЖИЗНИ РЕВОЛЮЦИОНЕРА

боя, увиденная глазами необстрелянного новичка. Досконально фиксируется состояние человека, подвергающегося тягчайшему испытанию и выдерживающего его.

В статье «Роль документа в организации художественного целого» П. Палиевский останавливается на такой ситуации, когда в роли автора документа выступает творческая личность. В этом случае, пишет он, «факт использует лучшую из возможностей, чтобы прорасти,— сознание художника, попавшего в исключительные обстоятельства жизни, как правило тяжелые». Справедливость этого утверждения обнаруживается, в частности, на примере эпизода «Алегриа дель Пио», да и ряда других эпизодов из книги Че о революционной войне, где факт нередко подымается на высоту художественного образа.

По мере того как развертывается история отряда — как он превращается в повстанческую армию, одерживает победы,— перед автором книги все острее встают проблемы этического плана: отношение к дезертирам и пленным, к предателям и мародерам, к раненому врагу и нарушителю дисциплины. Конкретные ситуации заставляют его задуматься над вопросами о субъективной и объективной вине солдата, о страхе, мужестве, совести. Суровая действительность революционной войны всесторонне испытывает и проверяет людей — этой проверке, ее результатам Че уделяет особое внимание, без упрощения воссоздавая самые сложные и трудные случаи.

Среди эпизодических персонажей, нарисованных Геварой, запоминается крестьянин Эутимио, мрачной судьбе которого посвящены выразительные страницы. Добровольно пошедший в проводники к партизанам, этот человек поначалу верно служил им. Однако, попав в плен к врагам, он стал изменником и за десять тысяч долларов согласился убить Фиделя Кастро. Эутимио вернулся в отряд, где ему по-прежнему доверяли. В одну из холодных ночей он лег под одно одеяло с Фиделем, спрятав за пазухой револьвер, но так и не решился на убийство. «Всю эту ночь многое в судьбе кубинской революции находилось в зависимости от мозговых извилин предателя, от шедшего в них процесса сложения и вычитания: храбрость и трусость, ужас и, быть может, остатки совести, жажда власти и денег. Но, к счастью для нас, сдерживающие факторы одержали верх, наступил день, а так ничего и не произошло».

Наконец, Эутимио был разоблачен — у него обнаружили припрятанный револьвер, гранаты и пропуск, выданный батистовским офицером. «Он упал на колени перед Фиделем и просто попросил, чтобы его убили. Он признал, что заслуживает смерти. В ту минуту он казался постаревшим, на висках его стала видна изрядная седина, которой мы раньше никогда не замечали... Его спросили, нет ли у него какого-либо желания, и он ответил, что есть, что он просит Революцию, или лучше сказать нас, позаботиться о его детях.

Революция выполнила эту просьбу».

Один из самых законченных в художественном отношении эпизодов книги — «Убитый щенок». Содержание его несложно: увязавшийся за отрядом щенок может своим лаем выдать партизан, и Гевара без колебаний отдает приказ задушить его. А некоторое время спустя, на привале в заброшенной крестьянской усадьбе к партизанам, отдыхавшим под звуки гитары, подходит хозяйская собака. «Внезапно наступило молчание. Незаметно подкравшееся волнение охватило нас... Ласково, плутовато и в то же время словно с упреком смотрел на нас глазами другой собаки тот, убитый щенок».

Вынужденная условиями борьбы жестокость должна быть осознана и прочувствована, должна оставить след в душе,— даже если речь идет о собаке! — иначе солдаты не смогут оставаться людьми.

«Эпизоды революционной войны» вошли в латиноамериканскую литературу как произведение документального и художественного значения, как образец революционного опыта, закрепленного в слове. «В неповторимом стиле этой книги,— сказал известный кубинский писатель-публицист Рауль Роа,— исчерпывающе выразился ее создатель».

Образ Че Гевары уже давно стал достоянием современной прозы и поэзии Латинской Америки. Его легендарная фигура присутствует не только в сотнях стихотворений и поэм, созданных в том числе крупнейшими поэтами континента, но и в таких значительных произведениях прозы, как рассказ Хулио Кортасара «Воссоединение» и роман боливийского писателя Р. Прады Оропесы «Зажигающие зарю» [1]. Но эта тема особая, и она выходит за пределы данной статьи.

---

1 Опубликован в журнале «Иностранная литература» № 11, 1971 г.

◆

Критика

А. ТИШКОВ

О КИТАЙСКОЙ НОВЕЛЛЕ

Новелла была основным жанром китайской художественной прозы на протяжении веков. В этом мы видим одну из характерных особенностей китайской художественной литературы.

Новелла оплодотворяла повесть эпох Сун (960—1279) и Мин (1368—1644), юаньскую драму (1280—1368), цинский роман (1644—1911), всегда оставаясь основой всех этих жанров.

Примечательно, что и в творчестве последнего китайского классика Лу Синя новелла занимает центральное место.

В процессе своего развития китайская новелла знала высочайшие взлеты — например в танскую эпоху,— знала и века упадка, когда многочисленные эпигоны с большим или меньшим талантом копировали неповторимые шедевры классиков, но потом наступал новый взлет: ехидный старец Пу Сун-лин в семнадцатом веке сумел вдохнуть в этот угасавший жанр новую жизнь, правда ненадолго.

И опять на несколько веков новелла становится жертвой мародеров-эпигонов, вплоть до прихода в литературу основоположника новой, современной китайской словесности — великого писателя и гуманиста Лу Синя.

Капитальных работ по истории развития китайской новеллы нет ни у китайских литературоведов, ни у наших, ни у западноевропейских. Есть отдельные, иногда отличные, работы, посвященные танской новелле, новеллам Пу Сун-лина, творчеству Лу Синя,— о них мы скажем в дальнейшем.

Зарождение всякой национальной культуры, в том числе и литературы, неразрывно связано с устным народным творчеством — мифами, сказками, легендами, народными песнями, былинами и т. д. Естественно, что и истоки китайской новеллы таятся в древних мифах, преданиях, легендах и сказках.

К сожалению, в китайской литературе не было и нет единого мифологического свода, как в древней греческой или индийской литературах,— и в этом тоже одна из особенностей ее развития. Фрагменты и осколки китайских мифов рассыпаны в сочинениях древних философов и поэтов — Конфуция, Лао-цзы, Ле-цзы, Чжуан-цзы, Цюй Юаня и многих других.

Такое небрежение у древних авторов к мифологии и вообще к устному народному творчеству уже много раз объяснялось: мифы, предания и легенды, бытовавшие в народе, никем не записывались, ибо это почиталось занятием зазорным и низким, недостойным всякого уважающего себя ученого. Но все же воздействие древних мифов и легенд было столь велико, что отдельные мифы и легенды или их фрагменты упоминаются и излагаются, чаще всего кратко, в сочинениях самых солидных авторов.

В более поздние времена литераторы (в их числе были даже императоры), не считавшие для себя зазорным собирание произведений народного творчества, одновременно извлекали из древних книг драгоценные крупицы мифов и легенд, складывали из них отдельные эпизоды деяний мифологических героев, зачастую дополняя своей фантазией утраченные навсегда фрагменты.

Разумеется, ко всем компиляциям и комментариям, как древним, так и средневековым и нового времени, исследова-

тель должен относиться весьма критически, ибо очень часто фантазия некоторых любителей старины была слишком буйной и труд компилятора порой превращался в безудержное сочинительство.

Тем не менее благодаря этим старателям до нас дошли отдельные мифы о стрелке И, о починке небосвода Нюй-ва, о вероломстве Чан-э и другие. Некоторые из них обрели новую жизнь в поэтических произведениях, в пьесах традиционного театра музыкальной драмы и, наконец, под пером Лу Синя в его «Старых легендах в новой редакции». Нарочитая модернизация древних мифов в этом, последнем, случае и злободневный подтекст — литературный прием, избранный Лу Синем как наиболее удобный и действенный в борьбе, которую он вел в то время.

Лу Синь в своей «Краткой истории китайской художественной прозы» называет причины, в силу которых китайские мифы сохранились лишь в незначительных фрагментах.

Первая из них вряд ли состоятельна: капризная природа реки Хуанхэ, где жили предки китайцев, заставляла их тяжко трудиться, и не оставалось времени на созерцание явлений природы и создание произведений «большой литературной формы». Но творцы произведений устного народного творчества всегда и во всех странах жили в тяжких условиях и тем не менее в Египте, Индии, Греции, на Руси были созданы замечательные, оптимистические произведения фольклора, великолепные эпические поэмы, былины. М. Горький по этому поводу говорил: «Очень важно отметить, что фольклору совершенно чужд пессимизм, невзирая на тот факт, что творцы фольклора жили тяжело и мучительно — рабский труд их был обессмыслен эксплуататорами, а личная жизнь — бесправна и беззащитна. Но при всем этом коллективу как бы свойственны сознание его бессмертия и уверенность в его победе над всеми враждебными ему силами».

Вторая причина, приводимая Лу Синем,— в противоположность первой — весьма убедительна и доказательна: Конфуций и его последователи занимались изучением и разработкой лишь «высоких материй» — этических взаимоотношений в семье и государстве, различных церемониалов, музыки и т. д., а древние мифы и предания решительно отвергались. Позднее, когда конфуцианство стало господствующей идеологией, древние мифы и предания постепенно стали трансформироваться в историю и их стали рассматривать как подлинные исторические события.

Известный исследователь китайской мифологии профессор Юань Кэ пишет: «...превращение мифов в историю — одна из основных причин гибели китайских мифов... Историзация мифов, заключавшаяся в стремлении очеловечить действия всех мифических персонажей, была главной задачей конфуцианцев. Стремясь привести мифические преданич в соответствие с догмами своего учения, конфуцианцы немало потрудились для того, чтобы превратить духов в людей, а для самих мифов и легенд найти рациональное объяснение. Так мифы стали частью традиционной истории. После того как миф записывался на бамбуковых дощечках, его первоначальный смысл искажался, а люди стали доверять только тому, что было записано. И постепенно стали исчезать мифы, передававшиеся из уст в уста».

В те времена, когда зарождались мифы, их создатели, пытаясь осмыслить и объяснить непонятные для них явления природы — восход и заход солнца, меняющиеся фазы луны, грозу с громом и молнией, наводнения, засуху и т. д.,— приписывали их действиям различных духов. Так было у всех народов мира, так было и в древнем Китае.

Маркс говорил: «Всякая мифология преодолевает, подчиняет и формирует силы природы в воображении и при помощи воображения»[1].

Народная фантазия наделяла этих повелителей природы самым причудливым внешним видом, чаще всего это ужасные чудовища: гидры, змеи горынычи, драконы, лешие и т. д. Особенно много самых ужасных чудовищ в китайской мифологии, они населяют горы и реки, озера и моря, леса и пустыни. С некоторыми из них мы встретимся в новеллах разных эпох.

Одной из самых ранних книг, в которой собрано большое количество фрагментов и осколков древних мифов, является «Шань хай цзин» — книга «О горах и морях». На эту книгу ссылаются, ее цитируют многие древние авторы, а также исследователи и комментаторы последующих эпох — вплоть до наших дней. Об этой интересной книге у нас нет специальных работ, есть лишь краткие упоминания, чаще всего в примечаниях и комментариях к другим работам. Поэтому уместно сказать несколько слов об этом раннем памятнике китайской мифологии.

Разные части книги «О горах и морях» создавались в различные эпохи на протяжении почти тысячелетия. По нынешним нормам объем этой книги немногим превышает три печатных листа, но она оказалась «томов премногих тяжелей». Она прочно вошла в круг чтения и изучения всех последующих поколений философов, поэтов, писателей. Книгу «О горах и морях» хорошо знали (точнее, отдельные ее части, поскольку она составлялась на протяжении многих веков) Конфуций и Чжуанцзы, поэты из рода Цао и Сыма Цянь, Цюй Юань и Тао Юань-мин и многие другие.

В книге содержатся описания гор, рек, морей, пустынь, сведения о том, какие там растут травы и деревья, какие обитают чудовища, какие есть металлы и минералы и т. д. Описания эти всегда очень лаконичны и очень часто непонятны не только для нынешнего читателя, но и для древних комментаторов.

[1] К. Маркс. К критике политической экономии. М., 1949, стр. 225.

Стоит привести несколько цитат из разных частей книги, чтобы составить некоторое представление об особенностях этого древнейшего литературного памятника: «В горах Фуюйшань водится зверь, он похож на тигра с хвостом буйвола, лает как собака, название ему «чжу» — кабан, пожирает людей» («Южные горы»). «В горах Лунхоушань не растут ни травы, ни деревья, много золота и яшмы; воды стекают на восток и вливаются в Хуанхэ. В ней водится много огромных ящеров; у них четыре лапы, голое, как у младенца, тело, их едят, чтобы избавиться от слабоумия» («Северные горы»). Прелестная микроновелла! Всего сорок четыре иероглифа, а есть все — пейзаж, сведения географические, данные о растительном мире и полезных ископаемых, свидетельства о животном мире и народных поверьях.

Упомянем об одном неожиданном совпадении. Все помнят «родословную» Иисуса Христа: «Авраам родил Исаака; Исаак родил Иакова; Иаков родил Иуду и братьев его... Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос».

В разделе «Хайнэй цзин» читаем: «Дицзюнь родил Юй-хао; Юй-хао родил... Фань-юя, который впервые сделал лодку; Фань-юй родил Си-чжуна; Си-чжун родил Цзи-гуана, который впервые сделал из дерева повозку... Шао-хао родил Баня, который впервые сделал лук и стрелы...» Как видим, у евангелиста Матфея оказался — по форме изложения — далекий, неведомый миру предшественник.

Такое же забавное совпадение строк Цюй Юаня из «Девяти элегий» с Евангелием от Матфея отмечает Л. Эйдлин[1]. Жалоба Цюй Юаня: «Прилетают и птицы в свои гнезда обратно, и лиса умирает головою к кургану. Без вины осужденный, я скитаюсь в изгнанье, и ни днем и ни ночью не забыть мне об этом»; жалоба Христа: «Лисицы имеют норы и птицы небесные гнезда, а сын человеческий не имеет, где приклонить голову».

Несколько слов следует сказать и о другой древней книге — «Жизнеописание императора Му». В этой книге содержится много рассказов о чудесах (этот жанр будет очень популярен в дотанской новелле), свидетелем которых был император династии Чжоу Му-ван (1001—947 гг. до н. э.). В «Жизнеописании императора Му» можно найти много интересных фантастических эпизодов и сцен, в которых есть все характерные особенности фантастических новелл позднейших эпох.

Очень забавна новелла — иначе этот эпизод не назовешь — об искусном мастере Я-ши и кукле, которую он сделал. Эта кукла разыгрывала смешные сценки, пела, танцевала, не сбиваясь с ритма,— все делала, словно живой человек. Наконец, она стала весьма выразительно подмигивать наложницам Му-вана, которые присутствовали на этом необычном представлении. Муван рассвирепел, заподозрив обман. Он велел схватить Я-ши и отрубить ему голову. Перепуганный мастер взял подмигивавшую куклу, отвинтил ее голову, руки и ноги, вскрыл грудь. Кукла была сделана из кожи, дерева и лака, искусно раскрашена и склеена. Потом мастер снова соединил все части куклы и перед глазами Мувана снова предстал человек-кукла. Муван был изумлен и воскликнул: «Искусство человеческих рук дошло до того, что может состязаться с великой природой!»

При изучении истории развития китайской новеллы никак нельзя пройти мимо философских трактатов «Ле-цзы» и «Чжуан-цзы», относящихся к VI—IV векам до н. э. Эти замечательные памятники философской мысли древнего Китая, особенно трактат «Чжуан-цзы», являются и выдающимися литературными памятниками. О трактате «Чжуан-цзы» покойный академик В. М. Алексеев, тонкий знаток китайской литературы, писал: «Обаяние этой книги притчей... в Китае настолько сильно, что... она никогда не теряла своей власти над китайским умом и до сего времени сохраняет в сознании китайца всю свежесть и все очарование гениального произведения, к которому вовсе не прикоснулся тлен времени». И действительно, многочисленные притчи, щедро рассыпанные на страницах трактата — поэтому В. М. Алексеев и называет его «Книгой притчей»,— в большинстве своем фольклорного происхождения, являются своеобразными микроновеллами. Этот популярный в самых широких слоях неграмотного населения жанр будет развиваться и в дальнейшем.

В становлении жанра «жизнеописаний», вошедшего в китайскую новеллистику, неоценимы заслуги «отца китайской истории» Сыма Цяня (предположительно 145—86 гг. до н. э.). В его гигантском труде, «Исторических записках», состоящих из ста тридцати глав, семьдесят глав — «Жизнеописания» — интересные памятники литературы.

Сыма Цянь был не только великим историком, но и замечательным литератором. В «Жизнеописаниях», охватывающих трехтысячелетний период истории Китая, Сыма Цянь приводит биографии знаменитых сановников, конфуцианцев, военачальников, поэтов, медиков, философов, дипломатов, воинов. Важно отметить, что наряду с описанием домов знатнейших князей и биографией Конфуция Сыма Цянь в разделе «Наследственные дома» излагает биографию Чэнь Шэ, возглавившего крестьянское восстание в III веке до н. э. В дальнейшем в большинство династийных хроник и историй включались, следуя Сыма Цяню, жизнеописания вождей крестьянских восстаний. Таким образом, материалы о борьбе крестьянских масс против феодалов сохранились для потомков.

---

[1] В. Сорокин, Л. Эйдлин. Китайская литература. М., Изд.-во восточной литературы, 1962, стр. 24.

А. ТИШКОВ

О КИТАЙСКОЙ НОВЕЛЛЕ

Уже в годы правления династии Хань (206 г. до н. э.— 220 г. н. э.) в Китай из Индии начинает проникать буддизм, и влияние его на всю духовную жизнь страны усиливается с течением веков. Это влияние, естественно, сказалось на литературе, предшествующей танской эпохе, и особенно на танской новелле.

В первых веках нашей эры заметно усиливается и воздействие на духовную жизнь общества другого философского учения — даосизма. Раньше, при ханьском императоре У-ди (140—86 гг. до н. э.), конфуцианство было официально признано господствующей идеологией, пользующейся государственной поддержкой, и даосизм, распространенный не в меньшей мере, чем конфуцианство, оказался в положении идеологии подавляемой. Если конфуцианство имело распространение главным образом в среде власть имущих, то даосизм становится прибежищем гонимых и обездоленных.

В III—VI веках Китай был разделен на множество царств, ожесточенно воевавших друг против друга. Используя эту раздробленность и слабость Китая, в страну вторгаются орды варваров-кочевников, они разрушают все на своем пути, уводят в неволю коренное население.

В эти трудные для страны времена к даосизму все чаще обращаются люди самых разных сословий. Поисками снадобья, приносящего бессмертие или долголетие, занимались императоры и проходимцы, ученейшие мужи и монахи, поэты и астрологи. Легенды и сказки о счастливцах, которым удалось добыть волшебное зелье, широко бытовали в народе. Бродячие рассказчики — шошуди — разносили такие легенды по всей стране.

Для широких народных масс, в большинстве своем неграмотных, литература «рынков и колодцев» (Лу Синь) была единственной духовной пищей. Благодаря этому народные рассказчики через века и тысячелетия донесли до нас замечательные произведения устного народного творчества.

Наиболее ранние такие сборники — «Истории о чудесах» («Ле-и-чжуань»), «Рассказы о явлении духов» («Соу-шэнь цзи»). Эти новеллы, по большей части очень короткие, содержат какой-нибудь один яркий эпизод. Напрасно мы будем искать в них тонко и точно разработанный сюжет (это появится гораздо позднее), психологические характеристики героев или логическую мотивировку их действий. В рассказах дотанской эпохи читателя пленяет живой народный юмор, сочетание фантастического с самым обыденным. Иногда это ехидная издевка или добродушная ухмылка, иногда лукавое подмигивание или откровенный хохот в лицо. Интересен рассказ о том, как смышленый человек не струхнул, встретив привидение, а обвел его вокруг пальца и в довершение продал на рынке («Как Дин-по продал привидение» из сборника «Истории о чудесах»). Замечателен и язык этих иногда наивных рассказов — лаконичный и точный. Уже давно стали хрестоматийными новеллы «Ли Цзи», «Гань Цзян и Мо-се», «Дева с небес», «Хань Пин и его жена» (сборник «Рассказы о явлении духов») и другие.

В новеллах дотанской эпохи необычайно велик элемент фантастики (он сохранится и в новеллах позднейших эпох). Но даже фантастические персонажи прекрасно чувствуют себя в окружении самых земных предметов и, по-видимому, не могут без них обходиться. Так, бог земли имеет при себе плевательницу, правда нефритовую, и метелку, чтобы отгонять мух («Как Чжэнь Чжун ослушался бога земли» из сборника «Истории тьмы и света»).

Литературные занятия, связанные с записью или обработкой устного народного творчества, как уже говорилось, считались делом непристойным. Тем не менее ему посвящали свои досуги поэты, чиновники высокого ранга, даже императоры.

Новеллистическая литература дотанской эпохи не знает таких громких имен, какие появятся в годы правления династии Тан (618—907). Однако стремительный и блистательный взлет танской новеллы был невозможен без новелл предыдущей эпохи.

Интересна судьба новеллы-миниатюры «Изголовье из кедра» (сборник «Истории тьмы и света»). Она послужила исходным материалом для многочисленных переработок и подражаний: известный новеллист танской эпохи Шэнь Цзи-цзи в «Волшебной подушке» развивает ее сюжет; другой знаменитый танский писатель, Ли Гун-цзо, в «Правителе Нанькэ» также варьирует эту тему; великий драматург минской эпохи Тан Сянь-цзу через много веков воскрешает новеллу в одной из своих пьес; в следующую эпоху (цинскую) к ней снова вернется мудрец и насмешник Пу Сун-лин в новелле «Пока варилось просо». Названные произведения навсегда вошли в историю китайской изящной словесности и достойны украсить сокровищницу мировой литературы. И все они родились из новеллы, насчитывающей всего сто семнадцать знаков!

Счастливая судьба выпала на долю и многих других дотанских новелл. Так, одна из новелл сборника «Рассказы о явлении духов» легла в основу бессмертной драмы Гуань Хань-цина «Обида Доу Э»; сюжет рассказа «Ли Цзи» из того же сборника более детально разработан в пьесе «Девушка убивает змея», прочно вошедшей в репертуар артистов столичной музыкальной драмы, специализировавшихся на амплуа «у-дань» — «девушек-воительниц». Несколько раз из названного сборника брал сюжеты для своих новелл Пу Сун-лин. В новейшее время сюжет новеллы «Гань Цзян и Мо-се», повествующей о страшном возмездии, покаравшем тирана, привлек внимание Лу Синя и был использован им в рассказе «Меч» (сборник «Старые легенды в новой редакции»).

Разумеется, перечисление заимствований

сюжетов и тем, почерпнутых из неиссякаемого кладезя дотанской новеллы, можно было бы продолжить.

В начале 1961 года, за несколько лет до стяжавшей себе мрачную и позорную славу «великой пролетарской культурной революции», в Китае был издан любопытный сборник «Нечистая сила не страшна», составленный из произведений различных эпох; вошли в него и отдельные дотанские новеллы. Некоторые из рассказов этого сборника печатались в газетах и журналах. Само собою разумеется, что издание этого сборника преследовало отнюдь не литературные цели. Он явился для пекинской пропаганды своеобразным наглядным пособием, освященным веками и традицией. Пущенный в обиход, он должен был внушить самым широким кругам читателей (новеллы были приноровлены к современному языку), что нечистая сила и всякая чертовщина, в том числе и «заморские черти», вовсе не страшны, как и американские империалисты — «бумажные тигры». Отметим, что после «культурной революции» об этом сборнике уже не упоминали и он вместе с другими произведениями классики канул в небытие.

Особое место в развитии китайской классической новеллы занимает «Древнее зеркало». Автором этого замечательного произведения является Ван Ду. Скудные сведения о нем содержатся в биографии его младшего брата Ван Цзи. Придворный историк династии Суй, Ван Цзи долгие годы работал над составлением истории этой династии. Братья — сторонники возврата к старинному литературному стилю — были заметными фигурами в литературной жизни своего времени.

Сильный привкус буддизма роднит «Древнее зеркало» как с дотанскими новеллами, так и с новеллами эпохи Тан. Таким образом, «Древнее зеркало» находится на рубеже двух эпох. Этой новеллой как бы завершается развитие рассказов «о чудесах» дотанской эпохи и открывается новый этап — танская новелла.

■

Пришлось несколько подробнее рассказать о зарождении китайской новеллы, ее истоках, ибо об этом — дотанском — периоде обычно меньше известно, чем о новеллах других эпох.

Так, наш читатель хорошо знает танскую новеллу — у нас выходили большими тиражами сборники с лучшими произведениями этой эпохи. И все же напомним характерные черты новеллы этой поры.

В истории китайской поэзии и новеллистики эпоха Тан вполне заслуженно считается «золотым веком». В эту эпоху жили и творили величайшие писатели и поэты — Ли Бо, Ду Фу, Бо Цзюй-и, Хань Юй и многие сотни других. Танская литература и в наши дни восхищает читателя глубиной мысли, отточенной формой, своей человечностью.

Бурный и пышный расцвет танской новеллы, конечно, не случаен. В предшествующую эпоху Шести династий (375—583) было написано много «рассказов о чудесах», оказавших огромное влияние на танскую новеллу. Не случайно Лу Синь, составляя сборник танских новелл, открыл его «Древним зеркалом»; выше уже говорилось, что с этого произведения начинается новый этап в развитии китайской новеллы.

Как справедливо отмечают некоторые исследователи, в Китае не было затяжного периода мракобесия, фанатических религиозных распрей во времена средневековья, и это благотворно сказалось на развитии экономики, культуры, литературы. Этому быстрому развитию ремесел и искусств, разумеется, способствовали и многие другие обстоятельства, анализ которых выходит за рамки этих заметок.

И в предыдущие эпохи новеллисты создали большую и интересную галерею человеческих характеров, но только в танской новелле появляются попытки, часто удачные, психологического раскрытия образа того или иного персонажа. В этом — основное отличие танской новеллы от новелл предыдущих эпох. Это пристальное внимание к внутреннему миру героя и его раскрытию с течением веков будет обретать все более точные и тонкие средства выражения в творчестве великих новеллистов, романистов и драматургов и достигнет полного совершенства в шедеврах Лу Синя.

Эпоха Тан являет миру созвездие блистательных новеллистов: Шэнь Цзи-цзи (новеллы «Волшебная подушка» и «Жизнеописание»), Жэнь Юань Чжэнь, который был и замечательным поэтом («Повесть об Ин-ин»), Бо Син-цзянь, брат бессмертного Бо Цзюй-и («Три сна», «Повесть о прекрасной Ли», «Дочь дракона»), Ли Гун-цзо («Правитель Нанькэ», «История Се Сяо-э»), Пэй Син («Куньлуньский раб», «Женщина с мечом»), Ли Фу-янь («Предсказанный брак», «Гуляка и волшебник»), Чэнь Хун («Повесть о бесконечной тоске»), Цао Е («Повесть о фаворитке Мэй»), Се Тяо («История У-шуан»), Лу Гуан-тин («Чужеземец с курчавой бородой») и многие, многие другие.

Необычайно пестра толпа персонажей танских новелл: молодые и немолодые ученые, чиновники и торговцы, нежные юноши и девушки, певицы и танцовщицы, вельможи и ремесленники, сводни и проходимцы — представители сословий китайского средневекового города, ибо танская новелла — порождение этого города. Вместе с тем в этой толпе до поры до времени скрываются под личинами прелестных женщин лисы-оборотни, монахи-волшебники, чародеи, сказочные существа и другие фантастические персонажи. Многие из этих персонажей перекочуют через века в новеллы других эпох.

В танскую эпоху наряду с жанром новеллы развивается другой жанр — «гувэнь», произведения, написанные в старинной манере. Гувэнь — значит «древняя литература», а образцами для приверженцев этого

литературного стиля были Мэн-цзы, Сыма Цянь и другие древние классики. Произведения этого жанра, написанные ритмической прозой, чаще всего являют собой дружеские послания, размышления и рассуждения на самые различные темы — исторические, моральные, философские, надписи, эпитафии и т. д. Основными представителями этого жанра были Хань Юй (768—824) и Лю Цзунюань (773—819).

Лучшие танские новеллы и произведения стиля гувэнь написаны блестящим языком, точным, сжатым, ярким,— им будут восхищаться, ему будут подражать многие литераторы всех последующих эпох, но не многим посчастливится создать равноценные произведения.

Почти все исследователи отмечают могучее влияние танской прозаической литературы на развитие аналогичных жанров в литературах Кореи, Японии, Вьетнама. Иногда это рабское следование китайским образцам, иногда вариации на танские темы, иногда творческое восприятие великих танских традиций.

■

Следующим этапом в развитии китайской новеллы стали народные рассказы эпохи Сун. Они резко отличаются от танской новеллы. Бурное развитие торговли и ремесел, быстрый рост городов за счет притока сельского населения привели к расцвету нового литературного жанра — народного рассказа. В это время первостепенное значение приобретают сказители (шошуди, шохуажэнь)— главные распространители литературы в самых широких народных массах. Сказители были и в эпоху Тан, но их влияние на литературу не было значительным. Теперь же безвестные люди на протяжении нескольких веков творили литературу. Репертуар танских сказителей уже не мог более удовлетворить слушателя, и неведомые миру авторы создают новые произведения — народные рассказы. Они создавались на языке, понятном слушателю,— грубоватом, пересыпанном крупной солью народных шуток разговорном языке. Некоторые исследователи считают, что у рассказчиков не было строго зафиксированного текста, был лишь более или менее разработанный сценарий, как в комедии «дель арте», и исполнитель всякий раз импровизировал, заменяя одни детали, ситуации или диалоги другими. Но основные действующие лица, основная идея рассказа, кульминационные коллизии всегда оставались неизменными.

Содержание сунских народных рассказов тоже резко отличается от содержания танских новелл, их герои — представители более демократической части городского населения. Они присутствовали иногда и в танской новелле в качестве эпизодических персонажей, в сунских рассказах они — торговцы, ремесленники, служанки и другие представители низших городских сословий — становятся главными героями. Чаще всего это рассказы с напряженным, с неожиданными поворотами сюжетом, в котором любовная интрига занимает видное место. Классическим примером такого рассказа может служить «Пятнадцать тысяч монет». Сюжет его был использован многими драматургами в разные времена, но наибольший успех выпал на долю куньшанского Театра музыкальной драмы, показавшего драму «Пятнадцать тысяч монет» на театральном фестивале в Пекине через несколько лет после провозглашения КНР. В те времена еще допускались такие «вольности», как театральные фестивали, издание книг китайских и зарубежных писателей и литературных журналов и т. д. Как известно, очень скоро все это кончилось.

Коренные изменения претерпела и форма рассказа в эпоху Сун. Судя по немногим дошедшим до нашего времени записям, рассказ начинался стихотворным (реже прозаическим) вступлением, в котором сказитель преподносит слушателям основную идею, затем он рассказывает одну или несколько сходных с главным рассказом по сюжету историй, развлекая собирающихся слушателей, и когда, по мнению сказителя, слушателей собиралось достаточно, он переходил к основному рассказу. В свое повествование сказитель вводит много стихотворных вставок, подчеркивающих ту или иную ситуацию, и завершается рассказ непременно стихами, большей частью назидательного характера.

Сунские народные рассказы переведены на русский язык, существуют и работы, посвященные сунской народной новелле[1]. Наиболее популярными сунскими рассказами, кроме «Пятнадцати тысяч монет», считаются «Нефритовая Гуань-инь», «Упрямый министр», «Фэн Юй-мэй возвращается к мужу» и другие.

Наряду с народным рассказом в сунскую эпоху продолжает развиваться и жанр гувэнь, большая группа талантливых литераторов продолжает традиции Хань Юя и Лю Цзун-юаня. Это прежде всего Оуян Сю, Су Сюнь и его сыновья Су Ши и Су Чэ, Цзэн Гу и Ван Ань-ши. «Восемь великих», скажет об этих писателях и поэтах через несколько веков литератор минской эпохи Мао Кунь (1512—1601), издатель их сочинений.

В минскую эпоху китайская новелла приобретает некоторые новые характерные черты. Если дошедшие до нас сунские рассказы можно пересчитать по пальцам, то от минской эпохи сохранились многие сборники, хотя и у них была нелегкая судьба. В минскую эпоху искусство рассказа снова становится достоянием высокообразованных литераторов, сунскому рассказу — его композиция в основном не меняется — придается внешний блеск, изящество, изысканность. Новелла этой эпохи рассчитана на читавшую публику, из фольклорного рассказа она становится литературным произведением. Писатели этой поры сохраняли как круг тем, так и композиционные особенности сунских хуабэнь, поэтому минские рассказы и получили название «нихуабэнь» — «подражательные хуабэнь».

[1] А. Н. Желоховцев. Хуабэнь. Городская повесть средневекового Китая. М., «Наука», 1969.

Наиболее известным литератором и составителем сборников минских новелл был Фэн Мэн-лун (1575—1646), главное место в его литературном наследии занимают три сборника новелл — по сорок новелл в каждом,— им отобранные, отредактированные и изданные. Ряд исследователей полагают, что часть новелл написана им самим, но дело даже не в этом — главное, что он сохранил для китайской литературы замечательные произведения, которые могли исчезнуть навсегда. Много интересных новелл сохранилось в двух сборниках «Удивительное» другого крупного литератора этой поры — Лин Мэн-чу (1580—1644).

Но наибольшую популярность получил сборник «Удивительные истории нашего времени и древности», вышедший в самые последние годы правления минской династии. В этот сборник вошли сорок новелл, выбранных из трех книг Фэн Мэн-луна и двух Лин Мэн-чу, часть их переведена на русский язык. Назовем наиболее известные из них: «Торговец маслом и фея цветов», «Богоравный Ли Бо в хмелю устрашает государство Бохай», «Ду-десятая, разгневавшись, бросает в воду ларец с драгоценностями», «Старая шапка соединяет Сун Цзиня с женой» и другие.

Минская новелла оказала огромное влияние на развитие китайского романа, который обычно легко распадается на множество отдельных глав-новелл, содержащих много стихотворных вставок, авторских отступлений и других характерных новеллистических приемов.

На расстоянии двух с половиной веков, между минскими новеллистами и Лу Синем, среди эпигонов, имя которым легион, возвышается лишь одна вершина — великий новеллист Пу Сун-лин. Три столетия назад он создал книгу «Рассказы Ляо Чжая о чудесах». За свою долгую жизнь (1640—1715) он написал много произведений в самых разных жанрах. На могиле Пу Сун-лина в 1724 году была установлена каменная плита с выбитыми на ней названиями его произведений. Из перечисленных на этой плите сочинений пока не найдены три пьесы, сборник песен и еще три произведения. Пу Сун-лин славен и велик благодаря своим «Рассказам о чудесах». По количеству созданных рассказов во всей китайской, а возможно и мировой, литературе нет второго такого новеллиста, как Пу Сун-лин. Есть сведения, что им написано около пятисот новелл, несколько десятков из них до нас не дошли. Он всю жизнь коллекционировал рассказы о необычайных приключениях, об удивительных вещах, а также народные анекдоты, порою весьма нескромные. В предисловии к своему сборнику он писал: «...я любил и собирал волшебные сказки. Каждый раз, услышав такую сказку, я записывал ее и позднее использовал этот материал, когда писал свои новеллы. Кроме того, в течение долгого времени мои друзья посылали мне из различных мест страны записи сказок; таким образом моя коллекция все время пополнялась».

Ни один китайский новеллист не знает такого разнообразия форм рассказа — иногда это сказки или легенды, иногда притча или прибаутка, иногда парафраз древней новеллы.

Персонажи новелл Пу Сун-лина порой неожиданны: лисы-оборотни, монахи-волшебники, небожители и привидения; в них встречаются звери и птицы, гады и насекомые — тигры, волки, крысы, жабы, попугаи, вороны, пчелы, муравьи, а также и представители растительного царства — пионы, хризантемы, орхидеи. А рядом с ними легко уживаются и существуют персонажи самые земные — торгаши и чиновники, мужики и правители, солдаты и ученые мужи, юноши разных сословий и прелестные женщины и многие другие обитатели подлунного мира.

До нас дошла 431 новелла Пу Сун-лина. Уже триста лет назад по выходе в свет его книга получила высокую оценку современников, они признавали, что среди книг о лисах-оборотнях и привидениях сборник Пу Сун-лина — первый.

Большинство новелл Пу Сун-лина заканчивается своеобразным, всегда назидательным авторским постскриптумом, в котором рассказчик дает свою оценку событиям, происходившим в новелле. Это беспощадные удары плетью по ненавистной физиономии режима маньчжурских поработителей. Некоторые новеллы написаны явно ради этих хлестких, уничтожающих концовок.

Новеллу Пу Сун-лина никак нельзя спутать с новеллой другого автора, у нее свое неповторимое лицо, только ей свойственная архитектоника, оригинальный язык. Надо отметить, что язык Пу Сун-лина необычайно труден даже для образованного читателя, но тем не менее его новеллы пленяли сердца людей самых разных сословий, так как его рассказы всегда входили в репертуар многих поколений сказителей. Уже в наши дни особенно знаменит был сказитель Чэнь Ши-хэ, который всю свою жизнь посвятил популяризации творчества Пу Сун-лина. Его обработки новелл великого писателя выходили отдельными изданиями, записывались на пластинки.

Разумеется, рассказы Пу Сун-лина, как и многие другие произведения классической и современной литературы, отечественной и зарубежной, в нынешнем Китае давно находятся под запретом, и читатель к ним доступа не имеет. А между тем не кто иной, как сам Мао Цзэ-дун, в работе «Относительно противоречия» (август 1937) положительно отзывался о произведениях Пу Сун-лина: «...эти рассказы о бесчисленных превращениях, фигурирующих в мифах (и в сказках), могут доставлять людям удовольствие, поскольку они изображают преодоление людьми сил природы, к тому же лучшие из них обладают «вечной прелестью» (слова Маркса)». Сейчас об этом, как и о многом другом, что говорилось раньше, вспоминать не принято.

А. ТИШКОВ
О КИТАЙСКОЙ НОВЕЛЛЕ

Произведения Пу Сун-лина хорошо известны советскому читателю, они выходили много раз большими тиражами. И в этом прежде всего заслуга академика В. М. Алексеева, который отдал немало сил изучению творчества Пу Сун-лина и переводу его произведений на русский язык. Всего он перевел и снабдил подробнейшим комментарием около ста пятидесяти новелл, вошедших в четыре сборника — «Лисьи чары», «Монахи-волшебники», «Странные истории» и «Рассказы о людях необычайных». Свои взгляды на творчество Пу Сун-лина В. М. Алексеев высказал в двух интересных работах — «К истории демократизации китайской старинной литературы» и «Трагедия конфуцианской личности и мандаринской идеологии в новеллах Пу Сун-лина (Ляо Чжая)».

Лишь через двести лет в Китае появился еще один великий новеллист — Лу Синь. В мае 1918 года были напечатаны «Записки сумасшедшего», затем «Кун И-цзи» и «Снадобье» — произведения дотоле невиданные в китайской литературе; их реализм, их драматизм, порою возвышающийся до трагизма, потрясали читателя. Переживания «маленького человека» встречались в китайской новелле, но такого глубокого проникновения в духовный мир человека китайская новелла еще не знала. В китайскую литературу пришел большой художник-гуманист, которому было суждено стать зачинателем новой, реалистической литературы.

Лу Синь отказался от литературного языка «вэньянь», на котором писали в течение многих веков, не говоря уже о знакомом нам стиле гувэнь; свои рассказы он писал на разговорном языке с некоторыми элементами вэньяня. С этих пор вэньянь начинает вытеснять художественная литература, создаваемая на языке «байхуа».

За неполные 20 лет творческой деятельности Лу Синь создал сравнительно немного художественных произведений — все они умещаются в одном томе, но их значение для дальнейшего развития китайской литературы трудно переоценить. Трудно переоценить и их агитационное, революционное значение. Большинство новеллистов предыдущих эпох — сторонние наблюдатели жизни, рассказывающие, иногда с волнением, иногда с сочувствием, порой с презрением, даже с негодованием, свои истории. Лу Синь пишет не для того, чтобы разжалобить, а тем более развлечь читателя, у него другая задача — вызвать гнев у читателя, ненависть к существующему строю, холодную и яростную решимость разрушить это ненавистное общество «людоедов». Перечитайте любой рассказ Лу Синя, там нет «лобовых» призывов к топору, но каждое слово, как пылающий угль пророка, опаляет и жжет.

Лу Синь трансформировал на свой лад и такой жанр, как гувэнь, в котором работали великие Хань Юй, Лю Цзун-юань, Су Ши и другие. Его блестящие эссе и фельетоны стали острым и действенным оружием в борьбе новой литературы против феодальной культуры и ее приверженцев.

Произведения Лу Синя хорошо известны советскому читателю, все его рассказы переведены не только на русский язык, но и на языки народов нашей страны, его творчеству посвящены многие книги, исследования, статьи.

Разумеется, Лу Синь не один создавал новую китайскую литературу. На литературный нёбосвод вслед за Лу Синем восходят одна за другой звезды разной яркости и величины — Лао Шэ и Мао Дунь, Ба Цзинь и Чжан Тянь-и, Дин Лин и Се Бин-синь и многие другие.

Едва ли не самым популярным новеллистом из этой плеяды был Лао Шэ. Ироническими, сатирическими, иногда немного сентиментальными рассказами Лао Шэ зачитывался весь Китай. Этот блестящий писатель вынужден был наложить на себя руки во время «великой пролетарской культурной революции».

Другой жертвой маоистских репрессий стала талантливейшая писательница Китая Дин Лин. Ее первые рассказы («Дневник Софи» и др.) написаны «дамской рукой», но с течением времени рука ее обретает «мужскую» твердость. Свидетельство тому — рассказы «Новость», «Однажды ночью» и другие.

В кратких заметках невозможно подробно рассказать о десятках новеллистов, уверенно входивших в китайскую литературу; характерно, что все они — Мао Дунь и Ба Цзинь, Ай У и Чжан Тянь-и, Чжан Цзинь-и и Ша Тин и многие другие — обогащали новеллу своими темами, своими открытиями.

В сороковые годы самый большой успех выпал на долю Чжао Шу-ли, его «Женитьба маленького Эр-хэя», «Песенки Ли Ю-цая» и другие замечательные рассказы получили всенародное признание — ими восхищались и зачитывались все.

В первые годы после провозглашения КНР в литературу приходят из рабочих, крестьян, из армии новые талантливые писатели. Кан Чжо, Вэй Вэй, Ма Фэн, Ли Чжунь, Мал Чинху, Лю Бинь-янь, Гао Юй-бао и другие создали немало интересных произведений в жанре новеллы, но наступили мрачные времена, пекинские культуртрегеры «закрыли» литературу. Союз писателей и его отделения были разогнаны, литературно-художественные журналы — а их было немало — закрыты, писатели стали исчезать группами и поодиночке. Вместо живых персонажей замаячил двухмерный «бравый солдат председателя Мао» Лэй Фэн и его производные.

■

...На протяжении тысячелетий великий китайский народ много раз обирали духовно. Но замечательная культура, им созданная, не канула в Лету, да и не могла исчезнуть, ибо душа народа бессмертна и нетленна. Китайская пословица гласит: даже после самой длинной ночи наступает рассвет. Надо полагать, что его уже недолго дожидаться — рассвета, который разгонит ночные тени.

◆

Заметки писателя

КИРИЛЛ КОВАЛЬДЖИ

ЧЕРТЫ РОДСТВА

Как-то, читая в «Иностранной литературе» стихотворение чешского поэта Ивана Скалы «Дерево», я остановился на следующих строках:

Не каждому притча о Прометее
Стала уроком и назиданьем.
С огнем давно уже возятся дети...
Но есть Прометеева мера отваги[1].

И сразу вспомнил свое стихотворение, написанное лет десять назад. Оно называлось «Прометей». Я смутно почувствовал перекличку с вышеприведенными строками, и у меня возникло желание разобраться. Я писал о том, что, завладев огнем, люди еще не овладели им. Дети не только играют с огнем, дети часто горят в огне... Но разве Прометей, видя мучительную судьбу огня, проклял бы огонь, призвал бы спасительный мрак?..

Меня интересовала не степень совпадения, не способ выражения, а общность хода мыслей у двух совершенно незнакомых людей, разделенных языком, воспитанием, личными особенностями и даже возрастом (Иван Скала лет на восемь старше). И я подумал: пе́рвое, что нас объединяет,— это время, конкретное, наше время. Где-то у нас общая отправная точка поисков, и впереди одна и та же цель. Я подумал, что лет пятьдесят назад поэт, обращаясь к образу Прометея, прежде всего воспевал величие его подвига: людям вручен рукотворный огонь, согревающий их и освещающий тьму.

Но жизнь не останавливается. После того как достигнуто главное, наступает черед иному, которое настоятельно выдвигается, выступает на авансцену. Расщепление ядра — это, бесспорно, научный подвиг. Но потом была Хиросима... Значит ли это, что не надо было проникать в тайны ядра?

Риторический, теперь уже праздный вопрос.

Проблема использования атомной энергии оказалась в самой гуще проблем и противоречий века. И нравственных в том числе. Поэтому неудивительно, что у современного поэта Ивана Скалы акцент перемещен — он говорит уже не о самом подвиге Прометея, а об «уроках и назиданьях», о том, что «с огнем давно уже возятся дети». Однако вводя нас в сложную послепрометеевскую судьбу огня, поэт ни на минуту не забывает о вечной, о бессмертной «Прометеевой мере отваги».

Трезвый мужественный оптимизм, превозмогающий боль трагических противоречий человечества,— вот что в данном случае характерно для поэта, принадлежащего к сегодняшнему социалистическому миру. Наряду с «мерой отваги», издавна воспетой поэтами, встала «мера ответственности» — она в наши дни невиданно возросла, она требовательно пробивается во всей мировой поэзии.

На Западе нет недостатка в апокалипсических видениях, сулящих неотвратимую гибель человечеству. Поэты остро чувствуют нынешнюю огромную «меру ответственности». Она способна подавить, разда-

[1] Размышления о поэтической перекличке «жестко» связаны постоянным обращением ко множеству стихотворений, переведенных на русский с разных языков. Было бы затруднительно на каждом шагу дробить текст соответствующими ссылками. Поэтому я позволю себе здесь назвать поэтов, к чьим переводам я прибегал в этой статье. Переводы принадлежат: Е. Аронович, Т. Бек, В. Буричу, Е. Долматовскому, В. Виноградову, Е. Винокурову, В. Корнилову, В. Корчагину, В. Куприянову, С. Куняеву, Ю. Левитанскому, М. Павловой, Г. Ратгаузу, Е. Солоновичу, В. Солоухину, Д. Самойлову, Б. Слуцкому, О. Чухонцеву и автору этих строк.

вить, если принять ее лишь на свои одинокие плечи...

Счастливое духовное преимущество поэтов социалистических стран заключается в том, что они не одиноки перед лицом грядущего. Они причастны к той позитивной силе, которая может противостоять грозящей опасности. Они черпают мужество в сознательной борьбе миллионов людей, стремящихся к справедливому и разумному существованию. Это чувство дает право поэту сказать, что «все голоса жизни... во весь голос или же немо взывают о наведении ПОРЯДКА В МИРЕ!» (Габор Гараи, Венгрия), поэт находит опору в борьбе и труде «обыкновенных людей... шесть дней в неделю замещающих бога на строительстве мира, которое так безнадежно отстало» (Мирослав Валек, Словакия), он выстрадал надежду, выстрадал эти, оплаченные всей своей жизнью, слова: «Под дождем, воссияв из тумана, красуется радуга: мир, обещанный нам изначала» (Иоганнес Бобровский, ГДР).

Но сказанное совсем не означает, что сняты все тревоги. Нет, снята бесцельность, снято слепое отчаяние. Все остальное — с нами. Сегодняшний поэт не склонен ни к облегченности, ни к бравурности. Он смотрит прямо в глаза действительности, не отводя взгляда. Он саркастически перечеркивает в себе вчерашнее благодушие:

Мой дом отправился наобум
со мной и со всем, что в нем было.
Я плыл по огненной реке,
но в себе был всецело уверен:
у меня был свет, стол,
уборная, душ, прихожая.
Дом все плыл, уплывал...
Я понятия не имел, что замышляют
вулканы.

(Вирджил Теодореску, Румыния)

Сегодня нельзя быть «самому по себе», нельзя оставаться отдельным. Того и гляди — поплывет почва из-под уютного домика, в котором «так хочется пожить спокойно» после двух мировых войн, разразившихся на глазах одного поколения... А время зовет нас. Уже не на баррикады, не в окопы. А на более «дифференцированный», более тонкий, куда более длительный бой.

Легче сообща решить, что надо разрушить (например, Бастилию), сложней прийти к единому мнению, что делать потом. Потом наступает пора, когда не каждый узел — гордиев, чтобы его разрубить сплеча. Наступает пора, когда узлы приходится упорно и терпеливо распутывать.

Сегодня уже недостаточно воспевать новые заводские трубы, пора подумать и о том, что рабочему человеку надо дышать чистым, незагрязненным воздухом. В самом прямом, а не переносном смысле.

Оглядываясь в прошлое, венгерский поэт Иштван Шимон говорит: «Не трудно огненным отрядом разить врагов и бить прикладом... В том-то и трудность: в миг прозренья весь мир поставить под сомненье...»

Не знаю как это звучит в оригинале. Может быть, переводчик упростил. Но ведь было трудно! Было! Верно лишь то, что вчера хоть и было трудней, но действительно было проще. А сегодня легче, но сложней.

Да, надо сначала победить врага. Победив, надо создать материальную базу будущего строя. Все это известно. Однако у людей порою создается иллюзия, что основное звено — решение всех проблем. Будто звено не тянет за собою цепь... Казалось — вот только главную трудность одолей, а дальше пойдет как по маслу. Было такое настроение в поэзии — и у нас, и у наших друзей. Оно по-своему помогало жить и строить, было закономерным — как настроение. Но не больше. Иначе оно становится инерционным, начинает мешать или вызывает желание «почить на лаврах». Говоря словами болгарского поэта Стефана Цанева, «одних убивают раны. Других — лавры».

Современный поэт — противник самоуспокоения и застоя. Недаром Пырван Стефанов так резко спорит с принципами обывательского воспитания. От опасных вопросов, говорит он, «спешили спасти нас наши отцы. Они зверски драли нас за уши. И когда мы переставали спрашивать, они переводили дух и про себя решали, что мы достигли совершеннолетья». Речь, конечно, идет о недавнем (для болгар) времени, когда детям лучше было не тревожить бога и царя... Теперь уже у самого поэта растет дочь, и он обращается к ней:

Я не желаю, чтобы с тобой случилось
то же!
Обо всем расспрашивай!
Не будь благовоспитанна!..
И пусть уголь вечных вопросов
жжет твои губы!

И это не просто совпадение, что Лиляна Стефанова пишет о том же:

Вопросительный знак,
ты — водитель по жизни суровой,
мой мучитель, гонитель,
моя благодать!

Наше сегодня — ступень к будущему. Мы знаем направление движения, но дорогу прокладываем сами. Никто за нас ее не проложит. Потому наши вопросы не «куда идти?», а «как лучше, разумней проложить трассу, как самому быть под стать завтрашнему дню?»

Новое, что приносит с собой время, особенно ощущают молодые поэты — те, которые застали уже наступивший мир и укрепившуюся народную власть в своей стране. Те, которые могут повторить за румынским поэтом Ионом Александру: «Я — первый певец в своем роду, не знающий войны и угнетения». Много перекличек у его сверстников, много сходного в мироощущении. Если в Румынии Ана Бландиана пишет с вызывающей гордостью:

Колени мои никогда не лобызали землю,
Волосы мои никогда не бились в пыли,—

то ее ровесница в Югославии Мирьяна Вукмирович подтверждает:

И никто меня под шапкой неба
Сбитой с ног не видывал ни разу.

«Ни у каких господ я в услуженье не был»,— скажет и молодой венгерский поэт Михай Ваци, а его соотечественник Габор Гараи пойдет дальше, напишет о преемственности и долге нового поколения, врастающего в жизнь: «Из памяти моих достойных предков я вынес опыт бедняка и господина, поэтому мне есть что искупать, и жажду лучшего—тысячелетней жаждой». И у Мирьяны Вукмирович не только задор, но и решительная готовность отстоять себя:

В этом мире, этаком и всяком,
Каждый до твоей свободы лаком,
Хищные протягивает руки
К сердцу твоему, к душевной муке...

«Превозмочь самих себя» — называет свое стихотворение Габор Гараи. Он пишет о том, что ощущает каждый из нас. О мучительном нетерпении стать цельней, гармоничней, выше,

...превзойти себя...
перерасти себя, всю сущность обнажить—
так вот что нужно,
чтоб дальше жить,
сердцу и уму,
Что выбирать?
Любовь? Борьбу иль творчество?
Нет выбора — соединить в себе
три эти части нам необходимо...

Это — сегодняшние слова. Раньше ведь приходилось порою поступаться любовью во имя борьбы. Теперь можно вспоминать молодость с мягкой улыбкой и оттенком сожаления. Вспоминать, как проходили, по словам болгарского поэта Давида Овадия,

мимо самых чудесных красавиц...
забастовки, листовки, собрания...
мы боролись, боролись, готовые
раствориться в одном устремлении.

Вот тогдашний порыв: раствориться. Во имя того, чтобы теперь личность получила возможность жить полноценной жизнью. Теперь поэт ищет гармонию общего и личного, он, по образному выражению Фолькера Брауна (ГДР), слышит «музыку будущего», в которой «каждый — творец, каждый входит с единственным в общую тему». Теперь мысль поэта движется не от себя к революции, не стремится растворить себя в ней, а, напротив, обретает свое самоценное место в ее системе отсчета:

Революция в мире,
революция в нас
и во мне
продолжается...
(Стефан Цанев)

Продолжается, потому что завтрашний человек еще не весь изваян, еще не полностью высвободился из каменной глыбы прошлого:

Во мне столкнулись две эпохи, ранив
душу,
И поединок их все яростней и злей!—

писал Пеньо Пенев в поэме «Дни проверки». Ему вторит Иштван Шимон: «Нужно зрелое упорство — с собой вступить в единоборство... когда ты сам судьбы арена и друг и враг одновременно». И, конечно же, такая внутренняя борьба не остается чисто личной проблемой или только проблемой личности. Она взволнованно соотносится с той самой основной системой отсчета. Поэтому и нравственный «поединок» Пеньо Пенева возвышается до осознания того, что «я — голос времени, эпохи совесть!», и «единоборство» Иштвана Шимона кровно связано с тем, что выше отдельной личности:

Народ, себя осознающий,
С надеждой смотрит в день грядущий.

Чувство будущего — ощутимого, близкого — не покидает нас. Даже образ будущего порой получается сходным, потому что поиск его идет в одном и том же направлении — выражении его глубинной органичности. Так Никита Стэнеску в стихотворении «Толща земли» видит «деревья, которые будем держать на земле, что будет над нами, там, где небо теперь течет облаками... над нами — потомков грядущих живыми предками». Тот же образ возникает и в стихотворении Иштвана Шимона «Корни»: «Смотрится настоящее в будущее, парящее облаком в вышине». А болгарский поэт Петр Караангов, прямей и непосредственней говоря о завтрашнем дне, высказывает свою уверенность, что «там в людях даже сложность стать сумеет открытой и простой... и станет человек счастливей, чем этот ранний час!»

Ранний час — вот ощущение сегодняшнего творимого нового мира. В нем особый «вкус настоящей жизни», как удачно сказал венгерский поэт Отто Демень. Его товарищ по перу Иштван Белла превосходно выразил обертон, присущий современному молодому поколению:

...каким задором,
какой тревогой мы объяты,
какие в нас гудят набаты,
какая музыка поет...
И век нас в сыновья берет.

«Жизнь — самое большое чудо»,— скажет и польский поэт Тадеуш Кубяк:

Чудесно жить, когда роза крови
разрастается в теле,
вырастающая из сердца,
растет во всех направлениях...

(Невольно опять вспоминается Никита Стэнеску, который писал, что сердце больше тела, сердце выплескивается во все стороны и снова ливнем обрушивается со всех сторон!) Но Тадеуш Кубяк знает, что юная неуемная жажда жизни нуждается в защите, что взросление дается нелегко, что это тоже чудо — суметь, не растратив душу, «пройти сквозь игольное ушко жизни». Нетерпеливое желание казаться взрослым, искушенным приводит порою к ложной самозащите, к искренней позе. «Нет чудес, говорите, в эпоху расщеплен-

ных ядер» — так начинает свое, процитированное выше, стихотворение Кубяк. А его соотечественница Малгожата Хилляр подхватывает:

Мы из второй половины XX века,
расщепившие атом,
покорители неба,
стыдимся
мягких жестов,
нежных взглядов,
теплых улыбок.

Желание поскорей быть «на уровне века»? Боязнь прослыть сентиментальным? Чувствительность, так сказать, устарела?

Когда мы страдаем,
кривим презрительно губы...
с иронией в прищуренном взгляде.

Это, конечно, маска. Но Малгожата Хилляр с горечью говорит о том, как трудно, сжившись с ней, оторвать ее от лица:

Только поздней ночью,
занавесив тщательно окна,
кусаем от боли руки,
от любви умираем.

И словно откликаясь на это, югославская поэтесса Десанка Максимович, умудренная долгой и трудной жизнью, прямо выступает в защиту естественности, пусть даже простодушной, чувствительной:

счастливы те, кто порой беспричинно плачет,
счастлив, кто вечно жаждой томим, как травы...
счастливы души, когда очарованы души.

Десанка Максимович, как бы споря с «иронией в прищуренном взгляде», горячо славит тех, «кого радует каждая малость вокруг», тех, «кто сам унизиться готов охотнее, чем унижать другого».

Крайность? Разумеется, нет. Речь об одном и том же. Об естественности и душевном богатстве человека. О том, что нерасторжимо связано с нашими чаяниями, не имеющими ничего общего с «одномерным человеком» (выражение Г. Маркузе). Всякая односторонность, усеченность в человеке ранит нас, малейшая утрата души вызывает боль. Поэты — не моралисты, но нравственность — высшее требование поэзии.

Друг детства
тайком, незаметно
выбросил свое сердце,
тяжелое, чистое сердце!
И улыбнулся, мерзавец.
Стало легче ему идти.
И, прибавив шагу, пошел он,
пошел по большому пути.

Непримиримость к «мерзавцу» — черта не только автора стихотворения болгарского поэта Любомира Левчева. Это черта наша, общая. Быть может, начавшаяся с «Поговорим о дряни» Маяковского.

Беспокойное сердце поэта не приемлет ни легкой, ни «сладкой» жизни. Многое стало доступным нынешнему поколению. Но в открывшейся возможности «насытиться» жизнью есть что-то тревожащее. И если Михай Ваци с гневным удивлением спрашивает: «...Неужто стану холуем... приобретательства и мелких выгод?», то Мирослав Валек знает, душе поэта нечего делать в чуждом нам мире «потребительского рая», где

...луна, нуль на небосклоне,
освещает уныло
век внутреннего палеозоя,
комфортабельную пустыню
из поролона.

Конечно, поэт далек от какой-либо «фобии» перед вещами, перед ростом материальной культуры, как таковой. Он ничего не имеет общего с апологетами казарменного аскетизма, которые готовы «поролоновой пустыне» предпочесть обыкновенную пустыню Гоби...

Наша поэзия стоит на страже, решительно охраняя душу от наступления любых пустынь. Наша поэзия посвящена человеку, который пребудет выше любого своего создания...

Я не могу не откликнуться на связанные с этим раздумья польской поэтессы Вислава Шимборской, выраженные без аффектации, почти интимно, с подкупающей доверительностью (стихотворение «Музей»):

Корона головы целее,
рука перчатке проиграла,
и ногу победил сапог...
А я живу, и спор мой длится.
Но с платьем спорить нелегко.
Как в нем упорство велико!
Как пережить меня стремится!

Прикоснешься лишь к сопоставлению разных поэтов и поэзий, как тут же распахивается решительно необъятный простор для открытий и наблюдений. Сегодняшняя поэзия щедра, многообразна, неисчерпаема. Сколько нужного всем нам таится еще в размышлениях о взаимовлияниях, о столкновениях различных манер, о проблемах собственно поэтических, цеховых. Все это так, но я не исследователь, не теоретик — я пытаюсь просто отозваться на главное, что мне близко, и льщу себя надеждой, что близкое мне не сводится лишь к моим личным вкусам и пристрастиям. Я ведь и сам выражаю не только себя и не столько себя...

Поэзия — всегда поэзия, и в ней есть все, что ей присуще. Но на каждом этапе в ней возникает доминанта — неповторимое сегодняшнее преломление времени. Это в той или иной мере чувствуют все. Поэтому я и рискнул поговорить не о самой очевидной черте поэзии — ее отличительности в каждом отдельном случае,— а о ее сходных чертах, обусловленных временем.

Отходя от предмета, что-то перестаешь различать, зато твоим глазам открывается перспектива, частью которой стало наблюдаемое единичное явление. У данного поэта — свое лицо, но отойдем немного, и мы увидим вдобавок, что у всей данной национальной поэзии — свой облик, а еще подальше — окажется, что и у поэзии социализма — свой абрис.

Я — о том «общем языке», который мы находим, читая друг друга, общаясь друг с другом,— об «общем языке», который всегда отыскивается, несмотря на индивидуальные различия и вкусовые споры. О преобладаю-

щей тональности личных встреч с товарищами по перу в Москве и Софии, Бухаресте и Варшаве, о заочных встречах благодаря книгам, переводам.

Знакомясь с новыми произведениями поэтов, я лишний раз убеждаюсь, что они хотят того же, что и я. Что мы состоим в родстве, которое превыше родства крови. Поэтому, когда каждый поэт воспевает свой народ и свою Родину, у меня не возникает ощущения обособленности чувств. Потому что речь идет не о замкнутой в себе любви. Напротив — об открытой любви, щедрой и заразительной. Той, которая помогает москвичу полюбить Варшаву, а болгарину — влюбиться в Байкал... И всем вместе — сопереживать борцам за свободу в любой точке земного шара.

Неудивительно, что в стихах о Родине у нас много «совпадений»: неповторимо-отдельное чувство обретает новое качество (не декларативное, а действительное и исторически уже необратимое) — интернационализм. Когда Габор Гараи говорит, обращаясь к своей Родине:

твоя защита—общность всей земли,
и лишь содружество—твое застолье!—

то это относится не только к Венгрии! И не присоединяемся ли мы к его же страстному желанию увидеть наконец день, когда «пресыщенный муками мир в человеческий дом превратится»!

И за всем этим стоит еще одно общее чувство: чувство высокого призвания художника, поэта.

Нет недостатка в категорических и противоречивых высказываниях о том, какова должна быть поэзия сегодня. Площадь поисков всегда шире искомого пути. И чтобы оттолкнуться от крайностей, надо сначала их нащупать. Старейший венгерский поэт Дюла Ийеш, всегда молодо и остро чувствующий пульс времени, как-то сказал: «Современная поэзия по своему характеру должна быть выражением коллективного сознания, а вовсе не самовыраженьем!» Резко сказано. Но если отвлечься от полемического преувеличения — направление схвачено верно.

Нас когда-то упрекали, что мы отказались от искусства в угоду злобе дня. Сегодня на многочисленных писательских встречах именно мы защищаем искусство от тех, кто уже не верит в него...

Дело не в полемике, как таковой. Не существует какого-то единообразного, раз навсегда данного и годного для всех отношения между литературой и действительностью. Общественный климат в разных частях мира резко различен, это не может не сказываться (порою весьма нетерпимо и нетерпеливо) на отношении к художественному слову. Говорят же ультралевые, что поэт стихов писать не должен. Любое оружие, дескать, лучше стихов...

А мы — мы охотно пишем стихи. Мы считаем свое общество устойчивым и разумным, способным совершенствоваться и обеспечить будущим поколениям высокое духовное развитие, жизнь без войн и социальных потрясений. И когда мы слышим сегодня издалека отчаянные и резкие слова о презрении к читателю или, наоборот, о вымирании писателя, мы вспоминаем: нечто подобное у нас было. До 1917 года. И чувствуем себя опытней и как бы старше. Мы помним, например, как молодой Маяковский в гневной запальчивости отрекался от литературы вообще и от себя как поэта. «Никогда ничего не хочу читать. Книги? Что книги!» — заявил он в 1915 году, а в следующем: «И писать не буду». И обещал буржуазной публике: «...я захохочу и радостно плюну, плюну в лицо вам...»

Это был бунт против пресыщенного потребителя литературы и против литературы, угождающей снобам. Но буквально с первого дня революции тот же Маяковский стал самым горячим сторонником «работы поэта с массами». И каждому из нас ясно — почему. И столь же ясно, почему Марина Цветаева, находясь пятнадцатый год в эмиграции, пишет стихотворение, напоминающее дореволюционный сарказм Маяковского. Она с отвращением и ужасом говорит о публике, обольщенной потребительским чтивом, о «глотателях пустот», заполонивших «весь Париж»:

Уж лучше на погост—
Чем в гнойный лазарет
Чесателей корост,
Читателей газет!

Таланты непредсказуемы, но явления в поэзии не случайны.

У нас есть своя литературная борьба, поиски, трудности, но в наших странах уже нет и не будет противопоставления творческой интеллигенции народу, нет и не будет того положения, когда культурные ценности становятся уделом избранных или, напротив, расхожим товаром.

Поэзия — дело горячее. Мы еще не раз будем обжигаться в спорах, но за ними всегда будет стоять то, что не подвергается пересмотру, то, что стало преимущественным достоянием поэзии социализма,— чувство личной причастности к созиданию человека, возвышающее бремя ответственности за него (возвышающее бремя, тяжесть и полет — это не парадокс, это соединение столь же естественно для поэзии, как и для современной техники: на воздушном шаре не преодолеешь земного тяготения).

Это общее чувство убежденно и с выстраданной прямотой высказано многими поэтами. Я приведу здесь строки Тадеуша Ружевича (кстати, так ли это важно, что сказано без рифм и знаков препинания?):

За душу любого и каждого
мы отвечаем
А если об этом забудет
поэзия наша
то будет поэзия наша
сплошной болтовней
достойной презренья

Я думаю — не забудет. Не может забыть.

◆

Заметки на полях

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЕ И «МАССОВОЕ»

В нынешнем гуманитарном обиходе есть два термина, соотношение которых еще не совсем понятно философам творчества. Это культура «массовая» и культура «развлекательная»; первое обычно идет в отрицательном смысле, оценочная семантика второго пока не установилась.

Вопрос весьма актуален для тех, кто интересуется духовным состоянием современного человеческого сообщества в различных его проявлениях. Пресловутые мощь, всесилие средств информации и массовой пропаганды, индустриализм и небывалая коллективность жизни, ее запросов побуждают снова и снова задумываться над позитивным и отрицательным опытом современного доступного, легкого, массового, развлекательного и т. п. искусства.

Противостоять «массовости» — один из самых трудных «героизмов» в классовом обществе нашего времени.

Правда, сами эти «героизмы» могут быть разного качества, заряда; одно дело — противостоять пошлой мещанской стадности, примитивным формам жизни; другое — отгородиться в своем отчаянии, в своем болезненном стремлении сохранить «я», духовное и заветное, отгородиться и от всего того нравственно-эстетического, познавательного потенциала — атмосферы,— которым живет лучшая, здоровая часть народа и без которого немыслим ни один большой художник: без питательной среды вянет крона. Это последнее — ошибка, драма, порой трагедия; многие крупные умы современного Запада погибли на этом.

Естественно, что вопросы о доступности, о широте влияния искусства, культуры, о судьбах массовых и развлекательных форм творчества не могут не волновать и новое общество; тут важно не повторить прежних ошибок, важно выработать такие формы поведения, бытия в культуре, которые были бы и наиболее позитивны, эффективны и в наибольшей степени соответствовали объективной истине.

В печати социалистических стран продолжается оживленное обсуждение проблем доступности, демократизма искусства, культуры, проблем связи искусства с массами и самих масс — с искусством. В ходе этих дискуссий затрагиваются многие из коллизий, обозначенных выше.

На страницах венгерского журнала «Критика» Петер Агарди высказал опасение, что нынешние культурные критерии слишком смешаны, спутаны, что серьезное, высокое, большое искусство приравнивается к легкому, развлекательному и может раствориться в нем; Агарди волнует, не поведет ли такое равенство всех и вся к нивелировке и оскудению творчества, к падению духовного потенциала общества. Ведь «низкие» жанры не все могут выразить, а лишь самое простое; но не так уж проста жизнь, и следовало бы судить об уровне культуры все же по высшим ее достижениям и не смешивать развлекательное с серьезным и задушевным.

Очень понятная в принципе, сама по себе эта позиция, однако, имеет уязвимое место: она скорее «отвернута» от практики современной жизни, чем повернута к ней; она пуристична, аскетична, она негативна, не позитивна.

Сколько бы мы ни предписывали высокой культуре считаться высокой, а низкой — низкой, есть очевидный факт, что популярность не только «второсортного», но и «третье»- и «десятисортного» развлекательного искусства в общем и целом в мире колоссальна, что оно имеет неизмеримо большую аудиторию, чем искусство, культура высокие и серьезные.

Правда, тут сразу можно сказать: аудиторию — да, но влияние ли? Воздействие ли?

Зритель, читатель, который довольствуется «десятисортным» искусством, не ищет в нем откровений, раздумий о жизни, он развлекается, только и всего...

Однако в принципе дела все-таки обстоят сложнее — и на это указывают Агарди его оппоненты:

> «Когда Петер Агарди противопоставляет развлечение искусству, он, собственно говоря, противопоставляет так называемый серьезный жанр так называемому легкому жанру и последний волей-неволей исключает из категории искусства. Но искусство определяется не жанром, а степенью талантливости, результатом воздействия. В свое время очень авторитетные люди не хотели признавать Боккаччо писателем. Они пробовали классифицировать произведения не с точки зрения жанра, а прежде всего с точки зрения содержания: кого и чему учит легкий развлекательный жанр, игнорирующий художественный уровень содержания... Я, как писатель, работаю в серьезном жанре, но как работник культурного фронта не могу позволить не уважать легкий жанр, имеющий огромное влияние на широкие массы».

Конечно, Лайош Мештерхази, которому принадлежат эти строки, в свою очередь совершает, так сказать, сознательную ошибку: перед нами все-таки не проблема жанра, а проблема художественного, духовного уровня искусства (и прежде всего, конечно, именно его содержания). Понятно, что жанры равноправны, но в данном-то случае подразумеваются все же не жанры, а разная степень художественной глубины, новизны, разная концентрация того внутреннего заряда, который именуется талантом, «художественной волей» и т. д. Ставя на одну доску, на одну горизонталь слова «талант», «жанр», «результат воздействия» и подобные, автор совершает сознательный логический «перескок» — заменяет плоскости разговора.

Однако естественна его забота — забота о демократизме культуры, о том, чтобы не порвалась нить, не вставали перегородки меж тем, что в основе своей едино, взаимосвязано.

К точке зрения Л. Мештерхази близок известный писатель Эндре Фейеш; он, со своей стороны, спорит с Иштваном Карамашем, который ближе к Агарди.

Аналогичные дискуссии идут в печати ГДР. Гельмут Йон пишет в «Веймарер байтреге»:

> «Структура этой («развлекательной».— В. Г.) литературы в известной мере схематична. Некоторые видят в том недостаток... Но это анахроничный взгляд. Брехт настоятельно подчеркивал, что способность создавать модели объединяет эту литературу с большим искусством. Создание моделей дает этой литературе возможность быть занимательной».

Г. Йону вторит Герда Шокке в еженедельнике «Зоннтаг»:

> «Существенной особенностью занимательной (то же, что «развлекательной».— В. Г.) литературы является также и то, что она не переходит границы определенной степени концентрации и отличается разнообразием, наглядностью, доступностью, легкостью (не поверхностностью!)... (Но как отличить легкость от поверхностности: где критерии? — В. Г.) Социалистическая занимательная литература не является переходной литературой или промежуточной ступенью к высокой литературе. Это оригинальная и самостоятельная составная часть нашей социалистической национальной литературы».

Всех этих авторов прежде всего занимает и привлекает мысль, что наглядность «развлекательной» литературы, широта ее аудитории делают ее потенциально-действенным средством воспитания, пропаганды: снабженные полезными, нужными, правильными тезисами, эти произведения могут влиять (так!) на многих и многих.

Еще более решителен Витольд Навроцкий в польской «Трибуна люду».

Вынеся в заголовок интересную формулу «Литература — многоэтажное здание» (то есть хочет или не хочет этого автор, он признает разные «этажи» — степень высоты в литературе), он, однако, пишет:

> «Минули времена, когда о значении национальной литературы судили на основании творчества нескольких выдающихся писателей, обладающих правом — или узурпировавших право — решающего голоса в определении функции и стиля литературы».

«Задача состоит в том, чтобы поддерживать определенный качественный уровень»,—

добавляет далее В. Навроцкий, но этот уровень — лишь тот минимум, который требуется для массовой пропаганды нужных социальных, моральных и иных тезисов...

Можно повторить, что внутренне вполне понятны заботы Л. Мештерхази, Г. Йона, В. Навроцкого и других — их голос слышней в дискуссиях; но и голоса П. Агарди и иных, подобных, никак не следует сбрасывать со счета.

Известно, что «развлекательная», «занимательная», «легкая» и т. д. литература (искусство) в общем-то заимствует свой арсенал у крупных художников; другое дело, что она его преподносит читателю, зрителю, так сказать, в более «доступном», «разбавленном» виде, чем он порою предстает у гения, крупного таланта; но сам-то закон непреложен, за ним — опыт веков, в том числе и двадцатого века, который, при всех своих достижениях и «путанице», в этом смысле не является исключением. Свергнув монополии художественных гениев, мы быстро придем к абсурду: исчезнет родник, источник, нечем будет питаться самой-то массовой, «развлекательной» литературе, культуре... Да и что есть гений в искусстве, вообще в духовной сфере? Он имеет свою специфику, своеобразие; если, положим, гений в политике, в социальной сфере состоит в том, чтобы реально учесть, соблюсти интересы народа, реально опереться на него, обеспечить его благоденствие и прогресс, то гений в искусстве, в духовной сфере состоит прежде всего в том, чтобы в п и т а т ь в себя «лучший сок» (Лермонтов), лучшие духовные силы, потенции народа и выразить их, отдать назад в мир. Гений не обязан непрерывно «подделываться» «под народ» — под тех или иных отдельных его представителей: народ — внутри его, он неизменно сознает свою ответственность перед ним и перед истиной и, в свою очередь, передает народу свою истину, свое знание в концентрированном, чистом виде. Эта концентрация может вовсе не отрицать доступности, простоты в прямом смысле этого слова; так было и с упомянутым Боккаччо, и отчасти (но именно уже лишь отчасти!) с Брехтом, которые сильны-то были не самой доступностью, «массовостью», как таковой, а новизной, силой, свежестью видения мира и его проблем, что счастливо с о ч е т а л о с ь с доступностью. Но могут быть и иные случаи, их тоже надо уважать: культура разнообразна, задачи ее — тем более.

В искусстве, в культуре все же воистину м н о г о этажей, и с этим ничего не поделать; важно не упрощать проблем в деле приобщения масс к культуре, к высоким духовным ценностям. Ведь ценности эти, в общем-то, существуют и объективно; первые судьи им — время и соответствие истине, жизни, а не мнения того или иного отдельного человека, пусть и выдающего себя за «типичного представителя массы».

Только с учетом этих моментов «развлекательная» литература, искусство — которых никто, конечно, не отрицает, важность которых ныне все сознают! — будут действительно полезными и нужными, а не «массовыми» в том дурном смысле слова, который бытует теперь на Западе.

Для человека, приобщающегося к искусству, «легкая» культура все-таки важна не сама по себе, а как ступень к высокой, как ее преддверие (читай — преддверие к подлинной духовной жизни, к большой социальной и моральной ответственности). Нет смысла возводить «легкое» на пьедестал — «уравнивать» его с тем, чему оно искони не равно. Поспешные моральные и иные тезисы, назидания, вставляемые в произведения «развлекательной», «легкой» культуры, не воспитывают читателя, зрителя (тщетны иллюзии!), а лишь раздражают его: он пришел «развлечься», а ему подсовывают чеснок в изюме; такова психология и логика «легкости», развлекательности. Подлинные пути культуры, подлинное воспитание предполагают не обход сложных проблем, а серьезное отношение к ним.

Лишь в этом случае «развлекательная» культура не будет «массовой» в нивелирующем, стандартизованном смысле слова.

В общем же несомненно, что сам факт живого и умного обсуждения столь важных проблем есть необходимое условие их решения.

Вл. ГУСЕВ

«ВОЗМОЖНА ЛИ НАУКА О ЛИТЕРАТУРЕ?»

В условиях острой идеологической борьбы проблема научного, марксистского подхода к явлениям искусства приобретает особую важность. Открывая на своих страницах дискуссию на тему «Возможна ли наука о литературе?», теоретический орган Французской компартии журнал «Нувель критик» подчеркивает, с одной стороны, отсутствие современных фундаментальных работ, позволяющих «обосновать марксистскую теорию литературного явления», с другой — насущную необходимость «определить область и объект того, что могло бы стать наукой о литературе».

Как известно, архиреволюционеры неоавангарда объявили эстетику — наряду с такими понятиями, как творчество и авторство,— «буржуазной», «идеалистической» рухлядью, которая должна быть сметена «культурной революцией». В связи с такого рода утверждениями становится понятным, почему редакция «Нувель критик» считает необходимым прежде всего дать четкий ответ на вопрос,

> «может ли существовать марксистская эстетика или само понятие «эстетика» должно стать предметом критики марксистского исследования литературы?»

Выступившие первыми в дискуссии Франс Вернье и Клод Прево отвечают на заданный вопрос положительно — да, марксистская наука о литературе необходима и возможна, основы ее заложены и требуют сейчас дальнейшего развития, оба автора выдвигают на первый план как коренную проблему этой науки принципы исследования взаимосвязи идеологии (идеологий) и литературы, предостерегая от вульгаризации и упрощения ленинской теории отражения, от СВЕДЕНИЯ литературы к идеологии:

> «Речь идет не о сведении литературного явления к некой структуре, допускающей наложение ее на структуру господствующей идеологии или даже сравнение с этой структурой. Не о том также, чтобы рассматривать идеологию и литературу во временной связи — «что было раньше, а что потом»,— как будто идеология существует до литературного явления и его обусловливает. Необходимо исследовать взаимосвязь, функционирование идеологии и литературы в плане историческом, учитывая их взаимодействие и тот факт, что они не могут быть радикально отделены одна от другой»,— определяет свою позицию Франс Вернье.

Предметом науки о литературе Франс Вернье считает не текст, как таковой («текст, как таковой, не существует»,— утверждает она с полемическим задором, характеризуя, впрочем, это свое заявление, не без самоиронии, как «провокационное»), но бытие текстов внутри культуры. Она предлагает два плана изучения литературных явлений:

> «анализ взаимосвязи литературного явления с господствующей идеологией и с теми элементами идеологии антагонистической, которую оно объективно несет в себе как продукт культуры... и анализ типов прочтения текста, условий его использования, также связанных с идеологической борьбой в определенном историческом контексте...»

Сосредоточив свое внимание на условиях существования искусства в современном капиталистическом обществе, Франс Вернье останавливается на методах «обезвреживания» прогрессивной художественной литературы, которые использует это общество в процессе идеологической самозащиты. Примитивно было бы сводить дело только к цензуре, считает Франс Верье, и утверждать, что там, где цензуры не существует, нет никаких иных форм идеологического принуждения, буржуазный строй защищается и более тонкими методами. Так, важное место в процессе идеологического обезвреживания антибуржуазной литературы занимает, по ее мнению, изучение литературы в школе, где подрастающему поколению внушается определенный «код прочтения», выдаваемый за «универсальный». Огромную роль играют также «масс медиа»; буржуазное государство, располагающее такими мощными орудиями, как пресса, радио, телевидение, стремится с их помощью так оболванить читателя, чтобы он разучился читать по-настоящему. Наиболее показательным примером такой «скрытой» формы идеологической борьбы автор статьи считает методы, к которым прибегает для своей самозащиты буржуазная идеология в США, где

> «идеологическая обработка считается достаточно мощной вакциной, чтобы обеспечить иммунитет большей части населения и смотреть сквозь пальцы на распространение «текстов», считающихся подрывными, не опасаясь, что они могут вызвать широкую эпидемию».

Только непониманием этого можно объяснить, считает Франс Вернье, наивный восторг либералов перед «свободой» печати и изданий в США.

Однако к каким бы формам — «активным» или «пассивным» — ни прибегала в процессе самозащиты господствующая идеология, она оказывается тем менее эффективной, чем больше антибуржуазных элементов несет в себе литературное явление.

> «Учитывая разнообразие, сложность, взаимопроникновение опосредующих звеньев, через которые осуществляется взаимосвязь между базисом, элементами надстройки и литературным явлением, господствующий класс не в силах контролировать полностью его воздействие»,— утверждает Ф. Вернье.

Но коль скоро именно сложность, особость литературного явления позволяют ему ускользнуть из-под контроля, вырваться за барьеры, выставляемые классом, находящимся у власти, задача марксистской науки — исследовать эту сложность, эту особость.

«С точки зрения теории,— пишет Франс Вернье,— литературное явление само по себе—СТАВКА в классовой борьбе, ПОЛЕ классовой борьбы, и это в тем большей степени, чем меньше может оно быть сведено к пассивному отражению. Литературное явление активно — и противоречиво — участвует, с одной стороны, в укреплении власти господствующего класса, с другой — ставит ее под сомнение как косвенный фактор пробуждения сознания и языка... Задача состоит в том, чтобы объяснить, каким образом в литературном явлении осуществляется эта борьба, корни и цели которой лежат вне его, но которая тем не менее не просто транспонируется (то есть выражается метафорически) в текстах. Относительная автономия литературного явления влечет за собой конфликт на уровне языка и эстетических критериев, имеющих собственные законы, в то же время оно оказывает обратное воздействие на надстройку и базис, воздействие, характер которого необходимо исследовать для каждой исторической эпохи отдельно».

Автор статьи предостерегает критика-марксиста от двух опасностей: от поползновения свести текст к его так называемому идеологическому эквиваленту («содержанию»), не оставляя языку ничего, кроме роли «переводчика», и от «формального метода», пренебрегающего историзмом и теми связями, которые существуют у каждого литературного явления с определенным моментом развития культуры.

Клод Прево подходит к вопросу о выработке научных критериев исследования литературы под несколько иным углом зрения. От выработки этих критериев, считает он,

«зависит формирование самого типа марксистской критики в области различных значащих практик — в литературе, пластических искусствах, кино, театре».

А это, как справедливо замечает автор, дело насущное, актуальное.

«Для рабочей революционной партии,— продолжает Клод Прево,— вопрос о «критике» не может быть второстепенным. Ибо именно через «критику» партия главным образом и поддерживает постоянный контакт с творческими работниками».

Здесь, по его мнению, важна не только «тактическая» сторона вопроса — привлеченне или отталкивание определенных слоев интеллигенции (хотя и этой стороной дела пренебрегать не следует, поскольку именно эти, пусть и немногочисленные, слои творческой интеллигенции «играют немаловажную роль в выработке образов-гидов для одной или даже нескольких социальных прослоек, а то и для эпохи в целом»),— но и «разработка теории, на которую может опираться культурная политика коммунистической партии в целом». Отсутствие твердой теоретической базы, считает он, чревато опасностью эклектизма, угрозой, что культурная политика может выродиться в волюнтаристский нажим на писателей, в требование, чтобы они «перевоспитались», «ПОСПЕШНО И ХОТЯ БЫ ФОРМАЛЬНО приспособившись к сиюминутным потребностям рабочего класса». В качестве примера того, сколь дорогой ценой расплачивается культура за такого рода вульгаризаторский подход, Клод Прево приводит «культурную революцию» 1969 года в Китае.

Резко осуждает принципы этой псевдокультурной «революции» также и Ролан Леруа, статья которого, посвященная линии ФКП в области культуры, публикуется в том же номере.

«Культурная революция» маоистов,— пишет Ролан Леруа,— претендует на немедленное построение некой контркультуры, радикально порывающей всякую связь с наследием, с демократическими ценностями, контркультуры, содержание и форма которой соответствовали бы морали, вкусам, языку самых эксплуатируемых и потому «самых чистых» слоев пролетариата — «наименее обуржуазившихся». В действительности же наиболее эксплуатируемые слои пролетариата это как раз те, на которые сильнее всего воздействует буржуазная идеология и мораль... Эти слои чаще всего связаны с наиболее отсталыми формами производства и общественной жизни: в силу своей работы, происхождения, тесной связи с деревней они, как правило, до сих пор погружены в предкапиталистическую культуру. Так что интеллигенты, которые хотели бы сделать из их культуры модель культуры в целом, просто не замечают, что на деле их «культурная революция» это — «культурная реакция».

И Ролан Леруа, и Клод Прево вспоминают в этой связи ленинские замечания об ошибках Пролеткульта.

В статьях В. И. Ленина о Толстом, в теоретических работах Грамши Клод Прево видит образец подхода к проблеме взаимосвязи идеологии и литературы.

В обществе в каждый данный исторический момент противоборствуют идеологии, порожденные различными классами, они, как пишет Грамши, «обладают «психологической» силой, «организуют» человеческие массы, образуя ту область, внутри которой люди движутся, осознают свои позиции, борются и т. д.» В творчестве великого пи-

сателя — и В. И. Ленин показал это на примере Толстого — можно обнаружить фрагменты различных идеологий, подчас и консервативных, реакционных, однако его произведения не могут быть сведены к этим кричащим идеологическим противоречиям. Клод Прево подчеркивает, что Ленин в статьях о Толстом «не перестает бороться против сведения литературного произведения к идеологии».

Полемизируя с теоретиками неоавангарда из группы «Тель кель», отрицающими роль «субъекта» в «письменной практике», Клод Прево отвергает «анонимность» литературного явления: писатель «погружается в язык, сознательно язык использует», он берет на себя ответственность. Отсюда необходимость особого подхода к художественному творчеству, к писательскому труду, ибо

> «этот труд предполагает наличие «субъекта», отличного от «субъекта» науки или «субъекта» идеологии, даже если труд писателя и производит познавательные ценности и даже если за рамками своего специфического труда он находится во власти определенной идеологии: своими статьями о Толстом Ленин помог нам понять, что практика писателя — особая область, которую нельзя приравнивать ни к науке, ни к идеологии».

Клод Прево, разумеется, ни в коей мере не призывает к отказу от исследования идейного содержания литературного явления, идеология д о л ж н а б ы т ь проанализирована, и проанализирована на всех уровнях произведения — от прямых высказываний автора, где

> «идеология обнажена и, можно сказать, простодушна, хотя нередко это простодушие — мнимое, рассчитанное, предназначенное для того, чтобы произвести определенный эффект, однако тем не менее идеология здесь доступна для анализа; более изощренно проявляется она в перипетиях повествования, поворотах сюжета, в самой фабуле: отнюдь не безразлично, счастливый или нет финал, принесен или нет в жертву герой-любовник... самые случайные, на поверхностный взгляд, повороты сценария излучают значение... литературное произведение это... целостность, КАЖДЫЙ ЭЛЕМЕНТ КОТОРОЙ ИМЕЕТ СМЫСЛОВУЮ НАГРУЗКУ».

Возникает вопрос, не связан ли в таком случае каждый прием с определенной идеологией. Клод Прево отвергает такой вульгаризаторский подход к явлениям искусства, получивший особенно широкое распространение в левацких кругах интеллигенции в период майских событий 1968 года.

> «Блестящая формула Сартра «всякая техника чревата определенной метафизикой» требует не только внимательного рассмотрения, но и серьезной критики»,— пишет он.

Разумеется, формы повествования исторически изменчивы, но это еще не означает, например, что роман, «воспроизводящий жизнь», роман с персонажами, сюжетом, достигший своего расцвета в период восхождения буржуазии,— жанр буржуазный. Такая оценка не диалектична, отношения между базисом и надстройкой сложнее и тоньше.

> «Нет никакого сомнения,— пишет Клод Прево,— что необходимо задуматься об исторических границах повествования, необходимо и тут понять идеологическую сторону... Проблема техники, приемов, художественных средств и идеологической нагрузки, которую они несут в себе,— проблема капитальная. Она не может быть решена ни на путях консерватизма, который под предлогом «усвоения наследия» отдает предпочтение формам, унаследованным от прошлого, и стимулирует неоклассицизм, литературу эпигонскую, ни на путях нигилизма, даже если он и выдает себя за «необходимые философские предпосылки творчества»,

Ссылаясь на работу Дьердя Ацела «Культура и социалистическая демократия», Клод Прево предлагает свою «рабочую гипотезу»: идеологическую нагрузку несет не «прием», а «форма», то есть «вся система художественных средств».

> «Если любая форма есть ФОРМА СОДЕРЖАНИЯ, ее значение вытекает из содержания. Следует поэтому отнестись с недоверием к запретам, налагаемым на отдельные технические приемы романа — такие, например, как джойсовский внутренний монолог, который якобы является проявлением декаданса,— пишет Клод Прево.— И, напротив, так ли уж правильно разоблачать в Мартен дю Гаре или Шолохове «романистов XIX века»?»

Клод Прево справедливо отмечал, что технические приемы нередко переживают ту идеологию, которая их породила, и, не будучи связаны с идеологией пролетарской, могут в определенных исторических и политических условиях (следовало бы, пожалуй, также добавить и определенные условия развития литературы) быть использованы прогрессивным художником.

Дискуссия, начатая «Нувель критик»,— достойный ответ на демагогические, подчас звучащие прямо-таки анекдотически, нападки левых экстремистов. «Тель кель», например, называет ФКП ревизионистской партией и обвиняет ее в том, что она «отказалась от принципов идеологической борьбы, опирающихся на базу диалектического и исторического материализма... и пошла на поводу у Лю Шао-ци». Статьи Франс Верньe и Клода Прево показывают, что партийная критика ни в коей мере не отказывается от исследования «идеологического эффекта» литературного явления, однако требует, чтобы предметом литературной науки было изучение литературного явления и литературного процесса в его особости и целостности, выступая тем самым как против вульгаризаторских заскоков левацкого толка, так и против эклектизма, скрывающего за псевдоширотой взглядов нищету мысли и отказ подойти к литературе с подлинно научными критериями, в результате чего, по выражению Клода Прево, «от критики остается одно название».

Требование подвести под литературную критику и культурную политику партии твердую научную марксистскую базу свидетельствует о серьезном подходе «Нувель критик» к проблеме отношений партии и интеллигенции и о подлинной озабоченности журнала «художественным будущим страны».

Л. З.

«БЕСЫ» XX ВЕКА

«Началось слушание в токийском суде по делу группы «Рэнго сэкигун» — ультралевой организации, совершившей зверские убийства 14 своих товарищей, взрывы самодельных бомб в общественных местах, ограбления банков и оружейных магазинов. При аресте у членов организации было обнаружено оружие, пекинская «революционная литература».

(«Правда», 24 января 1973 г.)

Проблема левого экстремизма в последние годы приобрела в Японии большую остроту. Проникнуть в его сущность, дойти до его истоков стремятся не только социологи, но и писатели, которые в поисках ответов обращаются к истории и литературе. В этой связи представляет несомненный интерес беседа с японским писателем Кэндзабуро Оэ, опубликованная в журнале «Сэкай» и озаглавленная «Революция. Смерть. Литература (Опыт Достоевского и современность)».

«Я уверен, что самые разные люди, на голову которых обрушилась лавина газетных сообщений о деле так называемой группы «Рэнго сэкигун», оторвавшись от газет, сразу же обратились к «Бесам» Достоевского,— сказал Кэндзабуро Оэ.— Я убежден, что благодаря «Бесам» большинство людей смогли понять, что представляет собой группа «Рэнго сэкигун». Я убежден в этом потому, что Достоевский помогает более глубокому и широкому пониманию того, что есть человек, что есть жизнь и смерть, что есть революция и в чем спасение человечества, когда мир находится на переломе к новому...»

Такое заявление Кэндзабуро Оэ не случайно. Тема «Бесов» появилась в его творчестве десять лет назад, когда в романе «Опоздавшая молодежь» он впервые беспощадно разоблачил идейную несостоятельность левого экстремизма. Такой же бескомпромиссной была и другая его книга о духовном крахе и гибели человека, для которого люди — не цель, а средство («Футбол 1860 года» [1]). Попирая интересы людей, становясь над ними, утверждает Оэ, человек, какие бы прекрасные перспективы он перед людьми ни разворачивал, не способен сделать их счастливыми.

Читая «Опоздавшую молодежь», «Футбол 1860 года», видишь, как глубоко осмыслил Оэ Достоевского. Герои «Опоздавшей молодежи» и «Футбола» — это поистине «бесы» Японии середины XX века.

Таким образом, идея столкновения истинно прогрессивного, истинно революционного с псевдореволюционным, носителем которого выступают сейчас ультралевые, уже давно волнует Оэ.

«Принято считать, что проблема революции, проблема смерти сейчас, через сто лет, стали неизмеримо сложнее, чем в эпоху Достоевского,— говорит Оэ.— Но вот появилось известное дело группы «Рэнго сэкигун», и у меня создалось впечатление, что хотя за сто лет структура человеческого общества усложнилась, сегодняшний мир предельно прост, а эпоха Достоевского невероятно сложна. Я ощутил это, возможно, потому, что мировосприятие Достоевского было

[1] Опубликован в «ИЛ» №№ 1, 2, 1972 г.

необычайно сложным, наш же взгляд на современность, к сожалению, весьма упрощен... Происходит это, наверно, потому, что вокруг нас сегодня слишком много смертей. Смерть стала обыденным явлением».

К. Оэ подчеркивает, что все эти проблемы, встающие сегодня перед человечеством, можно понять лучше, полнее и глубже, сопоставив их с аналогичными проблемами, нашедшими отражение в «Бесах».

«Стоит лишь задуматься, каким был бы сегодня человек типа Кириллова, и сразу же встанет вопрос: что представляет собой человек в послереволюционном мире? Далее, сейчас, когда вновь возродилась проблема японского национализма, видимо, необходимо еще раз вспомнить горячие идеи Шатова, касающиеся России. Или, например, когда говорят о разрыве между поколениями отцов и детей, особенно об отрицании послевоенной демократии, следует вспомнить Степана Трофимовича, принадлежащего к поколению отцов, исповедовавших либеральные идеи... И если мы, так же как Достоевский, создавший в своем воображении мир «Бесов», будем стремиться к синтетическому осмыслению действительности и до конца продумаем вопрос, что представляет собой группа «Рэнго сэкигун», то нам удастся связать в единое целое столетний период, отделяющий нас от эпохи Достоевского... Поэтому я считаю весьма плодотворным рассмотреть нынешнюю эпоху, а вместе с тем и деятельность «Рэнго сэкигун» в свете «Бесов» Достоевского».

Оэ умалчивает о содержании эпохи, пролегающей между ультралевыми наших дней и ультралевыми прошлого века. Но все истинно революционное для него несомненно, не случайно именно Оэ острее многих японских писателей выступил с критикой «культурной революции» в Китае. «Культура», «революция» слишком весомые, слишком значимые для него понятия, чтобы допустить их профанацию.

Дело группы «Рэнго сэкигун», говорит Оэ, указывает на поразительную духовную скудость людей, одержимых современной «нечаевщиной».

«Все, что я слушал и видел по радио и телевидению о деле «Рэнго сэкигун», производило на меня очень тяжелое впечатление, и лишь однажды я рассмеялся. Это произошло, когда на вокзале Каруидзава поймали одного из юношей, принадлежавших к «Рэнго сэкигун». На вопрос полицейского: «Ну что ты теперь собираешься делать?» — тот ответил: «Я хочу прочесть «Братьев Карамазовых». Там написано про нас...» Вот тогда-то я и улыбнулся горько, представив себе, как этот юноша будет читать в тюрьме «Братьев Карамазовых», хотя, скорее, ему следовало бы почитать «Бесов», но, видимо, об этом романе Достоевского он даже не слышал».

«По словам Сёхэй Оока,— продолжает К. Оэ,— человечество, познавшее Освенцим, уже совсем не то человечество, что было до Освенцима. Это верно. Можно также сказать, что человек до чтения Достоевского отличается от человека, прочитавшего его. И поэтому, если мы сейчас окажемся не способными правильно оценить дело группы «Рэнго сэкигун», то духовно бедными окажутся не только студенты, именующие себя «солдатами «Рэнго сэкигун», у которых не было времени прочесть Достоевского, но такими же духовно бедными окажемся и мы все, люди второй половины XX века, утерявшие то, что человечество извлекло у Достоевского.

Каждый раз, когда я задумываюсь над так называемой ядерной стратегией, я прихожу к выводу, что идеи «бесов» имеют еще один аспект. Достоевский не напрасно приводит притчу об Ионе... Как известно, Иона, бродя по Ниневии, предсказывал скорую ее гибель и разгневался на бога за то, что тот не уничтожил города... Если посмотреть на эту притчу с позиций сегодняшнего дня, она находит конкретное воплощение в идее атомной войны. В Хиросиме я часто слышал от людей, переживших атомную бомбардировку, пожелание, чтобы и на головы остального человечества упали атомные бомбы, есть даже песня об этом. Эти люди считают, что человечество все равно по-настоящему не переменится, до тех пор пока атомная война не поставит его у порога гибели».

На память приходит короткая новелла Ситиро Фукадзава «Восьмицветные облака». Перед читателем предстает жертва хиросимской трагедии: человек не просто потерял зрение, он утратил веру в справедливость, душевно ослеп. Атомная бомба искалечила не только тела людей, но и их души.

«Если не рассматривать или оказаться не способным рассмотреть нынешнюю обстановку, и в первую очередь дело группы «Рэнго сэкигун», так же глубоко и широко, как рассмотрел «нечаевщину» Достоевский, то теряется смысл столетия, пройденного человечеством после Достоевского»,— говорит Оэ.

Но, к сожалению, подчеркивает он, людей, способных на такой анализ, в сегодняшней Японии не так уж много.

Достоевский-художник велик не только глубиной поднятых им проблем, не утративших актуальности и сегодня, продолжает К. Оэ, но и своим позитивным взглядом на человека, идеей взаимозависимости людей, ответственности друг за друга.

Такой позитивный взгляд, по мнению Оэ, проистекает из того, что Достоевский и в отрицательных персонажах находил положительное начало, а с другой стороны, не считал людей, не замешанных в убийстве Шатова, «чистыми»: его точка зрения — все мы в этом виноваты. Я в этом не замешан, это меня не касается — вот самая страшная позиция, которую только может занять человек. Дело группы «Рэнго сэкигун» стало возможным — помимо всего прочего — из-за душевной апатии многих и многих японцев, подчеркивает Оэ.

> «Сегодняшние японцы, смотрящие по телевизору передачу о деле группы «Рэнго сэкигун», считают, что они совершенно не связаны с этими молодыми людьми, с этими безумцами, которые, затащив в горы своих товарищей — студентов, убивали их из винтовок. Но если бы мы, как частица человечества, считали бы себя ответственными за все, что происходит вокруг, мы обязаны были бы считать и себя причастными к этим убийствам — более того, ко всему, что породило саму возможность подобной расправы. И только тогда нам бы удалось в истинном свете увидеть, что представляет собой группа «Рэнго сэкигун», что представляют собой юнцы, именующие себя «солдатами «Рэнго сэкигун».

Оэ говорит о чрезвычайно примитивном взгляде этих «солдат» на революцию. Победно завершить революцию, считают они, можно, лишь убив всех своих врагов, как внешних, так и внутренних — вчерашних друзей. Их отличает крайнее сектантство. По его мнению, все эти юнцы безнадежно запутались в сложной мировой обстановке.

> «На земле существует сейчас Советский Союз, существует Китай, существует Куба. Существуют также капиталистические страны, находящиеся на разных ступенях развития, существуют, одновременно, даже колонии... Таким образом, для японской молодежи, жаждущей совершить свою собственную революцию, история подготовила книгу, в которой сплетены предреволюционный период, период революций и послереволюционный период. Вот они и вертят без конца машину времени, мчась то по дорогам предреволюционного, то по дорогам послереволюционного мира, смешивая прошлое с настоящим и будущим.
>
> Освободить человечество можно, лишь мчась сквозь тьму в неизвестность,— вот единственный путь революции, который они видят. Но правилен ли этот путь, можно ли действительно освободить таким путем человечество? Японская молодежь уверена в его правильности... Это можно назвать революционным нигилизмом... Если эти люди действительно стремятся вдохнуть в революцию жизнь, то им нужно указать единственно возможную позицию — выработать позитивный взгляд на послереволюционное общество».

Выступление К. Оэ привлекает нас по двум причинам. Во-первых, писатель, которого с полным основанием называют выразителем идей японской молодежи, снова решительно выступил против левого экстремизма. Во-вторых, Оэ обнаружил верное понимание «Бесов» — не как произведения, выступающего против революции, а как отповеди ультралевой «революционности», ничего общего с истинной революционностью не имеющей.

К. Оэ точно обозначил идейные истоки ультралевых, показал, в чем состоит их духовное родство с «бесами» времен Достоевского, и мы можем лишь пожалеть, что его позитивной программе не хватает такой же четкости и обоснованности, которой отличается его критика левого экстремизма. Все его рассуждения о «спасении» человечества, о выработке некоего «позитивного взгляда на послереволюционное общество» (непонятно, кстати, что за общество имеется в виду) и т. д. выглядят весьма расплывчато и неубедительно. Не говоря уже о том, что он оперирует понятием «японская молодежь», а ее безусловно нельзя рассматривать как некую однородную массу.

В. ГРИВНИН

◆

Публицистика

Ю. КАГРАМАНОВ

ПОП-КУЛЬТУРА ВЫХОДИТ ИЗ «ПОДПОЛЬЯ»

В отношении буржуазной критической мысли Запада к явлениям поп-культуры преобладает, пожалуй, озадаченность. Озадаченность нередко вызывает даже само содержание этого новорожденного понятия, то есть вопрос о том, что, собственно, такое поп-культура, что следует к ней отнести.

Ответ типичного тинэйджера категоричен:

«Поп — это то, что надо. Эта штуковина — настоящая».

Критикам явно недостает подобной уверенности в оценках. Их суждения разноречивы:

«Поп — это прежде всего новый «рок» [1].

«Поп — это протест».

«Поп — это секс, дурной секс».

«Поп — Гаргантюа у нашего порога».

Короткое упругое словечко это «поп» будто ускользает от точного определения. Этимология (*pop* — сокращение от английского *popular* — популярный, народный) в данном случае ничего не объясняет. Далеко не все, что популярно,— «поп». Связь с народной культурной традицией, с фольклором у поп-культуры имеется, но эта связь не является для нее определяющей. Высказываются мнения, что сущность поп-культуры вообще «неуловима». «Новый рок», иначе называемый поп-музыкой, и зрелищно-карнавальная стихия, поп-арт, «черная» юмористика и сексуальный бурлеск — эти и другие феномены поп-культуры будто бы настолько разнородны, что в них трудно уловить что-то общее.

Уловить все-таки можно. Общее есть. Есть и закономерность в самом факте возникновения и стремительного распространения поп-культуры, неоспорима ее увязанность с кризисным состоянием буржуазного общества.

Часто ошибочно называют «поп» «культурой протестующей молодежи». Верно, что движение протестующей молодежи — от новых левых до хиппи — происходит в атмосфере поп-культуры, верно и другое: «поп» «заразил» и такую молодежь, у которой никаких претензий на протест (сознательный протест против буржуазного общества) не имеется, и тех, наконец, кого ни к протестующим нельзя отнести, ни к молодежи. Энтузиасты уверяют, что «поп» отвечает запросам всех и каждого, независимо от возраста, пола, социального положения, образования и политических пристрастий,— такова, мол, его универсальная жизнеутверждающая сила.

Что и как «поп» утверждает — этого мы коснемся ниже, сейчас же о том, что «поп» отрицает. Программными для него можно считать призывы типа «Отказаться от Девятой симфонии!» (Бетховена) или «Смешать с грязью Монну Лизу!». Бунт против высокой культуры — его отправная акция, причем бунт осуществляется не на теоретизирующем уровне — к чему авангард давно уже «приучил» мир,— а на уровне, так сказать, практическо-потребительском.

Вообще некоторое недоверие к классическому наследию весьма распространено в современном мире. Классика соотнесена с отжившим миропорядком, не всегда удается вычитать в ней общечеловеческое и вневременное, наконец, ее восприятие требует определенной подготовки (особенно это относится к музыке)—все это создает известные трудности при ее популяризации. Но это трудности планетарные, и отнюдь не они явились главной побудительной причиной «поп-бунта».

[1] Сокращение от «рок-н-ролл».

Характер этого бунта таков, что он направлен не только против высокой культуры, но и отчасти против массовой, против ее традиционных основных мотивов. Это смешение двух враждебных по существу культурных сил кажется парадоксальным, но только на первый взгляд. Только если не учитывать давнюю и тесную взаимозависимость высокой культуры и массовой — развлекательной, тривиальной, «мусорной». Большая литература, большое искусство нередко пользовались тривиальными сюжетами, образами и т. д., подвергая их своего рода перегонке, очистке. Со своей стороны, массовая культура представляет по большей части не что иное, как тривиализацию образов, идей высокой культуры, их облегчение, огрубление, опошление.

Органичное для гуманистической традиции утверждение доброго и прекрасного, возвышенного и героического при этом выхолащивается, становится просто суммой приемов, трансформируется в сентиментальность и ходульность, красивость и слащавость, в поэтику, если можно так выразиться, хэппи-энда. Заметим, однако, что в обоих случаях, то есть и в высокой культуре, и в массовой, утверждается доброе, красивое и т. д., хотя только в первом случае — в их подлинном качестве, тогда как во втором — размененное на фальшивки, на воспитывающие конформизм поделки — с идеологической точки зрения, на «китч» [1] — с точки зрения художественного вкуса.

«Поп» обходит эти идеологические и вкусовые барьеры, вообще отрицая категорически «разумное, доброе, вечное». Монна Лиза и Девятая симфония оказываются вместе с романтической кинодивой и сентиментальным шлягером на одной чаше весов. Той, которая «не тянет». Такое, огулом, отвержение традиционных эстетических ценностей облегчается в какой-то степени самой системой массовой культуры (понятой в широком смысле как механизм распространения культуры), предлагающей потребителю невероятную вкусовую мешанину.

Следует уточнить, откуда распространился «поп», так как это поможет лучше понять некоторые его характерные особенности. Его родина — Соединенные Штаты. Правда, считается весомым и английский вклад в поп-культуру. Именно в Англии зародилось в 1954 году течение, позднее получившее название «поп-арт». Именно битлы совершили настоящий переворот в своей сфере, приблизив сумбурный американский рок-н-ролл к его (американскому же) первоисточнику — негритянскому ритм-энд-блюзу, обратившись к расстановке новых музыкальных и смысловых акцентов. Но в целом американский «приоритет» в этой области неоспорим, европейские «поп»-феномены, как правило, получают широкое распространение лишь после того, как они уже апробированы за океаном.

Бернард Шоу как-то заметил, что Соединенные Штаты от варварства перешли сразу к декадентству, минуя цивилизацию. В гротескной форме здесь выражена общеизвестная истина о том, что высокая культура не успела пустить глубоких корней на американской почве. Лишь недавно, уже после второй мировой войны, в популяризации классики в этой стране удалось добиться внезапных успехов, так что лет десять назад там даже заговорили о «культурном взрыве», с удовлетворением подсчитывая количество посетителей музеев и концертных залов, рост книжных распродаж и т. п. «Представление о некультурном американце побито статистической дубинкой!» — не то торжествующе, не то иронично восклицал О. Тоффлер. Причины этого стремительно выросшего потребления культуры (главным образом средним классом) были разнородны, не последнее место среди них занимала «престижность», и в общем они не давали оснований для чрезмерного энтузиазма. Дубинка оказалась о двух концах: «унылая атмосфера почтительного отношения (к классике.— **Ю. К.**) среднего класса», по-видимому, даже способствовала в какой-то степени дискредитации высокой культуры.

«И тогда,— пишет профессор Колумбийского университета А. Голдмэн,— большие «поп-пузыри» стали пробиваться на поверхность откуда-то из глубины нашей цивилизации. В головах испорченных и пустых родились звуки «рока», кудахтанье горькой шутки и зловещие формы поп-арта. Сначала это было похоже на осквернение. Вековая мечта Америки — перенять у Европы ее роль созидателя и хранителя классического искусства — улетучилась в кошмаре дискотеки». С «пузырями» здесь каламбур: «пузырем» в комиксах называют кружок с прямой речью, как правило, коротенькой. Bubble mentality, то есть «умственное развитие на уровне пузырей», предполагает неспособность изъясняться иначе, как посредством односложных реплик и междометий.

Нуждается в комментарии утверждение о «глубинном» происхождении «пузырей». Действительно, «поп» охотно прибегает к народному языку, к фольклорным мотивам. Так, Боб Дилан, известнейший сейчас песенник поп-культуры, начинал с подражания Вуди Гафри, певцу из оклахомской глубинки. Вместе с этим в языке «поп» изобилуют терпкие арготизмы деклассированного дна, образы блатного фольклора. Особо надо отдать должное усилиям художественного авангарда — а это уже, очевидно, усилия, исходящие не снизу, а сверху,— который начиная с примитивистов и дадаистов (и пока кончая, скажем, У. Бэрроузом, поп-артом и «развернутым кино») десятилетиями настойчиво прививал вкус сразу к наивно-безыскусственному и к извращенному. Именно от этого-то своеобразного альянса «чересчур» умных с недоумками и произошел «поп». Не следует «обижать» и бизнесменов от искусства, без их усилий — опять-таки сверху — «поп», вероятно, не состоялся бы. Битлов, например, «вывел в люди» их импресарио Брайан Эпстейн. Легко говорить

[1] Kitsch — халтура, пошлость, безвкусица *(нем.)*. Употребляется для обозначения соответствующих продуктов массовой культуры буржуазного Запада.

о возрождении традиций бардов и трубадуров, не так-то просто учуять конъюнктуру, «протолкнуть», устроить контракт, организовать рекламу и т. п.— все это дело менеджеров.

Однако и переоценивать участие этих последних не стоит. Когда в 1964 году в США вышел в свет роман Т. Сазерна и М. Хоффенберга «Кэнди» и реклама пообещала, что после этой книги «секс в Америке уже никогда не будет прежним», сами авторы этой рекламы едва ли всерьез предполагали, что так оно на самом деле и выйдет. Сейчас критика все возвращается к этой книге (которая, кстати, переиздается и переиздается), и вовсе не потому, что она представляет собой какое-то художественное достижение, но потому, что в ней впервые был сделан тот сюжетный ход, который оказался необыкновенно заразительным и был с тех пор повторен несчетное количество раз.

Героиню этого романа Кэнди (candy — конфетка, некоторые рецензенты услышали в этом имени и намек на Кандида) авторы побуждают «простодушно» уступать домогательствам чуть ли не всех встречных и поперечных. Задача авторов, однако, не ограничивалась смакованием фривольного, обычным для такого рода развлекательной литературы. Компаньонами Кэнди оказываются разномастные «идеалисты», напичканные разного рода теориями, научными либо религиозными представлениями, политическими программами и т. п.; с ухмылкой авторы укладывают их всех поочередно в постель с «конфеткой», и постель эта становится для них, таким образом, чем-то вроде «общего знаменателя». Сама Кэнди представляет собою «развитие» традиционного романтического образа американской «девушки-мечты», точнее, отрицание, пародирование этого образа и вместе с этим отрицание романтической любви вообще. Секс сделался приемом (заново открытым Сазерном и Хоффенбергом) — простейшим, грубейшим общепонятным приемом — «снижения», развенчания идеального, идеального вообще, независимо от его этической, эстетической и т. д. значимости. Смысл этой «понижающей» тенденции верно определил один из американских критиков, назвав публикацию «Кэнди» «громадным шагом вперед на нашем нынешнем пути к культурному упадку».

Почти одновременно с «Кэнди» увидел свет роман Дж. Речи «Ночной город», который тоже считают характеристическим для поп-культуры. Речи не пожалел темной палитры, изображая «дно» большого капиталистического города, где властвуют преступление и порок, где личность и даже сама жизнь человеческая не стоят медного гроша. Но не затем он показал неприглядную изнанку буржуазного общества, чтобы вынести этому обществу обвинительный приговор или хотя бы пристыдить его. В книге Речи звучит «издевка над буржуазным» идеальничанием, но все дело в том, что изнанка как раз представляет у него подлинное лицо жизни вообще, как она выглядит без прикрас, и никуда от этого не уйдешь — потому что извращенность заключена будто бы в самой человеческой природе.

«Кэнди» и «Ночной город» определяют два изменения личности в представлениях попкультуры. Человек злой и сексуальный — этот новый, претендующий на аутентичность, образ заслонил и «липовые» образы массовой культуры, и «нежизненные» образы высокой культуры. На буржуазное идеальничанье «поп» ответил «трезвым» цинизмом. Все темное, грязное, низменное оказалось на поверхности, под резким освещением.

Тема низменного всегда присутствовала и в массовой культуре. В особенности за последние два десятилетия, когда секс и насилие стали предлагаться в качестве искусственных возбудителей лошадиными дозами, лицо действительности в преломлении массовой продукции все чаще искажалось злой и плотоядной гримасой. Но все же определенные границы «дозволенного и недозволенного» при этом сохранялись, почти неизменно соблюдался и принцип дозировки «хорошего и дурного». Как правило, злодеи несли заслуженную кару, пороку предавались персонажи второстепенные и «нестоящие» и т. п.— словом, низменное поспевало на ослике вослед прекраснодушию на белом коне. «Поп», можно сказать, взял у массовой культуры ее фактуру низменного и дурного (сняв при этом рогатки недозволенного), приняв ее как единственно непреложную реальность, осмеяв и охаяв все ее олеографические добродетели и красоты.

Злонравный человек — это по существу такая же условность, как и либеральный образ доброго человека. Последний обязан своим происхождением метафизическим абстракциям Просвещения, трактовавшего человеческую натуру весьма односторонне (это, между прочим, почувствовали уже романтики). Но просветительский оптимизм проистекал от уверенности подымающейся буржуазии в своем будущем, от наивного отождествления интересов этой буржуазии с интересами всего народа. Либеральный оптимизм, либеральное абстрактное идиллическое представление о человеке, игнорирующее подлинную реальность — реальность человека общественного,— сделалось уже действительно совершенно нежизненным, стало беспочвенным прекраснодушием — в лучшем случае, грубым лицемерием — в худшем.

«Поп» просто вывернул наизнанку этот либеральный образ. Чуждый романтического пафоса «мирового зла», «поп» признал лишь зло, так сказать, атомарное, воплощенное в индивиде — «наивно»-вредном и похотливом. Именно такой образ создают, например, участники ансамбля «Роллинг стоунз». Их «сатанизм»—сниженный, облаченный не в черный, подбитый красным, плащ, а в шкуры шекспировского Калибана. Хотя в их артистическом представлении присутствует элемент отстраненности, да-

---

Ю. КАГРАМАНОВ
ПОП-КУЛЬТУРА ВЫХОДИТ ИЗ «ПОДПОЛЬЯ»

же самопародии, это не исключает наличия в нем прямой и опасной апелляции к дурным инстинктам. Состоявшийся в начале 1970 года в Алтамонте, Калифорния, музыкальный фестиваль, где тон задал «Роллинг стоунз», закончился повальной истерией и дикими избиениями, при которых особенно отличились так называемые «ангелы ада» (случай этот далеко не исключителен). Кстати сказать, Алтамонт развеял дымку безмятежной праздничности, окружившую за несколько месяцев перед тем аналогичный фестиваль в Вудстоке, проведенный под знаком хиппистской «любви».

Отстраненность и пародийность вообще считаются характерными признаками попкультуры. Отстраненность, безучастность, очевидно, сродни субъективизму авангардистов, отстранившихся не только от «публики», но и от всей народной жизни. То, от чего «поп» отстраняется, что он осмеивает,— это, в сущности, вся культура без разбора, со всеми ее традициями, и хорошими, и дурными (если к частице «поп» добавляют научный термин «культура», то это только потому, что в описательном языке социологов и антропологов нет такого понятия, как «антикультура»). «Поп» спешит распроститься со старушкой-культурой, провожая ее — нет, не демоническим хохотом — кудахтаньем горькой шутки.

«Горький юмор», «черный юмор» — темы, заслуживающие отдельного разговора. Сами эпитеты говорят о том, что это юмор не очень-то веселый. Его определяющая тенденция — «уничижение и поношение» всего человеческого, что само по себе оказывается чрезвычайно заразительным в условиях современного Запада, так что употребляемое применительно к этому юмору слово «эпидемия» вполне уместно. Эпидемия поразила кинофильмы и комиксы, отделы юмора в прессе, но особенно «горек» и «черен» (и скабрезен) юмор в «подпольных» изданиях, фильмах и т. п.

Плоды наук, добро и зло,
И предрассудки вековые,
И гроба тайны роковые—

все это не споры рождает и не к размышлению влечет, а служит лишь предметом глумливого осмеяния. А. Голдмэн приравнивает действие «горького юмора» к истерии. «Все то, что в нашем мире до сих пор не считалось смешным,— пишет он с тревогой,— сделалось таковым силою этого непроизвольного умственного тика».

Тревога не напрасная. «Поп» явно нарушает важный как для общества в целом, так и для отдельного человека баланс смешного и серьезного, плотского и духовного. Резкое нарушение такого баланса образует почти абсолютный духовный вакуум, в котором лишь плавают, как при невесомости, обрывки расхожих идей (Маркузе, Маклюэн, Фромм). Отмеченный выше негативный эффект таких литературных произведений, как «Кэнди» и «Ночной город», не должен создавать впечатление, что литературе (какой бы то ни было) уготовано в поп-культуре сколько-нибудь важное место. (Ультраавангардистская литература, претендующая на приставку «поп», едва ли имеет на нее право — по той простой причине, что она непопулярна; собственно поп-литературу выделяет содержание, а не художественная манера, которая остается псевдореалистической.) Раздаются голоса — и их носителям нельзя отказать в последовательности,— что «поп» не сочетается с «литературщиной». В выражении bubble mentality слово bubble легко заменяется на bubblegum, что означает уже «пузырь» иного рода: тот, который образует жевательная резинка, если надуть щеки[1]. «Пузыри» с речью вытесняются совершенно полыми пузырями, бессмысленной немотствующей дурашливостью.

Язык музыки — единственный, который «поп» безоговорочно признает своим. Речь, конечно, идет о совершенно определенной музыке — той, которая именуется «новым роком». Американец Ч. Бекман называет «поп» «культурой, ориентированной на рок-музыку». «Для многих молодых людей,— пишет англичанин Т. Джаспер,— музыка стала хартией, программой. ...Поп заменил религию. Это мир, который существует сам по себе». Добавим, что это мир, кроме того, еще и притязательный, выбросивший наивный и заносчивый лозунг «Власть року!».

Несколько слов о том, что такое «новый рок». Усвоив ритмическую структуру ритм-энд-блюза, «новый рок» ассимилировал и некоторые другие музыкальные стили Америки: спиричуэл, хилл-билли, кантри-мьюзик. В традициях кантри-мьюзик выступали с начала 60-х годов «народные певцы» (в частности, Б. Дилан), в чьих песнях нередко звучала общественная тематика. С наступлением «рока» эта тематика у них постепенно выветривается (лишь некоторые из них, такие как Джоан Баэз и Пит Сигер, сумели этого избежать), ритмический «бит» все больше перебивает пульсацию мысли и чувства.

Потом «рок» обратился к экзотике, заимствовав звуки и ритмы Африки, Ближнего Востока и особенно Индии. Битлы первыми использовали в своих выступлениях индийские музыкальные формы и инструменты. Они же впервые подключили к «року» и классику: григорианский хорал, мадригал, английскую барочную музыку. Наконец «рок» вобрал и элементы новейшей электронной музыки и шумовые коллажи «конкретной» музыки, соединив весь этот разнородный материал в причудливый «микс» (от английского mixture — смесь). Подобно мутному потоку в половодье, «рок» увлек с собой обломки культур чуть ли не всех эпох и континентов.

Мы не пытаемся здесь судить о качестве этого музыкального крошева или, если угодно, синтеза, это дело музыковедов. Заметим лишь, что, хотя оценки его этими последними очень разнятся, даже апологеты «рока», подчеркивая отдельные его удачи и находки, сетуют на то, что по пятам за этими удачами и находками следует «китч». Добавим еще, что «новый рок» считают свое-

[1] «Пузырем» (bubblegum) называют один из стилей «нового рока».

образным ответом на усложнение искусства джаза. Но сейчас не музыкальные качества «рока» привлекают наше внимание. Речь о другом: о том, что «новый рок» наделяют такими культурными и общественными функциями, которые ему совершенно не присущи и справиться с которыми он решительно не в состоянии.

«Року» свойственна (говорят апологеты) магнетическая сила, он «притягивает» не только разношерстный музыкальный материал, но и другие искусства, осуществляя тем самым «заветный» синкретизм и даже стирая грани, отделяющие искусство от жизни. Ибо «рок» — не музыка для слушания, он приглашает к участию, к танцу, к спонтанному хэппенингу. Его сущность раскрывается через зрелище, карнавал.

Вот как примерно выглядит «действо» под рок-музыку. Ритмический «бит» настраивает слушателя на свой лад, голос певца поет «о грязном, и страшном, и похотливом». В идеальных, как говорят физики, условиях гамму ощущений дополняет антураж, составленный из произведений поп-арта,— хаос вещей и тел и мерные, в такт, вращения цветных прожекторов. Публика начинает «заводиться», темп исполнения убыстряется, увеличивается громкость, слова песен почти перестают восприниматься, экстатическое крещендо как будто гипнотизирует, освобождает от скреп рассудка (чему немало способствуют и наркотики). Риторику кларнетов, призывающих к «любви», покрывают визг и непристойности. «Кошмарные шумы, невнятные слова, вспышки света и полное забвение сдерживающих начал»,— с упоением суммирует журнал «Рэйв».

Не подумайте, что такое «действо» предлагается в качестве некой разрядки. Оно, говорят апологеты, должно стать чуть ли не преимущественным состоянием всего человечества, коль скоро последнее прочувствует его «жизнеутверждающую силу». (Благо, футурологи сулят пришествие эпохи «человека досужего», которому придется же чем-то заполнять пустоту.) «Бит» — этот лихорадочный пульс поп-культуры — призван заглушить отсчет реального времени. Технически настроиться на «бит» не представляет труда, так как некоторые радиостанции передают рок-музыку 24 часа в сутки.

«Действо», говорят далее, возвышает обыденность до уровня искусства, в нем реализуется человек-артист. Что для артистизма недостаточно одной лишь «спонтанности» — с этим «поп» не желает считаться, он принципиально враждебен самой идее художественного осмысления жизненного материала, идее искусства как становящегося мастерства. В пику последнему предлагается демагогическое «каждый может все», что на деле означает отказ от эстетического идеала как такового.

Неправ был Освальд Шпенглер, заключают апологеты, Западу отнюдь не грозит культурный упадок, «рок» указывает ему прямую дорогу к «спасению». Это дорога не восходящая, но и не нисходящая, ибо «культура рока» представляет собой просто некую равнодействующую культурных сил. Само слово «спасение» нередко произносят, возводя очи горе — уповая, что с «роком» обрящется то ли какая-то новая религия, то ли новая мифология (пресвитерианские церковники в США первыми пришли к выводу, что «рок» может сослужить службу и старой религии). И даже апеллируют к авторитетам высокой культуры — мол, «действо» осуществляет мечту Шиллера о чувственно раскованном искусстве-игре, а также вагнеровские идеи о синтезе искусств, их слиянии с мифом.

Не трудно увидеть огромного размера дистанцию, отделяющую шиллеровский идеал радостной гармонии духовного и чувственного от реальностей «культуры рока». Но, пожалуй, важнее обратить внимание на то общее, что у них действительно есть. Эстетический идеал Шиллера (и позднего Вагнера) осуществлялся в совершенном отрыве от окружающей действительности, в царстве «видимости», по выражению Шиллера. Аналогичным образом и «поп» уводит от действительности, но уже не в идеал, а в царство непосредственно данной, неопосредованно-чувственной «видимости».

Иначе говоря — вспять, в тесный и темный мирок архаического сознания, ко всему атавистическому, рудиментарному. В человеке, писал Александр Блок, сквозят черты животные и растительные. Вот эти-то черты и бередит «поп» в ущерб собственно человеческим. Расширение «биологического пространства» (выражение Г. Маркузе) осуществляется за счет разрушения культурных построек. Настойчивыми заклинаниями вызывается в человеческих душах «древний хаос»: «Я живу в тебе и без тебя, в тебе и без тебя»,— напоминает он о себе устами битлов. Ориентацией на биологическое и объясняется рекламируемая «универсальность» поп-представлений, их сравнимое с пандемией распространение в западных странах. Пит Сигер недавно говорил о «всемирном потопе» поп-культуры, и это, естественно, наводит на вопрос, есть ли спасение *от* поп-культуры.

Спасение, разумеется, есть. Наивно утверждать, что прорыв биологического представляет собой некий «естественный» бунт против «ложной культуры» (под которой в данном случае подразумевается вся культура) и что это стихия, которую не удержать. Показателен в этом отношении пример американских негров. Именно у них заимствовал «поп» ритмическое буйство своей музыки, именно в их культуре легче отыскать «дионисийское начало», как его окрестили в прошлом веке. И, однако же, это начало не отбило у них интереса к другим формам культурной жизни, не отвратило их от социальной и политической борьбы. Все дело в том, что негритянское меньшинство из-за своего особого положения в американском обществе менее подвержено влиянию господствующей буржуазной культуры. А именно эта последняя, представляясь про-

---

Ю. КАГРАМАНОВ
ПОП-КУЛЬТУРА ВЫХОДИТ ИЗ «ПОДПОЛЬЯ»

должательницей исторических культурных традиций, повинна в их — всех без разбора — дискредитации.

«Нисхождение от орлиной перспективы к лягушачьей в больших жизненных вопросах прикрывается маской пресловутого «возвращения к природе»,— писал О. Шпенглер. Автор «Заката Европы» отождествлял европейскую культуру с буржуазной и, констатируя отсутствие у этой последней каких-либо перспектив в сфере духовного творчества, проповедовал империализм и техницизм как последние еще открытые для нее горизонты экспансии. Но ретроспективно — здесь надо отдать ему должное — Шпенглер тонко чувствовал «душу» классической европейской культуры, ее устремленность «к тому берегу», то есть к идеалу, открывавшуюся ею действительно орлиную перспективу, как она «прорезалась», по мнению Шпенглера, в контрапунктной музыке и в голубовато-коричневатой патине старых мастеров. Симптом заката буржуазной культуры, явственно обозначившегося уже в начале нашего столетия, Шпенглер видел в том, что «непосредственное чувственное ощущение оказывается сильнее пространства», то есть опять-таки стремления к идеалу.

«Поп» доводит эту «понижающую» тенденцию буржуазной культуры до nec plus ultra (то есть до крайних пределов, когда уже «дальше некуда»), когда о лягушачьей перспективе уместно говорить даже не в метафорическом, а скорее в буквальном смысле. Точнее, в поп-культуре утрачивается вообще какая бы то ни было пространственная или временная перспектива. Ибо «поп» отвергает не только идеал, но и самый, так сказать, материал, из которого идеалы создаются,— знание, историческую память («Я забыл больше, чем ты знаешь»,— вызывающе поет Б. Дилан). Бенджамин Де Мотт, литературный критик и публицист, справедливо назвал «поп» «бегством от знания», погружением в «непрерывное ослепляющее то же самое».

Причины этого бегства от знания, от идеалов следует искать, конечно, прежде всего в сфере социальной — в несостоятельности всего общественного порядка, в проистекающей отсюда и духовной неустроенности. Когда итальянский философ Джилло Дорфлес пишет об «утрате семантической ценности мира», он выражает научным языком широко распространившееся в западном мире ощущение выхолощенности слов, именуемых «громкими». Истина, любовь, долг и т. п.— все это лишь «слова, слова, слова», лишенные организующей и цементирующей силы. Воинствующая инфантильность разрушает саму картину мироздания, создаваемую усилиями десятков поколений. Мир поп-культуры совершенно расстроен топологически и хронологически, лишен каких бы то ни было ориентиров. Это какой-то хаос, где существует лишь отдельное, единичное — вещи, образы, звуки, где конкретные реалии выхвачены из исторического контекста, лишены всякого содержания, где сам человек возвращен к своей первозданной брутальности. Необычайное историческое богатство — привлекательнейшая особенность европейской культуры; «поп» растрачивает его на орнаментику на манер аппликации, и если при этом и проявляется известная сметливость, то это сметливость «дикаря», прилаживающего к своему оперению какой-нибудь европейский медальон (что «дикарю» — человеку иной культуры — вполне простительно). Отстраненность создает иллюзию некоего превосходства в отношении истории, культуры — иллюзию, призванную скрасить печальную реальность лягушачьего кругозора.

Одна из особенностей поп-культуры состоит в том, что она утверждает себя главным образом с молодым, вступающим в жизнь поколением. Лучшая часть этого поколения отреклась от буржуазного общества, одновременно разделяя, в той или иной степени, основные установки поп-культуры,— это осложняет оценку последней, дезориентирует многих ее критиков.

«Поп» отрицает господствующие традиции буржуазной культуры — в этом его «пикантность». В глазах типичного тинэйджера «поп» являет собою некое культурное «подполье», причем в одну компанию невольно попадают «подпольные» музыканты, художники, режиссеры и т. д. и подпольные, без кавычек, торговцы наркотиками (с потребительской точки зрения такая «куча мала» может быть оправдана, так как и те, и другие заняты, по существу, одним делом: производством бессодержательных ощущений). «Подполье» завораживает наглядностью, грубостью своего отрицания, глумливым оскалом, адресованным равно всему вышестоящему — в смысле социальном — и превосходящему— в смысле нравственном и эстетическом. В нелепом смешении того и другого повинны верхи, немало преуспевшие в деле официально-академического омертвления высокой культуры, верхи, рядящиеся по традиции в унаследованные пышные одежды, глаголящие затверженные громкие словеса. Особенно это характерно для Соединенных Штатов — вспомним Маяковского: «Ни одна страна не городит столько моральной, возвышенной, идеалистической, ханжеской чуши».

Реальности «молодежной культуры» эмпирически выливаются единым по видимости, слабо дифференцированным потоком, где необходимость протестовать обычно столь же ясна, сколь затемнена цель — против чего протестовать, что часто приводит к тесному переплетению совершенно разных протестов. Скажем, демонстрация против милитаризма — это протест социальный, бьющий по буржуазному обществу, порождающему милитаризм. А вот исходящие из среды демонстрантов четырехэтажные срамословия, иногда даже целые небоскребы срамословий, многократно усиленные динамиком,— это уже протест совсем иного рода: против культурной традиции, связанной с определенным строем чувствований и отнюдь не связанной органично с буржуазностью.

Следовало бы различать в «молодежной культуре» две разные сферы: собственно

культурную и социальную. Разумеется, они тесно взаимосвязаны, и все же каждая из них имеет и свои специфические измерения [1]. Критерием антибуржуазности может служить отношение к существующему обществу. Новые левые ищут путей его революционного преобразования, хиппи уходят из него, махнув на него рукой, в идеальном варианте — в пустыню. В обоих случаях антибуржуазность может быть удостоверена, хотя в актив хиппи трудно занести что-то еще, кроме этого «анти». А вот «поп» отнюдь не бунтует против буржуазного общества, принимая отлаженную круговерть жизни как неизбежное, как неоспоримую данность, протестуя лишь против идеализирующей ее интерпретации. «Поп» не зовет ни к борьбе, ни в пустыню — а просто в веселое забытье.

А ведь это забытье может быть обращено (опять-таки в социальной сфере) в сторону, прямо противоположную той, в которую устремляется действительно протестующая молодежь. Не так давно буржуазная газета «Нью-Йорк таймс» верно отметила его в некотором роде родство с «дьявольскими сборищами орущих «Зиг хайль!» юнцов», что некогда устраивались «при отблесках племенных огней». Между прочим, родство фашистских мистерий с новомодным «дионисийством» увидел и М. Ромм в фильме «Обыкновенный фашизм». Параллель может показаться парадоксальной, если учесть отвращение к фашизму у подавляющей части западной молодежи, но ведь надо принять во внимание еще и другое: сплошь и рядом отвращение уживается с незнанием, что представлял собой на деле фашизм. Бытует же, например, и такое представление (это свидетельствует А. Голдмэн), что фюрер коричневорубашечников был «первым великим племенным шаманом и менестрелем в макси-пальто», а это уже образ вполне в духе поп-культуры.

Возвращаясь в сферу культуры, заметим, что веселое забытье, видимо, все-таки не удается. Во всяком случае, веселье не удается. Вот как описывает театр, так сказать, поп-культуры Т. Джаспер: «Там слишком быстро иссякает смех, радость вытесняется пессимизмом. Кажется, что многие песни просто укореняют молодого человека в его мире фантазий и гнетущих сомнений» (автор этой цитаты отнюдь не относится к числу «злых критиков» поп-культуры, напротив — он, как говорится, обеими руками «за»). Характерно усиление тревожно-сюрреалистских мотивов в песенном творчестве Б. Дилана. По словам того же Джаспера, Дилан именно потому сделался столь популярным, что сумел выразить «настроение времени: страшно отворачиваться от реальности, но страшна и сама реальность».

За лихорадочным погружением в «ощущения» неминуемо следует похмелье. Стаи апатичных, одуревших от наркотиков молодых людей, ищущих очередной «встряски»,— эти жертвы поп-культуры сделались уже непременным «украшением» городского пейзажа на Западе. Что это за племя? Изгои, которым авансцена истории заказана, или... может быть, мрачные утопии фантастов не столь утопичны и фантастичны, как это еще недавно казалось? Вопрос для буржуазных наблюдателей головоломный. А. Голдмэну, например, уже видится близкое торжество общества, «в котором люди неприкаянны, как атомы в пустоте, чисто энергетические сущности, без разума, без чувств, без пола, спаренные с машинами — полумашины-полулюди, наподобие кентавров... большие пустые глаза, вялые рты, ничего не выражающие лица детских кукол». Это обескураживающее видение навеяно непосредственными наблюдениями, которых, разумеется, недостаточно для футурологических прогнозов, но приходится признать, что возможности такого будущего объективно заложены в настоящем, в реальностях поп-культуры.

Надо полагать, что протестующая молодежь в дальнейшем будет активнее преодолевать стреноживающие установки поп-культуры. Тем больше оснований надеяться на это, что последняя все решительнее выходит из своего «подполья» на поверхность буржуазной цивилизации, тем самым утрачивая окружавший ее прежде ореол антибуржуазности.

Нельзя сказать, что буржуазные верхи совсем не сопротивляются экспансии поп-культуры. Буржуазия еще не желает отказываться от претензий на пафос. Конечно, это не значит, что ей чуждо то вульгарно-чувственное, что несет с собой «поп»,— можно сказать, что «поп» просто изъял его из сферы частно-бытовой и вынес на площадь (представляется весьма академическим вопрос о том, «лучше это или хуже»). Но буржуазии хотелось бы соблюсти декорум, разыгрывая на той же площади, куда сейчас врывается со своими непотребствами гримасничающий «поп», традиционные парадные церемонии. Для противодействия ему в распоряжении верхов имеются достаточно мощные средства: целая система культурных учреждений, призванных к поддержке существующих традиций.

Несмотря на это, противодействие оказывается вялое, упомянутые учреждения сдают одну за другой важные позиции. Особенно это относится к средствам массовой коммуникации, где судебными решениями снимаются последние барьеры перед грязной волной порнографии и садизма. В литературе и в кино в ряде стран, кажется, уже никаких барьеров не осталось. Телевидение держится несколько упорнее, но и оно постепенно «сдает». Даже школа уже пасует перед натиском поп-культуры: в США, например, в учебные программы средних школ вводится «новый рок».

Можно объяснить подобную бесхребет-

[1] В американской «контркультуре», как ее представляют Т. Рожак и Ч. Рейх («ИЛ» писал о ней, в частности, в № 8 за 1972 г.), эти две сферы не дифференцированы.

ность верхов. Хотя поп-культура, очевидно, расслабляет, дезинтегрирует общество, она вместе с тем практически не препятствует его функционированию, не нарушает его социальной структуры. Это во-первых. Во-вторых, поп-культура расслабляет и дезинтегрирует и те слои общества, которые объективно заинтересованы в его революционном преобразовании и поэтому особенно нуждаются в сплочении — как организационном, так и духовном. По существу, «поп» предлагает модель некоего «разочарованного» конформизма, столь же бездумного, как и старый конформизм. Самому господствующему классу уже трудно удержаться от окончательного сползания в болото. «Поп» демонстрирует ему его «другое Я», и в этом зрелище есть, вероятно, для него что-то очень притягательное.

«Поп» знаменует, таким образом, весьма серьезную трансформацию (понижающую) культуры в рамках капиталистического общества, полностью порывая с традициями высокой культуры. Мы подчеркивали относительную тонкость «корки» цивилизации в Соединенных Штатах, стараясь объяснить, почему именно в этой стране «поп-пузыри» пробились на поверхность особенно бурно. Уточним сейчас, что выход «пузырей» на поверхность достаточно интенсивен и в тех странах, где эта «корка» много толще, что побуждает, например, парижский «Словарь современных идей» скорбеть о «разрушении европейской духовности».

Скорбеть все-таки рано. Конечно, современная буржуазия менее всего подходит для роли продолжательницы традиций классической культуры. Но демократические круги на Западе, особенно в европейских странах, отнюдь не намерены отказываться от своего богатейшего наследства. Именно на их долю выпадает задача (нелегкая задача, если принять во внимание условия буржуазного «массового общества») творческого развития культуры, при сохранении «основных столпов нашей культуры», по выражению В. И. Ленина (употребленному в связи с иного рода — революционаристским — подкопом под культуру). Тех столпов, которыми держится высокость культуры, веками создававшейся выходцами снизу, из толщи народа — в интересах народа.

◆

Н. ДМИТРИЕВА

ЮМОР ПАРАДОКСОВ

(Заметки о стилистике современной западной карикатуры)

Журнально-газетная юмористическая графика складывалась на стыке искусства и журналистики. Как свидетель времени она дает ценный материал историку и социологу. Она по-своему отражала перипетии большой политики, включая подчас и закулисную сторону, отражала борьбу партий, расстановку социальных сил, чередование общественных подъемов и спадов, общественные умонастроения. Она незаменима для истории нравов; по ней можно проследить, на что устремлялись интересы широкой публики, какие сенсации занимали умы, как варьировались обычаи, моды, костюмы и даже что происходило в искусстве: в течение по крайней мере столетия карикатуристы неизменно откликались на все художественные новации, изображая их, конечно, cum grano salis [1]. Неизменное свойство карикатуры — критичность делает ее показания, пожалуй, особенно ценными.

Рассматривая карикатуру как критический репортаж о своем времени, достаточно, в сущности, знакомства с сюжетами карикатур и их подписями («легендами»). Этого недостаточно для изучения юмористической графики как искусства. Такая установка меняет метод исследования и побуждает выделять из всей массы карикатур и карикатуристов художественно значительные явления, отчасти отвлекаясь от злободневной журналистской функции, которую они в свое время выполняли. Путь, естественный для искусствознания, но не обходящийся без потерь — многое остается вне поля внимания, и специфичность карикатуры как жанра ускользает из виду.

Возможен и еще один аспект рассмотрения карикатуры — он и положен в основу настоящей статьи,— когда внимание направлено на характер юмора и его эволюцию. При таком подходе юмористическая графика будет интересовать нас как знамение времени, но не столько как рассказчик о нем, сколько в качестве его симптома. Симптоматична сама манера шутить, острить, высмеивать, издеваться — в словах ли, в рисунке ли или в том и другом вместе. Сколь ни велики индивидуальные и национальные различия в характере юмора, еще больше различия временны́е. То, что смешило наших предков, редко смешит сейчас, если только оно не модернизировано в соответствии с нынешним чувством комического (например, в современной режиссерской интерпретации старинных комедий). Карикатуры былых эпох вызывают у нас скорее отклик исторической любознательности, чем отклик юмора. Нас способно увлечь исследование современного ученого о средневековой «смеховой культуре», но сомнительно, чтобы тогдашние карнавальные травестии [1] могли бы сейчас вызвать не то что громовой смех, а хотя бы улыбку, которую вызывает самый непритязательный, зато сегодняшний анекдот.

Даже материал для смеха более устойчив, чем способ его кроить. Соленые «галльские шутки» (веселые непристойности), антиклерикальная сатира, уподобление

Статья первая. Заметки эти являются частью подготовляемой книги о современном юморе в различных областях искусства и не ставят перед собой задачу сколько-нибудь полного исторического и социологического обзора развития карикатуры.

[1] «С крупинкой соли» — с долей насмешки, иронически *(лат.)*.

[1] Одно из значений — вид юмористической поэзии, близкой к пародии *(итал.)*.

людей животным, портреты-шаржи, гротески — все это переходило из века в век и доныне существует, но в постоянно меняющейся юмористической интерпретации.

С убыстрением общественной эволюции убыстряются и метаморфозы юмора, так что различные его типы и оттенки не успевают вытеснять друг друга и существуют одновременно, получая лишь перевес у разных социальных и возрастных групп. В «Онегине» упоминается «старик, по-старому шутивший, отменно тонко и умно, что нынче несколько смешно». Смешны не остроты старика, а смешон его устаревший способ острить, восходящий, вероятно, к изысканным «mots» [1] XVIII столетия. Шутки старца отнюдь не кажутся поэту плоскими, они «отменно тонки и умны», но, очевидно, чересчур искусственны на вкус молодежи пушкинского поколения. Она уже не может забавляться ими непосредственно, хотя может оценить их тонкость.

Карикатура, или — шире — юмористическая графика, живет сегодняшним днем, обращена на публику, рассчитана на ее внимание. Она не может позволить себе роскошь оставаться непонятной или неинтересной для большинства. Поэтому по ней можно судить о преобладающем или, во всяком случае, достаточно распространенном типе юмора. Он реализуется в стиле карикатуры, включая и графическую, и смысловую сторону.

■

Стилевая метаморфоза юмористического рисунка в XX веке улавливается даже беглым взглядом. Особенно крутые перемены произошли в послевоенные десятилетия — в 50-е и 60-е годы.

Какой тип юмористической графики господствовал в начале века? Возьмем в качестве примера графику французской «бель эпок». Тогда в журналах «Рир», «Ви паризьен», «Асьет о бер» и других (их было множество) преобладали «картинки» — комические сценки на злободневные политические, а чаще бытовые темы, где карикатурные деформации были, в сущности, минимальны. Так рисовал и знаменитый Форен, король французской юмористики, никогда слишком не карикатуривший, что не мешало ему быть острым и желчным сатириком. Рисунок Форена легок и артистичен (общепризнанна его близость к Дега), композиции немногословны, но решены в пространственной среде, с соблюдением перспективы и естественных пропорций; это как бы воображаемые зарисовки, близкие к бытовому жанру, иногда метафоризированному, с характерным типажем, с прозрачными намеками на злободневные события.

Чуждались «варварского» окарикатуривания также Стейнлен, Вильет и Гильом. И у них — по преимуществу «картинки нравов» с типичными персонажами светских бонвиванов, жуликоватых политиков, буржуа, финансистов, военных, снобов, завсегдатаев кабачков, гризеток, слуг, а у Стейнлена — и рабочего парижского люда, к которому он относился с нескрываемой симпатией. В общем, связь журнальной карикатуры и с репортажем, и с критическим бытовым жанром была еще очевидна.

Обильно публиковались и карикатуры в собственном смысле слова, прямо следующие правилу преувеличивать и искажать, заложенному в самом термине «карикатура». Пожалуй, самым популярным приемом карикатурной деформации были непропорционально большие головы на маленьких туловищах (прием, введенный в обиход карикатуристов Андре Жилем еще в 70—80-х годах XIX века). Обычно такого рода карикатуры были перегружены предметными атрибутами и, несмотря на шаржированность рисунка, моделированы светотенью. Выглядели они довольно тяжеловесно.

Тяжеловатая затейливость отличала и внешний вид изданий «бель эпок», декоративное оформление обложек, титульных листов, густо разрисованных прихотливыми виньетками, разномасштабными фигурками, картинками в виньеточных обрамлениях. Шрифт заголовков был гнутым, вычурным, узорным. Это так называемый «стиль лапши», декоративный модерн в его расхожих формах. С теми или иными вариациями он употреблялся в Европе повсюду. Аналогию ему можно найти и в русских журналах типа «Осколков» и «Стрекозы».

Гротески и арабески в стиле лапши сами по себе не очень смешили, а были, скорей, привычным декоративным гарниром. Смеялись же над сюжетом, над смыслом (или двусмысленностью) рисунка, выражаемым подписью, или даже без подписи — серией рисунков, последовательно раскрывающих сюжет (такие «комиксы» были распространены уже тогда). Карикатурные деформации являлись, в сущности, излишеством — самыми лучшими карикатуристами были некарикатуристы, художники типа Форена — тонкие наблюдатели.

Ценнейшим их качеством была осведомленность и искусство намека на конкретных лиц и конкретные события. Для художника — автора карикатур — чрезвычайно важно было иметь доступ в определенные круги, «вращаться», знать из первых рук, что, кто, как и где.

В 1910-е годы стиль лапши постепенно отмирал и окончательно исчез после первой мировой войны. Почерк карикатуры изменялся: стирался разрыв между комической «сценкой» и карикатурой, как таковой; «сценки» становились более условными, а деформации приобрели характер более лаконичный, а вместе с тем и более меткий: возникли отточенные сатирические маски. Однако критически-информационная роль юмористического рисунка сохранялась долго.

Александр Бенуа в 1937 году в Париже опубликовал статью о выставке «Салона юмористов». Любопытно, что он в этой

[1] Остроты *(франц.)*.

статье продолжает судить об юмористах преимущественно (и почти исключительно) как об остроумных наблюдателях и свидетелях, создающих «необычайно достоверные документы». Бенуа сожалеет, что никто сейчас систематически их не собирает: «Как были бы благодарны будущие поколения, если бы и они увидали толковый отбор сценок, которые с разительной остротой рисовали бы наш быт».

Характеризуя отдельных карикатуристов, он прежде всего отмечает, какие именно слои общества являются их специальностью. «Специальностью Жанти... является быт среднего француза, к тому же провинциального оттенка». «Фэвр вращается в слоях повыше. Это мир финансов, это мир gros и даже grands bourgeois; его жертвами являются профессора, банкиры, члены парламента, доктора, судьи и т. д.». «Гильом — тот вхож в круги парижского upper ten, он плавает в сливках сливок и изучил замашки этого недоступного мира до самых тонкостей... Именно благодаря тому, что Гильом свой человек и в будуаре, и в шато, и на любом балу или великосветском базаре, что он бывает и за кулисами, и в кутюрных домах,— он схватывает такие вещи, такие нюансы, которые людям менее посвященным недоступны. И вот, хоть художник он не бог весть какой, Гильом все же ценнейший «свидетель времени» и достоверейший летописец культуры нашего времени».

Позиция Бенуа по отношению к юмористической графике в 30-е годы была уже несколько архаичной. Несмотря на свое тонкое критическое чутье, Бенуа не сумел разглядеть новых тенденций. И сам он, и Фэвр, и Гильом, о которых он пишет, приближались тогда к своему семидесятилетию и принадлежали больше предшествовавшему времени, чем наступавшему.

Статья Бенуа написана в 1937 году, а в следующем, 1938 году, накануне второй мировой войны, начал выходить юмористический листок «Ос а муэль» с шокирующим подзаголовком «Официальный орган свихнувшихся». Этот листок, где участвовали молодые сотрудники популярного юмористического органа «Канар аншене» (в том числе Жан Эффель), и был во Франции первой ласточкой того юмора нового типа, который в полной мере развернулся и овладел прессой уже в послевоенные годы.

«Свихнувшиеся» (или, может быть, следует перевести «чокнутые») навряд ли могут быть свидетелями своего времени в том традиционном смысле, какой вкладывал в это понятие Бенуа. Сценки, которые они рисуют, не могут происходить нигде ни в какое время. Кинозритель отрубает голову сидящей впереди него даме, так как она загораживает ему экран; почтальон на кладбище разносит письма по семейным склепам; кентавр на длинном велосипеде догоняет велосипедистку, крутя колеса всеми четырьмя ногами; джентльмен, здороваясь, снимает вместе со шляпой голову. Какие уж это «достоверные документы»! Нет в них и прямого аллегоризма, позволяющего зрителю проявить проницательность и воскликнуть: «А, вот что тут подразумевается, вот во что он метит!» Во что, в самом деле, метит изображение кентавра на велосипеде? Что именно художник изобличает, осмеивает, выводит на чистую воду? Такие вопросы, естественные для тех, кто не привык к «новому юмору», остаются без ответа, и вопрошающие склоняются к мысли, что это всего лишь пустое и бессмысленное зубоскальство.

Между тем «чокнутые» карикатуристы — тоже свидетели своего времени, только на иной лад. Их свидетельства — не документы, по которым реконструируются быт, нравы и пороки такого-то слоя общества, а, скорее, отпечатки причудливых процессов в сознании общества. Общества, которое ни в чем не уверено.

Общество, имеющее более или менее устойчивые представления о должном и недолжном, положительном и отрицательном, нормальном и ненормальном, нравственном и безнравственном, склонно к сатире. Юмор сатиры направлен на уловление несоответствий между должным и недолжным; даже сатирик-пессимист, видящий в жизни сплошное царство «недолжного», все же имеет в своем представлении модель «должного», пусть и не очень отчетливую, но признаваемую им общезначимой, и с ней мысленно сопоставляет наблюдаемое.

Когда же отстоявшиеся понятия должного утратили значение категорического императива и воспринимаются как бессодержательное общее место, а впереди видится лишь бесконечный ряд вопросительных знаков,— соответственно понижается значение целенаправленной сатиры, зато возрастают акции юмора как выявления несообразностей и странностей везде и всюду без исключения. Есть в этом тотальном юморе элемент цинизма, но есть, вероятно, и очистительное начало — своего рода комический катарсис.

В первые десятилетия века еще преобладала сатира. Но она мельчала, и жало ее притуплялось — не потому, что уменьшалось количество зла, а потому, что тускнело и теряло определенность представление о добре, о должном во всей его масштабности. В двадцатые годы сатира пережила новый подъем, связанный с пролетарским революционным движением (особенно в Германии — Г. Гросс, Дж. Хартфильд), который постепенно затухал в 30-е годы. Но на долю буржуазной сатирической графики оставались перепевы все тех же наскучивших мотивов — о взятках чиновников, о тщеславии нуворишей, о суетности дам. Казалось, все тут было исчерпано, становилось пресным, переставало смешить. Никакому Гильому, сколько бы он ни изучал замашки парижского «большого света»,

---

Н. ДМИТРИЕВА
ЮМОР ПАРАДОКСОВ

не дано было подняться до истинного сатирического пафоса Домье. И тогда на авансцену вышли «чокнутые».

Для характеристики их юмора — нового типа юмора — исчерпывающего термина не придумано. Гротеск, ироническая буффонада, парадокс?.. Все это плюс еще что-то? Часто употребляются слова «insolite», «bizarre», «gag» [1]. Понятием «черного юмора», если разуметь под ним мрачную юмористику кошмаров и кровопролитий, новый юмор не покрывается, так как в этом духе создается и много веселых, легких, совсем не обязательно «черных» выдумок.

Один из исследователей журнальной карикатуры, Жак Лефев, говорит: «Легче констатировать, чем определить, новый тип юмора, который получает развитие начиная с 30-х годов, черпая из разных источников». В качестве источников называют обычно англо-саксонскую традицию устного анекдота, влияние американской карикатуры — художников, группировавшихся вокруг журнала «Нью-йоркер» (где «юмор странностей» появился несколько раньше, чем в Европе), влияние Кафки, а главным образом воздействие сюрреализма. «Движение сюрреализма,— пишет Лефев,— оцененное сначала лишь очень узкими кругами, а широкой публикой сочтенное за чистейший вздор, мало-помалу подготовило умы к принятию странностей и затем к открытию, что мир устроен не столь рационально, как полагали прежде».

Конечно, сведение особенностей современной карикатуры к влиянию сюрреализма не очень многое уясняет, поскольку и само возникновение сюрреализма нуждается в объяснении. Но известная общность тут действительно есть: вкус к странностям и убеждение в том, что «мир устроен не столь рационально, как полагали прежде». Однако карикатура по своей природе не может быть ни вполне иррациональной, ни абсурдистской, потому что тогда не остается места юмору. Юмор находит неожиданные, непривычные с в я з и между вещами. В царстве бессвязности и сплошного алогизма юмору нечего делать — разве только сопоставлять это царство с «рациональной» моделью мира; тем самым за последней признается право на существование, хотя, может быть, ограниченное право. Юмор уличает ее в узости. В алогизмах же вскрывает особую прихотливую логику, как бы вторичный логический ряд, возникающий на развороченной почве привычной логики. Некий альянс с абсурдом можно считать характерной чертой нового юмора — но только альянс, а не слияние. Где слияние, там юмор исчезает.

Фишер. «Кентавр».

[1] Странный, чудной, необычный *(франц.)*.

Почему кентавр на велосипеде и почему вообще кентавр? Сцены «из жизни кентавров», а также сирены, сфинксы и другие гротескные существа довольно широко распространены в юмористической графике (упоминаемый рисунок принадлежит Гансу Фишеру). Можно предположить, что кентавр популярен по той же причине, по какой сюрреалисты пристрастились к минотавру — получеловеку-полузверю, соединению мыслящей головы с инстинктивной сущностью. Если это «обличение», то обличение человеческой природы вообще. Но кентавр не воспринимается как сатира на человека, подобно свифтовским йеху: он не внушает отвращения, он просто существует и действует согласно своей натуре. Его поведение в предполагаемых условиях по-своему логично, именно эта логичность и смешит. Если кентавру захочется поймать девицу, едущую на велосипеде, он сам сядет на велосипед особой конструкции и наверняка догонит девицу, так как у него вдвое больше ног, чем у нее. Если тщеславному кентавру хочется быть красивым, он, естественно, прибегает к косметике: на другом рисунке Фишера унылый живописец гримирует кентавра под арабского скакуна, разрисовывая ему круп черными яблоками. У кентавра человеческие руки, но лошадиные ноги: он одновременно подставляет копыто кузнецу, а руки — маникюрше (это уже рисунок итальянского карикатуриста Кавалло). И так далее. Кентавр ставится в различные житейские положения и поступает в соответствии с ними: чем логичнее он поступит, тем забавнее, поскольку алогично исходное допущение. Мир нарушает логику в большом масштабе, но держится за нее в мелочах и частностях.

Несоответствие между странностью общей ситуации и «обычностью» поведения внутри нее — или абсурдные общие результаты, к которым приводит обманчивая логика поступков,— вот один из подтекстов современного юмора с его культом странного и гротескного, озорного и чудаческого.

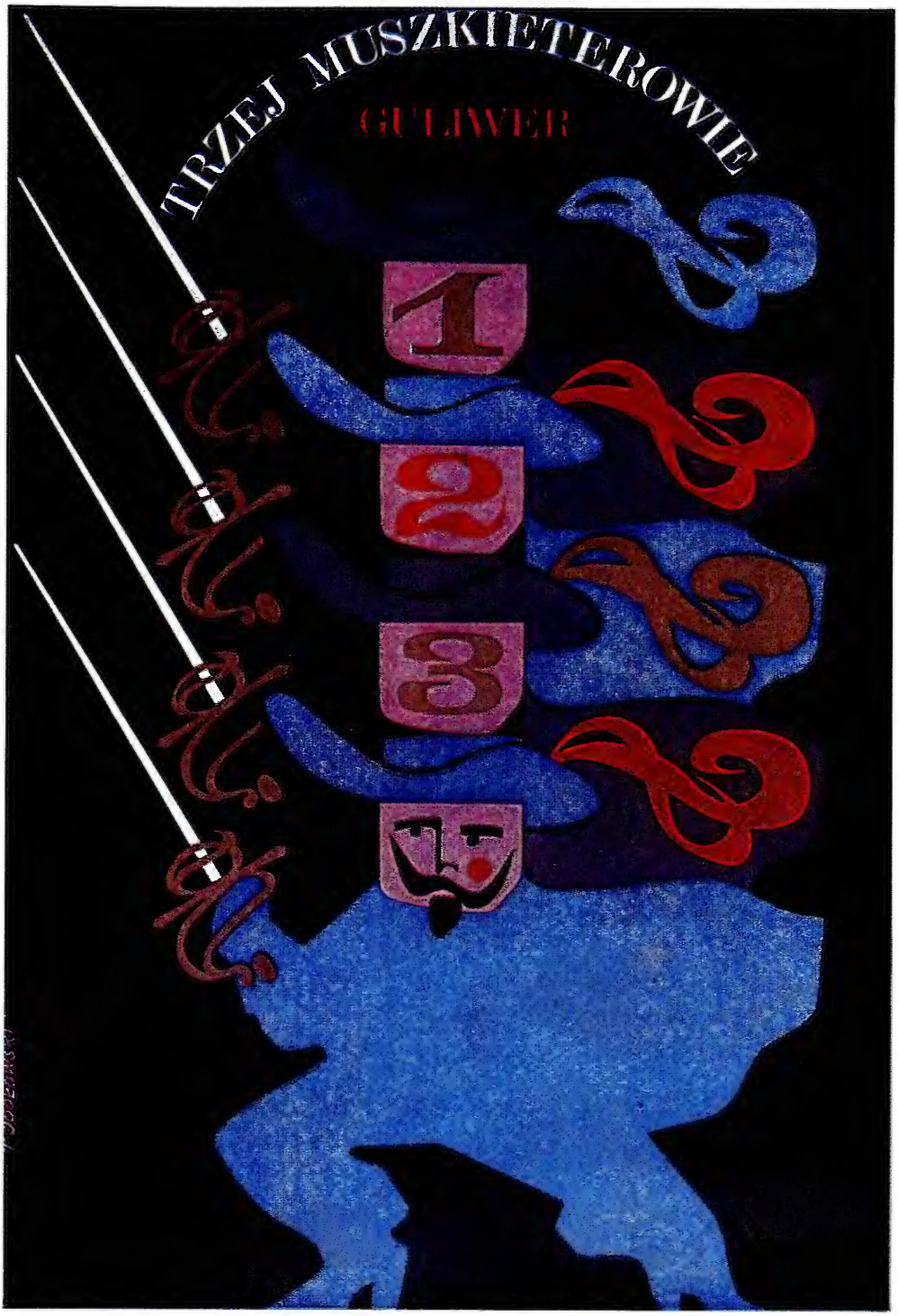
При этом юмор становится более философичным и созерцательным, чем обличающим, он направляется в большей мере на ситуацию мира в целом, чем на критику конкретных его пороков и их носителей. Элемент репортажа почти совсем исчезает из области юмористической графики. Героем карикатуристов становится некий обобщенный «человечек» — представитель злосчастного человеческого рода. Он вытесняет и замещает собой типажные маски, характерные для карикатуры предшествующего времени: чиновника, военного, бюрократа, буржуа, щеголя и т. д. В нынешней карикатуре есть тенденция к приведению их всех к общему знаменателю «человечка», который сам играет все роли человеческой комедии. Он и мужчина, и

Плакаты Тадеуша Иодловского

Плакат ко Дню Возрождения Польши.

Цирк.

Цирк.



Афиша к спектаклю «Три мушкетера» (театр «Гуливер»).

VIII Международный фестиваль современной музыки «Варшавская осень».

женщина, и ребенок; он начальник и подчиненный; генерал и солдат; он и поэт, и критик, и даже муза поэта; он — современный обыватель, и он же выступает в доспехах средневекового рыцаря, в шкуре пещерного жителя; он не отрицательный и не положительный, он — существо, которым действительность манипулирует на все лады.

Ныне чуть ли не всякий уважающий себя карикатурист имеет собственный вариант «человечка». Ремесленные карикатуристы заимствуют его в готовом виде у карикатуристов творческих, которые его создают.

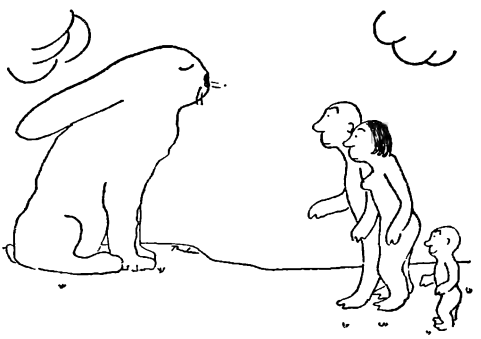
У Сола Стейнберга «человечек» — с большим угловатым носом, угловатым подбородком и черточкой вместо рта, явно меланхолического темперамента. У Джеймса Тербера «человечек» очерчен одной кривой линией, без углов, мягкий и податливый, как ватная кукла, с ластообразными конечностями. Запоминающегося «человечка» создал французский карикатурист Морис Сине: у этого персонажа толстый нос, свернутый набок, сдвинутые к переносице глаза-нолики и большой рот; его первоначальным вариантом была кошка — героиня первой графической серии Сине, доставившей ему широкую популярность. «Человечек» Альбера Дюбу — с вытаращенными глазами, усатый (и даже дети усатые), куда-то мчащийся, бестолково воинственный.

Можно было бы долго продолжать обзор масок «человечка». Общим, пожалуй, является во всех случаях умышленный примитивизм «человечка», инфантильный характер его изображения, роднящий его с героями «сграфитти» — каракульного фольклора стен и тротуаров.

Этого универсального страдательного героя юмористы подвергают всевозможным экспериментам, ставят его во все мыслимые и немыслимые положения. Нередко он так и фигурирует — как человек вообще, как Адам со своей Евой, претерпевающий всяческие превратности. Юмористические притчи в рисунках на темы судеб человеческого рода становятся распространенным жанром. Характерный пример — серия «Сотворение мира» Жана Эффеля (о ней позже) и причудливые параболы известного американского художника и писателя Джеймса Тербера — «Бега жизни», «Новая естественная история», «Последний цветок».

В «Бегах жизни» три «человечка» — мужчина, женщина и ребенок,— нагие, совершают загадочное путешествие по пустынной земле. Они шагают в нарастающем темпе, потом бегут, падают, перепрыгивают через потоки, карабкаются на горы, делают привалы и бегут снова; их настороженный, напряженный вид и лихорадочная устремленность находятся в странном несоответствии с отсутствием стоящей цели: за цель может быть принято что угодно — мираж, детская игрушка в виде крошечного воздушного замка. В дороге семейство встречает опасности и препятствия — например, гигантского кролика, перед которым они застывают в страхе, а потом с облегчением бегут дальше, видя, что кролик им не угрожает.

В предисловии Тербер говорит, что эта серия из 35 рисунков может представлять или историю жизни, или историю нескольких дней, или одного месяца — каждый



Дж. Тербер. Из серии «Бега жизни».

вправе интерпретировать ее по-своему; можно также менять по усмотрению последовательность сцен, останавливаться или возвращаться вспять. Что же касается огромного кролика, он «может быть неперейденным мостом, который на первый взгляд кажется тем мостом, что каждый сжигает после себя, или он может быть преждевременно сосчитанными цыплятами, или внезапным телефонным звонком, или ночной мыслью, или неясным свистящим звуком. Более чем вероятно, что он является невскрытой телеграммой, которая по вскрытии оказывается не содержащей предполагавшегося убийственного известия, а всего лишь что-нибудь невинное вроде: «Нашлись ли мои очки в серебряной оправе?»

Таким образом: бесцельность, пульсирующая напряженность с короткими передышками, неведение, тайные страхи и непостижимая воля куда-то спешить и спешить — вот «бега жизни» современного человека. Это достаточно явный смысл серии, как бы свободно и субъективно ни расшифровывались ее шутливые символы (Джеймс Тербер иронически предлагает любую расшифровку — на выбор).

Может быть, следует особо отметить тему страха в этом комплексе современного сознания. Что пугает людей? Не столько то, что несет в себе явную и реальную угрозу — к таким опасностям привыкают и принимают их как житейскую данность, сколько нечто неведомое: какой-нибудь «неясный свистящий звук». Смещены масштабы эмоций. Герои Тербера довольно отважно бросаются в бурные потоки и спускаются в пропасти, но цепенеют при

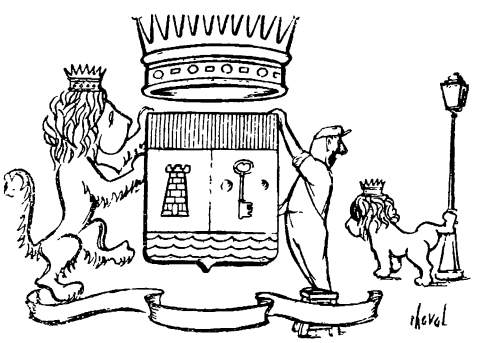
Н. ДМИТРИЕВА
ЮМОР ПАРАДОКСОВ

виде огромного кролика. Этого они боятся — ибо «мир устроен не столь рационально, как полагали прежде».

Подобные мотивы мы находим и у других мастеров юмористической графики. Вот, например, четыре рисунка французского карикатуриста Семпе. Дети у телевизора. Сначала по телевизору показывают войну — выстрелы, взрывы, погибающие люди. Дети смотрят спокойно. Рисунок второй: кто-то кого-то закалывает ножом. Дети невозмутимы. Третий: на экране взрыв атомной бомбы. Дети равнодушно смотрят. И четвертый рисунок: на экране волк с разинутой пастью типа диснеевских мультипликаций — дети вопят от ужаса.

В психологии современного цивилизованного человека фиксируются все те же темные, первобытные страхи, что одолевали пещерного жителя. И когда они подаются во всем ассортименте нынешней цивилизации — телевизоры, ЭВМ, самолеты, космические ракеты,— гротескный эффект неотразим. Современные карикатуристы очень любят изображать и первобытных людей такими же, как мы: они так же сетуют на испорченность своей молодежи, раздают автографы (ставя крестики), отдыхают, читая письмена на каменных плитах, и при этом поглаживают по голове, как домашнюю кошечку, какого-нибудь динозавра.

Типичные «человечки» юмористов не только нарисованы «по-детски» — они инфантильны по своему поведению, по мотивам своих поступков. Даже если поступки

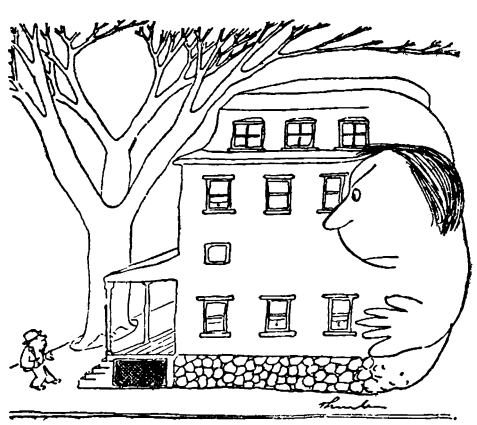


Шаваль. Рисунок со львом.

ужасны. Даже когда «человечки» терзают и убивают друг друга, их злодеяния — род неразумной детской игры. Юмор, открывающий в преступнике ребенка и в ребенке преступника, подвергает сомнению наличие твердых барьеров между невинностью и злонамеренностью; универсальный «человечек» является и жертвой и губителем — жертвой самого себя и губителем самого себя.

В серии Тербера «Последний цветок», состоящей из 54 рисунков, из невиннейшего цветочка неотвратимо вырастает мировое зло. Если после сокрушительной мировой войны, уничтожившей цивилизацию, на земле останется хотя бы один цветок, один мужчина и одна женщина — цикл начнется сначала и опять приведет к гибели цивилизации. Уход за слабеньким цветком сближает мужчину и женщину и рождает любовь, любовь вызывает волю к созиданию, снова строятся дома, приручаются животные, снова появляются певцы, художники, ремесленники, изобретатели колеса, а потом и политики, и ораторы, и солдаты, и генералы, и новая мировая война, еще более сокрушительная. Все действующие лица этой юмористической мистерии одинаковы, вернее, их всего двое; Адам становится и певцом, и сапожником, и солдатом, сам воссоздает, что разрушил, и сам разрушает, что создал. И все это напоминает злые проказы Макса и Морица из детских книжек Вильгельма Буша (где, кстати сказать, предвосхищены многие стилевые особенности новейших карикатур).

Не все, конечно, современные юмористы склонны к таким глобальным обобщениям, как в параболах Тербера, но как тенденция это характерно: именно ощущение парадоксальности общего хода вещей побуждает обыгрывать всякого рода нонсенсы. Как уже замечалось, это по-своему логичные нонсенсы. Вполне современные типы мышления лежат в их основе. Например, прием допущения. Допустим, что дано то-то и то-то,— что отсюда может воспоследовать? На этих «допустим, что...» сейчас основываются даже программы специальных занятий по развитию творческого изобретательного мышления. Мир должен быть готов к неожиданностям, к вероятным и даже невероятным вариантам своей дальнейшей судьбы. Чтобы мысленно моделировать варианты, требуется не только конструктивная фантазия, но и чувство юмора; или, может быть, остроумие является непременным условием гибкой конструктивной фантазии. Поэтому в XX веке «ученые шутят».



Дж. Тербер. «Дом».

Шутки карикатуристов идут по руслу максимально экстравагантных допущений — в отличие от юмора научной фанта-

стики здесь вовсе не требуется иллюзии правдоподобия, напротив, допущение может быть сколь угодно абсурдным. Конструируется невероятная ситуация, имеющая свою логику — логику невероятного, забавно похожую на обычную житейскую логику. Сторожу зоопарка скучно в одиночестве — он играет в карты с обезьяной. Одному из геральдических львов, держащих герб с короной, понадобилось отойти по нужде — он отходит к фонарному столбу и поднимает ногу, а вместо него герб поддерживает работник, нетерпеливо оглядывающийся на льва — скоро ли тот отделается. Тюлень очутился в спальне пожилых супругов и взобрался на спинку кровати. Проснувшийся супруг обеспокоен странными звуками — не воры ли? Более уравновешенная жена его успокаивает: «Все в порядке, не волнуйся — это лает тюлень». Двое фехтовальщиков: один срезал другому голову шпагой и отступает с извинениями, а обезглавленный вежливо говорит: «Ничего, пожалуйста».

Дж. Тербер. «Тюлень».

Допущение — «явились пришельцы из космоса» — тоже имеет в юмористической графике свои варианты и неожиданные ходы. Такой ход придумывает, например, уже упоминавшийся Семпе. Если пришельцы в один прекрасный день приземлятся под окном у мирного обывателя и войдут к нему в комнату — какова будет реакция обывателя? Изумление, растерянность? Нет, обыватель не расположен слишком удивляться. Он захочет сам удивить гостей, чтобы те не задирали нос. Но чем? Самое удивительное, по его разумению,— это карточные фокусы. Он усаживает инопланетян за стол и говорит им: «Так, вы, значит, прилетели на этой штуке? (За окном видна «летающая тарелка».) Ну-ка, возьмите из колоды карту, все равно какую». И три существа, похожие на чертенят и на мышей, с антеннами на головах, присмиревшие, с робким любопытством смотрят на карты.

Особый тип допущений: «допустим, что люди на деле осуществляют свои потаенные желания». Юмор карикатуры А. Франсуа — господин в кинозале обезглавливает даму, сидящую впереди,— основан на этом. Голова в шляпе, которая маячит перед глазами, загораживая экран, вызывает у сидящего сзади тайное кровожадное желание снести ее с плеч. На самом деле он этого не сделает, но если бы он своих желаний не подавлял, то... Аналогичный мотив у Семпе: за столом, друг против друга, муж и жена. Муж мысленно запускает в жену бутылкой, откусывает ей нос, разбивает череп, бросает на пол и закалывает. Эти картины витают в его мечтах; в действительности он всего лишь бросает в жену хлебным катышком, жена в ответ, мило улыбаясь, грозит ему пальцем.

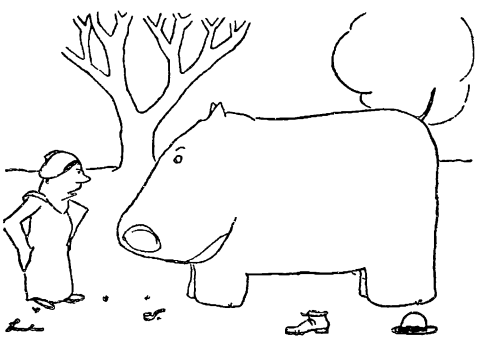
А. Франсуа. Из серии «Татуировки».

Соблазнительно легко усмотреть тут влияние учения о подсознательном, фрейдизма, юнгианства. Но Джеймс Тербер в статье «Леди на книжном шкафу» довольно едко отзывается о критиках, желавших во что бы то ни стало истолковать его карикатуры в духе фрейдизма. «Ученики Юнга разъяснили мне, что Лида и Женщина в доме (героини двух карикатур Тербера.— Н. Д.) — олицетворения anima — женской сущности, или прямое излучение Подсознательного Мужчины».

Н. ДМИТРИЕВА
ЮМОР ПАРАДОКСОВ

Сложные наукообразные построения предлагались также для объяснения других его рисунков, в частности такого: толстый гиппопотам, возле него валяются башмак, шляпа и трубка; женщина, уперев руки в бока, грозно спрашивает у гиппопотама: «Что ты сделал с доктором Милмосом?»

На самом деле, как пишет Тербер, ключ к его рисункам проще. Гиппопотам «был нарисован для забавы моей маленькой дочери. Что-то в выражении этого существа, когда я его нарисовал, подсказало мне, что оно недавно съело человека. Я добавил шляпу, трубку и миссис Милмос, после этого подпись легко придумалась. Моя дочь, которой было тогда два года, тотчас же определила животное. «Это типпопотам»,— сказала она. «Нью-йоркер» был не так проницателен. Они обозначили этот рисунок в своей картотеке так: «Женщина с неведомым зверем»,— хотя «Нью-йоркеру» было в то время уже девять лет».



Дж. Тербер. «Гиппопотам».

При всем том нечто от «подсознательного» в работах Тербера, видимо, есть. Современный юмор, пользуясь той или иной методологией, в то же время ее самое пародирует. Забавно интерпретируя тему «подавленных желаний», карикатура одновременно пародирует фрейдизм и неофрейдизм. Сюрреалистские карикатуры действительно перекликаются с «серьезным» сюрреализмом, но и смеются над ним. Пользуясь методом допущений, пародируют метод допущений. Аналогично обстоит с современным гривуазным юмором, рисунками эротического свойства. Мишель Рагон справедливо замечает, что «этот жанр, очевидно, не может привлекать любителей порнографии, поскольку является карикатурой на нее».

По той же причине понятие «черного юмора» по отношению к карикатуре довольно условно. Какие бы кровавые сцены в ней ни изображались — они слишком явно не настоящие. Никто не примет всерьез отрезанную голову фехтовальщика, изображенного Тербером. Так же как и даму, завтракающую, макая кусочек хлеба в раскроенный череп своего мужа, у Мориса Сине. Есть большая разница между подобными сценами в кино, в живописи, в романах — и в карикатуре. В последнем случае они содержат долю насмешки над «искусством жестокости» и уже в силу этого не принадлежат к искусству жестокости, хотя и заимствуют его приемы.

Современная карикатура преисполнена духа безграничной самоиронии. Она живо подхватывает актуальные течения мысли, гипотезы, методы, умонастроения, проникается ими и, отражая их в своем зеркале, смеется над ними. Только это смех не со стороны, не извне, как в традиционной сатире, а смех как бы изнутри, самоанализирующий, который ничего не противопоставляет осмеиваемому, а лишь препарирует состав, именуемый «современным западным человеком», частью которого является и сама карикатура, и сами карикатуристы.

В приступе самоиронии не щадятся никакие мыслительные клише (не только «плохие», а и «хорошие» тоже), развенчиваются любые догмы, подвергаются сомнению любые императивы. Этому, в частности, служит излюбленный прием — фигуративная буквализация популярных изречений, моральных сентенций, законодательных параграфов, правил, иносказательных выражений, вообще всех застывших «итогов мудрости земной».

На приеме язвительного остранения афоризмов посредством их офигуривания построена известная серия Мориса Сине «Пословицы». Имитируя детскую непосредственность, Сине рисует образ, возникающий по ассоциации с поговоркой. Это

М. Сине. «Нельзя ударить женщину даже цветком».

напоминает распространенную ныне методику психологических тестов — и опять-таки ее пародирует.

Вот некоторые из ассоциаций Сине. Пословица: «Скажи мне, где ты бываешь, и я скажу, кто ты» — рисунок изображает

М. Сине. «Пока есть жизнь, есть и надежда».

будку писсуара. Пословица: «Счастливые народы не имеют истории» — на рисунке человечек держит огромную толстую книгу «История Франции». «Несчастье одних — счастье другим» — дама в траурном платье весело отплясывает на надгробной плите. «Всегда возвращаются к своей первой любви» — дряхлый дед с наслаждением ест мороженое «эскимо». «Любовь слепа» — нищий слепой амур в черных очках просит милостыню. «Нельзя ударить женщину даже цветком» — муж бьет жену кактусом. И наконец такое: «Пока есть жизнь, есть и надежда» — живой человеческий обрубок бодро ухмыляется, сидя в луже собственной крови.

Даже правила уличного движения парадоксально переосмысливаются юмористами. Рука с указующим перстом — дорожный знак, показывающий, куда идти,— в рисунках Сола Стейнберга вырастает до тягостного кошмара: огромный вытянутый палец преследует унылого «человечка», гипнотизирует его, как удав кролика. На рисунке Моза бешеные школьники линчуют прохожего, а их преподаватель наставительно указывает потерпевшему на дорожный плакат: «Внимание! Школа!»

Юмор парадоксов, странностей и причуд сам по себе, конечно, не исключает ни политической сатиры, ни сатиры нравов — этих двух китов карикатуры, но изменяет их традиционный характер. Тот же Сине не только не чуждается политики, но обладает яростным темпераментом бунтаря. Целых пять пословиц в его альбоме иллюстрируются одним и тем же рисунком: «человечек» с видимым наслаждением наподдает под зад некоему военно-полицейскому чину — как видно, образ навязчивый и желание наподдать очень сильное. Франсуа, Моз, Трез могут рассматриваться как сатирики нравов, Боск — как обличитель военщины. Однако сатира выглядит у них чем-то вторичным по отношению к парадоксу, побочным эффектом парадокса — отсюда, с одной стороны, меньшая степень ее социальной конкретности, с другой — тенденция к расширительности.

К примеру, рисунок Шаваля «Как самому построить противоатомное убежище» — рисунок сатирический, высмеивающий бессмысленность всяких «успокоительных» инструкций и обтекаемых формулировок по поводу опасностей атомной войны. «Инструкция» Шаваля начинается советом: раздобыть дыру и перетащить ее подальше от города. Изображен человечек, занимающийся перетаскиванием дыры. Дальше идет серия таких же экстраабсурдных поступков. Их нагнетание как бы самоцельно — оно уводит зрителя от прямой сатирической мишени, переселяет его в «мир наизнанку»; перетаскиваемая дыра становится каким-то более универсальным символом.

Ирония неудержимо распространяется на все и вся, приобретает характер жизненной философии, специфической точки зрения на мир. И даже в тех случаях, когда карикатура обладает вполне конкретным прицелом, скажем, сделана на тему последнего газетного сообщения,— она стремится сохранить, так сказать, всеобщность и нелицеприятность иронии.

Р. Дж. Прайс, сотрудник «Панча» — старейшего английского юмористического журнала, отметившего в 1966 году свой 125-летний юбилей, так формулировал его нынешнюю задачу:

«Панч» старается пускать свои стрелы во всех направлениях и не позволяет причислять себя к чьей-либо определенной точке зрения — правой, левой или центра... Может быть, при каждой смене правительства он и склонен стать на сторону оппозиции, но ни одна партия и ни один деятель не могут рассчитывать на его постоянную поддержку. Он все время ищет новые мишени и новые способы разделаться с ними... Цель «Панча» — не отстаивать последовательно какую-либо точку зрения, а показывать непоследовательность всех точек зрения и тем самым — стимулировать, дразнить и развлекать».

Дело здесь, видимо, не только в непохвальной политической бесхребетности «Панча». В декларировании своей независимости от всех группировок (даже если это лишь декларация, которая на практике, очевидно, не выдерживается и соскальзывает к зависимости) отразилась общая тенденция современной западной юмористики — выступать в роли «адвоката дьявола». Только «адвокат дьявола» в средние века задавался целью специально выискивать грехи и пороки у любого претендента на

Н. ДМИТРИЕВА
ЮМОР ПАРАДОКСОВ

высокую должность, а нынешний «новый юмор» — вскрывать внутренние несоответствия, непоследовательности, ростки абсурда в любом поведении и мировоззрении, в любом сгустке житейской мудрости, в любом социальном институте и, наконец, вообще в человеческой натуре.

Казалось бы — тотальная ирония способна привести к всеотрицанию, к нигилизму. Но практически она чаще приводит к чему-то вроде всеприятия, правда лишенного всякого пиетета перед тем, что приемлется,— к ироническому приятию. Ведь если социальная действительность в целом и в каждой своей молекуле достойна смеха, то остается принять ее в качестве таковой, не переставая над ней иронизировать. Смех, переставший действовать избирательно, никого и ничего не щадящий, тем самым никого и ничего не осуждает в особенности: следовательно, он не так уж и страшен для сильных мира. С ним осваиваются как с оптимальным отношением к действительности.

Отсюда проистекают на первый взгляд загадочные явления адаптации сатиры в обиходе буржуазных демократий и распространения юмористической манеры на трактовку вещей, по-видимому не предназначенных для осмеяния. Так, на Брюссельской Международной выставке 1958 года в павильоне США в качестве экспоната, представляющего американский образ жизни, фигурировали панно знаменитого Сола Стейнберга, художника язвительного и беспощадного. Такой документ, как «Декларация прав человека», принятый ООН и торжественно ратифицированный многими государствами, иллюстрировался юмористическими рисунками. Давно уже дух юмора завладел плакатом, даже рекламным, призванным соблазнить потребителя рекламируемым товаром. «Соблазняйтесь, но не принимайте этого слишком всерьез» — говорит насмешливая реклама. Потребитель смеялся над неистово пляшущим трехруким и трехногим «человечком» Савиньяка («Кока-кола стимулирует») и, смеясь, покупал кока-колу.

Конечно, далеко не все рекламы делаются по принципу прославленного Савиньяка: большинство из них имеет обычный пошлозазывный характер; низкопробно-высокопарный «китч» сохраняет свои позиции в «массовой культуре». Тем не менее экспансия юмора во всех направлениях, включая политику, искусство, массовые коммуникации, рекламу, популяризацию знаний,— процесс достаточно очевидный. Если, не ограничиваясь его констатацией, задуматься о мере его социальной ценности, окажется, что он имеет свои минусы и свои плюсы.

Минусы — в обескровливании сатиры, которая растворяется и рассеивается в сплошном потоке юмора; в понижении значения смеха как разящего орудия, метко поражающего именно ту цель, что достойна удара. Характер юмора нонсенсов не настроен на волну сатиры; сатира преображается в инвективу и перестает быть смешной. На другом полюсе становится возможным беспринципный, даже угодливый юмор.

Известный датский карикатурист Херлуф Бидструп свидетельствует: «...сатира в Дании постепенно приняла такой характер, что карикатуры больше всего нравятся тем, кого они изображают. Карикатуристы соревнуются между собой, чтобы беззубым портретированием популяризовать политических деятелей. Эти-то лицеприятные рисунки, подчеркивающие добрую или смешную сторону того, кого они изображают, и пытаются выдать за политическую сатиру и тем самым поддержать миф, будто свобода слова в буржуазной печати столь велика, что можно нападать на всех и вся. В действительности те, кого изображают подобные карикатуристы, счастливы, что их имя попадает в газеты, а сами карикатуристы горды, что могут продать оригинал тому, на кого «нападают». Более того, даже его величество король был бы разочарован, если в сатирических альбомах, выходящих перед рождеством, он не нашел бы по крайней мере одного рисунка с изображением себя самого и своей семьи».

Да, современный юмор может быть и льстивым. Однако никак нельзя считать льстивыми художниками Стейнберга, Тербера, Франсуа, Шаваля, Моза.

В своем существе «новый юмор» эвристичен — здесь его ценность, его достоинство. Он несовместим ни с буржуазной самодовольной узостью, ни с узостью другого рода — ультралевой, анархической или маоистской, так как в качестве «адвоката дьявола» всегда ищет неожиданного угла зрения на предмет — любой предмет — и создания неожиданных образов привычных вещей. Тем самым исподволь дискредитируются каноны, расшатываются идолы — любые идолы, и пробуждается способность критического самопознания. «Умей посмеяться над собой» — не является ли частью сократовского завета «Умей познать самого себя» плюс еще «Подвергай все сомнению»?

◆

Среди книг

Издано в СССР

СМЕХ И ПЕЧАЛЬ БРАНКО ЧОПИЧА

Бранко Чопич. Горький мед. Рассказы. Перевод с сербско-хорватского. Предисловие И. Радволиной. Москва, «Прогресс», 1971. 336 стр.

Как сейчас вижу Чопича — плотного, седоголового, с широким невозмутимым лицом, когда слушатели покатываются от хохота, заглушая его негромкий голос, его как бы лениво оброненные шутки. Кажется, ему надоела такая реакция, будто говорит-то он вполне серьезно, а люди все сворачивают на смех... Он сидит за столом между мною и Десанкой Максимович. Слева от меня Мира Алечкович, симпатичная и смешливая, поминутно отрывается от еды, чтобы пояснить мне народную соль, а то и перец остроты Чопича. Странно, но я, понимая сербскую речь, никак не уловлю ход чопичевского образа. Чопич говорит пословицами, к тому же — на том особом диалекте крестьян-боснийцев, уроженцев горного края, откуда Бранко родом. Иногда он скажет и в рифму, но и это получается у него как-то естественно, будто иначе и нельзя. Конечно, он лукав и не так прост, как кажется, но и не все, далеко не все, что получается смешным и веселым в его речи, так уж беззаботно и легко.

Скорее, как мне показалось, под смехом Бранко Чопича таится печальное всепонимание. Истинно народная мудрость. Когда жизнь измерена так глубоко и в таких разных направлениях, что смешно было бы подходить к ней одномерно. Смех Бранко Чопича нарушает именно это одномерное, напыщенное, официальное отношение к предмету. Только-только вы нашли решение, а он возьми да и уточни его поправкой. И каждая вроде незаметно, но подправит вывод, с нового бока повернет перед вами его, словно удостоверяя истину, давно известную (но чаще теоретически), насчет «вечно зеленого древа жизни»...

Он часто вспоминает любимое свое произведение мировой литературы — «Дон Кихота». Но никогда — лишь Рыцаря Печального Образа, обязательно рядом — Санчо Пансу. Один без другого для Чопича как бы и не существуют. Оба—только разные половинки **одного,** любимого героя. И то, что Рыцарство может быть смешным, и то, что Оруженосцы его бывают не похожи на рыцарей,— одинаково убедительно для рассказчика из боснийского села Хашаны, что на склоне горной гряды Грмеч. Но в его романах и книгах рассказов, в том числе и в переведенной у нас книге «Горький мед», смех писателя прежде всего глубоко человечен.

Циклы «Добрый молодец Мартин», «Дядя Ниджо», «Случаи из жизни Николетины Бурсача», написанные в разные годы, снова и снова повторяют знакомые нам по прошлым книгам Чопича три характера. Это — народный герой, смешной, мешковатый и застенчивый Николетина, бравый вояка с громовым голосом и «голубиным сердцем», рыцарь почти планетарного размаха планов по освобождению человечества. Это — Мартин, нескладеха и фантазер (из довоенных циклов), в котором веками таившаяся тяга народа к счастью приняла черты сказочного вымысла, где подлинные подвиги юнаков прошлого и вымышленные подвиги Мартина (опять-таки напоминающие о Рыцаре Печального Образа) как бы сливаются в предвидении приближавшейся войны с фашизмом, когда в рядах Освободительной армии земляки Мартина действительно повторили эпические подвиги своих предков! Это, наконец, третий образ — дя-

дюшка Ниджо, путешественник и солдат, повидавший много земель, в том числе и заморских...

Надо еще заметить, что и дядюшка Ниджо, и дед Раде — герои многих рассказов Чопича — не изменили даже своих имен, прямо перекочевав в рассказы их племянника и внука... Бранко Чопича. И читая рассказы из циклов с этими героями, поневоле диву даешься — как можно об одних и тех же людях рассказать столько историй, одна другой занятнее и необычнее! Отличительная черта Чопича-прозаика — это верность своим основным героям, верность личному опыту, памяти детства.

И — памяти войны. В «Горьком меде» большинство новелл — об этом времени, о партизанской поре жизни самого Чопича, песни которого пелись всюду в те годы. Военные новеллы Чопича раскрывают душу селянина-югослава с той долей любовной иронии и сдержанной романтики, которая ближе всего традиции И. Бабеля. Герои Чопича кажутся чудаками, говорят они коряво, поступки их порой удивительно нелогичны, внешность неказиста, но сердца светятся такой доброй и чистой любовью к родине, своей земле, братству людей, что смех Чопича никогда не может затмить или скрыть истинную романтику их беспримерного, трудного подвига.

В военных рассказах Чопича жизнь взята целиком со всем жестоким и смешным, трудным и бессмысленным, героическим и бытовым, что ее составляет, но сквозь кажущуюся суету и «мелочность» мотивов, преднамеренность бытописания будней пробивается явственная нота воинственного гуманизма.

Волнующе звучит мотив пробуждения человека в темном и забитом предрассудками сознании селянина с винтовкой. Николетина агитирует солдат: отныне никто не должен называть мусульман «турками», все мы — братья по классу... Легко сказать, а если за плечами сербов и черногорцев — века турецкого рабства, если с молоком матери впитали люди ненависть к захватчику и насильнику? Как победить голос кровной вражды к иноверцу и потомственному врагу родины? Интернациональная беседа Николетины прерывается залпом усташей, и Николетина, забыв о только что прочитанной лекции, кричит в гневе: «Вот чертовы турки, пропади они пропадом!» Но тут же спохватывается: «Ослы вы этакие, видите, что делают те, кто против братства!..»

В новелле «Любовь и ревность» Николетина Бурсач уже борется не с самим собой, а с другом, Йовицей, хорошим солдатом, который, однако, никак не хочет понять, что пленный итальянец — не «фашист» а «бедолага», что стыдно сильному и доброму югославу «издеваться над убогим»... Труднее, конечно, случай с «богом». Прибыл Николетина на побывку к матери и как ни убеждал ее, что бога нет, что такой «приказ вышел», а старуха загоняет его в угол — ее доводы основаны на устойчивых принципах веры, а не менее темный Николетина может противопоставить матери только «приказ»: вышел приказ — и баста... А почему солнце светит, и почему гром гремит, «и мало ли что там еще» — этого Николетина не знает и, разумеется, смущен. «Нет, комиссар,— думает он,— так дело не пойдет. Сначала ты мне разъясни и отчего гром гремит, и откуда человек произошел... а когда я все это буду знать, тогда и насчет бога рассуждать смогу».

И уж вовсе открыто рисует Чопич трудную и страшную долю матери в новелле «Суровое сердце» — тут печаль его даже не пытается маскироваться смехом. В бою, в самый разгар вражеского наступления, Николетина видит старуху мать, которая с котомкой приближается к отстреливающимся партизанам. Она принесла им поесть. На вопрос, как нашла их, отвечает просто и смущенно: услышала «наш пулемет». В этом «наш» столько смысла! Николетина прикрывает мать огнем, пока она отходит к дороге, приседая и оглядываясь на сына...

«Горький мед» — книга удивительно цельная по мироощущению, народная по самому духу своему. Творчество Бранко Чопича завоевало признание югославского читателя давно и прочно. Один из критиков писал, что каждый маленький югослав, едва усвоив тридцать два звука родной речи, прежде всего знакомится с рассказами Бранко Чопича. Любят книги писателя и взрослые. Читают в селе, в городе, интеллектуалы и простые читатели, для которых слово Чопича — их судьба.

В прошлом году, в Цетинье я присутствовал на присуждении Чопичу высшей литературной премии имени Негоша. И видя слезы на глазах людей — слезы от смеха и слезы сквозь смех, когда литераторы, друзья Бранко, читали его рассказы, я вспоминал слова самого Чопича, сказанные им как-то о любимых своих писателях — о Сервантесе, Крлеже. Андриче, Гоголе и Чехове...

О двух последних он сказал, что любит их за «человеческую печаль и смех». Это качество подкупает нас и в творчестве самого Бранко Чопича, голосом которого говорит талант его героического народа.

ВЛАДИМИР ОГНЕВ

БЕСКОНЕЧНОСТЬ В ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ

Я ш п а л. Двенадцать часов. Повесть. Перевод с хинди, предисловие и примечания Д. М. Гольдман. Ответственный редактор Е. П. Челышев. Москва, «Наука», 1972. 95 стр.

«Вся жизнь переломилась разом надвое. В одной половине, которую я перешел, было все, для чего я жил, а в другой, неизвестной еще половине, все чудное, все новое и ни одного сердца, которое бы мне могло заменить тех обоих»,— писал

потрясенный смертью жены и брата Федор Михайлович Достоевский.

Масштаб переживаемого горя громаден. Слова, повествующие о страдании, просты, скупы и потому особенно пронзительны. «Мне не для чего оставалось жить!» — не этим ли восклицанием великого писателя очерчены контуры едва ли не каждой истинной трагедии — и той, что свершилась в минувшее столетие, и той, что иссушила сердце и разум героям повести «Двенадцать часов» индийского писателя Яшпала?

Он и она. Оба переживают мучительную боль утрат. Оба встретили друг друга. Вот, собственно, и все. Но эта, на первый взгляд лишенная внешней завлекательности, фабула начинена глубокой психологией, огромной потенциальной силой героев, разрушающей плен отсталых религиозных традиций, жестокого консерватизма, который подстерегает, который наступает, который осуждает...

Что было в той, другой половине жизни тридцатишестилетней Вини Непир, помимо добродетельного и благополучного существования в кругу семьи? Формула ее прошлого была как бы закодирована, предрешена «жизнепровождением», которое в конце концов избирают и которым довольствуются многие, пассивно воспринимая обступивший мир, нравственные заповеди отцов. Жизнь Вини была подобна жизни множества индийских женщин из «среднего» класса, в меру образованных, в меру тронутых модерном, но тем не менее свято почитающих законы предков. Так аттестует свою героиню Яшпал, предлагая ей, инициативной в добре, безумной в горе, разрушить чуждые природе человека религиозные догмы и предрассудки.

На кладбище, где похоронен ее муж, Вини встречает учителя Фентама, каждый день навещающего могилу покойной жены. Опустошенные, страждущие, примиренные с необходимостью терпеть горе и не желающие примириться с ним, бродят они по жизни, ища поддержки у дорогих могил. Тропический дождь объединяет Вини и Фентама у ворот кладбища, затем заставляет их укрыться в городском ресторане, потом на квартире Фентама. Вини забывает о сестре, которая ждет ее, забывает о своем «титуле» вдовы. «С болью соприкоснулась боль, боль поддержала боль...» Так начинается это сразу возникшее сообщество сострадания, это драматическое движение двух судеб, эта уходящая в бесконечность дорога друг к другу, протяженностью в двенадцать часов...

Суетная жизнь с жестоким набором стандартных условностей остается у Яшпала где-то там, за клочком материи зонтика, стеной дождевого ливня, за дверьми дома Фентама. Площадка для действия расчищена от бытовых подробностей. Время как будто отступило. Ситуация почти не реальная. Удерживая Вини и Фентама «на поводке» в течение двенадцати часов, помещая их в этот искусственный вакуум, Яшпал предоставляет своим героям без внешних помех обнажить друг перед другом психологические структуры своих характеров, проявить главные константы своих личностей и естественное неприятие тех жизненных ситуаций, жертвами которых они явились. До сих пор, несмотря на то что равноправие женщин и право вдов на брак гарантируется конституцией Индийской Республики, традиция брака по сватовству еще жива, живучи и обет безбрачия, и жестокий фанатический обряд сати — самосожжение вдов. Предвосхищая нападки критики, Яшпал наделяет своих героев христианским вероисповеданием. Этот вынужденный шаг писатель, по всей вероятности, делает намеренно, лишая критику возможности упрекнуть его в небрежении к моральному кодексу индуизма.

Сложная нравственно-философская проблематика повести Яшпала решается без ненужных сентенций и назидания, минуя ширмы блюстителей морали. Тактично и целомудренно, шаг за шагом, будто интегрируя поступки Вини и Фентама, наполняя их все большей эмоциональной силой, Яшпал раскрывает великую тайну — тайну зарождения духовного родства, завязь человеческих отношений, составляющих и сообщающих смысл бытию. Происходит процесс священнодействия, обретения смысла существования, процесс утоления жажды самоотречения и самоотдачи, раскрытия тайны «приручения» друг к другу.

Вини и Фентам были свободны, как может быть свободен одинокий человек. На что потратить оставшиеся годы жизни? На бессмысленную дань отжившим традициям? На безбрачие Вини, на длинную череду несчастливых дней, воспоминания в одиночку? Мнимая свобода, приобретенная ими ценой жестоких потерь, оказалась подобной нравственной смерти. Будущее героев, «обновленных» своим трагическим прошлым, Яшпал предопределяет их сутью, неприятием эгоизма, их израненным самоощущением, их мучительным желанием душевного пристанища.

Отношения Вини и Фентама — не минуты ускоренного чувства мужчины и женщины, а поляризация высокой нравственности и ортодоксального домостроя. «Как я могу примириться,— восклицает Вини на предложение священника Абрахама не роптать, не гневить всевышнего,— если в жизни моей нет удовлетворения?..» И Вини, почувствовав так нежданно нахлынувшую на нее последнюю любовь, утвердит и для себя нравственную позицию Фентама: «Пытаться отторгнуть от жизни любовь — значит уничтожить самое жизнь, самое себя».

«Это не любовь, это — противообщественный и безответственный поступок, это — преступление!..» — заявит Памар, муж сестры Вини, получив известие от пропавшей невестки. Офицер полиции Лоренс, выступающий в повести как бы от имени автора, противопоставит суждениям Памара о морали свою философскую концепцию: «Брат

мой, нравственность нельзя подменить страхом и стыдом. Наши представления о достойном и недостойном и есть нравственность. Где нет корысти и обмана, там нет безнравственности».

Яшпал сообщает героям повести характеры почти уникальные. И герои не остаются в долгу перед их создателем. Они в свой черед помогают Яшпалу своими субъективными качествами строить модель новых человеческих отношений между мужчиной и женщиной, о которых в простонародье говорят, что «они жили долго и счастливо и умерли в один день». Яшпал потом рассмотрит этот союз как частицу нового общества новой Индии.

Индия, далекая страна. Другое солнце, другая жизнь... Она вспоминается мне часто. Приходит вдруг среди житейской суеты толчком теплого ветра, пресыщенного запахом горького миндаля, движением усталой женской руки, молчаливой печалью заката. Но это, так сказать, нюансы, ощущения прошлого.

Я помню вереницы полуголых людей с корзинами бетона на головах на строительстве школы в Амритсаре, пахнущие краской аудитории институтов Бомбея, Шейлу Нагаркатти из Дехрадуна — первую женщину-геофизика и Амину Шанкар — первую женщину-врача.

Помню, как по дороге в Джайпур, прямо у обочины, стонало от страха и боли едва живое существо и сотни темноликих крестьян били в барабаны и выкрикивали заклинания, изгоняя злых духов из бесплодного тела полуженщины-полуребенка. И перекошенный страданием голодный детский рот. Визит английской королевы. Плач трубы по всем погибшим.

Помню освободительную войну в Гоа. И открытые двери тюрем. Слова молитвы прихожан в католическом храме в Олд-Гоа: «Боже, сделай так, чтобы сюда никогда не вернулись португальцы!»

И демонстрацию делегатов первого съезда Всеиндийской федерации молодежи в Хайдарабаде. На ночной площади нас ждали беснующиеся молодчики из профашистской партии «Сватантра». Впереди шел Сарада Митра, секретарь федерации. Раздельно, словно выговаривая лозунги, читал он стихи Федерико Гарсиа Лорки.

Индийской Республике только двадцать пять лет. Идет сложнейший процесс реконструкции, политическое и экономическое преобразование страны. Острое идейное зрение Яшпала вырывает из тесного сплетения многослойных проблем одну из проблем первого порядка — зарождение новой морали.

В Индии о книге много говорили, много спорили. Она оказалась в центре внимания. Вышедшая в 1963 году повесть Яшпала выразила идейные устремления прогрессивной индийской интеллигенции, однако значение ее морально-философской проблематики было понято не сразу. Критикуя Яшпала, один из индийских литературоведов писал: «Повесть не похожа на другие произведения писателя потому, что в ней отсутствует политический подтекст. На сей раз проблемы, которые стоят перед героями, разрешаются не в связи с социально-политическими переменами в стране, а категоричным выбором героев, их желанием отказаться от мертвых моральных правил. Герои повести проходят через интимные и психологические коллизии. Все это попахивает экзистенциализмом».

Не секрет, что те изменения, которые происходят в психологии личности, всегда находятся на некотором расстоянии от коренной ломки старого быта и вымороченных нравственных устоев, умирающих на изломах истории далеко не мгновенно. Намеренно замедленные размышления писателя о любви, без излишнего любопытства к интимным отношениям героев, о социальной психологии, вера в возможность преобразования своей жизни собственными силами составляют основной стержень повести Яшпала «Двенадцать часов». Соратник и единомышленник Саджада Захира, Али Сардара Джафри, Кришана Чандара, Яшпал показывает процесс «очеловечивания» человека, задавленного устойчивыми религиозными традициями, утлой рабской психологией.

Еще в 20-е годы Яшпал встает на путь освободительной борьбы. Арест, смертный приговор, замененный долгосрочным тюремным заключением, знакомство с марксистским учением, нелегкий труд писателя, принесший ему мировую известность. Автор десяти романов, посвященных национально-освободительной борьбе индийского народа, продолжатель традиций, заложенных в индийской литературе Свами Даянандом Сарасвати и Прем Чандом, Яшпал пишет один из первых в литературе хинди романов-эпопей — «Ложную правду» [1], который охватывает события, предшествующие завоеванию Индией независимости и первые годы существования Республики.

И вот повесть «Двенадцать часов». Мягкая, лиричная, «не похожая» на предыдущие произведения писателя, но такая же нетерпимая к порокам общества.

С. ПОЧИВАЛОВА

БОЛЕЗНЬ ДЗЕНО

Итало Звево. Самопознание Дзено. Перевод с итальянского С. Бушуевой. Вступительная статья С. Ошерова. Ленинград, «Художественная литература», 1972. 440 стр.

Роман требует некоторого усилия. Но прочитать его надо. Это одно из значительных литературных произведений нашего мчащегося к своему завершению XX столетия. Человеку важно знать о себе все. Еще важнее, чтобы себя познало чело-

[1] См. «Иностранную литературу» № 5, 1964 г.

вечество. Только так ему, может быть, удастся предотвратить тот катастрофический взрыв, о котором сказано на последней странице «Самопознания Дзено».

Автор «Дзено», видимо, мало знаком советскому читателю. Его почти не переводили. Даже имя его у нас пока что пишут поразному. Много повидавший И. Г. Эренбург отметил в своих мемуарах: «Ужин ПЭН-клуба я вспоминаю с благодарностью — там я познакомился с Джойсом и с итальянским писателем Итало Свево. Они были давними друзьями: Джойс много лет прожил в Тристе, а Итало Свево (его настоящее имя Этторе Шмиц) был триестинец. За столом они сидели рядом».

Тут все правильно. Если автора «Дзено» называть Звево, станет непонятен смысловой псевдоним, взятый Этторе Шмицем. Для итальянцев он звучит «итало-шваб», а швабы восходят к древнегерманскому племени свевов.

На ужине в ПЭН-клубе — дело было в 1927 году — Эренбурга больше занимал Джойс, однако он сразу сумел оценить и его, в ту пору весьма уже пожилого, соседа: «Свево часто называли дилетантом: он был промышленником, за всю жизнь написал всего несколько книг. Но роль его в разрушении старых форм бесспорна: его имя можно поставить рядом с Джеймсом, Марселем Прустом, Джойсом, Андреем Белым». В точно таком же окружении автор «Дзено» появляется во всех посвященных ему современных итальянских, немецких, американских работах. Только в них вместо Андрея Белого фигурируют Музиль, Томас Манн и Кафка. Упоминается также Фрейд.

Свево от своих соседей не отгораживался. Он был одним из первых читателей «Дублинцев» и познакомился с работами знаменитого венского психиатра задолго до того, как в Европе началась мода на психоанализ. В последние годы жизни он увлекался «Процессом» и «Замком»: они были ему близки и очень понятны, потому что до 1918 года италоязычный Триест входил в состав Австро-Венгерской империи и жизнь в нем напоминала кафкианскую Прагу.

Не будем, однако, спешить с зачислением Свево в разряд модернистов. Наши представления о реалистическом романе XX века делаются все более конкретными и точными. Роман «Самопознание Дзено» напечатан ровно пятьдесят лет назад, но перевели его у нас как раз вовремя.

Это — третий и последний роман Итало Свево. До «Дзено» он написал «Жизнь» (1892) и «Старость» (1898). Романы эти не имели в конце XIX века никакого успеха. Молодой Свево оглядывался на Золя, сотрудничал в итальянском социалистическом журнале «Критика сочиале» и старательно осваивал уроки великих русских реалистов: Гоголя, Тургенева, Достоевского, Гончарова.

О первых романах Свево, о причинах их непопулярности, а также об их связи с «Дзено» хорошо рассказано в превосходной вступительной статье С. Ошерова. В ней процитировано одно из последних писем Итало Свево: «Быть может, не останется незамеченным, что всю свою жизнь я писал один роман». Вероятно, это действительно так. Тем не менее, даже рассматривая романы Свево как своего рода трилогию, нельзя не заметить разительных отличий «Дзено» от предшествующей ему «Старости». Эти романы отделяют друг от друга не просто двадцать пять лет: они принадлежат к двум разным эпохам в истории европейской литературы.

За двадцать пять лет Итало Свево не опубликовал ни строчки. В эти годы он превратился из мелкого клерка в преуспевающего дельца. Однако столь длительное молчание писателя объясняется, по-видимому, все-таки не тем, что Этторе Шмиц считал занятия литературой не совместимыми с интересами фирмы. Свево не был дилетантом, но он не был и тем самодовольным филистером, каким выглядит на некоторых из своих фотографий. Свево никогда не переставал писать. Но как писать, он уже не знал. Он остро почувствовал наступление нового столетия и понял, что поставленные веком проблемы не разрешить с помощью добропорядочного позитивизма Тэна, идеалистической диалектики Де Санктиса и примитивной социологии Филиппо Турати. Он разочаровался в изобразительных возможностях «экспериментального романа» и стал искать новую повествовательную форму.

Это был мучительный процесс. Вот одна из дневниковых записей: «Декабрь 1920 года. Я вношу заметки в свой дневник последних лет без всякого намерения опубликовать их. Сейчас, и на этот раз уже окончательно, я полностью исключил из своей жизни ту смешную и вредную штуку, которая зовется литературой. С помощью этих страниц я хочу лишь прийти к лучшему пониманию самого себя».

В декабре 1920 года роман о Дзено был уже начат. Свево принимал тысячи «железных решений» отказаться от дурной привычки думать с пером в руке и продолжал писать. С. Ошеров имел все основания озаглавить свою статью «Самопознание Этторе Шмица». Но, конечно, Дзено Козини не тождествен автору. Последний роман Итало Свево — не автопортрет художника в старости.

Дзено познает не только себя, но и окружающий его мир. Именно поэтому роман обрамляет сердитый спор между рассказывающим о себе героем и издателем его рукописи, доктором С., которому кажется, что Дзено не только врет, но и пишет о вещах, к делу не относящихся.

По замыслу доктора С., Дзено должен был бы вылечиться, разобравшись в причинах своей болезни. Он считает, что болезнь Дзено — психоз, порожденный комплексом неполноценности. Но Дзено в психоанализ не верит и все время потешается над лечащим его фрейдистом. В романе много иронии и сарказма, часто горького,

трагического. Чувствуется, что в молодости автор увлекался Жан Полем и Гейне, а также пессимистическими построениями Артура Шопенгауэра. Объектом иронии в последнем романе Итало Свево становится не только доктор С. и не только окружающее Дзено общество триестинских дельцов, но и вообще современное ему человечество.

Стареющий писатель не сумел до конца разобраться в загадках молодого XX века. Он проявил мало интереса к великим социальным преобразованиям, начавшимся после 1917 года на родине Тургенева и Достоевского. Однако захлестнувший Италию фашизм внушал ему глубочайшее отвращение. Несмотря на весь свой скептицизм, Свево не счел себя вправе молчать и в 1923 году напечатал роман, чтобы предупредить искореженную войной Европу о грозящей ей катастрофе.

В 1927 году Итало Свево сказал в письме к итальянскому писателю Пьеро Жайе: «Мы — живой протест против смехотворной концепции сверхчеловека». В данном случае имелась в виду не только националистическая риторика Д'Аннунцио и Маринетти. Автор «Самопознания Дзено» уже хорошо понимал, что постаментом для «сильной личности» служит позорное равнодушие обывателя, желающего во что бы то ни стало быть таким же, «как все».

Новым в третьем романе Свево было не изображение внешнего мира сквозь призму сознания героя (так писал еще молодой Толстой), а взаимоотношения между сознанием и миром.

В романах XIX века писатель отвергал буржуазную действительность, противопоставляя ей человечность героя, гениального или даже посредственного. Так построены «Кот Мурр», «Идиот», «Госпожа Бовари». Свево объявляет подобное противопоставление иллюзией. Молодому Дзено лишь кажется, что он, никчемный, смешной дилетант, в чем-то человечнее и оригинальнее, нежели преуспевающий в жизни толстокожий делец Мальфенти и его счастливый соперник Гуидо — существо еще более никчемное, ничтожное и эгоистичное, чем он сам. Самопознание приводит Дзено к самоотождествлению с пошлым миром, который он поначалу вроде бы считал враждебным себе и человечности. Он излечивается от своих комплексов, обнаруживая, что он точно такой же, как все. Но именно это и служит для Свево свидетельством того, что болен не герой, а окружающее его человечество. «Выздоровление» Дзено описано так: «...Я начал **покупать.** Я подчеркиваю этот глагол, потому что теперь он имеет смысл более высокий, чем до войны».

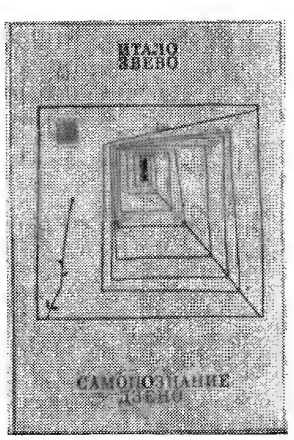
Итало Свево отверг самопознание, ведущее к самодовольству и к примирению с болезнью века, но уповал он только на познание. Склонный к пессимизму и к апокалипсическим пророчествам, он все-таки надеялся, что люди сумеют еще что-то предпринять, осознав всю трагичность сложившейся ситуации.

В конце «Самопознания Дзено» автор обособляется от героя. Это Свево, а не Дзено говорит на последних страницах романа:

«Современная жизнь подточена в самых своих корнях. Человек вытеснил из нее деревья и животных, отравил воздух, занял все свободное пространство. Но может произойти и худшее. Человек, это грустное и деятельное животное, может открыть и поставить себе на службу другие силы. Угроза эта носится в воздухе».

В 1923 году было еще далеко и до понимания последствий научно-технической революции, и до так называемого «неокапиталистического» общества потребления, но Свево осознал всю опасность конформистской «нормальности» и предугадал, что технический прогресс принесет человечеству не одни только блага: «Нацепивший очки человек вместо того, чтобы совершенствовать свое тело, придумывает всякие приспособления, которые его дополняют, и, если здоровье и благородство еще живет в тех, кто изобретает все эти приспособления, то уж у тех, кто ими пользуется, как правило, нет ни того, ни другого... Когда людям станет мало даже отравляющих газов, какой-нибудь человек, ничем не отличающийся от прочих, в уединении своей комнаты, каких тоже множество на земле, изобретет небывалое взрывчатое вещество, в сравнении с которым все, что существует сейчас, покажется детской игрушкой. И другой человек, тоже ничем не отличающийся от прочих, разве что чуть более больной, украдет это вещество и поместит его в самом центре земли, где его действие окажется наиболее разрушительным».

Предупреждения, завершающие «Самопознание Дзено», казалось бы, мало вытекают из исповеди человека без качеств. Но связь тут есть. Идет время, и она становится все более очевидной. Не случайно именно после второй мировой войны произошло второе открытие Итало Свево. В статье С. Ошерова приведены слова большого итальянского поэта Монтале, сказанные в 1946 году: «Сегодня у нас нет ни одного



молодого автора новелл или романов — неовериста или неонатуралиста, который бы не признавался, что многим обязан Свево... Свево и с ним более молодые неореалисты создали школу».

Школа эта не ограничивается литературными приемами, которые отмирали и отмирают. С каждым годом у «Дзено» появляются новые читатели во всех уголках земли. И это, по-моему, хорошо.

Р. ХЛОДОВСКИЙ

Издано за рубежом

ПОЧЕМУ СОЛОВЕЙ ГОЛУБОЙ?

Erwin Strittmatter. Die blaue Nachtigall oder Der Anfang von etwas. Berlin, Aufbau-Verlag, 1972.

Если судить по короткому предисловию к небольшой книге, названной Эрвином Штриттматтером «Голубой соловей, или Начало чего-то», писатель стремился вернуть утраченное жизнеощущение, которое свойственно детству. Дед катит тележку, внук уселся в ней, и «музыка вселенной» наполняет его, хотя он не прилагает никаких усилий к ее восприятию. Эрвин Штриттматтер надеется не только воссоздать это ощущение, но и выяснить, нельзя ли, поняв, чем оно обусловлено, заново испытать его тогда, когда детство давно кончилось. Вот почему писатель именует свою книгу «поисковым опытом».

К сожалению, вряд ли возможно повторить неповторимое, хотя то, что особенно привлекает Эрвина Штриттматтера в детском жизнеощущении — его поэтичность,— присуще не только детям. Однако новая книга едва ли не самого поэтичного из сегодняшних прозаиков ГДР действительно может быть названа поисковым опытом. Эрвин Штриттматтер ищет и находит необычную форму повествования, которая не укладывается в рамки обычных понятий о том или ином жанре. Он повествует о своем детстве и ранней юности, но его книга не относится к разряду мемуарной литературы, хотя близкие ему люди названы в ней подлинными именами. Детство и ранняя юность вспоминаются от случая к случаю. И каждый случай интересен не столько сам по себе, сколько тем, какие мысли вызывают воспоминания о нем.

Эти мысли незаметно становятся общезначимыми, причем касаются они не только того времени, когда шестидесятилетний писатель был ребенком и юношей. Скажем, Эрвин Штриттматтер сообщает, что родился в Германии. Констатация этого факта наталкивает на мысли, выходящие далеко за его пределы. Штриттматтер говорит, что в Германии у мужчин «стародавнее пристрастие» к путешествиям в чужие края, куда они позволяют себя посылать и где их пребывание становится причиной неисчислимых бедствий. Из-за этого в Германии сплошь да рядом новорожденные лишались возможности познакомиться со своими отцами. Нечто подобное произошло и с Эрвином, которому в начале первой мировой войны было всего два года. Словно невзначай писатель касается того, что во многом определяет его отношение к жизни. Ему ненавистно все антигуманистическое, и в первую очередь кровавые войны, дважды на его веку обездолившие человечество.

Рассказывая о том, как его дед, ругаясь и плача, отводил на бойню искалеченную лошадь, Штриттматтер — опять словно невзначай — пускается в рассуждения, уводящие его в глубь социальных и моральных проблем, связанных с фашизмом. Если человек убивает не скотину, а себе подобного, но это убийство будто бы оправдывается общественными интересами, он не терзается угрызениями совести, говорит Штриттматтер, ответственность за содеянное, возложенная на некую, именуемую обществом, абстрактную величину, оказывается бесконечно малой; в конце концов получается, что убийца — вроде бы и не убийца. Так разоблачается обман и самообман, посредством которых при фашизме человек превращается в зверя. Так рождается своеобразная писательская манера: комментарии к фактам обретают большее значение, чем факты.

Конечно, комментируются и такие факты, из которых не извлекается политический смысл. К примеру, Эрвин Штриттматтер вспоминает, как дед подбрасывал его, маленького, под потолок и как с высоты полета все в комнате виделось ему по-другому. В этом, по мнению Штриттматтера, есть что-то общее с художественным творчеством, которое немыслимо без способности смотреть на вещи под особым углом зрения.

И все же не следует представлять себе книгу «Голубой соловей» как некую совокупность интересных размышлений по всевозможным поводам. Она отличается помимо блестящего ассоциативного мышления и впечатляющим изображением жизненных обстоятельств и жизненных судеб, памятных писателю с детства. Это изображение не плоскостное. Пожалуй, наиболее объемной получилась у художника фигура деда Кульки (Штриттматтер по матери — лужицкий серб, отсюда и славянская фамилия деда). Думается, что дед Кулька не только послужил прообразом старого Краске из повести «Тинко», но у него позаимствованы и кое-какие черты характера главного героя романа «Оле Бинкоп». Такое предпо-

ложение на первый взгляд покажется странным. Ведь Оле Бинкоп живет для общего блага, преобразует жизнь родной деревни, а дед Кулька интересуется только тем, чтоб нажить деньги для своей — впрочем, совсем не богатой — семьи. Однако дед Кулька, крестьянин-собственник, еще и фантазер, который мог бы стать поэтом; он чрезвычайно изобретателен, в его голове, как и в голове Оле Бинкопа, роятся идеи, и он тут же воплощает их в действия. Хотя дед Кулька не перестает думать о деньгах, его выдумки иной раз означают для внука нечто совсем иное. Срывая в пруду водяные лилии, которыми дед собирается торговать, внук испытывает ничем не омраченное, ничем не запятнанное, незабываемое ощущение прекрасного.

Многие из тех, чьи фигуры появляются на страницах «Голубого соловья» такими, какими писатель видел их в детстве и ранней юности, знакомы по его романам, хотя в романах они выглядят иначе. Так «Голубой соловей» приоткрывает завесу над тайной творческого перевоплощения реальности в искусстве. Вполне вероятно, что фигурирующий в «Голубом соловье» дядя Филе заставил писателя задуматься над тем, насколько бесполезно бегство от жизни в мечту, которая вдобавок еще бесплодна сама по себе. Пример этого бездельника, витавшего в облаках табачного дыма и псевдоромантических грез, загубившего трудолюбивую и самоотверженную тетю Элли, свидетельствует о том, что такое бегство не только бесполезно, но и вредно. О соотношении мечты и действительности Штриттматтер писал в романах «Погонщик волов», «Чудодей», «Оле Бинкоп». Он рассматривал этот вопрос в различных аспектах и применительно к различным социально-историческим условиям, складывавшимся в Германии XX века.

«Голубой соловей» дает возможность заглянуть и в германскую историю, хотя в этом смысле не все включенные в книгу рассказы равноценны. Лучше всего удалось писателю воспроизвести атмосферу военного времени. Он сделал это так, что, читая страницы, посвященные периоду первой мировой войны, не можешь не думать о более отдаленных годах второй мировой войны.

Книга Штриттматтера вообще современна, и это обусловлено прежде всего ходом мыслей ее автора, современностью ассоциаций, которые нередко домысливаются читателем.

Писатель умело владеет избранной им свободной формой рассказа. Она в чем-то соответствует особенностям его таланта. Ведя рассказ как беседу с читателем, можно дать волю остроумию. В последнем из четырех рассказов, в котором наконец появляется голубой соловей, Штриттматтер, прерывая свой экскурс в эпоху Мартина Лютера, восклицает: «А теперь к делу! Ведь l'art pour l'art страшнее холеры!» Но он не только посмеивается, когда можно и нужно посмеяться. Его ирония становится уничтожающей, если он говорит о том, что следовало бы, для блага общества, уничтожить.

Однако как ни ироничен Штриттматтер, он бывает и очень лиричным, в особенности тогда, когда речь идет о поэтических воспоминаниях детства и юности, о чудесных мгновениях полного слияния человека и природы.

Но разве это чудо не совершается в художественном творчестве? Правда, художник не только вживается в природу, в окружающий мир, но и вносит в них что-то свое, пережитое, осознанное, угадываемое, воображаемое им одним. Не потому ли Эрвин Штриттматтер, по его словам, два раза в жизни увидел соловья голубым?

Л. СИМОНЯН

ЗРЕЛОСТЬ ПОЭТА

Андрей Германов. Острови. Стихотворения. София, Български писател, 1972.

Андрей Германов — один из представителей того яркого и самобытного поэтического поколения, которое включает в себя такие имена, как Владимир Башев и Любомир Левчев, Слав Хр. Караславов и Дамян Дамянов, Петр Караангов и Пырван Стефанов, Михаил Берберов и Евтим Евтимов.

Как и все эти поэты, Андрей Германов активно воспринимает действительность, но по своему характеру он поэт-лирик, поэт-мыслитель. Исповедность его героя пламенна, порой мучительна, однако поэт далек от пафоса, внутренней полемичности, психологических взрывов, он умеет выразить большие чувства без детонации голоса. Читатель стихов А. Германова никогда не чувствует себя перед трибуной, он не ощущает себя, пожалуй, и собеседником, он просто свидетель размышлений вслух. Но эти как будто бы личные размышления, в которые погружен поэт, неожиданно оказываются интересными и важными и для читателя, который незаметно для себя из

все более и более внимательного слушателя становится человеком сопереживающим, а затем начинающим думать о чем-то своем, но тесно связанном с только что прочитанным.

У А. Германова нет «просто повествования», нет просто описания внешних событий, в его стихах каждый штрих служит показу внутренней жизни лирического героя. Даже в красочных, выразительных и довольно частых у поэта описаниях болгарской природы всегда заложена аллегоричность.

В стихотворении «Надломленная ветка», успевшем стать хрестоматийным, поэт, рассказав о ветке, которая продолжает шелестеть листьями, не зная, что она уже обречена на смерть, заявляет:

Стою пред маленькой драмой.
Думаю о больших вещах [1].

Уже в первых сборниках стихов А. Германова — «Ростки» (1959) и «Рабочий поезд» (1962) — уверенно проявилось оригинальное художественное видение поэта, лиричность, углубленность и в то же время романтическая взволнованность, редкое для юного автора владение стихотворной техникой. Между «Рабочим поездом» и последним сборником стихов «Острова» (1972) поэт опубликовал восемь книг, которые были благожелательно встречены в Болгарии. Наиболее представительное из того, что А. Германов опубликовал в этих сборниках, собрано в авторской антологии «Мост» (1970)

В книге «Мост» мы найдем живую гражданскую заинтересованность поэта, серьезное осмысление окружающего его мира, подлинную связь с этим миром, выраженную ненарочито и глубоко поэтично. Здесь мы увидим, как философское восприятие мира, наблюдаемое читателями еще в ранних стихах поэта, занимает все большее место в его творчестве и, наконец, становится определяющей особенностью поэзии А. Германова. Мы увидим, как завоевывает позиции в его творчестве одна из главных проблем зрелого А. Германова, проблема многообразия форм жизни, бесконечного ее круговорота, проблема рождения, умирания и возрождения.

Принято думать, что крайняя увлеченность одной темой, одной проблемой сужает круг творческих интересов, однако это положение не применимо к творчеству А. Германова. Хотя поэт вновь и вновь возвращается к этой проблеме, он всегда осмысляет ее с иной точки зрения.

Стихотворения «Отодвигаю глиняную вазу...» и «Рисунок на подоконнике» могут рассматриваться как полярные для характера философского осмысления мира А. Германовым. Первое стихотворение с самого начала захватывает нас грандиозностью картины, хотя толчок размышлениям поэта дает всего лишь случайный поворот горлышком к небу обычной глиняной вазы, которую приходится сдвинуть, чтобы опереться на подоконник.

А в бесконечной ночи где-то,
в ста световых веках от нас —
там тихо мчатся вдаль кометы,
там жизнь — космический экстаз,—
задумавшись о тайнах света,
брат по материи в тот час
мечтает о моей планете,
на звездах дальних Волопас.

Ничего нет удивительного, что, размышляя о величии и бесконечности вселенной, автор говорит о «наших ненавистях и белых от боли лицах» как о чем-то второстепенном, что он «завидует камням», которые «не знают, что мир преходящ». Зато во втором стихотворении неожиданный поворот авторской мысли не может нас не поразить. В начале этого стихотворения есть нечто от детской песенки:

В ночном тяжелом бдении лисичку я и слоника
нарисовал, задумавшись, на белом подоконнике.

И вдруг после нескольких веселых двустиший, посвященных нарисованным зверушкам, автор вспоминает о неистовых дождях и бешеных ветрах, которые в черные холодные ночи уничтожат этот рисунок, ибо «в конце концов время все превращает в прах».

Однако А. Германов — поэт, который, осмыслив земную судьбу человека со всем трагическим, что в ней заложено, остался оптимистом. Один из источников его оптимизма, глубокий и неиссякаемый, существует благодаря духовной связи поэта с родным народом, с родным селом, в котором он родился и вырос.

Поэт не растерял видения и чувства, впитанные им в далекие годы крестьянского детства, сумев в то же время воспринять все новое, что открывала перед ним социалистическая действительность.

Его лирический герой — как будто бы настоящее дитя города, в повседневной жизни проявляет все присущие горожанину достоинства и недостатки, однако стоит ему испытать сильное душевное волнение, и мы увидим, что и эти достоинства, и эти недостатки еще не стали в полной мере его натурой и то, что унаследовано им от сельских предков, в нем еще живо:

Мы крестьяне еще,
и уже не крестьяне мы —
новый совсем наш путь.

А. Германов часто обращается к сельской тематике, к староболгарской жизни, к поворотным моментам истории, пытаясь найти истоки национального духа, в котором так крепко сплавились упорство и непреклонность с человечностью, добротой и радушием.

В таких стихотворениях, как «Вниз и назад», «На мельнице осенью», «Так уходила старая Болгария», «Вокзал Величково»,

[1] Здесь и далее переводы стихов А. Опульского.

«Матушка Камчия», «Умирающее село в мае», «Боженцы», поэт создал прекрасные картины Болгарии своего детства и в то же время осветил их светом сегодняшнего дня.

Все здоровое и крепкое, что поэт видит в прошлом родного народа, он жаждет увидеть перенесенным в его будущее. И не только перенесенным, но и усиленным. Именно поэтому он со своим максимализмом обрушивается на те недостатки, которые видит в настоящем. Здесь можно упомянуть хотя бы стихотворение «Усталость», в котором поэт ищет причины охватившей иных людей душевной усталости, равнодушия и стремится вернуть их к высоким делам, которыми живет их родина.

Читая «Острова», мы можем вспомнить отзывы критиков по поводу первых произведений А. Германова, которые отмечали очень раннее овладение поэтом культурой стиха. Теперь эта культура еще более повысилась, превратилась в подлинное мастерство. Думается, что немалую роль в этом сыграла и постоянная творческая связь А. Германова с советской поэзией, одним из лучших болгарских переводчиков которой он является.

А. ОПУЛЬСКИЙ

КНИГА НАЧИНАЕТСЯ С КОНЦА

Pamela Hansford Johnson. The Holiday Friend. London, Macmillan, 1972.

Почти двести пятьдесят страниц новой книги Памелы Хэнсфорд Джонсон «Летнее знакомство» подробно, с преднамеренной неторопливостью описывают жизнь семьи Иствудов—Гэйвина, преподавателя истории искусства в Лондонском университете, его жены Ханны и их двенадцатилетнего сына Джайлза — во время летних каникул на тихом бельгийском курорте Ле Росо. Спокойствие и монотонность летней жизни нарушаются появлением Мелиссы Херст, студентки Гэйвина. Страстно влюбленная в своего преподавателя девушка полна решимости добиться взаимности, несмотря на его явное к ней безразличие. Иствуды даже начинают опасаться, что безответная любовь Мелиссы может толкнуть ее на самоубийство. В безмятежном воздухе маленького курорта назревает трагедия.

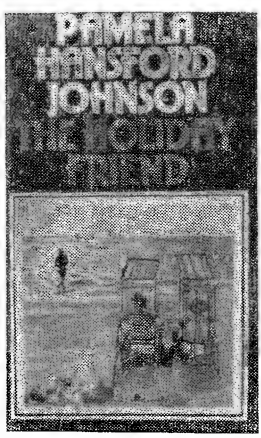
Читатель тоже ждет трагического разрешения любовной драмы. Трагедия действительно происходит, но совсем не та, о которой все говорят и думают.

Двенадцатилетний Джайлз, единственный ребенок Иствудов, постоянно тяготясь излишней заботой родителей, знакомится на пляже втайне от всех с мальчиком шестнадцати лет. П. Х. Джонсон пишет о новом приятеле Джайлза вскользь, уделяя основное внимание анализу любовных переживаний Мелиссы. В памяти задерживаются на первый взгляд малозначимые факты. Новый знакомый странно выглядит — даже в самую жаркую погоду он приходит на пляж в костюме, всегда носит зеленый галстук. Обстановка его встреч с Джайлзом окружена таинственностью — они видятся на дюнах, там, где никого не бывает. Юноша в зеленом галстуке, хотя и старше Джайлза, готов участвовать во всех детских играх. Но он — фламандец и не говорит по-английски, поэтому мальчики общаются знаками и прикосновениями. У Джайлза мелькает мысль рассказать родителям о безымянном друге. Но, боясь непонимания, расспросов и запретов, он решает хранить свою тайну.

Поистине зловещую роль незнакомца мы осознаем лишь на последней странице книги. Как-то вечером Иствуды обнаруживают, что их сын исчез. Они вместе с Мелиссой отправляются на поиски. Мальчика находит девушка — он лежит ничком на песке, вокруг его шеи туго затянут зеленый галстук. Вероятно, ребенок изуродован, потому что Мелисса в ужасе кричит родителям, чтобы те не подходили к нему. Гэйвин посылает за врачом и полицией. На этом роман кончается.

Таким образом, в своем последнем романе П. Х. Джонсон вновь обращается к проблеме насилия и преступления, к проблеме ответственности.

Осмысляя трагедию маленького Джайлза, мы постигаем и выводы, к которым подводит нас писательница. Наша личная жизнь, какой бы обособленной она ни была, не может не испытывать влияния большого мира. В книге эта мысль передана через образ курорта Ле Росо, где газеты с трагическими заголовками статей покупаются отдыхающими от случая к случаю, а суть описанных в них событий редко доходит до сознания читающих. Но насилие, как показывает П. Х. Джонсон, стало неотъемлемой частью жизни ее соотечественников, оно таится в суперматериальности современного капиталистического существования, воровато прячется где-то за углом и ждет своей очереди разрушить кажущуюся стабильность жизни.



Одновременно П. Х. Джонсон ставит вопрос об истинности и ложности трагедии. Ложной трагедии — выдуманной любви Мелиссы к Гэйвину — посвящено почти все повествование, на нее слишком щедро тратят душевные силы участники несостоявшегося треугольника. Трагедию истинную никто не замечает. А она развертывается у всех на глазах, и смысл ее в том, что ребенок, стремясь найти друга, встречает на своем пути извращенного убийцу. Катастрофа в конце книги — отнюдь не неожиданный поворот сюжета. Вероятность описанной П. Х. Джонсон трагедии слишком высока в современном западном обществе и имеет множество причин: одной из них является отсутствие нравственной основы в воспитании.

Вопрос о воспитании и воспитателях уже поднимался П. Х. Джонсон в романе «Доска почета» (1970). Рассказывая о частной английской школе, писательница наглядно продемонстрировала, что общество вверяет формирование личности своих будущих граждан людям, социально, духовно и нравственно неполноценным. В «Летнем знакомстве», продолжая эту тему, П. Х. Джонсон говорит о воспитании в семье.

На первый взгляд у Иствудов все обстоит более чем благополучно. Родители дружны, любят друг друга, Джайлз ухожен, накормлен. Но он, двенадцатилетний малыш, не счастлив. Он — одинок. Ему тягостно в школе, настоящих друзей нет, родители для него «чужие». Джайлзу нужно, хотя мальчик это и не осознает, родство душ, общение.

Неназойливо, незаметно, но в то же время достаточно убедительно П. Х. Джонсон проводит важную мысль. Родители должны помнить, что не хлебом единым сыты дети. Взрослые в полной мере ответственны за состояние их внутреннего мира. Как показывает автор, в трагедии маленького Джайлза главным образом виновна его семья. Добропорядочность Иствудов — одна из наиболее трудно распознаваемых форм мещанства. Они тяготятся обществом Мелиссы, но тратят все свое время на поддержание мещанского принципа «пусть все будет прилично». А вот вникнуть в причину одиночества сына им недосуг.

Хотя создается впечатление, что П. Х. Джонсон сузила в своей последней книге рамки действительности, на самом деле за частным, жизнью семьи Иствудов, отчетливо ощущается общее — бездуховность существования «среднего» английского класса в целом. Несформулированный вывод книги очевиден: убийство Джайлза в сути своей обусловлено состоянием общества.

Закрывая книгу, начинаешь понимать, почему писательница выбрала именно такую своеобразную форму повествования. «Никакой» сюжет обдуманно развертывается на фоне «никаких» событий, чтобы напоследок ошеломить и потрясти человека. Может быть, П. Х. Джонсон права: пресыщенному и все познавшему западному читателю в данном случае нужен не короткий и напряженный рассказ, но длинное, медленное, тянущееся повествование, чтобы заставить его задуматься.

Е. ГЕНИЕВА

Из месяца в месяц

АНГЛИЯ

«НЕУДАЧИ ТЕТУШКИ»

Так Джордж Мелли, обыграв сходное звучание английских слов «путешествие» и «неудача», назвал свою рецензию в «Обсервер» на фильм Дж. Кьюкора по роману Грэхема Грина «Путешествие с тетушкой». По его мнению, если судить по первым кадрам, фильм начинается обещающе. Но по мере развития фильма впечатление портится. Конечно, нельзя сказать, что это плохой фильм, но действие развивается в нем какими-то толчками, и его недостатки прежде всего объясняются игрой исполнительницы главной роли Мэгги Смит. Беда в том, что, сосредоточившись на внешних моментах, Мэгги Смит пожертвовала важнейшей для героини Г. Грина чертой — неотразимым обаянием, что особенно досадно, так как это качество вообще характерно для игры актрисы. И вместо того, пишет Джордж Мелли, чтобы простить тетушке Августе ее безудержный эгоизм, ее бесчеловечное отношение к другим, мы испытываем чувство раздражения.

Мэгги Смит в роли тетушки Августы.

(Еженедельник «Обсервер»)

Явной неудачей, замечает обозреватель, являются кадры-ретроспекции, функция которых по замыслу весьма значительна. Но, к сожалению, режиссер и художник по костюмам перегрузили их деталями и тем самым лишили правдоподобия.

Что же касается остальных актеров, исполняющих главные роли, то они, считает критик, справились со своей задачей превосходно. Любовник-негр, торгующий наркотиками (Лу Госсе), полон грубоватого очарования, Синди Уильямс трогательна в роли богатой девушки, брошенной родителями, которую тетушка Августа встречает в Восточном экспрессе.

Однако лучшее исполнение роли в фильме, по мнению рецензента, безусловно принадлежит Алеку Макгауену. Он играет Генри Пулинга, племянника, а в действительности сына Августы, в прошлом банковского служащего, человека весьма строгих правил. Тетушка таскает его с собой по Европе, втягивает в сомнительные с точки зрения закона авантюры, и Алек Макгауен блистательно передает, как расширяются представления английского клерка о жизни.

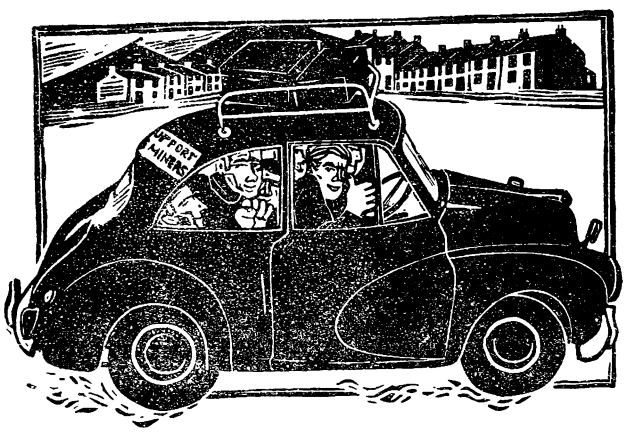
ИНТЕРВЬЮ ДЭВИДА МЕРСЕРА

«Драматург социального протеста», как зовут в Англии Дэвида Мерсера, поделился с журналом «Тиэтр куотерли» своими мыслями о современном английском театре.

В сегодняшнем театре Англии Мерсера особенно привлекают новые формы, связанные с направлением «театрального поиска»,— театр агитпропа и т. п. Мерсер дает высокую оценку этому направлению, считая, что оно имеет для молодежи большое воспитательное значение. Однако,

Событиям февраля 1972 года, когда в Англии вспыхнула забастовка шахтеров, посвящен новый рассказ известного писателя Алана Силлитоу «Забастовка шахтеров», который был недавно опубликован в газете «Морнинг стар». Рассказ взят из сборника Алана Силлитоу, который, как сообщает газета, в настоящее время готовится к печати и выйдет в свет осенью этого года. На снимке — линогравюры Кена Синага к рассказу А. Силлитоу.

(Газета «Морнинг стар»)



по его мнению, в сравнении с традиционным театром экспериментальный театр излишне формален и ему не хватает подлинного художественного мастерства.

Как утверждает Мерсер, молодежь же привлекают именно формальное новаторство, символика. В этой связи большой популярностью пользуется у студентов хэппенинг, к которому Мерсер отказывается отнестись как к серьезному искусству. В своем отрицании буржуазных ценностей молодежь порой доходит до абсурда. Особенно очевидно Мерсеру пришлось убедиться в этом, когда он ездил с другим известным английским драматургом, Джоном Арденом, по университетам, где они знакомились с работой самодеятельных студенческих театров. Студенты не захотели разговаривать с «традиционными» драматургами. Они взорвали в аудитории дымовую бомбу, утверждая, что это гораздо значительнее всего творчества Ардена и Мерсера.

— И что же это значит? — спросил Мерсер.

— Это значит то, что значит, сэр,— услышал он в ответ.

Корреспондент спросил драматурга:

— Ваши пьесы свидетельствуют о том, что вы исследуете возможности серьезной комедии?

— Да, я считаю, что в наши дни невозможно написать настоящую трагедию. Я уверен, что, будь жив Шекспир, он не написал бы сейчас «Гамлета», потому что все мы живем в таком трагическом мире и остро сознаем, что мир этот распадается, сбился с пути. Наша жизнь намного трагичнее всего происходящего на сцене, поэтому надо придать пьесе комический оттенок, чтобы зритель ощутил этот трагизм.

— Возможно, вы тяготеете к комедии потому, что трагические типы эксцентричны, а вы стараетесь подметить типическое в жизни общества?

— Да как можно создавать сегодня героев? Мы не объединены ни общей целью, ни общей верой... А разъединяет нас все.

— Не волнует ли вас то обстоятельство, что ваши пьесы смотрит только интеллигенция, элита?

— Я постоянно думаю об этом. Ведь ни актеры, ни драматурги, ни режиссеры не владеют средствами распространения своего искусства. И какая бы яростная атака ни обрушивалась со сцены на истеблишмент, в конце концов она оказывается адресованной ограниченной аудитории. Телевизионная драма в этом смысле — гораздо более демократический жанр. Во-первых, как искусство более упрощенное, а во-вторых, из-за своей массовости. Телепьесу смотрит одновременно 15 миллионов человек, и каждый по своему желанию может выключить телевизор.

БОЛГАРИЯ

КНИГИ В 1973 ГОДУ

Книги, которые предлагает читателю издательство «Наука и искузтво», посвящены гуманитарным и естественным наукам и искусству. Критика, в частности, выделяет такие книги, как «Театральные размышления» проф. Л. Тенева и «Драма и революция» В. Маракашева, в которых авторы анализируют теоретические принципы и эстетические позиции в области театрального искусства, анализируют проблемы и задачи театра. Два юбилейных издания, одно — посвященное Василю Левскому, а другое — Христо Ботеву, содержат многочисленные документы и письма, которые помогают читателям ближе узнать двух великих болгар.

Труды в области литературоведения будут представлены в 1973 году крупными исследованиями акад. П. Зарева «Панорама болгарской литературы» и проф. Г. Цанева «Страницы истории болгарской литературы». Значительным вкладом в литературную науку являются труды проф. Ж. Авджиева «Сентябрьская литература» и проф. Е. Каранфилова «Современность и литературные жанры». Б. Димитрова и И. Василев рассказывают о жизненном пути, творчестве и эстетических позициях известной болгарской поэтессы Елисаветы Багряны.

Боевой путь болгарской журналистики во времена важных для болгарского народа общественных и политических событий прослежен в таких сборниках, как «Знаменосец пролетарского интернационализма в Болгарии» и «Журналистика в наступлении».

Большой интерес представляет антология, посвященная творчеству Ч. Чаплина, С. Поллака, В. Де Сика, М. Антониони, А. Куросава, А. Вайды и других выдающихся представителей мирового кино.

Издательство иностранной художественной литературы «Народна култура» большое внимание уделяет советской литературе. Издательство стремится к тому, чтобы каждое новое значительное произведение советских авторов было знакомо болгарским читателям. Начата серия «Вершины советской поэзии», в которой уже вышли первые две книги избранных произведений Есенина и Маяковского. Обращает на себя внимание высокое качество оформления этих книг и уровень перевода. А в целом библиотечка «Вершины советской поэзии» в настоящее время насчитывает около ста книг. Она пользуется большим успехом в Болгарии, что свидетельствует о постоянном интересе болгарских читателей к советской поэзии.

Издательство «Народна култура» продолжает выпускать серию «Мировая классика», предварительно рассчитанную на 250 томов. Она призвана дать болгарскому читателю представление о наиболее значительных произведениях мировой литературы. В 1971 году в свет выйдут «Жизнь Клима Самгина» Горького, «Волшебная гора» Т. Манна, «Записки Пикквикского клуба» Диккенса, жемчужины индийского эпоса — «Рамаяна» и «Махабхарата» и другие произведения. Подготовлены к печати произведения документально - художественного жанра, которые приобретают все большую популярность в мире. Серия «Рассказы со всего света» также занимает достойное место в деятельности издательства. В этом году выйдут из печати сборники советских, польских и румынских рассказов.

ВЕНГРИЯ

«ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ДЕЛО И ОБЩЕСТВО»

Под таким заголовком газета «Непсабадшаг» опубликовала беседу с директором Главиздата Венгрии Ласло Марцаллом.

«Чтение книг является органической частью нашей повседневной жизни. Число людей, приобщающихся к активному чтению в Венгрии, постоянно растет, поэтому книгоиздательство относится сегодня к одному из важных участков работы «духовного цеха»,— отмечает Марцалл.

Главиздат Венгрии координирует работу всех издательств страны, а их только в столице более десяти. Основная задача, стоящая перед ним,— помочь осуществлению на практике политики в области культуры, проводимой Венгерской социалистической рабочей партией. Сообразно с этой политикой разрабатываются планы издательств, уточняются тиражи, вносятся коррективы в соотношение жанров издаваемых книг и т. п.

Но это не значит, что издательства полностью зависят от деятельности Главиздата. Каждое издательство обладает достаточной самостоятельностью и стремится отвечать требованиям, диктуемым быстрыми темпами научно-технической революции, огромными переменами в народном хозяйстве, большим притоком информации. Цифры говорят сами за себя: если в 1960 году вышло 2972 книги общим тиражом в 34 млн. экз., то в 1971 году — 5536 книг общим тиражом в 53,5 млн. экз.

В своей повседневной работе мы, конечно, учитываем и значительную дифференциацию требований и вкусов наших читателей. Здесь очень важно постоянно держать в поле зрения изменения, происходящие в сознании читателей, и реально их оценивать.

Мы постоянно издаем лучшие произведения венгерской классической литературы. Свидетельство тому — издание избранных произведений Шандора Петефи (100 тыс. экз.), стихотворений Аттилы Йожефа (87 тыс. экз.). Эти книги выпускаются в специальной серии «Сокровищница венгерской литературы».

С большой заботой относимся мы к изданию современной венгерской литературы, публикуя прежде всего лучшие книги писателей, занимающих четкие и определенные социалистические позиции, а также произведения гуманистической направленности.

С целью отбора лучших произведений издательства часто проводят тематические конкурсы. За последнее время проведены конкурсы на роман и повесть о жизни рабочего класса, о второй мировой войне, на современную тему.

Тиражи произведений современной венгерской литературы неуклонно растут; очень важно, что книги современных венгерских писателей мы издаем массовыми тиражами в серии «Карманная библиотечка». Это делает, например, издательство «Магвете».

Очень отраден и тот факт, что читатели, спрашивающие в магазинах книги современных венгерских авторов, интересуются прежде всего теми, в которых правдиво отражена современная действительность с позиций твердой веры в завтрашний день социализма.

Но было бы неправильно думать,— указывает директор Главиздата,— что работа по изданию зарубежной литературы пользуется у нас меньшим вниманием. Мы стараемся как можно шире представлять венгерскому читателю прежде всего произведения советской литературы и социалистических стран, а также как можно вдумчивей относиться к отбору произведений современной зарубежной литературы».

Сцена из спектакля «На дне». В роли Сатина — Альберт Геттерле, в роли Насти — Ева-Мария Бат, в роли Актера — Гельмут Мюллер-Ланков.

(Журнал «Театер дер цайт»)

ГДР

ЮБИЛЕЙ ТЕАТРА

Недавно отпраздновал свое двадцатилетие один из крупнейших театров Германской Демократической Республики — берлинский Театр имени Максима Горького. На его счету — 93 постановки, среди них 53 постановки современных пьес. «Современность всегда занимала ведущее место в работе нашего театра»,— сказал руководитель театра Альберт Геттерле. Ставя пьесы современных авторов ГДР, театр много работает с драматургами, и каждый спектакль — это плод совместного труда всего коллектива и автора. Так, с большим успехом были поставлены пьесы Райнера Кернда «Его дети» и «Когда же придет Эрлихер?» (см. «ИЛ» № 12, 1963 и № 2, 1972), пьеса З. Пфаффа «Регина Б. — один день ее жизни» (см. «ИЛ» № 5, 1970).

«Особое место мы отводим творчеству Максима Горького, имя которого носит театр,— сказал Геттерле.— Мы стараемся следовать революционному, гуманистическому направлению произведений этого крупнейшего советского писателя». Театр поставил пьесы «На дне», «Егор Булычев», «Васса Железнова», «Варвары».

С большим успехом шла в течение долгого времени пьеса Б. Лавренева «За тех, кто в море!». Один из последних спектаклей театра — пьеса А. Салынского «Мария» (см. «ИЛ» № 3, 1973).

«Театр имени Максима Горького давно завоевал симпатии зрителя,— пишет газета «Берлинер цайтунг»,— спектакли его всегда вызывают оживленные дискуссии и среди зрителей, и в прессе. Это как нельзя лучше свидетельствует о правильности пути, которым идет театр».

«МОЯ СЕСТРА ТИЛЛИ»

Это — второй роман молодого писателя Ганса Вебера. Первый роман «Прыжок в чертово колесо», вышедший в свет в 1968 году, принес автору большой успех.

Роман «Моя сестра Тилли» знакомит читателя с жизнью одной семьи, с ее проблемами и заботами, главным образом с заботами 15-летней Тилли и ее брата, шофера Ганнеса. Как пишет в журнале «НДЛ» Клаус Шюлер, «роман нельзя отнести к произведениям только юношеской литературы, он несомненно должен заинтересовать и взрослых».

Что же хотел показать автор в произведении? Неужели только образцовую семью, в которой все относятся друг к другу с пониманием и предупредительностью? На этот вопрос Клаус Шюлер отвечает следующим образом: «Ганса Вебера волнует проблема всестороннего раскрытия личности в социалистическом обществе, конкретные условия и возможности для этого процесса. Это стремление проходит красной нитью через все его творчество».

ФРГ

«МЕСТАМИ ГОЛОЛЕД»

Так называется новый роман известного западногерманского писателя Макса фон дер Грюна.

Рабочий Карл Майвальд однажды обнаруживает в комнате у секретарши шефа подслушивающее устройство, замаскированное под обыкновенный селектор: с его помощью можно фиксировать разговоры, которые ведутся в любом уголке предприятия.

Ночью Майвальд вместе с товарищем проникает в помещение и похищает записи подслушанных разговоров — вещественное доказательство беззакония. Во время рождественского праздника он «взрывает» свою «бомбу». Последствия, однако, оказываются плачевными прежде всего для него самого. Виновники отделываются легким испугом, Карлу Майвальду приходится расплачиваться сполна. Предприниматели начинают травить рабочего: скандал с подслушиванием превращается в «дело Майвальда». Профсоюзные боссы, к которым рабочий обращается за поддержкой, берутся за дело неохотно, а постепенно и вовсе теряют к нему интерес. Причина вскоре выясняется: профсоюз сам становится держателем значительной части акций фирмы и не заинтересован в разоблачениях. Рабочий, решивший добиться правды, остается по существу беззащитным. В конце концов его увольняют. Отчаявшись, Майвальд сжигает во дворе фирмы свои разоблачительные материалы.

Приводя заключительные слова героя: «Если у нас в руках окажется бомба, ее всегда кто-нибудь постарается обезвредить», западногерманский журнал «Конкрет» замечает, что сама книга фон дер Грюна — бомба. Журнал весьма высоко оценивает роман, считая его наиболее зрелым из всех произведений писателя. Появление его, по словам рецензента журнала «Конкрет», еще раз подтверждает беспочвенность «сомнений в общественной роли художественной литературы».

ИЗ АРХИВА БЕРТОЛЬТА БРЕХТА

До сих пор остается неопубликованной значительная часть архива Брехта, в том числе его дневники, записные книжки, письма, фрагменты, наброски, а также немалое количество стихов. Исследователи творчества Брехта интенсивно занимаются изучением этого богатого наследия. К 75-летию со дня рождения писателя, которое отмечалось в этом году, западногерманское издательство «Зуркамп» выпустило в трех томах так называемый «Рабочий журнал» Брехта 1938—1955 годов.

«Рабочий журнал» был начат Брехтом в эмиграции, в Дании, и велся почти до самой смерти. Здесь наброски пьес, сюжетов, заметки о прочитанных книгах, записи разговоров, которые автор вел с друзьями, размышления о политических событиях. Записи Брехт дополнял фотографиями и вырезками из газет, которые также воспроизведены в издании.

Собственно текст «Рабочего журнала» занимает первые два тома, третий содержит комментарии, подготовленные видным исследователем творчества Брехта Вернером Гехтом.

Особый интерес, по мнению рецензентов, представляют американские записи, где впервые рассказаны некоторые подробности о допросе писателя в Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности, об отношениях Брехта с другими писателями-эмигрантами, а также записи последнего периода его жизни, сделанные в ГДР.

Новое издание, по единодушному мнению критики, содержит богатый материал для более глубокого знакомства с жизнью и творчеством выдающегося писателя, с его взглядами и оценками. «Рабочий журнал» не показывает нам нового Брехта,— пишет западногерманский журнал «Шпигель»,— однако образ писателя приобретает более отчетливые очертания».

ИЗРАИЛЬ

ХАНУХ ЛЕВИН ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ПРЕМИИ

Среди израильских писателей, особенно молодых, все больше растет недоволь-

ство агрессивной, антинародной политикой правительства. Они все чаще выступают против проявлений расовой дискриминации по отношению к арабам и «черным» евреям — выходцам из стран Азии и Африки.

Среди этих оппозиционно настроенных писателей — молодой драматург Ханух Левин, автор антимилитаристской пьесы «Королева ванной».

Как сообщала газета «Гарец», президент Израиля З. Шазар «выразил крайнее недовольство», узнав о том, что министерство культуры присудило Хануху Левину «премию имени главы государства» за одну из его последних пьес.

Но опасения президента оказались напрасными: Х. Левин не явился за получением премии и объявил, что отказывается от нее.

Известные актеры Мадху и Шарада в фильме «Личный выбор».

(Журнал «Линк»)

ИНДИЯ

ДЕБЮТ МОЛОДЫХ

«Личный выбор» — первое произведение, созданное недавно на студии «Читралекта фильм кооператив» в Тривандруме (штат Керала). Пока это единственная в Индии творческая киноорганизация на кооперативных началах. Новый фильм поставлен группой выпускников индийского Института кино и телевидения. Режиссер — Адур Гопалакришнан.

Фильм рассказывает о молодых супругах, об их стремлении к счастью, о трудностях, с которыми их столкнула жизнь.

Впервые в индийском фильме на языке малаялам сделана попытка использовать лишь те средства, которые присущи именно этой области искусства, пишет критик журнала «Линк». Творческий коллектив смело пошел на нарушение традиций индийского кино. Он отказался от набора «некинематографических ценностей» — песен, танцев, музыки. Акцент перенесен целиком на визуальное восприятие, и оно редко нарушается многословием, столь характерным для диалога в большинстве национальных фильмов. На экране — обыденная жизнь, обыденные события; предельно экономный текст, скупые, сдержанные краски усиливают их драматизм и убедительность. Содействуют успеху хороший темп и выразительность кадров, достигнутая талантливой работой оператора Манкада Рави Варма.

«Хотя картина и не делает переворота, она, несомненно, очень значительна»,— утверждает рецензент. Попытка освободить национальное кино от элементов развлекательности, а также от литературщины заслуживает, по его мнению, всяческого поощрения.

ИРАК

«ИЗБРАННОЕ» АЗ-ЗАХАВИ

По сообщениям арабской прессы, в Багдаде вышла книга «Избранное из родников поэзии» классика современной иракской литературы Джамиля Сидки аз-Захави.

Книгу, в которую вошли многие из неизданных стихов поэта, подготовил к печати и снабдил комментариями литературовед Абд-ар-Раззак Хиляли.

ИСПАНДИЯ

ПИСАТЕЛЬ В РОЛИ АКТЕРА

Халлдор Лакснесс, которому исполнился 71 год, дебютирует как актер в фильме «Концерт рыб», в основу сценария которого легла книга писателя.

Фильм снимается кинематографистами ФРГ с участием скандинавских киностудий.

ИТАЛИЯ

ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛТОМ КОМБИНЕЗОНЕ

Появление романа о рабочих — не частое событие в литературной жизни Италии последних лет. Поэтому-то вышедший в издательстве Мурсиа роман «Желтый комбинезон» привлекает к себе внимание. Автор его—триестинский молодой техник-кораблестроитель Нардио Дзордзенон — дебютант в литературе. Герои его произведения — рабочие верфей на Адриатике и стоящие над ними начальники и хозяева.

Социальные различия здесь как нельзя более яс-

ны: рабочие носят синие комбинезоны, инженеры и хозяева — белые, а желтый комбинезон—одеяние тех, кто отстал от одних и не пристал к другим. Именно в этой промежуточной категории служащих очутился вчерашний рабочий Сандро Визентин, назначенный мастером.

Трагедия Визентина — в центре романа. Помимо собственной воли он становится хозяйским шпионом, надсмотрщиком, лишается своих прежних друзей—товарищей по бригаде, теряет душевный покой, мучается угрызениями совести. Недаром желтый цвет называют цветом измены... Сандро понимает, что в погоне за материальными благами он изменяет не только старой дружбе, но и своим идеалам ранней юности — антифашистским убеждениям, восхищению перед подвигом партизан, освободивших Триест от гитлеровских оккупантов. Он понимает, что нынешние хозяева, те, в чьих руках находятся верфи,— вчерашние фашисты, вновь вернувшиеся на свои командные места. Сандро оказывается перед решающе важным выбором — он должен найти свое место в классовой борьбе, ибо в этой борьбе невозможны компромиссы и нельзя оставаться «посередине».

Роман «Желтый комбинезон» — новое для итальянской литературы явление не только по тематике, но и по месту действия, по самой своей атмосфере, по языку персонажей. Да и многие персонажи — и рабочие, и противостоящие им инженеры и администраторы — новые фигуры на страницах итальянской прозы. Это в полном смысле слова производственный роман — все его действие происходит на судостроительной верфи, книга передает напряженность процесса постройки судна. Все действующие лица связаны между собой производственными отношениями, прямой взаимозависимостью и сложными социальными и моральными узами членов единого коллектива.

Язык романа прост и в то же время сложен — это своеобразный сплав современного разговорного языка с местным диалектом, специфическим жаргоном рабочих-корабелов и техническими терминами. Роман Дзордзенона — примечательный документ общества потребления и царящих в нем дегуманизации, отчуждения.

«ДЕЛО МАТТЕОТТИ» НА ЭКРАНЕ

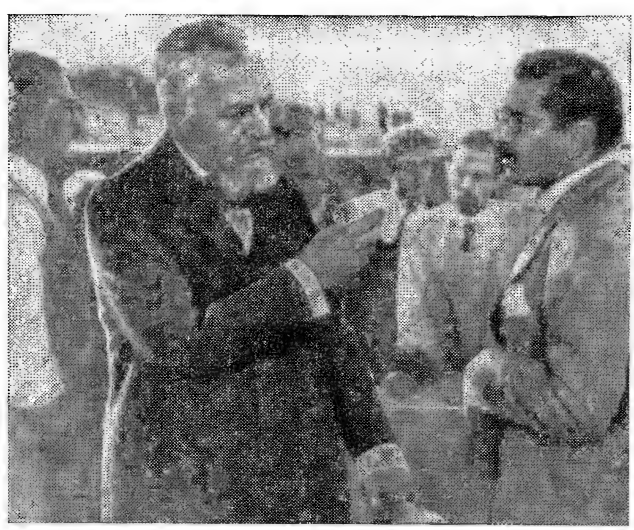
Приход к власти в Италии фашистского правительства Муссолини ознаменовался целой серией политических преступлений. Наибольшее возмущение в стране вызвало похищение в 1924 году депутата-социалиста Джакомо Маттеотти, который затем был найден убитым. Если бы тогда лидеры антифашистской оппозиции вняли призывам коммунистов и проявили большую решительность и сплоченность, еще не успевшее прочно закрепиться фашистское правительство оказалось бы перед серьезной угрозой.

«Дело Маттеотти» и последовавшие политические события привлекали внимание прогрессивных итальянских кинематографистов еще со времен неореализма, однако из-за противодействия властей и цензуры осуществить постановку фильма не удавалось. Теперь итальянское кино вновь вернулось к этой теме.

Ставит картину режиссер среднего поколения Флорестано Ванчини, которого советские зрители знают по антифашистскому фильму «Долгая ночь 1943 года». Ванчини собрал за полтора года подготовки к съемкам большой документальный материал, встретился со многими участниками событий.

Фильм «Убийство Маттеотти» будет поставлен в манере документального воспроизведения фактов, персонажам — Джакомо Маттеотти, Антонио Грамши, Филиппо Турати и другим, в том числе и Муссолини,— будет придано полное портретное сходство. Действие фильма развивается в хронологическом порядке. «Оно происходит в трех планах,— рассказывает режиссер,— в плане политическом, с показом закулисной борьбы между партиями; в плане судебном — расследование преступления и в плане разоблачительном— разоблачение тех, кто явились соучастниками и помощниками фашистов: про-

Кадр из фильма «Убийство Маттеотти». *(Газета «Унита»)*



мышленников и Ватикана, которые поддерживали фашистов.

В те дни,— сказал далее в своем интервью корреспонденту газеты «Унита» Ванчини,— Муссолини показал подлинное лицо фашизма, который одновременно укреплял свой союз с церковью, армией и промышленниками». На вопрос журналистов, есть ли связь между событиями, о которых повествует фильм, и нынешней обстановкой в Италии, режиссер ответил, что критическое осмысление тех событий, пожалуй, полезно всем в Италии, а особенно молодежи. «Кроме того, я думаю, что этот фильм появится в Италии в нужный момент»,— добавил Ванчини.

В числе исполнителей фильма много известных актеров — Франко Неро, Витторио Де Сика, Марио Адорф, Гастоне Москин, Рикардо Куччолла. Натурные съемки ведутся в окрестностях Рима, павильонные — в римской студии «Чинечитта».

КАМЕРУН

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА

В конце прошлого года в Яунде (Объединенная Республика Камерун) работала III Международная выставка африканской книги. Такие выставки, знакомящие широкие слои населения с зарубежными публикациями, посвященными Африке, организуются в камерунской столице регулярно с 1968 года. Выставка 1972 года, который был объявлен ЮНЕСКО Международным годом книги, получила, естественно, особый резонанс. Сама тема выставки: «Издания по искусству Африки» — способствовала тому, что она стала заметным событием в культурной жизни африканского континента.

Значительная подготовка к выставке была проведена в Советском Союзе. Академия наук СССР отобрала и послала в Камерун около пятисот экспонатов: книги и крупные статьи из сборников и журналов, эстампы и фоторепродукции, составившие особый раздел экспозиции.

Издательство «Наука» в связи с выставкой выпустило на французском и английском языках аннотированный каталог советских исследований по искусству и литературам африканских народов. Советский отдел выставки, намного превышавший отделы других стран-участниц, включая Францию и США, неизменно привлекал многочисленных посетителей.

Программа выставки предусматривала ряд публичных выступлений африканистов разных стран. Большое внимание камерунской аудитории привлекли лекции советских специалистов — сотрудников Института мировой литературы им. А. М. Горького Академии наук СССР — кандидата искусствоведения В. Мириманова и кандидата филологических наук И. Никифоровой, рассказавших об изучении в СССР искусства и литератур Африки. Выступления советских африканистов широко комментировались камерунской прессой и радио, с удовлетворением отмечавшими массовое признание, какое завоевала в нашей стране культура африканских народов. «Русские... прекрасно понимают,— констатировалось, в частности, в газете «Пресс дю Камерун»,— что африканская литература составляет неотъемлемую часть мировой литературы».

КУБА

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА

В Гаване подведены итоги латиноамериканского литературного конкурса, ежегодно проводимого гаванским издательством «Каса де лас Америкас», и названы имена лауреатов 1973 года.

В жанре очерка премия присуждена Оскару Пино Сантосу (Куба) за его произведение «Штурм Кубы американской финансовой олигархией». Были также отмечены «Фольклор классовой борьбы (Очерк о фольклоре и марксизме)» Паулу ди Карвалью Нету (Бразилия) и «Неоколониальная Куба: классы и политика (1902—1959)» Франсиско Лопеса Сегреры (Куба).

В жанре рассказа премию получил Поли Делано (Чили) за рассказ «Смена маски». Жюри был рекомендован к публикации сборник, составленный из присланных на конкурс рассказов «Октябрь» Рафаэля Солера (Куба), «Шестидесятилетие» Виктора Торреса (Чили), «Бандиты в Гранд Абрас» Рауля Гонсалеса Каскорро (Куба), «Границы Хоакина Колуны» Саула Ибаргойена Исласа (Уругвай) и «Бродяга» Эдуардо Галеано (Уругвай).

В жанре романа премии присуждено не было.

Премия за лучшее произведение для театра была присуждена Виктору Торресу (Чили) за пьесу «Дом в Бота-Альто». Жюри конкурса были отмечены «История с тюрьмой» Освальдо Драгуна (Аргентина), «Портреты» Хулио Маурисио (Аргентина) и «Иногда это слово свобода...» Агустина дель Росарио (Панама).

Была рекомендована к печати антология, включающая отрывки из театральных пьес, представленных на конкурс драматургами Моникой Сорин (Аргентина), Антонио Скарметой (Чили), Карлосом Перросо (Колумбия), Хосе Р. Брене (Куба), Педру Виана (Бразилия) и Рафаэлем Эрнандесом (Куба).

Премия за лучшую документальную повесть была присуждена Антонио Касо (Куба) за его произведение «Вредители». Были отмечены «Уругвай, пятница 14 марта 1972 года» супругов Гриего Ровира (Уругвай) и «Бухта Гуантанамо» Риго-берто Круса (Куба).

В жанре поэзии лауреатом премии «Каса де лас Америкас» стал Фернандо Ламберг (Чили), автор книги «Дамы и господа».

Жюри рекомендовало к

изданию антологию, составленную из произведений, представленных на конкурс Эдмундо Эррерой (Куба), Хесусом Рейесом Тамайо (Куба), Берталинсией Перальта (Панама), Антонио Эрнандесом Пересом (Куба), Хорхе Пиментелем (Перу), Еленой Хордана (Аргентина), Освальдо Родригесом (Чили), Кос Кауссе (Куба), Мануэлем Орестесом Ньето (Панама), Хуаном Кристобалем (Перу) и Антонио Сильонисом (Перу).

На церемонии объявления победителей конкурса присутствовали директор «Каса де лас Американас» член ЦК Коммунистической партии Кубы Айде Сантамария, президент Национального совета культуры Луис Павон, президеит Союза писателей и деятелей культуры Кубы Николас Гильен.

МОНГОЛИЯ

ЖИЗНЬ, ОТДАННАЯ ИСКУССТВУ

В Улан-Баторском драматическом театре с успехом идет трагедия Софокла «Царь Эдип». В этом немалая заслуга художественного руководителя театра, народной артистки МНР Эрдэнэбатын Оюуи, автора перевода и постановщика бессмертной трагедии на монгольской сцене.

Э. Оюун немало сделала для развития искусства в социалистической Монголии. Ею поставлены несколько десятков произведений монгольских и зарубежных драматургов. Э. Оюун известна также как драматург. За большие заслуги в области культуры она была удостоена звания лауреата Государственной премии МНР. Э. Оюун является депутатом Великого Народного Хурала МНР.

«Первое крупное произведение, — вспоминает Оюун, — я перевела еще в 1935 году. Это была комедия Н. В. Гоголя «Ревизор». «Ревизор» стал первым русским классическим произведением, поставленным на монгольской сцене. Затем я перевела и поставила «Слугу двух господ» К. Гольдони, «Короля Лира» В. Шекспира, «Поднятую целину» М. Шолохова, «Человека с ружьем» Н. Погодина. В общем — более тридцати произведений известных зарубежных авторов».

Долгие годы служения искусству помогли раскрыть ей многогранные способности драматурга, переводчика, режиссера и исследователя. В 1960 году Э. Оюун защитила в московском ГИТИСе кандидатскую диссертацию на тему «Народные истоки театрального искусства». Ее научное исследование получило высокую оценку специалистов. Недавно в соавторстве с народной артисткой МНР Д. Инчинхорло она написала пьесу «Дорога», которую скоро увидят моигольские зрители. Завершена работа над переводом пьесы А. Н. Островского «Бесприданница», и сейчас готовится премьера.

Главным призванием Э. Оюун был и остался театр. «За годы народиой власти, — рассказывает она, — театральное искусство в МНР выросло необыкновенно. Ныне наряду с драматическим театром в Улан-Баторе у нас есть Государственный театр оперы и балета, театр кукол, детский театр, национальная филармония. Они завоевали у любителей искусства огромную популярность. С успехом проходят гастроли монгольских артистов за рубежом».

«Теперь почти в каждом аймаке есть свой театр, свой режиссер,— говорит Э. Оюун.— Людям моего поколения, отдавшим свои силы делу становления и развития социалистической культуры в стране, некогда жаловаться на старость и усталость. Напротив, надо углублять то, что знаешь, больше трудиться. Наш зритель качественно изменился: стал начитанным, искушенным, требовательным, а это значит — работники искусства постоянно должны совершенствовать свое мастерство, не отставать от жизни».

НИГЕРИЯ

НОВЫЕ КНИГИ ВОЛЕ ШОЙИНКИ

Виднейший нигерийский писатель Воле Шойинка популярен не только у себя на родине, но и далеко за ее пределами. Он успешно работает во многих литературных жанрах. Он опубликовал семь пьес, несколько сборников стихов и роман «Интерпретаторы» (см. «ИЛ» № 10, 1970).

Недавно вышли из печати два новых произведения Шойинки — публицистическая книга «Человек умер» и пьеса «Безумцы и специалисты».

Главная тема обеих книг — недавние бурные политические события в Нигерии.

В связи с выходом этих книг Шойинка посетил Англию. Выступая в лондонском «Африканском цеитре», Воле Шойинка заявил, что он считает первым долгом писателя — быть абсолютно честным. Своей публицистической книгой «Человек умер» он хочет побудить нигерийцев не уходить от трудных вопросов.

В драме «Безумцы и специалисты», как и в предыдущих своих пьесах, драматург бичует социальиые пороки, показывая наряду с этим распад семейных уз, которые традиционно были основой африканского общества. Впервые пьеса была поставлена автором на сцене театра Ибаданского университета. По мнению рецензента «Нью-Йорк таймс бук ревью», Шойинка этой работой вновь утверждает свою веру в то, что в пробуждающейся Африке искусство и политика идут рука об руку.

Шойинка полон творческих сил и планов. В содружестве с известным американским режиссером негром Осси Дэвисом он закончил фильм по своей пьесе «Урожай Конги». Близится к завершению работа еще над несколькими произведениями — сборником стихов, пьесой «Испытания брата Иеронима», второй частью романа «Интерпретаторы».

Университет английского города Лидса, в котором в свое время Шойинка учился, недавно присудил ему почетную степень доктора литературы.

ПОЛЬША

ИЗДАТЕЛЬСТВА В 1973 ГОДУ

Польские издательства, по свидетельству Польского агентства печати, издают в 1973 году свыше тысячи названий книг художественной литературы общим тиражом свыше 26 млн. экз.

Из зарубежной литературы будет издано 250 названий, включая классику мировой литературы и литературу современную.

Большое место отведено переводам русской и советской литературы, из общего числа названий ей отведено 60.

ЗБИГНЕВ ЗАПАСЕВИЧ В ТЕАТРЕ И КИНО

Слава к Збигневу Запасевичу пришла не сразу. Семнадцать лет он проработал в театре, и только в последние годы о нем заговорили как о выдающемся явлении в польском искусстве.

Это обстоятельство подчеркнул и корреспондент еженедельника «Жице литерацке», бравший у актера интервью:

— Я пришел в момент все возрастающего интереса к вам и вашей работе. Вы играете главные роли в театре, снимаетесь в кино, на телевидении, даете интервью, о вас пишет пресса — словом, находитесь в центре внимания.

— Я работаю в театре семнадцать лет,— говорит Збигнев Запасевич.— Мне повезло, что я не сразу стал популярным, благодаря этому я имел возможность спокойно работать. И то, что сейчас моя работа вызвала большой резонанс, я считаю закономерным. Согласно законам диалектики сумма опыта дает новое качество.

— Вы, наверно, считаете себя прежде всего актером театральным?

— В самом глубоком по-

Збигнев Запасевич в роли Макбетта в одноименной пьесе Ионеско.
Збигнев Запасевич в роли Конрада в драме Выспянского «Освобождение», поставленной варшавским Драматическим театром.

(Журнал «Театр»)

нимании этого слова я театральный актер, но это вовсе не значит, что я не люблю сниматься в кино или на телевидении. Все, что я делаю вне театра, основано на моем убеждении, что сейчас актер не может ограничиваться одной только формой выражения. В кино я снимаюсь два года. И только сейчас я понял, в чем радость игры перед камерой. Я убежден, что к киноискусству нельзя относиться несерьезно, считать его чем-то второстепенным.

— Вы создали нового киногероя, скупого в жестах, замкнутого, сухого, сдержанного в чувствах, это ваша личная заслуга или заслуга режиссеров?

— Если мне удалось создать нового героя, это хорошо. Но если бы я стал создателем только этого единственного образа, я бы тут же отказался от профессии актера.

Збигнева Запасевича отличает актерская многогранность. Им сыграно большое количество ролей в театре, совершенно отличных одна от другой. «Он принадлежит,— пишет известный театральный критик Мария Чанерле в журнале «Театр»,— к актерам, беспощадным к себе, к этому его обязывает талант, интеллигентность и редкая работоспособность, поэтому его роли ошеломляют своим диапазоном: Андрей Прозоров в «Трех сестрах», Макбетт в комедийном фарсе Ионеско, великолепный Чацкий в «Горе от ума», ползающий на четвереньках Лаурентий в пьесе Ружевича «На четвереньках» — вот неполный перечень ролей, сыгранных этим замечательным актером».

НОВЫЙ СБОРНИК РАССКАЗОВ КОРНЕЛЯ ФИЛИПОВИЧА

Вышел из печати новый сборник рассказов Корнеля Филиповича «Смерть моего антагониста». Корнель Филипович известен советскому читателю по повести «Сад господина Ничке» («ИЛ» № 11, 1966) и по сборнику «Микророманы» Корнеля Филиповича», вышедшему в Гослите в 1973 году и включающему пять небольших романов писателя — «Провинциальный роман», «Дневник антигероя», «Пленный и девушка», «Сад господина Ничке», «Мужчина как ребенок».

Рецензент «Новых ксенжек», известный польский критик Зенона Мацужанка, дает новому сборнику рассказов Филиповича высокую оценку. Она пишет о том, что писатель удивительно свободно ориентируется в жизненном материале, идет ли речь о войне, об узниках гитлеровских лагерей или о современности.

В рассказе «Сон, который приходит временами, но все реже и реже» писатель рисует муки человека, который не может прийти на лагерную перекличку, так как запутался в листах ржавой жести. Узник знает, какой ценой заплатят товарищи за его отсутствие, но ничего не может поделать. Этот сон-кошмар, как наследие войны, преследует человека, живущего уже совсем в другое время. По мнению критика, это один из самых страшных рассказов о лагерном быте.

Корнель Филипович глубоко чувствует проблемы окружающей его действительности, его повествование подчас проникнуто горечью человека, прошедшего через трудные испытания, однако в целом он не смотрит на жизнь пессимистически (рассказ «Сделайте приятное лицо»). Рассказ «Преграды», вошедший в сборник, З. Мацужанка считает главным. Идея этого рассказа заключается в том, что человек всегда должен стремиться к познанию мира, к открытиям, какие бы преграды ни стояли на его пути, как ни был труден поиск. Иногда человеку приходится не легко, у него опускаются руки, и именно тогда, когда человек думает, что он вынужден сдаться, преграда отступает.

Зенона Мацужанка отмечает, что творчество писателя еще недостаточно оценено польской критикой. «Неповторимая проза Филиповича достойна лучшей участи и ждет своего открывателя»,— пишет она.

РУМЫНИЯ

«С ЧИСТЫМИ РУКАМИ»

Действие нового фильма «С чистыми руками», созданного режиссером С. Ни-

Иларион Чобану в роли Романа и С. Николеску в роли комиссара Миклована в фильме «С чистыми руками».
(Еженедельник «Контемпоранул»)

колеску по сценарию Т. Поповича и П. Сэлкудяну, относится к весне 1945 года — периоду острых политических боев, подготовивших рождение нового народно-демократического строя. Фильм рассказывает о борьбе с бандитами в первые годы становления народной власти. «Бандиты, жулики, гангстеры, — пишет рецензент «Контемпорануль»,— не выдумка сценаристов, они были печальным порождением того времени. Используя оружие, оставшееся от войны, они терроризировали целые районы столицы...»

Рецензент отмечает талантливую работу режиссера С. Николеску, известного своими историческими фильмами-эпопеями «Даки», «Михай Храбрый». В фильме «С чистыми руками» режиссер впервые обратился к жанру детектива и прекрасно овладел его спецификой. Он выступил как актер, талантливо сыграв одну из главных ролей в фильме — роль комиссара Миклована.

США

КАТАСТРОФА С «КАТАСТРОФИЧЕСКОЙ КОМЕДИЕЙ»

Всего две недели продержалась на сцене новая пьеса Артура Миллера. Такого еще не случалось за все тридцать лет его драматургической деятельности. Неудача, которая его постигла (отзывы критиков на премьеру были единодушно отрицательными), тем более достойна сожаления, что писатель впервые обратился к новому для него жанру — комедии и, как пишет Генри Хьюз в ежемесячнике «Сатердей ревью оф артс», были все основания полагать, что Миллеру удастся проявить тот комический дар, то чувство юмора, которые угадывались в отдельных эпизодах и отдельных характерах его прежних пьес (например, в образе Соломона в «Цене»). Этого, однако, не случилось: пьеса, по словам Хьюза, «поражает отсутствием не только юмора, но даже и той сверхдейственной логики, которая всегда была характерна и для более удачных и для менее удачных пьес драматурга».

Автор назвал свою новую пьесу «Сотворение мира и прочие делишки» и дал ей подзаголовок «Катастрофическая комедия». Подзаголовками снабжен и каждый из трех актов пьесы — во всех случаях это философский вопрос, на который автор пытается ответить содержанием данного акта. Вопрос, вынесенный в подзаголовок первого действия, звучит так: «Если бог создал все сущее и является носителем добра, то зачем же он в таком случае сотворил дьявола?» Ответ на этот вопрос дан чисто фрейдистский, причем психоаналитическое толкование поступков творца дает сам Люцифер. Согласно этому толкованию, создавая Адама и Еву, бог подсознательно сам стремился к тому, чтобы они вкусили от древа познания, чтобы, использовав их вину, упрочить свою власть над ними. Самого же Люцифера бог создал потому, что подсознательно стремился творить не только добро, но и зло, однако хотел, чтобы ответственность за творимое зло возлагалась не на него.

Действие второго акта происходит уже после грехопадения. Ева на сносях, и юмор, как пишет рецензент, основывается главным образом на том, что она не может понять, отчего у нее растет живот. В третьем же акте, где рассказывается об убийстве Каином Авеля, выясняется, что убийство это было (опять-таки подсознательно) запланировано самим творцом, стремившимся к тому, чтобы все последующие поколения чувствовали свою вину перед ним и признавали его безграничную власть над собой.

«Катастрофа, происшедшая с «Катастрофической комедией» Миллера, сама по себе не так страшна,— заканчивает свою рецензию Хьюз.— Гораздо хуже будет, если под ее воздействием писатель откажется от дальнейших попыток развивать те наиболее «земные» стороны своего дарования, которые многим из нас представляются столь привлекательными в его творчестве».

РОМАН ДЖОНА ГАРДНЕРА

Американская критика восторженно встретила выход романа Джона Гарднера «Диалоги с солнечным светом». Все рецензенты единодушно признают его книги литературными шедеврами, отмечая, что его последний роман свидетельствует о дальнейшем росте писательского мастерства автора, которому сейчас тридцать с небольшим лет.

Эта объемистая книга снабжена иллюстрациями, что, по словам самого автора, не делалось со времен Генри Джеймса, то есть с конца XIX века. Как бы стремясь придать своему произведению еще большее сходство с литературой XIX века, Гарднер предваряет роман списком действующих лиц, а в конце книги, пародируя литературу документа, помещает свидетельство о смерти одного из двух центральных персонажей.

Диалоги и взаимоотношения главных персонажей составляют основу содержания книги с детективным по своей напряженности сюжетом.

Один из героев — бородатый, нечесаный философ и маг — олицетворяет собой все пороки современной цивилизации. Его антагонист — лучшее, по мнению критики, создание Гарднера — так называемый «средний человек», заурядный и ограниченный Фред Клами, шеф местной полиции. Преданность закону и порядку составляет основу его жизни. Ему присущи все предрассудки рядового американского провинциала, не видящего разницы между коммунистами, хиппи и ворами. Но как и все персонажи романа, Клами сознает, что «американская мечта» оказалась пустыми словами. Окружающая действительность

сбивает его с толку, он не видит выхода из создавшегося положения. Используя его сомнения, философ-смутьян заставляет Клами выслушивать свои бесконечные разглагольствования. Он стремится запугать Клами и использует для этого познания в оккультизме, заманивает ночью в церковь, где проповедует ему с амвона свою новую религию, он даже восстает перед ним на кладбище из гроба.

Клами не теряет самообладания, он добросовестно стремится понять своего оппонента. В спорах со Светоносным, как окрестил для себя философа Клами, он пытается опереться на житейский опыт. Ему хотелось бы усмотреть в существующем порядке рациональное зерно, но он неизменно запутывается, а порой и засыпает, исчерпав свои силы в спорах.

«Когда же дым и риторика рассеиваются, — пишет еженедельник «Таймс»,— остается Клами, смятенный и нелепый», который, по мнению американской критики, отражает настроения рядового американца.

«Клами и мир маленького городка нарисованы прекрасно,— пишет еженедельник «Нью-Йорк таймс бук ревью».— Это умирающий пасторальный мир, музей старых предрассудков, в который уже проникли коренные противоречия современной американской жизни: преступность, необузданный секс, национальная рознь».

По силе характеристики рядового американца рецензенты сравнивают мастерство Гарднера с мастерством Фолкнера и Апдайка.

Роман, как и многие произведения американских писателей, явно перегружен философскими и историческими реалиями и символикой. Но главное в творчестве Гарднера — призыв уважать рядового человека. Эта мысль пронизывает все творчество писателя.

ФРАНЦИЯ

ПИСАТЕЛИ ГОЛОСУЮТ ЗА КОММУНИСТОВ

Номер журнала «Нувель критик», посвященный парламентским выборам, публикует выступления писателей, в которых они объясняют, почему отдали свои голоса за коммунистов.

Робер Мерль, высказывая свое одобрение союзу социалистической партии с коммунистами, пишет о том, что он голосует за коммунистическую партию потому, что ее позиции более четко определены и ближе к его собственным. Полемизируя с Жан-Полем Сартром, заявившим, что он предпочитает воздержаться от голосования, так как разочарован в возможностях легальных способов борьбы после провала Республиканского фронта в 1956 году, Р. Мерль напоминает о законе исторического развития, который каждую неудачу в борьбе за правое дело превращает в урок истории, тем самым обеспечивая будущую победу. Именно внимательное изучение ошибок Парижской коммуны сделало возможной победу Великой Октябрьской революции в России, утверждает Р. Мерль.

Жак Фремонтье, писатель, журналист и деятель телевидения, получивший в 1972 году премию Поль-Вайяна Кутюрье за книгу «Рабочая крепость: Рено» (см. «ИЛ» № 11, 1972), называет три причины, побудившие его голосовать за коммунистическую партию. Первая состоит в том, что, только прекратив сотрудничество в буржуазных газетах и начав систематически работать в коммунистической прессе, Жак Фремонтье как журналист понял, что значит свобода печати. Вторая причина — в том, что коммунисты первыми начали бороться за глубокую демократизацию телевидения против произвола монополий. «Как деятель телевидения, я могу голосовать только за коммунистов»,— заявляет Жак Фремонтье. Третья причина в том, что только коммунисты понимают, какой насущной необходимостью для жизни народа является деятельность писателей, ученых и поэтов, подлинный расцвет культуры возможен только после национализации банков и монополий. «Как писатель,— заявляет Жак Фремонтье,— я могу голосовать только за коммунистов».

О союзе интеллигенции и трудящихся говорил и Антуан Казанова в своей речи, произнесенной на митинге избирателей парижского округа во Дворце спорта. Главная тема этого выступления, публикуемого в журнале, — объединение интеллигенции вокруг общей правительственной программы левых партий, которая отвечает самым существенным профессиональным и моральным стремлениям работников умственного труда. Антуан Казанова подчеркивает то, что именно коммунистическая партия определила важнейшее значение союза интеллигенции и рабочего класса для французского народа, французской культуры и союза левых сил.

◆

Авторы этого номера

ФОЛЬКЕР БРАУН — VOLKER BRAUN (род. в 1939 г.).

Немецкий поэт (ГДР), лауреат премии имени Генриха Гейне. В юности был проходчиком на шахте, работал на металлургическом комбинате, в типографии. Затем учился на философском факультете Лейпцигского университета. Начал печататься в периодической печати с 1961 года. Выпустил книги стихов «То, что меня волнует» («Provokation für mich», 1965), «Мы, а не они» («Wir, und nicht sie», 1970), пьесу «Киппер» («Kipper»). Стихи Ф. Брауна печатались в советских журналах, в том числе в «Иностранной литературе».

Стихотворение «Не приходите с готовеньким!» взято из «Антологии 1964 года» («Auswahl 64. Neue Lyrik — Neue Namen»).

■

ЙЕНС ГЕРЛАХ — JENS GERLACH (род. в 1926 г.).

Немецкий поэт и переводчик (ГДР). Уроженец Гамбурга. В годы фашизма был заключен в штрафной лагерь за «разложение» гитлеровского вермахта. С 1953 года живет в ГДР. Автор поэтических книг «Свет и тени. Стихи о любви» («Das Licht und die Finsternis. Liebesgedichte», 1963), «Снимки Запада» («Okzidentale snapshots», 1965), «Джаз» («Jazz», 1966). Переводил на немецкий язык стихи Н. Заболоцкого, А. Вознесенского и других советских поэтов. Стихотворения Й. Герлаха печатались в русских переводах в журналах и антологиях.

Публикуемые стихи взяты из сборника «Свет и тени» и из цикла «Письма к Андрею Вознесенскому».

■

КАРЛ МИКЕЛЬ — KARL MICKEL (род. в 1935 г.).

Немецкий поэт, прозаик и драматург (ГДР). Автор поэтических сборников «Хвала и брань» («Lobverse und Beschimpfungen», 1963), «Моя новая жизнь» («Vita mea nova. Mein neues Leben», 1966), откуда взяты публикуемые стихотворения. Его перу принадлежат также рассказы, роман и драма «Волоколамское шоссе» (по книге А. Бека). Вместе с А. Эндлером составил антологию поэзии ГДР «На новой земле» («In diesem besseren Land», 1966).

■

САРА КИРШ — SARAH KIRSCH (род. в 1935 г.).

Немецкая поэтесса и переводчица (ГДР). В юности работала на сахарной фабрике, затем училась в Литературном институте имени Иоганнеса Бехера. Выпустила две книги стихов: «Разговор с бронтозавром» («Gespräch mit dem Saurier», 1965) совместно с Р. Киршем и «Сельский отдых» («Landaufenthalt», 1967), из которого взяты публикуемые стихи.

Сара Кирш переводила на немецкий язык стихи А. Ахматовой и Новеллы Матвеевой.

■

КУРТ БАРЧ — KURT BARTSCH (род. в 1937 г.).

Немецкий поэт (ГДР). Стихи К. Барча появляются в периодической печати с 1963 года. Выпустил поэтический сборник «Сквозняк» («Zugluft», 1968). Отдельные стихи К. Барча печатались в русском переводе.

Стихотворение «Шоссештрассе, 125» было напечатано в альманахе «Новые тексты» («Neue Texte», 1967).

■

РАЙНЕР КИРШ — RAINER KIRSCH (род. в 1934 г.).

Немецкий поэт и переводчик (ГДР). Работал на химических предприятиях, в типографии, затем учился в Литературном институте имени Иоганнеса Бехера. Автор книги стихов «Разговор с бронтозавром» («Gespräch mit dem Saurier», 1965) совместно с Сарой Кирш. Стихи Р. Кирша представлены во многих поэтических антологиях, часто публикуются в периодической печати. Р. Кирш перевел на немецкий язык стихи Есенина, Ахматовой, Пастернака. Отдельные его стихотворения печатались в русских переводах, в том числе в «Иностранной литературе» (№ 10, 1969).

■

ЭРИХ КОШ — ERIH KOŠ (род. в 1913 г.).

Видный югославский, сербский писатель — романист, новеллист, эссеист (подробнее о нем — в предисловии Н. Вагаповой к подборке рассказов в этом номере).

■

ЮСУФ АС-СИБАИ (род. в 1917 г.).

Известный египетский писатель и общественный деятель, министр культуры АРЕ, генеральный секретарь Организации солидарности народов стран Азии и Африки и Ассоциации афро-азиатских писателей, главный редактор журнала «Лотос». За четверть века литературного творчества Юсуф ас-Сибаи опубликовал более 40 книг — романы, повести, сборники рассказов, пьес, очерков, критических и публицисти-

ческих статей. Из произведений последних лет наиболее известны романы «Ответ моего сердца», «Надия», «Мы не сеем колючек», пьеса «Сильнее времени», очерки «В самолете между двумя океанами».

Несколько его романов и пьес переведено на иностранные языки; в русском переводе вышел роман «Водонос умер» и ряд новелл, «Иностранная литература» печатала его рассказы (№ 9, 1958, № 10, 1970).

Роман «Земля лицемерия», опубликованный в 1949 году, печатается нами по шестому изданию книги (1969 г.).

■

ХУАНА ДЕ ИБАРБУРУ — JUANA DE IBARBOUROU (род. в 1885 г.).

Известная уругвайская поэтесса. Начала печататься в 1915 году. Ей принадлежат сборники стихов «Брильянтовые языки» («Las lenguas de diamante», 1917), «Дикий корень» («Raiz salvaje», 1922), «Роза ветров» («La rosa de los vientos», 1930), «Утрата» («Pérdida», 1950), «Романсы судьбы» («Romances del destino», 1954), сборники рассказов «Библейские эстампы» («Estampas de la Biblia», 1934), «Хвала пресвятой деве» («Los loores de nuestra Señora», 1934), «Маленький Карло» («Chico Carlo», 1944) и др.

■

МАЙК ДЭВИДОВ — MIKE DAVIDOW (род. в 1913 г.).

Американский журналист и драматург. Автор ряда пьес, одна из которых, «Долгая жизнь» («Long Life»), в 1964 г. была удостоена литературной премии. В течение нескольких лет был московским корреспондентом американской коммунистической газеты «Дейли уорлд».

Послесловие к роману «В зеркалах» написано М. Дэвидовом для нашего журнала.

■

ЯРОСЛАВ ИВАШКЕВИЧ — JAROSŁAW IWASZKIEWICZ (род. в 1894 г.).

Известный польский поэт, прозаик, драматург и общественный деятель, лауреат Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами», Государственной премии ПНР, которая присуждалась ему трижды, председатель польского Союза писателей, главный редактор журнала «Твурчость».

Советские читатели хорошо знакомы с творчеством Я. Ивашкевича. В русском переводе вышли трехтомный роман «Хвала и слава», исторический роман «Красные щиты», монографическая книга «Шопен», неоднократно выходили сборники избранных произведений, куда, в частности, вошли повести «Панны из Вилко», Влюбленные из Мароны», «Девушка и голуби» (впервые на русском языке напечатана в «ИЛ» № 1, 1961), пьеса «Лето в Ноане» и другие произведения.

Предлагаемый читателю рассказ «Sérénité» был напечатан в журнале «Твурчость» (№ 9, 1972).

◆

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
С. А. ГЕРАСИМОВ, Л. П. ГРАЧЕВ, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, В. Д. ЗОЛОТАВКИН (отв. секретарь), **Е. Ф. КНИПОВИЧ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, М. И. РУДОМИНО, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, Б. Л. СУЧКОВ, П. М. ТОПЕР, С. П. ЧЕРНИКОВА, К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ.**

Художественный редактор **Л. Б. Филиппова.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова.**
Адрес редакции: Москва 109017. Пятницкая ул., д. 41. Телефон 233-51-47.

А 06334. Сдано в набор 3/IV 1973 г. Подписано в печать 8/V 1973 г.
Бумага 70×108¹/₁₆=18 п. л. (25,2)+1 вкл. Уч. изд. л. 27,55. Зак. 1080
Тираж 614.000 экз. (1-й завод 1—414.000 экз.)

Типография издательства «Известия Советов депутатов трудящихся СССР». имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 80 коп.

ИНДЕКС 70394